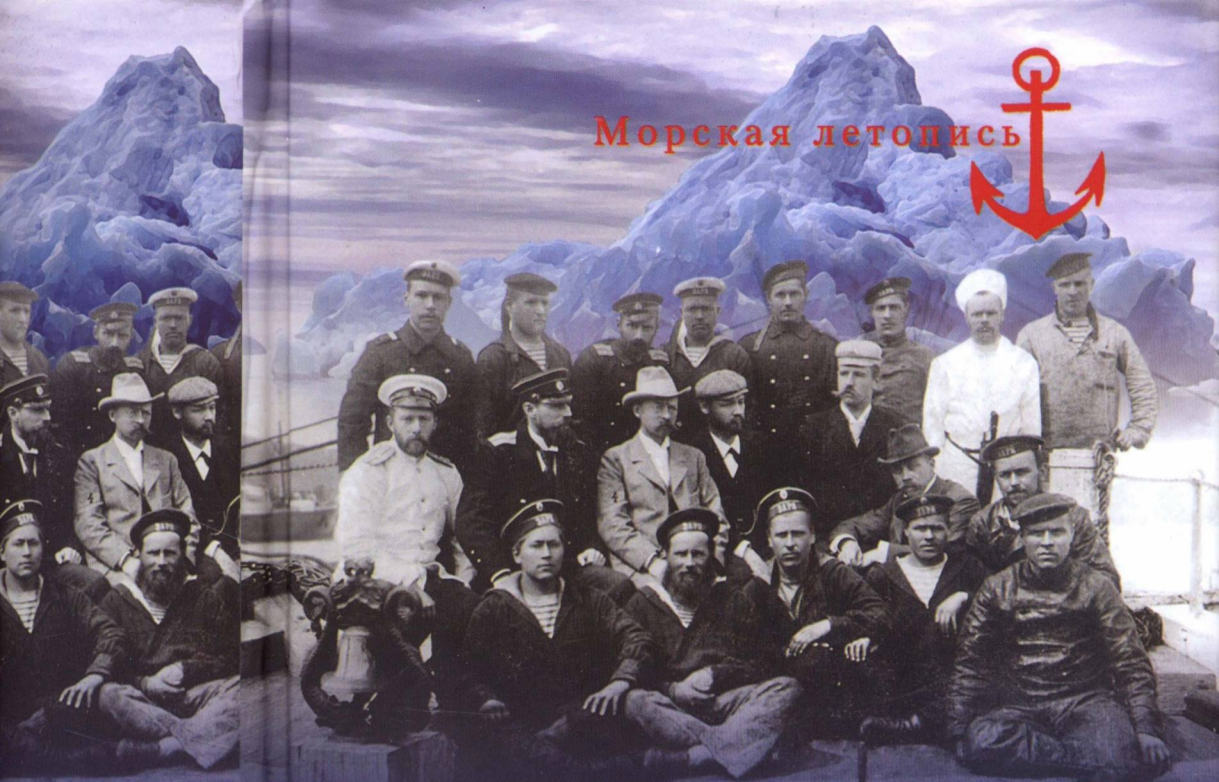




Публикация книги на сайте
библиотеки появилась благодаря
- Михаилу Котлярову.
forum.vgd.ru (mkotlyarov).

book-olds.ru

Морская летопись

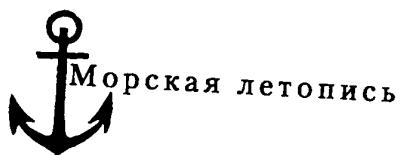


**КОМАНДОРЫ
ПОЛЯРНЫХ МОРЕЙ**

**КОМАНДОРЫ
ПОЛЯРНЫХ
МОРЕЙ**



Н.А. Черкашин



Н.А. Черкашин

КОМАНДОРЫ ПОЛЯРНЫХ МОРЕЙ

Москва
«Вече»

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
Ч48



Черкашин, Н.А.

448 Командоры полярных морей / Н.А. Черкашин. — М.: Вече, 2014. — 480 с. : ил. — (Морская летопись).

ISBN 978-5-4444-1841-3

Знак информационной продукции 12+

Документально-художественные исследования известного писателя-мариниста Николая Черкашина переносят нас в мир полярных первопроходцев России. В первой части книги в остросюжетной форме излагается история последнего великого географического открытия XX века — обнаружение экспедицией Бориса Вилькицкого Северной Земли.

Вторая часть посвящена экспедиции барона Толля к загадочной Земле Санникова. Главный герой — офицер-гидрограф лейтенант Александр Колчак, ставший позже Верховным правителем России.

Действие раздела «Одиссея капитана Кондора» разворачивается также на Русском Севере — только в годы Великой Отечественной войны.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями. Некоторые из них публикуются впервые.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-4444-1841-3

© Черкашин Н.А., 2014
© ООО «Издательство «Вече», 2014

*Посвящается командующему Северным флотом
адмиралу Вячеславу Алексеевичу Попову*

КОРТИК КОМАНДОРА

В мирное время эта экспедиция возбу-
дила бы весь цивилизованный мир.

Руаль Амундсен

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна...

Николай Языков

Под глыбой льда холодного Таймыра...

Алексей Жохов

Московские экспрессы на Минск, Брест, Варшаву, Берлин про-
ходят Оршу, как правило, поздней ночью... Если, выглянув незна-
чай в вагонное окно, вы увидите на оршанском перроне белую
фигуру в истлевшем флотском кителе — не пугайтесь. Это призрак
последнего командира «Вайгача» вышел пожелать доброго пути
тем, кто помнит его имя, стертое с карты Арктики...

Глава первая

ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛЫЦЕ ДЛЯ АБВЕРА

Берлин. Июль 1990 года

Тогда я еще не знал, что его зовут Фабиан Рунд. Корветтен-
капитан¹ Фабиан Рунд...

Просто мы оба спешили на одной и той же набережной в
один и тот же день к одному и тому же человеку: я — московский
литератор и он — Фабиан Рунд, сотрудник абвера.

¹ Капитан 3-го ранга.



Мы пересекали одно и то же пространство, но с разрывом в полвека. Разумеется, у Рунда в его 1939 году были все шансы застать дома бывшего капитана 1-го ранга русского императорского флота Новопапенного, но не у меня в моем девяностом. По самым скромным подсчетам, Новопапенному было бы сейчас лет сто двадцать. Но я все равно упорно разыскивал дом № 18 на Шёнебергской набережной.

Берлин. Лето 1939 года

В один из знойных дней берлинского лета в кабинете адмирала Канариса, главы всемогущего абвера, раздался телефонный звонок главнокомандующего военно-морскими силами Германии гросс-адмирала Редера.

Редер: Хайль Гитлер!

Канарис: Хайль!

Редер: Вилли, одно небольшое дельце... Мне стало известно, что в Берлине живет кто-то из русских эмигрантов, участник арктических экспедиций адмирала Колчака... В свое время он заснял на пленку обширнейший участок совершенно необследованного побережья Русского Севера — приметные мысы, бухты и прочее. Нам нужен его фотоархив. Есть сведения, что он вывез его с собой.

Канарис: Насколько надежен источник сведений?

Редер: Он так же надежен, как и вся ваша контора. Это наш... это ваш военно-морской атташе в Москве капитан цур зее¹ барон Баумбах.

Канарис: Хорошо. Найдем. Приятно в такую жару остудить мозг мыслями об Арктике.

В том году мысли о полярных льдах студили многие умные головы в Берлине. В германских штабах ясно понимали, что война с Англией неизбежна и война эта будет, прежде всего, морской. А раз так — нужны передовые базы флота в Северной Атлантике, в Западной Арктике. О том, чтобы базироваться

¹ Капитан 1-го ранга.



в портах Норвегии, приходилось пока что мечтать. При всем своем нейтралитете норвежцы настроены весьма пробритански. Но есть Новая Земля, есть Кольский полуостров, и есть весьма податливое большевистское правительство в Москве, которое обещало подыскать «базис нора» — «северную базу» для германских рейдеров если не в самом Мурманске, то неподалеку от него. Спустя полмесяца после начала войны, 17 сентября 1939 года, в Мурманск тайно вошли два немецких транспорта с грузами для будущей базы. Взамен Берлин обещал продать Советскому Союзу недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов». С захватом Норвегии проблема базирования на советском Севере снялась сама собой. Но резко повысился интерес к Северному морскому пути — стратегической трассе, наикратчайше связующей океан Атлантический с Тихим океаном. Начало Второй мировой войны застало 35 немецких торговых судов в нейтральных портах Юго-Восточной Азии. Этот гигантский караван Редер, заручившись согласием Молотова, рассчитывал провести в Европу безопасным от англичан путем — меж скал сибирского побережья и кромкой полярных льдов — путем, разведанным и проложенным гидрографами русского флота еще в Первую мировую и вполне освоенным советскими ледоколами.

К тому же по нему можно было перебрасывать рейдеры в Тихий океан и там охотиться на торговых трассах союзников. Таким образом, «фотографическая лоция» северных берегов Сибири становилась документом стратегической важности.

Берлин. Июль 1990 года

Боже, как же хотелось есть! Такого голода я не испытывал со студенческих времен, когда решил плыть из Ростова в Москву теплоходом, имея на 12 дней 87 копеек... Но по сравнению с моим нынешним положением это были деньги. По крайней мере, я мог покупать хлеб — полбуханки в сутки. В Берлине у меня не было и пфеннига. А батон хлеба здесь стоит две с половиной марки. Астрономическая сумма для советского туриста, рискнувшего приехать в эти дни в исчезающую ГДР.



Получилось так мои знакомые берлинцы прислали мне приглашение. Время поездки совпадало с объединением Германии. Все бы хорошо, но Госбанк СССР вдруг объявил, что граждане, выезжающие до 26 июня, должны вернуть обмененные ими марки ГДР. Никаких обменов их на марки ФРГ, даже символических — на телефон, трамвай — не обещалось. И вообще, недвусмысленно давалось понять, что сейчас в Германию советским гражданам лучше не ехать.

Я законопослушно вернул упраздняемую валюту, стараясь не вспоминать, сколько часов (32!) пришлось отстоять за ней в очереди, отбил друзьям в Берлин телеграмму о том, что приехать не смогу, и на другой день отправился сдавать железнодорожный билет. И вот тут сердце дрогнуло. Не то чтобы стало жалко потерянного в очередях к интуристовской кассе времени (приходил на Большие Каменщики к пяти утра с термосом, бутербродами, книгами и раскладным стульчиком — и так три дня). А просто подумал: ну вот, в кои-то веки могу стать свидетелем настоящего исторического события и не стану из-за каких-то жалких марок. В конце концов, не за тряпьем же еду? Как-нибудь продержусь у друзей на бутербродах. Десять дней не срок, и я дал вторую телеграмму: «Ждите. Еду».

И приехал. И влип. Этой, второй, телеграммы друзья не получили (она придет почему-то спустя неделю после моего отъезда) и укатили в Лейпциг на недельку к родителям. Об этом мне сообщили соседи. Так я оказался во взбудораженном Берлине без крова над головой и без единого пфеннига. Конечно, можно было бы немедленно закомпостировать обратный билет и отправляться в Москву. Но... Я решил продержаться семь дней до возвращения друзей.

Тщательная ревизия багажа и карманов показала, что довольствоваться мне придется четырьмя кусочками вагонного сахара да начатой пачкой грузинского чая.

К тому же надо решить проблему с жильем. Я отправился на Унтер-ден-Линден, в наше посольство. Но там царило полное смятение, все гадали о дальнейшей судьбе учреждения: кого



отправят на Родину, а кому посчастливится остаться... Гостеприимство соотечественников в этом роскошном офисе дворцового типа дальше чашки чая с немецким печеньем не пошло. Не до меня, и не до таких, кто оказался в подобной же ситуации; а их в тот бурный июль, как я смог вскоре убедиться, было немало.

Впрочем, все эти житейские дела отошли на второй план, как только я узнал, что открыли границу с Западным Берлином, и, хотя советским гражданам не рекомендовалось ходить в ту часть города, я немедленно ринулся в доселе запретный западный мир.

Берлин. Лето 1939 года

Германский флот готовился к сражениям на всех океанах. В том числе и в «океане без кораблей», как называли тогда Северный Ледовитый, где и в самом деле что парус, что дымок пароходной трубы были великой редкостью. Готовился серьезно и основательно; что-то, а предусматривать каждую мелочь германские штабисты умели.

«Ряд сведений географического, исторического, военного и экономического порядка, — отмечал знаток германских спецслужб Луи де Ионг, — накапливался немецкой разведкой благодаря связям с такими учреждениями, как Немецкий институт по изучению зарубежных стран (Deutsche Ausland-Institut), а также такими крупными немецкими фирмами, как “И.Г. Фарбен”, “Крупп”, “Цейсс”, “Рейнметалл-Борзиг”».

Мозг германского Молоха жадно требовал информации. И чтобы утолить этот информационный голод, в ход шло все — статистика старых биржевых журналов, обзоры технических рефератов, туристические путеводители, расписания поездов, открытки с видами ландшафтов и даже любительские пляжные снимки. Разглядывая на них фигурки стоящих в воде купальщиков, специалисты определяли уклон морского дна, беря за масштаб средний человеческий рост. А уклон дна — это уже военно-географическая информация, столь важная для высадки морского десанта.



В системе абвера действовал хорошо налаженный «информационный конвейер», который добывал страноведческие данные, анализировал их, хранил и выдавал по первому требованию родов войск для подготовки военных операций любого масштаба — от высадки диверсионной группы с борта яхты в какой-нибудь безвестной бухточке до массированного вторжения на Британские острова.

«За пределами Германии представители управления разведки и контрразведки имелись в большинстве немецких посольств и дипломатических миссий, — фиксировал Луи де Йонг, — к началу войны во всей системе управления насчитывалось 3—4 тысячи офицеров, которые должны были добывать сведения военного, экономического и политического характера».

Апофеозом германской разведки стало создание специального научно-информационного центра с кодовым названием «Раумкоппель».

РУКОЮ ИСТОРИКА. «Раумкоппель», — пишет известный в ФРГ историк Кайус Беккер, — начал свою работу в здании бывшей школы в Шёненберге (Мекленбург). Деятельность этого «научного центра» осуществлялась, в полной тайне. Никто даже не подозревал, что эти совсем не по-военному выглядывшие господа в штатском имели отношение к тому самому соединению «К», к которому принадлежали отчаянные бойцы-одиночки: боевые пловцы, водители человекоуправляемых торпед, взрывающихся катеров и прочие смельчаки. Более того, своей тщательной подготовительной работой эти люди решающим образом способствовали успеху многих диверсионных операций.

Возглавляя «научный центр» д-р Конрад Фоппель, служивший в течение многих лет хранителем Лейпцигского музея страноведения. В его подчинении находился целый ряд способных географов, геологов, океанографов, метеорологов и математиков. Источником, откуда они черпали свои удивительные познания, которые распространялись, почти на любой участок европейского побережья, была прежде всего библиотека, содержащая около 30 тыс. книг частично специального, частично популярно-



повествовательного (например, путевые записки и т.д.) характера, свыше 250 тыс. карт, 50 тыс. фотографий и огромное количество географических или имеющих отношение к географии журналов из всех стран мира. Кроме того, «научный центр» имел своих картографов, печатников, переплетчиков и большую фототехническую лабораторию, благодаря чему собранные научными сотрудниками данные могли быть в короткий срок размножены и переданы соединением «К» в любой удобной для него форме.

Первое задание, которое было поручено «Раумкопелю», гласило:

«Дать точную картину (с описанием, картами, фотоснимками) северного побережья острова Корсика. Указать несколько таких безлюдных мест, где бы яхта с осадкой 2 м могла вплотную подойти к берегу и высадить наших людей. Наметить удобные маршруты движения в глубь острова».

После 20 часов напряженной работы «Раумкопель» с точностью часового механизма «выдал» все источники, содержащие ответы на поставленные вопросы. К этим источникам относились десятки книг с описаниями берегов, отчетов исследователей, карт, снимков рельефа и целый ряд новейших номеров географических журналов, которые вымывались через нейтральные страны. Подлинное искусство заключалось в том, чтобы из этой горы материалов и многочисленных, часто противоречивых сведений за период в 50 лет выбрать то, что было действительным на сегодняшний день и представляло ценность для выполнения поставленной задачи, и сформулировать все это в форме кратких, но ясных разработок.

«Мы придавали большое значение тому, — рассказывает д-р Фоппель, — чтобы в каждой отдельной разработке дать четкое представление о пределах своих знаний. Люди, которые при выполнении задания руководствовались нашими данными, должны были безусловно верить тому, что мы утверждали наверняка. Те данные, которые мы считали полезным указать, но не были уверены на сто процентов в их достоверности, мы сопровождали необходимыми оговорками и вопросительными знаками».



Меньше всего чудо-центр доктора Фоппеля мог информировать ОКМ¹ о Северном морском пути.

— Это самая засекреченная морская трасса на планете! — оправдывался доктор Фоппель всякий раз, когда из ведомства Редера раздавались упреки на этот счет. — Большевики не сообщают в открытой печати никаких навигационных данных о ней, ибо этот единственный торный путь в непроходимом океане имеет для Советов стратегическую важность. По нему можно перебрасывать военные корабли как с Дальнего Востока на Крайний Север, так и в обратном направлении — из Северной Европы в азиатские моря. Причем перебрасывать скрытно и неуязвимо для любого противника.

Да, эта тоненькая голубая прожилка во льдах обладала для России важностью вены, закольцовывавшей сеть транспортного кровообращения в единую систему. Вместе с артериями сибирских рек она питала и обещала питать еще лучше весь заиндевелый и пока что почти безжизненный северо-сибирский горб гигантской страны. Вот почему она называлась Великой национальной магистралью, и все путепроходческие, мореплавательские секреты ее содержались в такой же тайне, в какой афганские горцы хранят перевальные тропы, а индейцы — сокровенные пути через сельву к древним святыням.

Не всякий корабль проскочит «гильотины арктических льдов». Во все века непосвященные смельчаки расплачивались за дерзкие попытки жизнями — своими и кораблей.

Если в страшном сне представить себе дорогу, которая вдруг хватает путника за ноги и обрекает его на мучительную смерть от голода, холода и цинги, то это и будет Великий северный путь между тундрой Сибири и кромкой льдов Арктики.

Порой он бывает милостивым и пропускает всех. Но вдруг захлопывает свои ледяные капканы и держит суда почти по году. По нему надо иметь счастье проскочить в куцее лето, пробиться,

¹ ОКМ — Oberkommando der Marine — Главное командование ВМС гитлеровской Германии.



если льды все же запрут анфилады сибирских морей; надо знать, как выжить здесь, если пробиться не удалось. Мало знать, как перезимовать полярную полугодичную ночь, надо уметь спастись, если льды все же раздавят вмерзший в них корабль и выживать придется на голых льдинах.

Проскочить, пробиться, выжить, спастись... Только ледовые капитаны и лоцманы Севморпути обладали этим уникальным опытом. Всякий опыт — это много информации, немного интуиции и чутьек везения, и еще раз информация. Всякая информация может быть уловлена, перехвачена, добыта, накоплена... На этом стоял абвер, как, впрочем, и любая другая разведка мира.

Разумеется, кое-что о русской Арктике в картотеках доктора Фоппеля было. Например, великолепная серия аэрофотоснимков, сделанных с борта дирижабля «Граф Цепелин».

Этот немыслимый полет вдоль всей секретной трассы Советы разрешили в 1931 году, когда между рейхсвером и Красной Армией цвела тайная любовь: под Казанью обучались танкисты Гудериана, под Липецком — будущие асы Геринга, а на верфях Ленинграда и Николаева стажировались подводники Деница...

«Летом 1931 года, — рассказывает писатель-историк Е.Л. Баренбойм в повести «Операция “Вундерланд”», — Советское правительство разрешило с чисто научными целями полет немецкого дирижабля над Арктикой. Командовал им его конструктор Эккенер. Среди десяти ученых разных стран на дирижабле находился и советский профессор Самойлович. Полету дирижабля было оказано всемерное содействие: для него была создана особая служба погоды, в район Земли Франца-Иосифа вышел ледокольный пароход “Малыгин”, была построена специальная швартовочная мачта. За четверо суток дирижабль облетел огромную территорию Советского Севера, почти в тысячу километров длиной и шириной более сотни километров. Фотограмметристы засняли ее на кинопленку. По договоренности материалы съемки должны были быть предоставлены нам. Но немцы заявили, что пленка испорчена. Сейчас эти данные “исключительно научного”, как писали тогда в газетах, полета



широко использовались немецкими офицерами в работе над подготавливаемым планом».

Аэрофотограммы — это вид сверху, это бесценное подспорье для летчиков люфтваффе, которые собирались прокладывать трассы в Восточную Арктику. Командирам же кораблей нужен был иной ракурс на приметные мысы, скалы и бухты — не выше уровня ходовых мостиков.

И тогда гросс-адмирал Редер позвонил Канарису на Тирпицуфер.

Берлин. Лето 1939 года

Право, это было пустячное для абвера дело — разыскать фотоархив полярной экспедиции, который счастливый случай забросил не куда-нибудь, а именно в Берлин. С этим справился бы любой сыщик из уголовной полиции.

И Фабиан Рунд прекрасно сознавал, что именно поэтому выбор шефа пал на него, самого молодого сотрудника III отдела, и это задание — еще один экзамен в его новой карьере.

Первым делом Рунд позвонил в Лейпциг — в Ausland-Institut — и заказал справку о составе русской гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Спустя несколько минут он получил по телефону нужные сведения: «Русская гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) осуществляла плавания в 1910—1915 годах на ледокольных судах “Таймыр” и “Вайгач”. В последнем сквозном плавании — из Владивостока в Архангельск — экспедицию возглавлял капитан 1-го ранга Б.А. Вилькицкий. “Вайгачем” командовал капитан 1-го ранга П.А. Новопашенный. В состав экспедиции входили офицеры русского флота Транзе, Евгенов, Неупокоев, Никольский, Жохов, Давыдов, Лавров, Фирфоров...»

Рунд раскрыл «Справочник Российского общевойскового союза», нашел главу «Военно-морские объединения русских офицеров в зарубежье» и радостно потер руки: главой берлинской кают-компани был не кто иной, как бывший командир



«Вайгача» каперанг Новопашенный. Здесь же указывался и его адрес: Schöneberggüter, 18.

Рунд немедленно отправился — он был уверен в том — за «фотолоуией» засекреченного большевиками трансарктического пути. Да и кто, как не командир корабля, мог располагать подобными фотоснимками?

Глава вторая

ГОСТЬ КАПЕРАНГА НОВОПАШЕННОГО, ИЛИ ВИД НА РЕВЕЛЬ ИЗ «БУДДИШЕРХАУЗА»

Берлин. Июль 1990 года

На контрольно-пропускных пунктах еще стояли скучающие пограничники, но документов они уже не спрашивали; таможенные интроскопы были захвачены, поднятые шлагбаумы и расстопоренные турникеты пропускали потоки берлинцев в обе стороны. Хотелось увидеть сразу все: и фасадную сторону Рейхстага, который, подобно луне, позволял созерцать лишь один свой бок — из-за непроходимых доселе Бранденбургских ворот, и знаменитый парк Тиргартен с памятниками Гёте, Гегелю, и фешенебельную Курфюрстендамм, и русское кладбище в Тегеле...

Проблема с жильем решилась сама собой. В Тиргартене пестрело множество палаток, мимо которых шныряли дикие кролики. В палатках жили любители рока, съехавшиеся в эти дни со всего света, чтобы побывать на суперконцерте «Wall» («Стена»), где под песни знаменитых рок-звезд должна была рухнуть берлинская стена, чей гигантский макет из белого пенопласта сооружали над громадной эстрадой.

Общительные студенты из Канады нашли мне место в одной из палаток с видом на Рейхстаг.

Там, под гостеприимным чужим пологом, меня особенно донимало чувство незаслуженной обиды... От него, как в детстве, порой хотелось разрыдаться... Ну почему моей великой Родине, моему сверхдержавному государству я столь безразличен и не



нужен? Почему никому в нем нет дела до того, где должен ночевать и чем кормиться его законно выехавший за рубеж гражданин, который как-никак капитан 1-го ранга запаса, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», лауреат, почетный гражданин и прочая, прочая?.. Почему в кремлевском небоскребе на Смоленской не разрешили обменять мне и трех марок? Мне бы хватило их на буханку черного хлеба, и уже это спасло бы от голодных спазмов...

Но я еще и радовался. Радовался тому, что коротаю ночи и дни по ту сторону великой запретной черты, стены, границы, которую я пересекаю безо всяких характеристик, справок, анкет, собеседований, наставлений, предупреждений, без райкомов, месткомов и ОБИРов. Пересекаю, и все. И вот разгуливаю по цитадели капитализма, форпосту мирового империализма, в сердце германского милитаризма, тоталитаризма и еще черт знает чего. И лежу под палаточной крышей с ребятами из Канады, и прекрасно понимаю их, а они меня.

По утрам мы пили грузинский чай, заваренный из моей пачки, и рассуждали о перестройке, Горбачеве, гласности и тому подобных модных вещах, а потом я уходил в свои странствия по городу.

Из всей невообразимой лавины увиденного в дни берлинского скитальчества здесь важно сказать лишь об уличном антикваре. Он торговал с лотка всякой милой дребеденью начала века: кайзеровскими пивными кружками, допотопными авторучками, довоенными открытками, почтовыми марками... Я взял потерянный альбомчик с коллекцией довоенных визитных карточек. Кто их собирал? Кому они теперь интересны? Пышные титулы прусских баронов, почетные звания коммерсантов, адреса акушеров, дантистов, дипломированных экономистов... Одна из них, весьма простенькая, с голубым крестом Андреевского флага, задержала взгляд. Текст был набран по-русски и по-немецки: «Кают-компания офицеров русского флота в Берлине. Председатель — капитан 1-го ранга Петр Алексеевич Новопашенный. Schonebergertifer, 18».



Наверное, только от дикого голода могла прийти в голову такая странная мысль: заявиться по этому адресу и сказать: «Господа, я не ел три дня... И вообще, мне негде ночевать. Как офицер флота нашего общего Отечества, я надеюсь получить у вас помощь и поддержку». А что? Если бы кто-нибудь был жив из той эмигрантской кают-компания, которая и существовала для того, чтобы поддерживать бывших моряков на плаву изгнаннической жизни, уж наверняка приняли бы во мне участие, пристроили бы на ночь и чаем напоили. Возможно, даже с бутербродом.

Адрес на всякий случай я запомнил и даже переписал в блокнот. Вполне вероятно, что в этом доме живут дети или внуки Новопащенного. А поговорить нам будет о чем.

На ближайшей автобусной остановке висел подробнейший план Берлина. Выяснив, что до Шёнебергской набережной можно добраться и пешком, я двинулся вдоль неширокого канала, в котором стояла зеленая вода с застывшими в ней пустыми пивными жестянками.

Новопащенный жил когда-то близ Потсдамского моста, рядом с массивной, крепостного вида больницей из темно-красного кирпича. Но самого дома уже не было. По всей вероятности, его разбомбили в 45-м, и теперь на этом участке зеленел скверик, весьма неровный по ландшафту, бутристый, заросший бересклетом, который, как известно, охотнее всего растет на местах бывшего человеческого жилья.

Я несколько раз прошелся по этому зеленому пепелищу, пытаясь прочитать хотя бы очертание фундамента исчезнувшего дома. В траве что-то блеснуло. Я нагнулся и поднял... пятимарковую монету! В моем положении это было целое состояние. Во всяком случае, можно было немедленно купить на ближайшем углу длинную жареную колбаску и проглотить ее вместе с турецким бубликом, запивая баночным пивом.

И тут подумалось, что находка вовсе не случайна. В городе, где умеют ценить каждый пфенниг, пятимарковыми монетами не разбрасываются. Просто эти деньги послал мне не кто иной, как капитан 1-го ранга Новопащенный. Раз уж я пришел за



вспомоществованием в кают-компанию офицеров русского флота, то мне в нем не отказано. Мистика? Нет, чудо, которое свершается всякий раз, когда человек берет в руки оборванные нити прошлого и соединяет их. Надо просто суметь или угадать, как найти эти оборванные концы. На сей раз мне помогла старая визитная карточка...

На душе посветлело. Более того, я вскоре почувствовал, что нахожусь под незримым покровительством старейшины кают-компаний, что с этого момента он ведет меня по городу и я должен идти, подчиняясь его воле, его тайным знакам... И я пошел куда глаза глядят, куда влекла меня рука невидимого гида.

Остановившись у китайского рестораничка с вывеской «Хуан-Дали», я почувствовал, что в него надо войти. Сел за узорчатый столик под бумажными драконами, и сверхлюбезный официант-китаец бросился исполнять мой сверхосторожный заказ — чашечка жасминового чая. Разглядывая инкрустированных, резных, рисованных, отраженных в зеркалах драконов, попивая из крохотной чашечки (с драконами же) благоуханный желтоватый чай, я вспомнил, что здесь, в Западном Берлине, есть небольшой буддистский монастырь, о котором я знал еще со студенческих времен, когда писал курсовую о ламаизме — шаманизированном буддизме. И вот теперь вместо того, чтобы праздно шататься по городу, я должен — да, да, это так и прозвучало в сознании: «должен» — отправиться в этот монастырь. Официант-китаец рассказал, как его отыскать: местечко Фронау, десять остановок на метро. Я даже не огорчился, когда он потребовал за чашечку чая чудовищную сумму — три марки. Но, по крайней мере, две марки оставалось на билет до Фронау. И я, не медля ни минуты, двинулся к ближайшей станции U-bahn (метро).

Фронау — лесной уголок берлинского северо-запада. На улицах-аллеях, под вековыми липами, тополями и соснами, виллы одна уютнее другой. На вершине холма краснели сквозь сосновую хвою загнутые углы черепичной кровли. Внизу, у каменных воротец с каменными же слонами, висела доска, извещающая, что



«Буддишерхауз основан в 1924 году художником и писателем Пулем Дальке».

Строго говоря, это был не монастырь, а обычная вилла, перестроенная под кумирню, при которой жили два шриланкийских монаха. Нечто вроде буддистского подворья в Центральной Европе.

Когда-то в этот затерянный уголок Берлина (это я узнал позже) регулярно наведывался Гитлер. В начале тридцатых годов здесь жил тибетский лама Джорни Дэн. Он трижды и без ошибок предсказывал газетчикам, сколько нацистов пройдет в рейхстаг, и потому будущий фюрер проникся к нему особым доверием. Надо полагать, что это спасло кумирню в лихолетье «Великого» рейха.

Я поднялся по тропе к небольшой пагоде. Монах в оранжевой тоге был несказанно удивлен появлению здесь русского человека. Он сообщил мне на английском, что я первый советский посетитель этого храма, показал библиотеку, молитвенный зал, а потом повел в крохотную трапезную, поскольку время было обеденное. Я не отказался ни от рагу из корней лотоса, ни от сладкого картофеля, ни от прочих мудреных восточных блюд, исходный материал для которых знал лишь повар-китаец, обслуживавший кумирню. За этот пир я поблагодарил Банти-садху (так звали гостеприимного хозяина) и... капитана 1-го ранга Новопапенного. Я ничуть не сомневался, что роскошное застолье случилось не без его вмешательства.

После обеда Банти-садху пригласил меня в храм, где несколько местных завсегдатаев собрались для медитации. Я тоже уселся на циновки и стал сосредоточиваться на одной и той же мысли: я пытаюсь представить себе человека, которого никогда не видел, но с именем которого был связан весь день... Я ожидал, что он непременно выйдет на трансцендентальную связь. Но мысленному зрению очень расплывчато представлялся некий пожилой человек, сухощавый, в морском кителе... И только. Черты лица совершенно не читались. Я пытался вслушаться в свои мысли, определить в них то, что могло зазвучать



извне... Но, кроме навязчивой строчки из Игоря Северянина, чей томик я захватил с собой в поезд, ничего не звучало.

Упорно грезится мне Ревель
И старый парк Катеринताल...
...Упорно грезится мне Ревель...

Берлин. Август 1939 года

«*Damen und Herren!* Уважаемые пассажиры! Наш прогулочный рейс по каналам и озерам Берлина закончен. Мы подходим к причалу Трептов-парка. Прошу взглянуть на старого матроса, который готовится принять чалки нашего теплохода. Вы можете гордиться тем, что судьба свела вас с этим человеком, что наш речной трамвайчик принимает к пристани некогда один из лучших гидрографов русского флота, в не столь давнем прошлом отважный ледовый мореплаватель, бывший капитан 1-го ранга российского императорского флота Петр Алексеевич Новопашенный. Он искал неведомые земли. Он пытался проникнуть в священные пределы “земли онкилонов”. Судьба жестоко наказала его и его корабль — ледокол “Вайгач”.

Рукой большевистского узурпатора она сорвала с него прозеленевшие от морской соли погоны и боевые ордена, стерла с карты Арктики его имя и выбросила за пределы Отчизны. Благодарение Богу — его не постигла участь других соплавателей. Его не заслали в лагерь и не расстреляли в чекистском подвале.

Но корабль его погубили в 18-м году, когда в Енисейском заливе тот распорол себе днище о подводную скалу.

Ни о чем не спрашивайте его, господа. Он просто зарабатывает свой хлеб».

Возможно, такую тираду и произнес бы берлинский гид, если бы и в самом деле знал историю седуосого худощавого человека, подрабатывающего в туристический сезон швартовщиком на «Вайсфлотте» — о, ирония судьбы! — на «белом флоте» прогулочных теплоходиков.



Фабиан Рунд знал биографию Новопашенного в самых общих чертах и тем не менее невольно проникся симпатией к этому хмурому старику, чей подвиг корветтен-капитан, как моряк, не мог не оценить. Впрочем, в день, когда он появился на Шёнебергской набережной, ничто не выдавало в нем морского офицера.

— Директор лейпцигского географического издательства Фабиан Рунд, — отрекомендовался он Новопашенному. — Мы готовим фотоальбом о полярных экспедициях, и в частности о вашем выдающемся походе на «Вайгаче».

— На «Таймыре» и «Вайгаче», — уточнил Новопашенный.

— Нам нужны фотоснимки. Мы хорошо заплатим за них.

— Увы! — вздохнул собеседник, и от Рунда не укрылось, что вздох сожаления был искренним. — Ни капитан 1-го ранга Вилькицкий, начальник экспедиции, ни я, его заместитель, не успели написать отчеты о результатах наших исследований. Не успели, так как сразу же, как только наши суда пробились в Архангельск, экспедиция ввиду военного времени была расформирована, и мы с Борисом Андреевичем получили назначения на боевые корабли. Вилькицкий — на эскадренный миноносец «Летун». Я — на «Десну». Потом и вовсе закрутило. Не до отчетов стало. Насколько мне известно, все материалы нашей экспедиции после большевистского переворота отправили в Ярославль. Там они и сгорели в 18-м году, когда красные подавляли восстание Савинкова. Вот и все, что я могу вам сообщить.

— Немного. И тем не менее... У кого-то из офицеров могли остаться негативы. Кстати, а кто из членов экспедиции вел фотосъемку?

— У нас было несколько камер. Но самую подробную съемку вел старший офицер «Таймыра» лейтенант фон Транзе.

— Вот как! Он остался в России?

— Нет. Он тоже покинул ее. У меня нет с ним связи. Слышал, что он осел где-то в Дании.

— А кто бы мог помочь найти его?

Новопашенный задумался.



— Пожалуй, что... Да, только он. Барон Мирбах.
— Знакомая фамилия.
— Его дядя был послом в России.
— Тот самый Мирбах, что был убит в Москве террористом из ЧК?

— Да. Оба его племянника служили в русском флоте. Один погиб в Цусиме, а с другим, Рудольфом Романовичем, мы вместе выпускались из Морского корпуса. Кстати, и Александр Транзе тоже. Они были очень дружны.

Последняя должность Мирбаха — флагманский минер Балтийского флота и командир штабного судна «Кречет»... Теперь он работает в Берлине таксистом. Вы можете отыскать его либо возле Остбанхофа, либо на Ванзее. Это его излюбленные стоянки.

Бывшего кавторанга русского флота Рудольфа Мирбаха Рунд отыскал на стоянке возле Восточного вокзала. Бывалый шофер отвез его домой, а заодно сообщил и адрес фон Транзе.

— Он живет не так далеко от Берлина. В Копенгагене...

Через два дня с аппарелей копенгагенского парома съехал и растворился в потоке машин скромный «опель» корветтен-капитана Рунда.

Копенгаген. Август 1939 года

С большим трудом он разыскал подвальчик переплетной мастерской, затерявшейся в лабиринте средневекового квартала. Фальконер-аллея, 72. На звонок вышел пожилой лысеющий мужчина в очках и с пушистыми, подкрученными вверх усами. Черный рабочий халат был заляпан клейстером. В подвальчике стоял смрад свежесваренного клея немислимой рецептуры.

— Мне нужен господин фон Транзе.

— К вашим услугам.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Капитан 2-го ранга Александр Александрович фон Транзе, из дворян Лифляндской губернии. Родился 10 ноября 1880 года в Кронштадте, в семье флотского офицера Транзе. Окончил Морской корпус. Участвовал в Цусим-



ском сражении вахтенным офицером на броненосце «Адмирал Ушаков». Был контужен. Взрывом выбросило за борт. Спасли матросы. Находился в японском плену в Нагасаки. В Первую мировую войну командовал канонерской лодкой «Грозный», которая вела активные боевые действия в Ирбенах, Моонзунде, у Усть-Двинска. Награжден многими орденами. После октября 17-го трижды арестовывался (два раза в Кронштадте и в Петрограде). Как заложник был приговорен в 1918 году к расстрелу. Спасло вмешательство германского посла графа Мирбаха. Эмигрировал в Данию.

— Нет. Ничем помочь вам не могу, — заявил переплетчик, выслушав «директора географического издательства». — Вы спутали меня с младшим братом — Николаем фон Транзе. Тот действительно участвовал в экспедиции Вилькицкого... У нас была многодетная семья. Я — старший. А еще четыре брата и три сестры...

Но корветтен-капитану недосуг было выслушивать семейную историю фон Транзе.

— Вы немец?

— Скорее латыш. Мать — латышка православного вероисповедания, и все мы, дети, тоже были крещены по русскому обряду.

— За что вас арестовывали большевики?

— Сначала просто как офицера, то есть как заложника после убийства Урицкого. Потом я уехал к жене в Кострому. Но тут начался Ярославский мятеж. Заодно арестовали и меня.

— Где сейчас находится Николай?

— Я потерял с ним связь. Последнее письмо я получил от него со Шпицбергена. Он работал там на шахтах. Это было очень давно.

Фабриан Рунд протянул собеседнику портсигар. Чиркнул зажигалкой. Табачный дым слегка перебил гнусный запах переплетного клея. Из какой дохлатины они его варят?!

— Как вы думаете, господин фон Транзе, где могут храниться негативы вашего брата?



— Из экспедиции он привез кожаный футляр со стеклянными негативами. Часть снимков была сделана на целлулоидной пленке, и гибкие негативы хранились в альбоме со специальными таше. Николай очень дорожил этими негативами. Ведь он заснял почти все побережье от Берингова пролива до Таймыра... Футляр-фототека был из крокодиловой кожи, обшитой изнутри зеленым сафьяном, и запирался на ключик. Ему подарил его отец, когда Коля увлекся фотографией еще кадетом младшей роты в Морском корпусе... Простите, я отвлекся. Все ценные вещи, бумаги, дневники, в том числе и фототеку с альбомом, брат хранил в своей каюте...

— На ледоколе «Таймыр»?..

— Нет. После экспедиции он был назначен командиром эскадренного миноносца «Молодецкий». Там и хранил.

— Может быть, эсминец погиб, и все ушло на дно морское?

— Корабль не погиб. Зимой 1918 года Николай перегнал его из Гельсингфорса в Кронштадт. Шел через льды с большим некомплектом команды, но пригодился опыт ледовых плаваний на «Таймыре».

— Вы имеете в виду Ледовый переход Балтийского флота?

— Да, да. Брат тогда за личное мужество и спасение корабля получил благодарность чуть ли не от самого Троцкого. Но тот же Троцкий стал потом расстреливать балтийских офицеров. Всех, и меня в том числе, возмутила казнь адмирала Щастного, фактически спасшего Балтфлот от захвата, пардон, войсками кайзера. Брат не стал дожидаться своей очереди. Он, как тогда печально шутили, «не любил расстреливаться». Он ушел от большевиков. В одну штормовую ночь взял с собой красавицу-жену и на катере двинулся к шведским берегам. Это было отчаянное предприятие... Когда они все-таки добрались до Готланда, у жены в волосах появились седые пряди...

— Так, значит, негативы оказались в Швеции?!

— Не все так просто. В марте семнадцатого, когда служить на кораблях стало очень... как бы это сказать? Неуютно? Нет,



тревожно. Матросы убивали офицеров, грабили их каюты. Николай свез с эсминца все свое имущество, в том числе и футляр из крокодиловой кожи, в наше маленькое родовое имение под Лутой и отдал на хранение старшей сестре Юлии. Потом началась Гражданская война и Стефан служил у Юденича...

— Позвольте, кто такой Стефан?

— Это наш четвертый по старшинству брат. В мировую войну он был прапорщиком-артиллеристом... В общем, когда красные перешли в наступление, вся родня покинула дом и двинулась с отступающей армией в Эстонию. В Эстонии их приютил друг и сослуживец отца капитан 1-го ранга Клапье де Колонг. Вот в его имении они все и осели.

Эта бесконечная история уже начала раздражать Рунда, но терпение его было вознаграждено.

— Так, значит, вы полагаете, что архив вашего брата находится в Эстонии?

— Точно так.

— Но с Эстонией, с младшими братьями, я надеюсь, у вас не прервались связи?

— Не прервались. Вы можете написать письмо Стефану. Правда, сейчас он работает во Франции, на ковроткацкой фабрике в Тулузе. Сейчас поищу его адрес. Но я бы советовал связаться с нашими сестрами, которые живут в Таллинне: Еленой, Тамарой и Юлией. Возможно, у них даже кое-что осталось...

— Я бы попросил у вас фотографию Николая фон Транзе. Это нужно для публикации в нашем арктическом сборнике.

— Хорошо. Я дам вам его фото. Только оно очень раннее. 1905 год. Николай снялся сразу после выпуска.

СТАРОЕ ФОТО. Мичман в белом кителе, при кортике и золотой цепочке, перекинутой от второй пуговицы в нагрудный карман, безмятежно смотрит на фотографа. Девятнадцать лет. Чуть пухлое юношеское лицо, полоска темного пушка на верхней губе. Из-под обреза козырька черно-белой балтийской¹

¹ В Черноморском флоте фуражки были белыми — и верх, и околыш.



фуражки — умные глаза. Чуть грустные. Не оттого ли, что не успел ни в Цусиму, ни в Порт-Артур? Но впереди — льды полярных морей и огненные столбы германской, которую современники называли Великой или второй Отечественной войной...

Глава третья УЛЬТИМА ТУЛЕ

Москва. Август 1939 года

Эта беседа Молотова и Риббентропа не протоколировалась и велась с глазу на глаз, без помощи переводчиков, на русском языке. До революции они учились в одной гимназии.

Риббентроп: Господин Молотов! Германия вот-вот вступит в войну с исконным врагом вашей страны — Англией. Довольно будет вспомнить, что и Германия и Россия вместе пострадали от английского империализма в 18-м году. Не считаясь с союзническими узами, лондонские плутократы грабили беспомощное Советское государство как с севера, так и с юга. Вспомните, какой коварный удар нанесли англосаксы в 19-м году по Кронштадту.

Мы не вызываем к возмездию за не столь уж давнюю интервенцию, но просим отнестись с должным вниманием к той суровой борьбе, которую вновь ведет Германия с коварным Альбионом.

И если масонские силы стравили наши великие державы в 14-м году, у нас сегодня хватит разума, чтобы быть вместе перед лицом общего врага. Нашему флоту нужны передовые базы в Северной Атлантике. Мы просим вас разрешить заходы немецких кораблей в Мурманск для ремонта и пополнения запасов.

Молотов: Мы понимаем сложное положение германского флота в неизбежной войне с Англией и готовы помочь вам в решении проблем базирования и снабжения немецких кораблей. На наш взгляд, Мурманск недостаточно изолирован, чтобы скрыть заходы германских кораблей в Кольский залив. К тому же там очень мало подходящих причалов. Вместо Мурманска мы



предлагаем Германии на выбор две незамерзающие и хорошо укрытые бухты, в которые посторонние суда почти не заходят.

Это залив Териберка, в 30 милях к востоку от входа в Кольский залив, и Западная Лица в Мотовском заливе...

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Германский штаб руководства войной на море 11 октября 1939 г.

Военно-морскому атташе в СССР капитану цур зее барону Баумбаху

Главнокомандующий Военно-морским флотом Германии гросс-адмирал Редер поручает Вам незамедлительно установить, насколько подходят предложенные Советским правительством бухты Кольского полуострова (Западная Лица и Териберка) для базирования немецких судов.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Военно-морской атташе при германском посольстве СССР капитан цур зее барон Баумбах 20 октября 1939 года

На ваш запрос от 11.10.39 сообщаю:

Залив Териберка недостаточно защищен от непогоды и не совсем подходит для создания там передовой базы флота. Я полагаю также, что не следует рассчитывать и на предоставление германскому флоту портов Мурманск и Владивосток, исходя из следующих соображений:

1. Посещение немецкими военными кораблями Мурманска и Владивостока нельзя будет сохранить в тайне из-за присутствия в них судов других государств.

2. Ремонтировать корабли силами немецких рабочих на судовых верфях в этих портах нельзя будет по той же причине.

3. Советские власти хотели бы пойти навстречу и выполнить просьбу Германии, однако опасаются обвинений со стороны Англии и Франции в нарушении нейтралитета.

Самым подходящим местом для оборудования «Базис Норд» является, на мой взгляд, губа Западная Лица в Мотовском заливе, куда немецкие корабли могут заходить скрытно практически в любое время года, то есть и светлыми полярными ночами.



Таллин. Сентябрь 1939 года

Это был последний авиарейс мирного времени. В те утренние часы, когда пассажирский «дортне» катил по бетонке таллинского аэропорта, орудия линкора «Шлезвиг» утверждали право Третьего рейха на Силезию, Эльзас и Лотарингию, на новые границы и новый порядок в Европе. Обыватели всех стран, изучая за чашечкой кофе или кружкой пива газетные сводки, полагали, что вспыхнул всего-навсего очередной региональный конфликт. Но смерч небывалой войны уже закручивался над первыми руинами Варшавы. Кто знал тогда, что вихри его разойдутся кругами ада от африканских пустынь до ледяных полей Арктики?

Фаэтон с поднятым верхом неспешно кружил по улочкам Нижнего города. Мягко барабанил дождь по туго натянутой коже. Металлическое кнутовище, воткнутое на немецкий манер рядом с сиденьем возчика, гибко покачивалось, как антенна, и, может быть, в самом деле различало во взбудораженном эфире и радиокоманды пикировавших на Варшаву, Кутно, Лодзь «юнкерсов», и SOSы польских кораблей, погружавшихся в осенние воды Балтики.

Война набирала обороты.

Фабиан Рунд по своей флотской специальности был перво-классным радиоинженером. В абвере ему пришлось осваивать азы иного искусства. Как и всякого новичка, его снедало болезненное честолюбие, и он готов был прыгнуть на голову своей тени, лишь бы покончить с этим пустяковым в глазах шефа делом.

Подспудное чувство, обостренное дождливой тоской этого мрачноватого города, подсказывало ему, что в таком месте, где жизнь сбита в пласты уныния, не может случаться никаких приятных сюрпризов, как не может происходить вообще ничего радостного.

Немолодая, но миловидная женщина — Елена Александровна Транзе — отнеслась к визиту зарубежного «издателя» с полным пониманием. Пока грелась вода для кофе, она перево рошила все семейные альбомы, но ничего существенного для «будущей книги» отыскать не смогла.



— Тут дело вот как обстоит, — печально вздохнула она. — Вскоре после того, как Николай переправил из Гельсингфорса весь свой архив к нам в имение под Луту — это было летом семнадцатого, не то в июле, не то в августе, — приехала мать лейтенанта Жохова, офицера, погибшего в экспедиции. Жохов был очень дружен с Николаем, и она хотела узнать все подробности гибели сына, а также получить фото его могилы. Сестры передали ей очень много всяких бумаг. В то время вокруг уже было неспокойно. Кое-где поджигали усадьбы. И хотя наш дом был довольно беден, мы тоже опасались разгрома. Лута находилась в прифронтовой полосе, а с фронта бежали толпы дезертиров. Пьяные, они были способны на все. И мы понемногу пристраивали наши вещи, книги, бумаги — у отца тоже был немалый архив — по друзьям и соседям. Так что, возможно, гостя увезла и негативы...

— Она увезла их в Петербург?

— В Кострому. Жоховы были родом из Костромы. Там же жили и родители жены моего брата Александра, у которого вы были. Видимо, они и сообщили ей наш лужский адрес.

— Кострома — это где-то в Сибири?

— Нет. От Москвы верст двести на северо-восток. Большой старинный город на Волге...

Разумеется, Рунд не собирался отправляться из Эстонии в Россию. Для того чтобы выяснить судьбу неуловимой фотолоции, существовали другие каналы. Корветтен-капитан не питал на этот счет особых иллюзий, но неуклонно следовал золотому правилу разведчика: сомневаясь на каждом шагу, верить в успех операции, в ее конечную цель, в *ultima tute*.

Берлин. Октябрь 1939 года

В Берлине Фабиан Рунд обратился к шефу с официальным рапортом о разрешении подключить к своему делу специалистов из группы «Т». Эта группа была создана из людей, наделенных даром ясновидения и предсказания. Ее сотрудники жили в тщательно охраняемой вилле на берегу озера Ванзее. Своим



названием — «Туле» — она была обязана легенде о древнегреческом мореплавателе Пифее, который, достигнув холодных скал туманного Севера, возможно острова Шпицберген, воскликнул: «Ультима туле!» Ему казалось, что это была та последняя цель, тот предел Вселенной, который суждено достигнуть смертному человеку.

Патроном «Туле» был рейхсфюрер СС Гиммлер, а идейным вдохновителем — Рудольф Гесс. Содержались обитатели секретной виллы за счет бюджета войск СС.

Маги из группы «Туле» вырабатывали методику поиска судеб в астральном пространстве, не прибегая ни к каким точным наукам. Специалисты более узкого профиля, объединенные в организацию «Аненэрбе», изучали опыт китайских, вавилонских, египетских, персидских и тибетских магов-ясновидцев.

Рунд написал рапорт с обоснованием необходимости привлечения к его зашедшему в тупик делу людей из группы «Туле». Адмирал Канарис поддержал его просьбу.

Последнюю резолюцию на рапорте наложил сам рейхсфюрер СС Гиммлер: «Разрешаю».

В комнате с зашторенными наглухо окнами сидел спиной к двери почти неразличимый в полумраке человек. Рунд, чуть волнуясь, веря и не веря в дар ясновидца, коротко поведал о своих поисках.

— Кратко сформулируйте суть вопроса, — негромко, но властно потребовал человек из группы «Туле».

— Где находятся сейчас негативы Николая Транзе?

— У вас есть его фотография?

— Да.

Рунда предупредили перед визитом в «Туле», что понадобится портрет человека, чей «клад» он ищет.

Он протянул карточку мичмана фон Транзе. Человек, не оборачиваясь, взял ее и накрыл ладонью.

— Мне уйти? — спросил корветтен-капитан.



— Нет. Как давно был сделан снимок?

— Тридцать пять лет назад. В России. Скорее всего, в Кронштадте или Петербурге.

— Мне не нужна лишняя информация. Отвечайте только на поставленные вопросы.

— Яволь! — подтянулся Рунд.

— Это подлинник?

— К сожалению, копия.

— Где подлинник?

— Мне неизвестно.

Человек помолчал с минуту, потом резко откинулся на спинку кресла.

— Я не могу работать с таким материалом! Мне нужен подлинник.

Рунд дипломатично промолчал.

Человек снова наклонился к фотографии. Теперь он положил на нее обе ладони — одну поверх другой.

— Мне очень трудно работать с таким материалом, — произнес он уже не так раздраженно, и в душе Рунда затеплилась надежда.

— Шпицберген? — спросил сам себя ясновидец. И Рунд чуть не вскрикнул: «Да, да! Он работал на шахтах Шпицбергена!» Но, к счастью, сдержался.

— При чем здесь Дрезден? — рассердился сам на себя человек в кресле. — Это же север. Скорее Земля Франца-Иосифа, чем Гренландия, Меня ведет на запад, но это скорее всего Новая Земля... Мне очень трудно. Новая Земля? Да. Русская изба.. Тогда Новая Земля. Не могу. Забирайте к черту свою паршивую карточку! Я же предупреждал: я работаю только с подлинниками.

Рунд поспешно ретировался. «Ничего себе адрес! — скептически кривил он губы в машине. — Новая Земля, русская изба! Сколько их там, изб, на земле размером с Австрию, и каждая — русская... Насобирали шарлатанов. И каждый корчит из себя пророка. Да с таким снимком любой филер взялся бы за обычный розыск». Он еще раз взглянул на фото и не поверил глазам: на



конце цепочки, перекинутой в нагрудный карман, четко проступали часы. Часы сквозь ткань кармана! Пальцы ясновидца как бы допроявили фото. Нет, они из обычного снимка сделали нечто вроде рентгеновского... Может быть, это просто пятно? Но его раньше не было, да и цепочка, прикрытая тканью кармана, явственно продолжалась до самого ушка.

Рунд изумился еще больше, когда через две недели на стол ему легла дешифровка ответа военно-морского атташе из Москвы. Капитан 1-го ранга барон Баумбах сообщал:

«На ваш запрос от 8.10.1939 года. Источник "Ипсилон-5" (Y-5).

Интересующие вас документы были переданы родителями покойного лейтенанта Жохова его товарищу по Северной экспедиции бывшему старшему штурману ледокольного транспорта «Вайгач» старшему лейтенанту Н.И. Евгенову в 1919 году для написания научного отчета о результатах сквозного плавания из Владивостока в Архангельск.

Евгенов долгое время служил в Красном Флоте гидрографом, начальником экспедиций по обследованию сибирских рек. Последние годы был старшим морским начальником Севера в составе Гидрографического управления РККФ. В 1937 году, за год до своего ареста органами НКВД, Евгений передал на хранение все имевшиеся в его распоряжении материалы, а также написанный им научный отчет, ненецкому охотнику-промысловнику, с которым познакомился еще в 1912 году на Новой Земле во время своей службы на сторожевом судне "Бакан".

Евгенов был арестован 26 мая 1938 года и в настоящее время находится в одном из лагерей Коми АССР.

Предпринимаются меры к установлению имени охотника-ненца и его адреса».

Рунд, подавив в себе уязвленную гордость, испытал чувство, близкое к восхищению: источник Y-5 проделал филигранную работу! Правда, результат этого дотошного исследования был равен пока нулю. Найти безымянного охотника-ненца в тундре — все равно, что найти песчинку в океане...



Нетерпение, с каким Рунд ждал следующего донесения У-5, он переживал разве что в детстве, когда приключения в книге обрывались на самом интересном месте.

Кто он вообще, этот У-5?

Конечно, работать в Союзе стало намного легче. Особенно когда большевики разрешили немцам почти массовый въезд для поиска могил родственников, погибших на Восточном фронте. У-5 вполне мог прибыть с этой волной и в Кострому, и в любой другой тыловой город, где размещались лагеря и госпитали для немецких военнопленных. Но скорее всего, он мог быть давно завербован и надежно внедрен в «гидрографию» Красного Флота. Не исключено, что У-5 — один из тех остзейских немцев, что приняли участие в экспедиции Вилькицкого.

«В дополнение к донесению № 647/39.

По уточненным данным, Евгенов передал документы Жохова через знакомого охотника-ненца начальнику радиостанции Д. Петрову в фактории Ягельное на Новой Земле. В 1914 году Петров в качестве радиста на норвежском судне «Эклипс» принимал участие в спасении экспедиции Вилькицкого. В настоящее время Петров также репрессирован и находится в концлагере на острове Вайгач. Интересующие вас документы, по всей вероятности, хранятся в Ягельной губе. Проникнуть туда не представляется возможным, ввиду того что фактория и радиостанция в ней закрыты.

У-5».

Глава четвертая АРКТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Берлин. Осень 1939 года

Ошеломительно простая мысль пришла Рунду где-то на полпути со службы домой. Если бы он не держал руль своего «опель-кадета», непременно хлопнул бы себя по лбу: «Голова!»

Фабиан тут же свернул на набережную, ведущую к дому Новопашенного. Кто, как не он, бывший командир лейтенанта



Жохова, мог рассказать о человеке, чье имя стало ключом к фотосокровищу Николая фон Транзе?

Новопашенного дома не оказалось. Соседи назвали бирштуббе — пивной подвальчик, где его можно было найти в этот час. И не ошиблись.

Рунд изобразил радость нечаянной встречи и заказал две кружки пива и два стаканчика можжевельниковой водки.

— Жохов? — Старик развеял рукой зависшее над столиком облако табачного дыма. — Был такой... Помню...

Алексей Николаевич. Поэт наш... Он шел на «Таймыре» вахтенным начальником. Это в первую экспедицию. Потом, это уже в 14-м, во второй наш поход, пошел он старшим офицером «Таймыра» и одновременно помощником начальника экспедиции Вилькицкого. Ко мне на «Вайгач» его перевели в августе, и не по доброй воле. Хуже некуда, когда друзья-ровесники один под начало другого попадают. Они с Вилькицким в Петербурге на одних балах кружились. Но одно дело в столичных салонах мушкетерствовать, другое — полярную ночь зимовать нос к носу... Тут приятельство порой, как торосы, ломает... У Бориса-то служба хорошо шла, вверх и гладко. Папа — генерал, начальник всей гидрографии. Но надо сказать, Андрей Ипполитыч сыну не потакал. И экспедицию Борис возглавил лишь после двух чрезвычайных обстоятельств: смерти отца и тяжелой болезни начальника экспедиции генерал-майора корпуса военных гидрографов Сергеева. Тяжелый был человек Сергеев. Он в наше тайвайское сообщество не вписался.

— Как вы сказали? Тайвайское? — переспросил, Рунд.

— Тай-вай-ское, — по складам повторил Новопашенный. — По первым слогам «Таймыра» и «Вайгача»... Борис еще хотел так открытую землю назвать: Тайвай. Но окрестили ее Землей Императора Николая II, в честь трехсотлетия дома Романовых. Большевики переименовали, конечно. Сейчас она на совдеповских картах как Северная Земля записана. Северная, и все тут... Мало ли у нас северных земель? За Полярным кругом хоть каждый остров «Северным» зови... Вы уж простите брызгу старого... Опять с курса сбился.



Так вот, не пришлось нам ко двору генерал Сергеев. Кают-компания у нас была молодежная. Я в свои тридцать два и то стариком считался. А Вилькицкий с Жоховым, те и вовсе «козе-роги»: на четыре года младше меня были.

Я у Жохова, в их младшей кадетской роте, фельдфебелем был. Он на меня эпиграмму написал:

Фельдфебель наш рожден был хватом:

Кадет? — хватать.

Но это — фатум.

Ни сном ни духом, конечно, не ведал он, что мне придется ему глаза закрывать... Н-да... Морской круг, он очень тесен. Семья. Безо всяких аллегорий... А уж такой поход, как наш, сибирский, на одной военной дисциплине не сломаешь. Тут нужно было особое товарищество, основанное не на субординации, а на братстве людей, знающих, для чего они здесь, зачем пришли сюда, в ледяную погибель.

Общность судьбы, цели и риска — это, я вам скажу, такой сплав — на всю жизнь людей вяжет...

Ну и вот, Борис Андреевич Вилькицкий, Бобочка, как мы его называли, в свои двадцать восемь лет уже капитан второго ранга и начальник такой серьезной экспедиции, как наша. Жохов — всего лишь старлей и помощник.

Бобочка-то Бобочкой, но офицер лихой был, храбрый. Хотя и не очень везучий. В Порт-Артуре вызвался подводной лодкой командовать. Одно слово, что лодка. Гроб подводный, из подручного железа склепанный, а он на нем собирался на внешний рейд выходить, мины ставить. Слава Богу, что до этого не дошло... В атаки штыковые на японца ходил. Грудь навывлет прострелили. А потом Морскую академию закончил. Вот он в чине приятеля и обошел...

Рунд поймал себя на том, что слушает старика с живым интересом, хотя почти все, что он рассказывал, было очень далеко от сути порученного ему дела. Но он знал и «серебряное» правило



разведчика: дай человеку выговориться, и тот сам скажет то, что тебе нужно.

Кельнер уже дважды менял кружки с пивом.

— Однако и Жохов был не лыком шит. Правнук нашей российской знаменитости — адмирала Невельского, племянник адмирала Жохова. Ну и характер тоже не сахар, даром что поэт... Он ведь на Сибирскую флотилию с Балтики под фанфары загремел. Что уж у него там в Либаве произошло, точно не скажу. Слышал, что повздорил на линкоре — он на «Андрее Первозванном» служил — со старшим офицером. Вроде бы тот унтера несправедливо цукнул, ну и наш флотский Лермонтов вызвался... Кончилось тем, что обоих с линкора списали. Ну и махнул Алексей Николаевич к нам, искать забвения, коль уж не в долинах Дагестана, так в ледяных полях Арктики, на «Таймыре». Ну и горор, конечно: после линкора — да на транспорт... Тут у него все в одну точку сошлось — и служебный курбет, и любовный фронт... Выбрал он в невесты кузину, а отец ее, адмирал Жохов, воспротивился. Так вот и отправился на край света с разбитым сердцем. Врачевал его стихами да холодом.

В поход 13-го года фортуна нам всем улыбнулась. Открытия как из лукошка посыпались.

Вот вы, географический издатель, можете себе представить, что всего каких-то двадцать пять лет назад карта на север от Таймыра, — Новопашенный пальцем изобразил на мокром столике абрис полуострова, — являла собой чистый лист бумаги? Именно с такой картой 1912 года мы и уходили в тот рейс. Белая бумага. А ведь там простиралась земля размером с Голландию! И никто об этом не знал... Когда мы ее открыли, Вилькицкий написал приказ слогом Жохова. Поэма, а не приказ...

И Новопашенный стал читать его, как читают белые стихи:

В поисках Великого Северного пути
Из Тихого океана в Атлантический
Нам удалось достигнуть мест,
Где еще не бывал человек.



Мы открыли земли,
О которых еще никто и не думал.
Что вода на север от мыса Челюскин
Не широкий океан,
Как думали раньше,
А узкий пролив.

— Браво! — зааплодировал Рунд, поощряя старика с повлажневшими глазами.

— Тот пролив, как вы уже и сами изволили догадаться, носит имя Бориса Вилькицкого. Красные географы подчистили с карты слово «Борис», а у острова генерала Вилькицкого, отца Бориса, слово «генерал». И получилось так, будто и пролив, и остров названы в честь некоего абстрактного Вилькицкого. Ни отца, ни сына. Они эти фокусы умели делать. Остров цесаревича Алексея в Малый Таймыр перерекли. Остров Колчака — в Расторгуева. Ну, тут понятно, адмирал им как кость в горле... Я, кстати, у Александра Васильевича «Вайгач» принимал. Он первым его командиром был. Вот так-то, господин хороший! Ну, мой остров, остров Новопапенного, тоже в 26-м году переименовали. Не ложится на совдеповскую карту имя белого эмигранта. Не подумайте, что в обиде на них за «свой» остров. Его как раз толково переименовали — в остров Жохова¹. Как-никак, а Алексей Николаевич два острова лично открыл...

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «В ночь на 20 августа (1913 года. — Н.Ч.), — помечал в путевых записях врач «Таймыра» Л.М. Старокадомский, — вахтенным начальником на «Таймыре» был лейтенант А.Н. Жохов. В 5-м часу утра он заметил впереди и несколько левее курса небольшой, высокий и обрывистый остров и немедленно сообщил об этом начальнику экспедиции. Не прошло и трех минут, как весь экипаж был на ногах. Из кают

¹ Именем Жохова названо в 1978 году озеро в низовьях реки Кельха (Красноярский край), где Алексей Жохов производил свою последнюю съемку.



и кубрика, одеваясь на ходу, выскакивали на палубу офицеры и матросы, чтобы собственными глазами убедиться в существовании обнаруженного Жоховым острова.

— Так из-за чего же они поссорились, Жохов с Вилькицким? — не выдержал наконец Рунд.

Трудно сказать, в чем коренилась истинная причина их раздора. В любой экспедиции, особенно в затянувшейся, конфликты не редкость. Ведь и от Седова ушел штурман Альбанов, и у Русанова был раскол... Два медведя в одной берлоге не живут. А тут две такие натуры.

Повод нашелся. Где-то в конце июля четырнадцатого года мы покидали рейд Анадыря. Я вывел «Вайгач» в бухту, а «Таймыр» все еще возился с якорями. Вахтенный начальник неправильно стал фертоинг¹, якорные канаты за ночь перекрутило так, что хоть топором руби. И обрубил бы — каждый день дорог, вся навигация с гулькин нос, — да запасных якорей не было. Сутки провозились, пока расцепились. Потерять ходовые сутки ни за понюшку табаку! Я Вилькицкого понимаю. Всем обидно было: и мне, и последнему кочегару. На прорыв в Европу идем, а тут сутки елозим, можно сказать, на старте, еще не войдя во льды... Жохов, как старший офицер, недосмотрел, конечно, хоть и не его прямая вина была. Ну, Борис Андреевич в сердцах с должности его снял и ко мне на «Вайгач» турнул, в вахтенные начальники. А у меня забрал к себе старшего — Николая Транзе, закадычного жоховского дружка-однокашника. Для гордой души поэта это был удар. Не приведи господь зимовать во льдах с поникшим духом... Да, впрочем, мы и не собирались зимовать. Приказ был срочно пробиваться в Архангельск и всю науку ввиду военного времени отложить до лучших дней. Нам везло и с погодой, и со льдами. Можно сказать, на фукса проскочили Чукотское море, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. Оставалось миновать Карское, а там и до Архангельска рукой подать.

¹ Становиться фертоинг (морской термин) — способ постановки судна на два якоря.



Господи, как мы рвались домой, на запад! Четыре года в сибирских морях... И вдруг, как драгоценный приз, — обнять любимых, встретить Рождество в семейном кругу... Каждое утро поднимаешься с мыслью: «Льды! Где они? Не перекроют ли путь?» Каждый вечер с молитвой: «Господи, не засти нам путь льдами». Каждую вахту первый вопрос сигнальщику: «Как льды?» Считали дни, мили, тонны паршивого угля.

Кончалось лето, а мы уже оставили за кормой добрых две трети пути. Почти никто не сомневался — прорвемся. Осталось только Карское... И вот тут-то и влипли. Пролив Вилькицкого нас и не пустил. Даром что имя ему свое Борис Андреевич дал. Пролив от мыса Челюскина до Земли Императора был намертво забит сплошными ледяными полями. Отчаяние, ярость, уныние — все было на наших лицах. Вилькицкий ринулся на таран. Впервые за всю экспедицию мы крушили льды своими форштевнями, скулами, бортами. Впервые мы шли, как ледоколы. Грохот льда и скрежет железа наполняли «Вайгач» от трюмов до мостика. Корпус трясло, как на бульжной мостовой. Но заклепки держали.

Мы почти пробились сквозь пролив, а «Таймыр» на самом выходе попал в такие тиски, что затрещал корпус, ледяная глыба вперилась под ватерлинию, как нож под ребра. В левом борту образовалась вмятина, которая в любую минуту была готова превратиться в пробоину. Пострадал и мой «Вайгач»: срубились лопасть винта, оборвался штуртрос. Судно трясло как в лихорадке. Мне доложили, что в трюмах появилась течь. Нечего было и думать о прорыве на запад. К середине сентября нас окончательно затерло льдами, и мы зазимовали. Ближайшим берегом было западное побережье Таймыра. Около сотни миль до него. Плохо еще и то, что «Таймыр» вмерз от нас аж за 16 миль и общались мы только искровым способом по радиотелеграфу.

Но что делать? Зазимовали. И на зимовку особый настрой души нужен. Мы же уже видели себя дома, а тут еще год из жизни вычеркивать! Год... Тогда мы не знали, проживем ли неделю. Льды сдвигались, металл стонал, того и гляди придется высаживаться на лед.



Нас ожидало то, что случилось недавно с большевистским пароходом «Челюскин». Но у них было «дальнобойное» радио. И самолеты. Они могли стоять лагерем и ждать помощи. Мы же в случае гибели судов должны были пуститься в тысячеверстный путь на запад. Не многие бы дошли... Нас ждали в конце сентября. Но мы ничего не могли сообщить о себе на Большую землю. И родным предстояло гадать, живы мы или разделили судьбу русановской «Анны» с брусиловским «Геркулесом». Для всего мира мы пропадали без вести на год. И сознавать это было мучительно. И отчаяние и черная меланхолия вползали в слабые души при одной только мысли, что крик наш о помощи не долетит отсюда до человеческого уха. И вдруг...

И вдруг радиотелеграфист докладывает мне: «Ваше высокоблагородие, слышу работу передатчика».

— Да это «Таймыр» вызывает.

— Никак нет. Чужие позывные.

— Тут, кроме нас, на тысячу верст не то что передатчика, души живой нет. Иди слушай. — И сам к нему в рубку.

Разобрали морзянку. «Эклипс». Поисковое судно. Капитан — Отто Свердруп, тот самый, что на нансеновском «Фраме» капитанил. Цель плавания — розыск пропавших без вести «Святой Анны» и «Геркулеса». Искали Русанова с Брусиловым, а нашли нас.

Вилькицкий запросил: «Где вы? Укажите свое место». Бросились к карте — «Эклипс» от нас в 220 милях. Объяснили свое печальное положение. Свердруп ответил: «Иду на помощь».

С души будто глыба льда свалилась. Самое главное — судовое радио «Эклипса» хоть и маломощное, но держало связь с Югорским Шаром. И оттуда по цепочке сообщили в Питер, что с нами, и где мы. И все знают: живы. Покамест живы...

Ждем Свердрупа, как мессию.

А Свердруп тоже встал. Вмерз от нас в 280 километрах. Так втроем и зазимовали. И что самое препоганое — «Эклипс» потерял связь с Центром. Далеко ушел. Меж собой переговариваемся, а что толку? Но у них там, на «Эклипсе», радист-чудодей был, король эфира — Петров Дмитрий Иванович.



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Дмитрий Иванович Петров, 1886 года рождения. Из крестьян Тамбовской губернии. Матросом учился в Кронштадтском учебном минном отряде на радиотелеграфиста. После службы окончил курсы Главного управления почт и телеграфов. Получил назначение на Север и в 1910 году прибыл на строящуюся радиостанцию в Югорском Шаре.

Отто Свердруп выбрал на свой спасатель именно его. Лучшего радиотелеграфиста в русской Арктике не было. Вот он-то и связывал нас с Большой землей, пока мы не выбрались...

— У него были жена, дети?

— Наверняка нет. Как и все истинные полярники, он был убежденным холостяком.

Рунд посмотрел на часы: беседа затянулась.

— Вам приходилось бывать на Новой Земле? — спросил он.

— Случалось... — вздохнул Новопашенный.

— Наверное, туда очень трудно добраться?

— Непросто... Зимой — на санях из Амдермы. Летом — пароходом из Архангельска... Уж не собираетесь ли вы туда на экскурсию? — засмеялся старик.

— Туда бы я предпочел отправиться только вместе с вами, — серьезно ответил Рунд.

— Нет уж, увольте. Я свое и отжимовал, и отплавал. Пора на мертвые якоря становиться, ниже земной ватерлинии...

Бывший каперанг долго протирает стекла пенсне. Так трут линзы морских биноклей — кусочком замши.

Глава пятая

ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО МЫСА

Архангельск. 1937 год

Следователь областного отдела НКВД допрашивал сумрачного, заросшего черной с проседью бородой, сухощавого моряка. Нашивки с рукавов кителя были спороты, но фуражку, которую



мля в руках подследственный, еще украшал питый «краб» с голубым флажком Главсевморпути.

Следователь: Назовите себя.

Арестованный: Петров Дмитрий Иванович.

Следователь: Это ваша фамилия?

Арестованный: Чья же еще?

Следователь: Сегодня вы Петров, завтра Иванов, а вчера Смирнов... Слишком простая у вас фамилия.

Петров: Какая есть...

Следователь: Итак, где и когда вы вступили в связь с врагом народа Евгеновым?

Петров: Это как мы познакомились, что ль? С самого начала?

Следователь: С самого начала.

Петров: В 1910 году на Новой Земле. Я служил в Югорском Шаре начальником радиостанции. Из Либавы пришло сторожевое судно «Бакан» — для охраны русских промыслов. Штурманом на «Бакане» был мичман Евгенов. Мы были почти что погодки. Я уже северил год, а ему все в новинку. Так вот и подружились...

Следователь: Почему вы скрыли, что служили в белой армии?

Петров: Я не служил в белой армии.

Следователь: Врешь, сволочь! Учти, всякий раз, когда ты будешь врать, я буду звать тебя на «ты» и «сволочью». Итак, за что тебя, сволочь, архангельское правительство в лице белого генерала Миллера наградило чином подпоручика?

Петров: Ни за что. Просто подошел срок производства в следующий чин, и Борис Андреевич Вилькицкий написал на меня представление на подпоручика по Адмиралтейству. Да я и не гнался за чинами. Какая там карьера — подпоручик в тридцать лет.

Следователь: Предположим. В каких боях, походах, операциях белой армии вы участвовали?

Петров: Ни в каких боях и операциях я не участвовал.

Следователь: И снова врешь, сволочь. Вспомни 1919 год. Куда и зачем вы направлялись со своим Борисом Андреевичем?



Петров: Мы шли в устье Оби для промерных работ...

Следователь: А то, что за вами следовали английский и шведский пароходы с оружием для Колчака, — это не военная операция?!

Петров: Я был в спецотряде Константина Константиновича Неупокоева. Мы выполняли чисто гидрографические задачи. По нашим картам и сейчас суда ходят. И Вилькицкий в советское время караваны водил.

Следователь: Что входило лично в вашу задачу? Ведь вы же не гидрограф.

Петров: Я должен был выбирать места для будущих более мощных радиостанций. Адмирал Колчак считал необходимым создать такую цепь от устьев сибирских рек до побережья Белого моря.

Следователь: Значит, вы выполняли задание адмирала Колчака?

Петров: При правительстве Колчака был создан Комитет Северного морского пути. Мы работали по его плану...

Следователь: ...Утвержденному Колчаком!

Петров: В итоге так. Но ведь и большевики строят порт в устье Енисея по тому же плану¹.

Следователь: Вы даже здесь умудряетесь заниматься контрреволюционной пропагандой! Отвечать только по существу! Нам известно, что в царское время вы служили в разведывательных органах. Какого характера работу вы выполняли?

Петров: Я служил в службе связи и наблюдения Балтийского флота. Сначала простым радиотелеграфистом, а потом меня взяли в центр радиоразведки под Ревелем. В мою задачу входило перехватывать донесения немецких кораблей и передавать их на расшифровку.

Следователь: Значит, вы владеете немецким языком?

Петров: Да какое там!.. Так, с пятого на десятое...

Следователь: Ну а со Свердловом вы на каком языке общались? На норвежском?

¹ Порт Усть-Енисейск (ныне Дудинка) был заложен еще в 1917 г. Колчак в 1919-м продолжил строительство.



Петров: Он и по-русски меня понимал.

Следователь: А в каком году он предложил работать вам на норвежскую разведку? В пятнадцатом или двадцатом?

Петров: Да не было такого! Вот вам крест святой!

Следователь: Кстати, о святом кресте... Есть сигналы — вот тут у меня подшиты, — что вы отправляли религиозные обряды в Амдерме и на Новой Земле. Вы что, сектант, что ли?

Петров: В двадцать третьем году я ушел в Соловецкий монастырь и был там рукоположен в сан иподьякона. Когда монастырь закрыли, ушел в Архангельск. Был безработным. Потом Евгенов пригласил меня на службу радистом, и я согласился. Ушел в катакомбную церковь.

Следователь: Но религиозные обряды отправляли?

Петров: Да. Иногда приглашали проводить в последний путь умершего. Отпевал. На оленях приезжали. Как откажешь?

Следователь: Подпишите протокол. На каждой странице... Н-да. Белый офицер... Служитель культа... И все без регистрации... Да еще шпионаж в пользу Норвегии. Все ваши преступления, ваше благородие, виноват, ваше преосвященство, или как вас там титуловать прикажете, пожалуй, на всю катушку потянут, если честно не признаетесь... Чему это ты улыбаешься?!

Петров отвел взгляд от портрета Дзержинского.

— А ведь вы под портретом Мефистофеля сидите... Как же я сразу не догадался!.. Сатана, вылитый сатана...

— Тэ-экс... — протянул следователь. — Это святотатство тебе тоже зачтется, сволочь... Увести!

Отбывать свой двадцатилетний срок Петрова отправили в лагерный пункт на острове Вайгач.

Поселок Черский (бывш. Нижние Кресты).

Июнь 1974 года

В тот год газетные дела забросили меня в низовье Колымы. Поселок Черский стоит на высоком (правом) берегу Колымы, склоны, овраги и обрывы которого завалены пустыми железными бочками, собачьими трупами, обломками самолетов.



Трубы тепло- и водомогастралей, как и всюду в заполярных городках, змеятся поверх улиц. Трубы забраны в бетонные короба, засыпаны опилками, сверху настланы доски — вот и тротуар. Как в песне: «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы...»

В одно из летних воскресений я отправился на катере в небольшую факторию в устье Колымы. Катер должен был забрать недельный улов рыболовецкой артели, а я напросился в рейс, чтобы посмотреть берега печально знаменитой и все же величавой реки. Там, при впадении в Восточно-Сибирское море, Колыма разливается на километры. Туда прилетают из Афганистана черные лебеди...

Несмотря на разгар лета, по берегам то тут, то там лежали очажки снега, серого, как известь. А в самом устье и вовсе дохнуло холодом ледяных полей, дрейфовавших за горизонтом — неподалеку.

Артель из трех человек располагалась в бывшей караулке заброшенного лагеря. Местечко называлось Зеленый Мыс, хотя никакая особая зелень, кроме скудной тундровой растительности, глаз здесь не радовала.

Пейзаж, и без того унылый, уродовали столбы с обрывками колючей проволоки, покосившиеся караульные вышки, бескрышные бараки... Из развалин какого-то строения за мной внимательно следили глаза стаи одичавших собак, как мне потом объяснили рыбаки, потомков лагерных овчарок, брошенных здесь после ликвидации зоны и смешавшихся с волками.

Под кручей берега ржавела на осушке старая самоходная баржа с зарешеченными иллюминаторами.

Низкое незакатное солнце полярного дня смотрело на остатки лагеря с другого — дальнего берега Колымы. Такой пристальный, тихий свет, не пуганный ничьей тенью, бывает разве что на леших полянах да проклятых становищах, где творилось когда-то нечто страшное, и теперь даже птицы облетают их стороной. Безрадостен на таких местах солнечный свет, и чем ярче он, чем виднее под ним земля, бетон, трава, тем тревожнее на



душе. Казалось, здесь и ночи-то не бывает потому, что солнечные лучи цепенит некая злая прошлая тайна.

Еще не зная, что к чему, я спустился к рыбакам, взял из своей сумки фотоаппарат и стал снимать зловещие картины. Я фотографировал с тем ощущением, с каким, быть может, следователь запечатлевает на пленку место преступления. Впрочем, тогда я и понятия не имел, что тут было на самом деле...

Без малого пятнадцать лет снимки эти пролежали в моем столе, пока однажды дела не привели меня в Петрозаводск. Здесь, на берегу Онежского озера, жил отставной капитан дальнего плавания Сергей Иванович Кожевников. Совершенно случайно в разговоре зашла речь о Колыме. Вот тут-то и приоткрылась зловещая тайна Зеленого Мыса. Я попытался записать рассказ Кожевникова на диктофон, но сели батарейки. И тогда я попросил Кожевникова написать мне подробное письмо, что он вскоре и сделал.

Вот оно: «Среди многих и многих, кто подвергся репрессиям тридцатых годов, был и я. В 1936 году меня, штурмана подводной лодки “Красногвардеец” Северного флота, арестовали и по статье 58 п. 10 УК РСФСР осудили на 5 лет, которые я отбывал в лагерях на Колыме. В тех краях я провел 13 лет, до 1949 года.

В 1938 году в лагере поселка Зверьянка я познакомился и близко сошелся тоже с бывшим моряком Аркадием Петровичем Смирновым. Прошло несколько месяцев нашей дружбы, когда в откровенном разговоре, с глазу на глаз, он рассказал мне подробности страшной истории, случившейся зимой 1937 года в лагпункте на Зеленом Мысе. В общих чертах об этих событиях я, как и многие заключенные лагерных пунктов, расположенных на берегах Колымы, знал тогда, когда эти события произошли, то есть в ноябре месяце 1937 года.

Кресты Колымские, ныне этот поселок называется Черский, в честь известного ученого-геолога и географа Ивана Дементьевича Черского (1845—1892), исследователя Восточной Сибири.

Сейчас, в наше время, пожалуй, мало кто знает о том, какие кровавые события разыгрались близ Крестов Колымских поздней



осенью 1937 года, так как единственный уцелевший свидетель этих событий — Аркадий Петрович Смирнов в 1956 году покончил жизнь самоубийством.

Особое ужесточение режима в колымских лагерях началось осенью 1937 года.

После снятия с должности и ареста начальника “Дальстроя” Э.П. Берзина большое число вольнонаемных работников, занимавших более или менее значительные должности в системе “Дальстроя”, были также репрессированы — получили сроки или были расстреляны. Но особо жестокой расправе подверглись уже отбывающие свой срок политические заключенные, коснулось это главным образом бывших членов партии, осужденных после убийства Кирова и обвиненных в принадлежности к троцкистско-зиновьевской оппозиции.

Обвинение их в принадлежности к оппозиции основывалось на том, что их фамилии были в списках “воздержавшихся” при общепартийном голосовании в 1927 году (за точность даты не ручаюсь, так как сам был беспартийным). Это голосование проводилось так: каждый член партии на собрании своей парторганизации должен был подойти к столу президиума собрания и проголосовать, вписав свою фамилию в один из трех списков: первый — “За генеральную линию” (считай, за сталинскую линию), второй список — “За линию оппозиции” (линию Зиновьева—Каменева) и третий список — “Воздержавшиеся”.

Подлость этого “демократического и свободного” голосования заключалась в том, что эти списки сразу после голосования попадали в ОГПУ. Вот этими списками и воспользовалось НКВД после убийства Кирова.

Раньше всех, и еще до убийства Кирова, были арестованы и осуждены голосовавшие за линию оппозиции, а после убийства арестовали всех по списку “воздержавшихся” и так называемых раскаявшихся и отошедших от платформы Зиновьева—Каменева.

¹ Все лагеря Колымы и Магаданской области, осваивавшие богатства этого края, входили в систему «Дальстроя» НКВД СССР.



Всех оппозиционеров по этим спискам судили Особые совещания, или, как их еще называли, тройки, которые, не ссылаясь на УК (уголовный кодекс), указывали в приговоре формулировки: КРТА (контрреволюционная троцкистская деятельность), просто КРД или ГВШ (подозрение в шпионаже). Людям по списку “воздержавшихся” в то время, в 1935 году, давали, как выражались в лагерях, “детские сроки” — 3—5 лет, и у многих из них они оканчивались в 1937—1938 гг.

Для “исправления” этого положения в Магадан был направлен из Москвы полковник НКВД Гаранин с неограниченными полномочиями. Ему препоручалось организовать ликвидацию (расстрелы) заключенных, бывших членов партии, осужденных по формулировкам КРТА и КРД. Разумеется, нам, заключенным, Гаранин своих полномочий не предъявлял, и мы судили о них по тому, чему были свидетелями.

Вскоре после его появления в Магадане распространились слухи о том, что был расстрелян или просто застрелен самим Гараниным бывший начальник Ленинградского областного управления НКВД Медведь, который занимал эту должность в то время, когда в 1934 году был убит Киров, и который, как я думаю, был единственным еще оставшимся в живых из неудобных и опасных свидетелей, знавших тайну этого убийства.

В 1937 году Медведь не являлся заключенным, а был начальником Юго-Западного горнопромышленного управления (ЮЗГПУ). Весть о расстреле Медведя и многих других вольнонаемных работников “Дальстроя” быстро распространилась по лагпунктам Магадана и Колымы. Эти расстрелы и репрессии не скрывались, а, напротив, широко рекламировались, к тому же они придавали вес обвинению Берзина в обширном “антиправительственном заговоре”. Для этой цели было спровоцировано восстание заключенных в лагпункте на Зеленом Мысе, близ Крестов Колымских.

Маленькая лагерная командировка на Зеленом Мысе была рыбалкой ТЗК (торгово-заготовительной конторы), и в обычное время содержалось на ней 6—8 заключенных при одном



охраннике. В лагерной самодеятельности, в лагерном фольклоре бытовала тогда песенка: “На рыбалке ТЗК тянут сети два зека...” По тем временам такое место было мечтой для каждого заключенного, но попадали туда только по особому благу, и, конечно, не политические заключенные, а так называемые бытовики или уголовники.

И вот перед самым ледоставом в 1937 году на эту маленькую командировку, которая и функционировала только в летнее время, прибыл этап в двести заключенных, и все только по политическим статьям; в качестве охраны их сопровождали семь стрелков во главе с командиром. На палубу доставившей их баржи или понтона был погружен немудреный стройматериал для сооружения барака и караула. Как оказалось позже, на барже был и другой груз, а именно: двести боевых винчестеров и патроны к ним, ящик ручных гранат и несколько ящиков взрывчатки. Об этом грузе боезапаса этапу не было известно.

Когда река Колыма окончательно стала и местечко Зеленый Мыс оказалось как бы отрезанным от всего мира, командир группы охраны созвал на митинг всех заключенных и в пространной речи обрисовал их безвыходное положение, как приговоренных к неизбежной смерти, а себя — как их единомышленника, руководителя восстания и дальнейшего общего побега в Америку. После этого неожиданного и бурного митинга он предложил каждому взять винчестер и патроны к нему. Был провозглашен лозунг: “Кто не с нами, тот против нас”; кто откажется взять оружие, тот должен быть изолирован, как возможный враг, заперт в особом помещении и находится под охраной.

После некоторого колебания среди заключенных таких не оказалось, а из стрелков двое отказались примкнуть к восстанию и предполагаемому побегу: то ли они не были посвящены в эту провокацию, то ли так было задумано по “сценарию”, но их заперли в отдельном помещении и держали под охраной.

Человеку, не побывавшему в тогдашних так называемых исправительных лагерях, и современному молодому человеку вряд ли удастся понять, как могли взрослые и неглупые люди



пойти на такую, казалось бы, явную провокацию. Это была именно провокация, о чем говорили некоторые заключенные на митинге. Но заключенным, ожидавшим смерти, даже эта провокация давала слабую, как им казалось, надежду вырваться на свободу.

Дальше события развивались так: организатор-провокатор предложил силой захватить оружие, нужное количество продовольствия в магазине Крестов Колымских, на факториях Нижне-Колымска конфисковать у якутов нарты с собачьими упряжками и двинуться через тундру к мысу Дежнева и дальше на Аляску. Может быть, не все заключенные ясно представляли себе географию этого края, но план и маршрут побега были безумные и невыполнимые: преодолеть более чем тысячекилометровый путь по холодной и безжизненной в зимнее время тундре — это заговор обреченных. Тем не менее провокационное начало было положено, а организаторам именно это и было нужно.

В ноябре вооруженные отряды заключенных с антисоветскими плакатами вышли на демонстрацию в Крестах Колымских и в Нижне-Колымске, реквизировали на фактории и в магазине какое-то количество продовольствия и сколько-то собачьих упряжек, после чего вернулись к себе в лагерь и стали ждать благоприятной погоды для выступления в этот безумный поход.

Конечно, всем этим руководил командир отделения охраны — провокатор из Магадана. Управление НКВД в Магадане не торопилось с ликвидацией этого восстания, там знали, что никуда заключенные с Зеленого Мыса не уйдут, а в лагере “повстанцев” тем временем, на всякий случай и чтобы не терять времени даром, сделали подобие оборонительного рубежа: заложили в разных местах на подходе к барaku самодельные фугаски из взрывчатки, провели от них провода к индукторам.

В последних числах ноября, а может быть в начале декабря, 1937 года в Нижних Крестах на лед Колымы сели самолеты из Магадана. Они доставили небольшой отряд войск НКВД, вооруженный винтовками и пулеметами. Руководители операции организовали и вооружили винтовками отряд из местного



населения — якутов. После этих приготовлений лагерь на Зеленом Мысе был надежно блокирован и хорошо простреливался из пулеметов.

Оперативник из Зырянского райотдела НКВД Титаренко (я позже видел его в Зырянке и знал в лицо) явился в лагерь как парламентар с предложением, а вернее, с ультиматумом — в короткий и указанный им срок вынести все оружие за пределы лагеря и сдаться. При условии выполнения ультиматума Титаренко от имени магаданского начальства обещал полное прощение восставшим, что означало: у кого какой срок заключения был, такой и останется, а наказание понесут только организаторы восстания, то есть стрелки охраны и их командир. В случае отказа повстанцев выполнить в срок предъявленные требования будет открыт огонь из пулеметов по бараку. Все это было объявлено перед всеми восставшими на митинге в бараке, куда Титаренко привели, завязав ему глаза при проходе через “оборонительный рубеж”. Точно так же после предъявления ультиматума он был выведен за пределы лагеря, где ему развязали глаза и вернули пистолет.

После ухода “парламентера” митинг еще какое-то время продолжался. Раздавались голоса, что парламентару верить нельзя, а руководитель восстания предлагал оказать вооруженное сопротивление. Конечно, Титаренко мало кто поверил, но в том безвыходном положении, как всегда в подобных случаях, у многих теплилась надежда: пусть добавят срок, но ведь жизнь-то сохраняют! Никто не хотел думать о скорой расправе.

К указанному сроку все двести винчестеров были вынесены за “рубеж обороны”, заложенные футасы удалены, и все это было сложено в установленном месте.

После пересчета сложенного оружия отряд войск НКВД вошел в зону лагеря, загнал всех его обитателей в барак, окружил его и взял под прицел пулеметов. Ловушка захлопнулась. В домик, построенный для лагерной охраны, стали вызывать по одному на “суд”. Кто входил в состав этого “святейшего трибунала” и кто его возглавлял — неизвестно, они ведь не представлялись. Возможно,



его возглавлял сам полковник Гаранин, но это был не Титаренко, вероятно, кто-то выше, прилетевший из Магадана.

Полагаю, что участь всех этих несчастных “повстанцев” была предрешена в Магадане еще тогда, когда формировали этот этап.

Вся процедура “суда” сводилась к проверке фамилии по списку этапа и занимала несколько минут. После вызова того или иного заключенного проходило столько минут, сколько было нужно, чтобы дойти от барака до домика, где заседал “трибунал” (так будем его условно называть), и обратно в барак, где звучал выстрел в затылок. Трудно себе представить то чувство предсмертной тоски, которое испытывали ожидавшие расправы. Акция длилась меньше суток — расстреляли всех двести человек, сложили в штабель, облили керосином и сожгли.

Небольшой отряд лагерной охраны, исполнителей этой подлой провокации, посадили в самолет и увезли в Магадан. Разумеется, дальнейшую их судьбу не сообщили, но я думаю, что их, как живых свидетелей, тоже позже расстреляли; такова была логика наших карательных органов: не оставлять в живых свидетелей. Впрочем, один свидетель все же остался. Это и был мой товарищ по нарам, погодок и коллега, Аркадий Петрович Смирнов, штурман торгового флота, в прошлом житель Владивостока.

Не расстреляли Аркадия Смирнова по той причине, что он не входил в список этого этапа. Кроме того, в лагерь на Зеленый Мыс он прибыл в день расправы, вернее сказать, за час-два до ее начала.

Первый срок заключения у Аркадия (а позже были еще второй, третий) был небольшой — всего три года — и кончился в 1938 году. Осужден он был владивостокской “тройкой” в 1935 году с формулировкой СОЭ (социально-опасный элемент) или СВЭ (социально-вредный элемент), но, вероятно, больше за то, что скрыл свое социальное (дворянское) происхождение. Во время тех событий он работал в низовьях Колымы каюром (погонщиком) собачьей упряжки и в тот день прибыл с нартой



из Амбарчика в Кресты, где его задержали и отправили в уже осажденную зону лагеря на Зеленом Мысе, а там заперли со всеми вместе в бараке. На его глазах вызывали заключенных по одному — по списку, — и через несколько минут он слышал за стеной барака одиночный выстрел.

Никто из нас, заключенных, не сомневался тогда в произволе и беззаконии лагерных властей, поэтому Аркадий ждал общей участи. После того как прозвучал за баракom двухсотый выстрел, вызвали в "трибунал" и Смирнова — спросили фамилию, статью, срок, сверились со списками этапа, со списком получавших оружие, о чем-то пошептались. Велели увести. Из домика он вышел не один, сзади — вооруженный стрелок; пошли по снежной тропке к развилке — одна тропа за барак, и значит, на расстрел, другая — в барак, и значит, пока к жизни. Подойдя к развилке, Аркадий остановился в нерешительности, пока за спиной не услышал: "В барак!"

Вот Аркадий Смирнов и рассказал мне позже в подробностях эту страшную историю. Ни одной фамилии из списка обреченных он мне не назвал, вероятно, он об этом не спрашивал, а когда вызывали кого, не запомнил, не до этого было, но твердо знал, что весь состав этапа был из политических с разными статьями и сроками. Люди исчезли для всех — родных, близких, знакомых — бесследно. "И их же имена ты веши, Господи!" А место нужно помнить и знать. Зеленый Мыс, близ Крестов Колымских, ныне поселка Черского, в нескольких километрах вниз по Колыме.

Совершенно неизвестными путями история о восстании и расстреле целого этапа заключенных быстро распространилась по колымским лагерям, но без подробностей этой провокации.

Расстрел на Зеленом Мысе был только началом широких репрессий, начатых в колымских лагерях с появлением зловещей фигуры полковника Гаранина. Несколько позже, в ту же зиму 1937/38 года, на вечерних поверках стали зачитывать приказы о расстрелах за так называемый контрреволюционный саботаж на золотых приисках Колымы ранее судимых по статье 58 и КРТА. Делалось это ради устрашения и в назидание всем зекам».



Судьба Кожевникову все же улыбнулась. Там, за лагерной проволокой, он и представить себе не мог, что впереди у него — простор Мирового океана и весь мир. После освобождения, после окончания мореходки капитан дальнего плавания ходил и к берегам Австралии, и в порты Индии... Но живет он не благодостной памятью об экзотических морях и странах, живет он заботой, снедающей душу и сердце.

— Там, на Зеленом Мысе, нужен памятник. А если денег нет — камень поставить. Чтоб не ходили люди по той земле с пустой душой и спокойной совестью!

Глава шестая

ЧАЕПИТИЕ НА БОРТУ «СТАЛИНА»

Готенхафен (Гдыня). 3 июня 1940 года

В этот день из бывшего польского порта вышел немецкий транспорт № 45. Мало кто знал его подлинное название. Мало кто знал, куда направляется это грузопассажирское судно. И только отсутствие среди пассажиров женщин, да и сами пассажиры — молодые, спортивные как на подбор мужчины — наводило на мысль, что пароходу предстоит нелегкое плавание.

Мир — и Лондон прежде всего — не должен был знать об этом рейсе. Это была очередная «семейная» тайна Москвы и Берлина; и именно поэтому транспорт № 45, счастливо проскочив балтийские проливы и миновав Северное море, шел вдоль норвежского побережья, маскируясь под советский ледокольный пароход «Семен Дежнев». Красный флаг со свастикой был заменен на красный флаг с серпом и молотом. Фальшивый «Дежнев» шел под охраной немецкого тральщика.

За мысом Нордкап таинственный транспорт объявил свое имя — пароход «Дунай». Но оно предназначалось лишь для английских радиоперехватчиков. В Москве и Мурманске знали



истинное имя номерного «Дежнева»-«Дуная» — вспомогательный крейсер «Комет», или попросту «Комета».

Там, за самым северным мысом Европы, капитан Эйссен получил шифровку от советских друзей из Главсевморпути с любезным приглашением зайти в Мурманск и переждать там до начала проводки. Однако Эйссен не захотел рисковать скрытностью своего рейса и пожелал укрыться в пустынном квадрате Баренцева моря — в Печорском заливе.

Корветтен-капитан Фабиан Рунд стоял на крыле ходового мостика, любуясь невероятной синевой Севера. Три недели назад он и представить себе не мог, что катапульта судьбы забросит его из сонного Цоссена в русскую Арктику. Шеф был настроен на лирический лад:

— Милый Фабиан! Хватит гоняться за химерой Редера. У вас есть шанс выветрить берлинскую пыль из своей флотской фуражки на хороших морских шквалах... Завтра вы отправляетесь в Гдыню... В порту найдете транспорт № 45, отдадите его командиру... виноват... капитану Роберту Эйссену этот пакет, Он все знает. От него получите более подробные инструкции. Можете, если представится случай, подбить его на поиски клада этого вашего русского лейтенанта... как его?

— Фон Транзе.

— Да, звучит очень по-русски.

— Как ни странно, все Транзе считают себя русскими. Они отказались от паспортов фольксдойче.

— Ну, это их проблемы... А я, честно говоря, искренне вам завидую, Рунд! Будь я помоложе лет на десять, я бы сам ринулся в это жюль-верновское плавание. Итак, взгляните на карту... «Комета» пройдет через льды всех сибирских морей, войдет через Берингов пролив в Тихий океан, порезвится на его просторах возле Австралии и Новой Зеландии, затем попутает англичан в Индийском океане и старой доброй Атлантикой вернется в родные края. Признайтесь, ведь курсантом вы мечтали именно о такой кругосветке? А?

— Это выше моего юношеского воображения!

— У вас есть дама сердца?



— Даже две! — подыграл шефу Рунд, радостно ошеломленный известием.

— Вот как? Я не знал, что у вас два сердца. На всякий случай попрощайтесь с обеими друзьями, как подобает мужчине, идущему в такой поход.

«Комета» являла собой гибрид научно-исследовательского судна и боевого корабля. В его рубках размещалась наисовременнейшая аппаратура радиопеленгования и радиоперехвата. Рунд, как морской связист, оставивший свою первую профессию всего три года назад, приходил в восторг от того, насколько продвинулась за это время германская радиотехника. Особенно его взволновала аппаратура гидроакустического наблюдения и звукоподводной связи с погруженными подводными лодками.

Трюмы, кладовые, всевозможные выгородки, рундуки и кранцы «Кометы» были плотно забиты вещами на все случаи жизни, отчего пароход походил изнутри на плавающий этнографический музей, где меховые кухлянки эскимосов соседствовали с тропическими пробковыми шлемами, а разборные сани-нарты — с москитными сетками и безделушками для аборигенов Океании.

Замаскированные орудия и быстрооткрывающиеся пулеметы давали понять, что «Комета» вовсе не купец и не гидрограф, а боевой корабль, рейдер дальнего радиуса, вспомогательный крейсер, даром что без броневое пояса.

14 августа 1940 года Эйссен получил «добро» на вход в западные ворота Карского моря, пролив Маточкин Шар. Там он принял на борт двух советских лоцманов — Сергиевского и Карельского — и повел «Комету» по скалистому коридору пролива в свое пятое по штурманскому счету море — Карское, обьятое с запада Новой, а с востока Северной землями.

Курс — на пролив Вилькицкого!

Новая Земля. Август 1940 года

Полуночное полярное солнце пробивалось сквозь шторку иллюминатора. Рунд проснулся: в дверь каюты стучал вестовой:

— Командир просит вас подняться в штурманскую рубку.



Эйссен встретил его загадочной улыбкой.

— Кажется, у вас есть шанс испытать свои кладоискательские способности. Мы возвращаемся на Новую Землю. Впереди мощные льды, и мы переждем их, где бы вы думали?

— В Ягель-бухте?

— Вы на редкость проницательны.

«Комета» бросила якорь на рейде Ягельной губы. Капитан Эйссен протянул Сергиевскому сигарету.

— Господин лоцман, вы не будете против, если мои ребята разомнут ноги на суше? — кивнул командир «Кометы» в сторону близкого берега.

— Мои полномочия распространяются только на ледовую проводку, — замялся лоцман. — Думаю, надо запросить разрешение.

— Вы настоящий немец, господин Сергиевский. Я сам педант, но не до такой степени. Разве на этих скалах есть какие-то военные объекты? А может быть, в тех хижинах штаб обороны Арктики? Ха-ха... Грех не воспользоваться такой погодой, господин лоцман. Вы сами моряк и знаете, что такое походить по земле после палубы... Впрочем, я сделаю запрос по радио, если вы настаиваете. Чуть позже, когда радисты закончат регламентные работы. А пока беру ответственность на себя.

Моторный катер высадил матросов на новоземельские скалы, обросшие разноцветными мхами. Моряки радостно галдели, фотографировались, собирали на память камешки, перья, птичьи яйца...

Рунд сразу же направился к хибарам. Окна их были заколочены. Пустые железные бочки из-под солярки дополняли и без того унылый пейзаж. Обломок антенной мачты и старые пачки сухих батарей говорили о том, что здесь была радиостанция. Дверь не забита... Рунд осторожно заглянул внутрь: железная печь, стол, стальной скелет голой кровати...

В углу сеней были набиты перекладыны — что-то вроде скоб-трапа, ведущего на чердак. По ним корветтен-капитан взобрался в полутемный приют полярных сов и бог знает еще



какой живности. Луч фонарика отыскал в дальнем углу дубовый бочонок. Внутри оказался увесистый тючок, обшитый пыльной мешковиной. Вспоров ткань, Рунд извлек допотопный дорожный погребец, обитый по углам медными накладками. Замки на ремнях не поддавались: они требовали миниатюрного ключика. В нетерпении Рунд перерезал ремни, вытряхнув наконец содержимое — связки тетрадей, писем, рулончик свернутых карт. На одной из этикеток каллиграфически было выведено: «Лейтенант Николай фон Транзе-2-й».

О торжество аналитической мысли! Отыскать здесь, на краю земли, в этой избе, гипотетически вычисленный архив?! Да это подобно открытию планеты на кончике пера...

Умерив радость, Рунд поспешно затолкал бумаги в охотничий рюкзачок. В своей каюте он принялся за изучение тетрадей, пригласив офицера-переводчика. Чем дольше вчитывался знаток русского языка в бумаги, тем сильнее мрачнел Фабиан Рунд.

Да, это были походные дневники Николая Транзе. Но речь в них шла о переходе «Таймыра» и «Вайгача» на Дальний Восток южным путем — через Индийский океан! И ни одной тетради о северном пути.

То была лишь половина полярного архива. Вторую корветтен-капитану искать больше не довелось. «Комета» уносила его в большую войну. Но до конца жизни Рунд помнил: улыбка фортуны может быть фальшивой.

К 19 августа «Комета» была на подступах к восточным воротам Карского моря. Ее вел ледокол «Ленин», который благополучно проводил пароход в море Лаптевых и там передал ледоколу «Иосиф Сталин». Со «Сталина» радиовали: «Следуйте за мной. Когда встретим лед, прошу Сергиевского пригласить к нам капитана «Кометы», если тот пожелает».

Эйссен пожелал, и на борту «Сталина» состоялась теплая встреча за хорошо сервированным столом. Капитан «Сталина», один из лучших ледовых мореходов Союза Михаил Белоусов, передал гостю последние навигационные поправки к грифованной советской морской карте № 2637, прикреплённой к



прокладочному столу «Кометы» советскими же лоцманами. Он ознакомил своего подопечного с ледовым прогнозом и пожелал счастливого плавания. Оно и в самом деле оказалось счастливым.

Ледоколы «Ленин», «Сталин» и «Каганович» провели «Комету» через Великий Северный путь в рекордный срок — за 23 дня! До этого рекорда укладывался в 26 суток.

И если Сталина за его сверхобязательные поставки продовольствия воюющей Германии прозвали в Европе главным интендантом Гитлера, то после проводки «Кометы» его вполне можно было титуловать и главным ледовым лоцманом фюрера.

Наркоминдел не забыл выставить счет Берлину за «ледовые услуги» в 950 000 марок.

РУКОЮ ИСТОРИКА. «В дальнейшем этот “волк в овечьей шкуре” (рейдер “Комета”. — Н. Ч.) действовал в Тихом океане и добился, по оценке адмирала флота В. Маршалла, “исключительных успехов”. За 17 месяцев автономного плавания “Комета” потопила 9 судов союзников общей грузоподъемностью 65 000 тонн и захватила голландское судно с грузом олова и каучука, направив его в оккупированный немцами порт Бордо!..

К сожалению, перечисленные “подвиги” “Кометы” отражают далеко не все последствия и результаты перехода Северным путем.

Нужно учесть, во-первых, что проводка военного корабля в Тихий океан самым коротким и безопасным путем проходила в разгар боевых действий на море. Во-вторых, сведения о навигационном оборудовании Севморпути, полученные во время проводки “Кометы”, позволили германскому штабу руководства войной на море заблаговременно развернуть систему радиостанций на арктических островах Северного Ледовитого океана..

Данные о советских полярных станциях в Арктике, организации их радиосвязи, результаты промеров глубин в проливах были обобщены немецкими специалистами и уже в 1941 году изданы секретным приложением к “Наставлению о плавании в арктических морях”. Это в значительной мере способствовало



проведению активных операций немецкого флота на морских путях в Арктике, особенно в начальный период войны»¹.

Разумеется, фотографии Николая Транзе и его походные дневники сделали бы немецкие лоции более точными. Но рейс «Кометы» позволил германским адмиралам обойтись и без его архива. А абвер в лице корветтен-капитана Фабиана Рунда окончательно потерял интерес к негативам и бумагам русского лейтенанта.

Однако точка в этой истории еще не была поставлена.

СУДЬБА КОРАБЛЯ. Когда штурман «Кометы» вел свой карандаш по карте через пролив Санникова, он, разумеется, ничего не знал ни о человеке, чьим именем назван пролив, ни о загадочной земле, ни о сожженной дороге. Но *via combusta* уже пролегла через судьбу рейдера первой трещинкой краха... 7 октября 1942 года английские легкие силы отправили «Комету» на дно Ла-Манша.

Глава седьмая

МАТРОС С «КОМЕТЫ»

Была такая кинокомедия в шестидесятые годы — «Матрос с «Кометы»». И была такая драма в жизни — двадцатью годами раньше...

И все-таки на Аляску из Зеленого Мыса один человек ушел. Ушел, не дожидаясь кровавой расправы. Ушел, несмотря на всю абсурдность этого предприятия. Ушел без лыж, будто забыв, что заполярная зима уже надвинулась, запуржила...

Он долго присматривался к вмерзшему в колымский лед буксиру, тому самому, что притащил их арестантские баржи. Однажды вечером он взобрался на засугробленную палубу, отдраил люк в машинное отделение и там наковырял котелок

¹ Безносков А.В. Секрет базис нора // Военно-исторический журнал. 1990.



солидола. Замотал его в ветошь и уложил на дно веще мешка. Залил спичечный коробок расплавленной свечой. Пол-литровая алюминиевая кружка, счастливо обнаруженная на колышке собачьего вольера, должна была заменить чайник. Из куса медной проволоки он выгнул легкий таганок.

В разграбленном магазине ему удалось разжиться холщовым мешочком, куда вошло пять фунтов ржаной муки, плитка черного чая и кусок сала размером с кирпич.

Провизии этой должно было хватить до первого чукотского стойбища или охотничьей заимки. Главный же расчет был на винчестер с полусотней патронов.

Из одежды удалось раздобыть к своему ватнику шерстяной красноармейский подшлемник, вязаные носки да постовые рукавицы со свободным спусковым пальцем. С тем и двинулся в тысячеверстный путь — на восход, на свободу, на Аляску...

Он выбрался из барака в три часа пополудни. Легкий морозец прихватил нос и щеки. В осеннем тумане курился острый полумесяц. Сухой плотный снежок звучно поскрипывал под подшитыми грубыми валенками.

Он шел под берегом Колымы на север, чтобы подальше уйти от сторожевого поста, выставленного южнее лагеря, на санном пути в поселок, и, отойдя километра на три, скинул шапку, пал на колени и стал креститься, оборотясь к востоку. Он молил Бога, чтобы тот не отвернул от него свой лик, не дал замерзнуть, не попустил задрать медведю, не занес пургой, не наслад цингу, уберег от доносного глаза, от пули охранника... После молитвы, оставив Полярную — Прикол-звезду, ринулся в тундру, будто прыгнул с парохода посреди океана.

Наст был плотный, и ноги почти не вязли в снегу. Но он знал, что так будет до первой пурги.

Сердце пело даже при мысли о белой смерти мороза. Лучше замерзнуть в тундре, чем быть пристреленным за железной колючкой.

Первую ночь передрог в снегу, завернувшись в брезентовый балахон, который прихватил со сторожевой вышки. Утром



поставил на таганок кружку с плотно примятым снегом, поджег кусочек ветоши, намазанной солидолом, и вскипятил чай. В нем же сварил три галушки, скатанные из ржаной муки. Кусочек сала довершил завтрак. Шел весь день. Ужин был таким же, только чуть более плотным — четыре галушки и два ломтика сала — для подогрева изнутри.

Погода пока что цадила его: и ночью, и неразличимым днем стоял ровный, мягкий морозец, и ничто не предвещало пургу.

На четвертое светание (отсчет суток он вел по красноватым зорям на восточном склоне) он вышел к старой поварне на берегу большого тундреного озера. В хибаре с забитыми окнами стояла печурка, сделанная из железной полубочки. На топчане валялась облезлая оленья шкура. Пошарив под притолокой, он обнаружил сокровище — жестянку из-под зубного порошка, набитую сырой и серой слежалой солью. И еще один подарок приутовила ему фортуна. Под крышей поварни он нашел старые охотничьи лыжи с пересохшими ремнями из моржовой кожи.

Первым делом он затопил печь. По доброму сибирскому обычаю последний обитатель поварни оставил для растопки охапку каких-то корневищ и несколько деревяшек, попавших сюда, видимо, с колымского берега.

Пока огонь пожирал скудное топливо и топился снег в кружке, он сотворил благодарственную молитву ангелу-хранителю. Эту ночь он не передрожал, а впервые провел в блаженном сне, хотя зыбкое тепло печурки хибара держала плохо.

Подкрепившись ржаными галушками и чаем, он извлек из вещмешка книжицу в твердом коленкоровом переплете, украшенную витиеватым тиснением: «Краткая биография Иосифа Виссарионовича Сталина». Книжку эту он выменял на буксире на мундштук, собственноручно вырезанный из мамонтовой кости. Окунув очиненное перо чайки в припасенный пузырек йода, он вывел первые строки своего путевого дневника. Добротная, плотная бумага книги позволяла писать между типографских строчек и на больших полях. Сам того не ведая, он дописывал биографию вождя, она проступала сквозь официальный текст



рыжевато-кровянистым бисером убористого почерка радиотелеграфиста старой флотской школы. Вести дневники Петров приохотился еще в Кронштадтской школе.

«25 ноября 1938 года. Не знаю, какой день недели.

Сегодня впервые за время похода я перестал ощущать страх. Поварня, лыжи и соль — знамение Господне, его ободрительный знак: “Иди!” Я верю в добрый исход. Я перейду Чукотку. Я знаю Север. У меня нет карты. Но Господь выведет меня к становищу добрых людей, и они помогут.

Весь день боролся с искусом зазимовать в поварне и добывать еду охотой. Но этого нельзя делать по двум основаниям: 1. Слишком близко от лагеря, могут снарядить погоню. 2. Как бы удачна ни была охота, она не спасет от цинги.

26 ноября. Вторые сутки блаженствую под дарованным Богом кровом. Надо немного набраться сил. Впереди — неизвестность...

Чинил лыжи. Опробовал их. Крепления держат. И слава Богу.

Имел на обед свежее мясо. Подстрелил небольшого лемминга¹. Сварил бульон. Соль сделала его вполне съедобным.

Всю трапезу твердил себе: это не крыса, это лемминг... Противно, но питательно. Оленятинки бы.

27 ноября. Сильное небесное сияние — значит, погода устоялась. Пурги не будет. Помолясь, вышел...

Декабрь. Дня не знаю. Сбился с точного счета. Должно быть, за Юрьев день перевалило. В Юрьев день медведь в берлоге засыпает. А я, как шатун, бреду на восход.

Вчера подбил песца. Устроил пир. Добыл из-под снега ягеля. Растираю, добавляю в муку, завариваю с чаем, жую так. Но десны все же опускают.

Вокруг — ни звука человеческого, ни следа. Погода благоволит. Ночую в снегу. Шкуру захватил из поварни. Хоть и лысая, а все же — постель.

¹ Арктический грызун из семейства полевок. Не больше 15 сантиметров в длину.



Амбарчик, кажется, обошел. Теперь буду выбираться к побережью. Там и плавник для костра есть, и чукчи зверя бьют...

Год 1939-й. Январь. В Рождество запуржило. Залег в снег. Скоро завалило. Пережидал, как в пещере. Даже чай варил. Холод донимает.

Пишу кратко. Йод кончается. Да и пальцы свело... Если кому придется найти эти записи, добрый человек, отошли их Евгенову или Гернету в штаб Главсевморпути...

Господи, зовешь ты меня».

Петрова нашел под снегом чукотский охотник Анкат. Обнаружил его залежку по торчащим из снега лыжам, которыми тот пробуравил в сугробе дыхательный ход. Убедившись, что незнакомец еще дышит, Анкат соорудил из его лыж знак поприметней и двинулся к своей яранге. Вскоре он примчался на собачьей упряжке, погрузил полуживое тело на нарты и отвез на становище. Жена и мать Анката растирали замерзшего путника в четыре руки медвежьим жиром, потом укрыли едва затеплившееся тело медвежьими шкурами и, когда Петров ненадолго пришел в себя, стали отпаивать его горячим чаем с растопленным китовым жиром.

Приходя в себя, он видел желтые огоньки горящей ворвани в глиняных плошках и нависающую над ним шерсть медвежьего полога — черную от осевшей на ней копоты. И снова проваливался в забытие, такое же непроницаемо черное, как и его нечаянное убежище.

Два месяца провалялся беглец с жестоким воспалением легких. Его отходили чукотские женщины одним лишь им ведомыми снадобьями.

«Весна 1939 года. Кажется, я снова могу продолжить свой дневник. У Анката в хозяйстве нашелся обломок химического карандаша.

По расспросам хозяина яранги я определил, что он подобрал меня где-то на подходе к низовьям реки Раучуа. Яранга его стоит где-то в полутора-двух километрах севернее Баранихи. Это значит, что я прошел всего лишь четверть своего пути. Не намного меня хватило... Пережду до лета и двинусь по сухотропу.



Анкат — вольный охотник, бьет зверя, сдает песцовые шкурки в колхоз. Из Баранихи раз в лето ходит к нему моторка. Зимой отвозит добычу на собаках.

Он плохо говорит по-русски, но все же понял то, о чем я его просил: не говорить обо мне никому. Я подарил ему свой винчестер, и Анкат счастлив. Его бердан порядком изношен. Несколько раз ходил с ним на охоту. Вдвоем куда сподручнее.

Он просит дожить у него до следующей зимы, а там он отвезет меня на нартах за Пегтымель к своему брату. Пегтымель, сколько помню я карту, это середина Чукотки, это только половина пути. Дай Бог дойти мне до этой реки за лето...»

Сентябрь 1940 года. Берингово море

В ранних осенних сумерках сигнальщик «Кометы» обнаружил справа по курсу странное плавучее средство. Вместе с вахтенным офицером они в два бинокля изучали непонятное сооружение, похожее на катамаран. Да это и был катамаран, составленный из двух чукотских каяков. Он пересекал курс парохода под самодельным парусом, используя попутный западный ветер. Так далеко от берега местные рыбаки не уходили.

Вахтенный офицер доложил Эйссену, и тот приказал застопорить ход. Бородач, сидевший в катамаране, охотно покинул свое утлое суденышко и перебрался по спущенному штурмтрапу на борт «Кометы».

Допрашивали его в ходовой рубке в присутствии Эйссена и Рунда.

Буйноволосый бородач назвался Дмитрием Петровым. Он признался, что бежал из лагеря и два года жил среди чукчей, пока не представился случай соорудить из двух каяков катамаран и выйти на нем к берегам Аляски.

— Господин Петрофф, — сказал ему Эйссен, — у нас нет возможности передать вас каким бы то ни было властям, так как наш маршрут не предусматривает никаких заходов в иностранные порты. В то же время мы не можем содержать вас на корабле ни как пассажира, ни как пленника. Вам придется



выполнять обязанности камбузного матроса, а также нести вахты, согласно корабельным расписаниям.

Молчаливый бородач кивнул в знак согласия.

Почти полгода Петров драил палубу «Кометы», чистил варочные котлы, красил судовое железо, пока весной сорок первого года немецкий рейдер не захватил голландский пароход с оловом и каучуком. Ценную добычу решено было отправить в Германию. В состав перегонной команды назначили всех, от кого Эйссен посчитал нужным избавиться на «Комете», в том числе и Петрова. Командование пароходом принял корветтен-капитан Рунд.

Рунд не доверял голландским радистам. Он велел врезать в дверь радиорубки новый замок и все ключи хранил у себя. Среди матросов перегонной команды радиотелеграфистов не оказалось, и Рунду приходилось нести радиовахты одному и, кроме того, следить за движением судна, что было весьма утомительно. Он несказанно удивился, когда спасенный русский бородач (бороду, отращенную на Чукотке, он так и не сбрил, несмотря на пекло тропиков) заявил, что он профессиональный радиотелеграфист и мог бы взять часть радиовахт на себя. Рунд с изумлением смотрел, как заглубевшие пальцы матроса безошибочно бегают по верньерам и тумблерам приемника, передатчика... В свою очередь, Петров поразился тому, что немецкому офицеру знакомы имена Евгенова, Жохова, Вилькицкого. Все это выяснилось, когда в одной из доверительных бесед за рюмкой голландского рома Петров признался Рунду, что он бывший радиофицер русского флота, подпоручик по Адмиралтейству. Запаса немецких слов, намертво заученных в непенинском радиоразведцентре, вполне хватало, чтобы худо-бедно объясняться с корветтен-капитаном, который проникся к русскому коллеге такой симпатией, что велел голландскому капитану найти для своего помощника китель с лейтенантскими нашивками. В нем Петров и нес свои немые радиовахты. Он, разумеется, в эфир не выходил, но важно было прослушивать широкоэвещательные станции. Увы, голос Москвы до Индийского океана не долетал. И о том, что творилось



в мире, можно было судить лишь по радиосообщениям англичан из Кейптауна.

Но Петров наслаждался забытым хорищем эфира, клекотом морзянки, завыванием и грохотом радиоокеана. Иногда к нему заглядывал Рунд. Слушали вдвоем. Когда оба уставали, Рунд заказывал по телефону бутылку сельтерской, и кок-голландец приносил в перегретую радиолампами рубку бутылку ледяной воды и тонко нарезанный лимон.

— Так как вам удалось пересечь Чукотку? — допытывался Рунд. — Чем вы питались?

И Петров рассказывал, как он шел по летней тундре, собирая ягоду-шикшу и клюкву, как добывал на скалах яйца чаек-моевок и заедал их ярко-красные желтки выброшенной на камни морской капустой. Рассказывал, как потчевали его чукчи кровяной похлебкой «понта» с толченой сараной и листьями черемши или рыбной строганиной с моченой морошкой.

Корветтен-капитан при описании подобных яств лишь брезгливо поводил плечами и смотрел на рассказчика, как смотрят на шпагоглотателей и факиров.

В июне сорок первого голландский сухогруз, благополучно обогнув мыс Горн, вошел в воды Бискайя. «Флигер Голландер» («Летучий голландец»), как прозвали немцы захваченный пароход, закончил свой полукругосветный рейс в порту Бордо.

— Что вы собираетесь делать дальше? — спросил Рунд Петрова; за время опасного плаванья они стали почти приятелями.

— Я надеюсь отыскать в Париже Вилькицкого. Евгенов говорил, что он осел именно там.

— Нет никакой гарантии, что вы его найдете. Поезжайте лучше в Берлин. Там живет Новопаппенный. Я дам вам его адрес... И вообще, напишу самые лучшие рекомендации.

Петров задумался.

— И все же к Вилькицкому. Новопаппенного я почти не знаю...



Рунд помог выправить необходимые бумаги для получения вида на жительство в Париже. С тем Петров и отправился на розыск Вилькицкого.

Евгенов ошибся: Вилькицкий осел в Брюсселе...

Глава восьмая

«МЫ СЧИТАЛИ ЕГО ПРЕДАТЕЛЕМ»

Париж. 22 июня 1941 года

В Париже полицейский чиновник, оформлявший Петрову документы, прочитав в немецких бумагах его фамилию, заговорил вдруг по-русски:

— Вы из России? Эмигрант?

— В некотором роде... А вы?

— Люби Константин Григорьевич. Капитан 2-го ранга российского императорского флота. В прошлом.

— Подпоручик по Адмиралтейству Петров Дмитрий Иванович.

— Где служили?

— Служба связи флотилии Северного Ледовитого океана.

— Великолепно! Я имел честь командовать подводной лодкой «Карп» в Черном море... А знает ли служба связи, что нынешним утром германские войска вторглись в пределы бывшей России?

Ответом было молчание человека, которого поразила гром.

— Кстати, где вы остановились?

И узнав, что у Петрова в Париже ни единой знакомой души, кроме не найденного еще Вилькицкого, Люби предложил свою холостяцкую квартиру на «Бульваре Севастополь».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Сын потомственного моряка, Константин Григорьевич Люби родился в 1888 году. Православный. Женат. После Морского корпуса окончил курс в Учебном отряде подводного плавания.

Впервые я встретил эту короткую фамилию в книге патриарха истории русского кораблестроения, доцента военно-



морской академии Николая Александровича Залесского. Книга, которая была издана в Ленинграде, называется «Краб» — первый в мире подводный заградитель». Как явствует из ее названия, речь в ней идет о гордости отечественного судостроения — уникальной подводной лодке «Краб», построенной николаевскими корабелями в 1914 году. Кстати, именно этот корабль открыл боевой счет русских подводников. На выставленных «Крабом» минах подрывался близ Босфора германо-турецкий крейсер «Бреслау». Собственно, это был «Краб» № 2, первый же подводный минзаг строился еще в 1904 году в Порт-Артуре и представлял собой одноместную карликовую подводную лодку, командиром-водителем которой вызвался быть двадцатилетний мичман Борис Вилькицкий.

Лейтенант Константин Григорьевич Люби был первым старшим офицером минзага «Краб». Он так рвался в бой, ему так досаждала задержка с достройкой лодки, с доводкой ее сложного по тем временам минно-постановочного устройства, что командование Черноморского флота перевело его на другую подводную лодку и назначило командиром «Карпа». Эта субмарина вполне оправдывала свое мирное рыбье имя, ее боевые качества к началу Первой мировой войны значительно уступали более молодым соратникам. Лейтенант Люби не унывал и надеялся на военное счастье.

Люби водил дружбу со своим бывшим сослуживцем по «Крабу» — потомком знаменитого русского мореплавателя — Валерианом Крузенштерном, командиром «Нерпы». Однажды «Нерпа», крейсируя под Босфором, всплыла для осмотра каравана турецких парусников. Подводную лодку заметили с береговой батареи, и вокруг «Нерпы» стали рваться снаряды. Погрузиться не позволяло мелководье, на которое вышла лодка, обходя караван. Но лейтенант Крузенштерн не растерялся. Он снял фуражку и помахал ею рыбакам-банабакам. Те в ответ стали размахивать фесками. Этот обмен приветствиями озадачил артиллеристов. Батарея прекратила огонь, и «Нерпа» благополучно выбралась на глубину.



Много лет спустя, когда Люби взялся за перо, этот эпизод послужил сюжетом одного из его рассказов.

В трудные годы эмиграции он публиковал свои рассказы и очерки во французских и русских журналах под псевдонимом Черномор.

В 1934 году вышла его первая книга «Под колумбийским флагом». О ней чуть позже. Здесь же уместно вспомнить очень верное наблюдение писателя-моряка Виктора Конецкого: флот, даже если он выталкивает из себя человека, успевает дать ему нечто такое, что позволяет добиваться успехов в других сферах жизни.

Русский флот дал Константину Люби многое, можно сказать, все для того, чтобы не пропасть на чужбине. Отец его, штурман крейсера «Богатырь», определил сына в Морской корпус вскоре после того, как это старейшее учебное заведение России отметило свое 200-летие. В 1908 году корабельный гардемарин Люби, находясь в учебном плавании в Средиземном море, спасал вместе с другими русскими моряками жителей Мессины, сожженной извержением Этны. Тот выпуск Морского корпуса с гордостью называл себя «мессинским». Мичман Люби был награжден первой своей медалью — «За оказание помощи пострадавшим во время землетрясения в Мессине и Калабрии». Позже к ней прибавились боевые ордена — Станислава III степени и Владимира, затем золотое Георгиевское оружие «За храбрость».

Его всегда тянуло неизведанное — риск, приключения, опасности. Именно поэтому молодому офицеру пришлась по душе профессия подводника. Незадолго перед войной он закончил обучение в либавском отряде подводного плавания и был направлен в дивизион подводных лодок Черного моря.

Весьма болезненно пережил он затопление Черноморской эскадры в Цемесской бухте и немецкую оккупацию родного Севастополя в восемнадцатом году.

Все это определило его жизненный выбор: в белом флоте капитан 2-го ранга Люби командовал канонерской лодкой «Страж». Потом — тернистый путь многих Константинополь,



Греция... В 1920 году Люби обучал в Пирее греческих подводников как офицер-инструктор.

В конце двадцатых годов Люби перебрался во Францию. Здесь он не смог найти применение своему морскому опыту и потому отправился искать счастья в Южную Америку. В то время, 1932—1933 годы, Колумбия вела войну с Перу. Боевые действия шли и по речным просторам Амазонки. Люби становится главным морским советником Верховного главнокомандующего вооруженными силами Колумбии. И не просто советником. Он вооружает во Франции транспорт «Москэру» и под колумбийским флагом пересекает Атлантический океан. Сделать это было не так просто, как сейчас кажется. Вместо матросов у капитана Люби были обычные солдаты, вчерашние крестьяне, переодетые в морскую форму. Не обходилось без казусов. Однажды, заглянув в орудийный прицел, Люби ничего не увидел, так как линзы прибора почему-то вдруг стали матовыми. Выяснилось, что новоиспеченный комендор «почистил» стекла наждаком...

Ближайшим помощником в том отчаянном рейсе был у Люби его соотечественник, бывший лейтенант русского флота Евгений Гире, выходец из старинного и разветвленного морского рода, чьи представители и поныне несут свою вахту на флоте. Перед входом в Амазонку Гире предложил для устрашения противника удлинить стволы 88-миллиметровых орудий вентиляционными трубами. Уловка имела успех. Неприятель зачислил «Москэру» в разряд «вспомогательных крейсеров» и старался избегать с ним боевых столкновений.

По сложному фарватеру коварной реки Люби прошел три тысячи километров, поднявшись в самые дебри Амазонки. В одном из боев он был тяжело ранен в ногу и потому вернулся во Францию, где целиком отдал себя научной и литературной работе. Он выступал с лекциями о диковинной природе Амазонки, о жизни и нравах племен, населяющих ее берега, написал книгу о своем необычном походе, публиковал очерки о боевых действиях русского флота на Черном море, статьи по вопросам



военно-морского искусства, пытался прогнозировать развитие военных флотов. О том, насколько точны и дальновидны были его прогнозы, красноречиво говорит такой факт: в 1935 году Люби был арестован и предан суду за... разглашение в печати тайн французских военно-морских сил. Обвиняемому грозил немалый срок каторжных работ. За Люби вступились русские моряки. Бывший контр-адмирал Кононов, создатель Амурской речной флотилии, выступавший на суде как военно-морской эксперт, сумел доказать, что свои прогнозы Люби строил, исходя только из личных знаний и опыта. Суд из шести офицеров, представлявших все рода войск французской армии, единогласно оправдал обвиняемого.

Собственно, на этом следы Люби во Франции для меня терялись. И только счастливый случай помог до конца выяснить его судьбу.

С севастопольцем Александром Михайловичем Агафоновым, активным борцом французского Сопротивления, я познакомился, когда работал над книгой «Севастопольские курсанты». Однажды, читая рукопись его воспоминаний, наткнулся на знакомую фамилию — Люби. Оказывается, бывший русский моряк тоже сражался в рядах французских подпольщиков. Он держал конспиративную квартиру, на которой довелось как-то укрыться и Агафонову. Люби хранил архивы, списки бойцов Сопротивления, помогал добывать бланки паспортов и пропусков... Пожилой, припадающий на раненую ногу, он вел опасную игру с гестапо.

— Когда в сорок втором наша группа «Бретань» была неожиданно арестована, — рассказывает Агафонов, — мы посчитали, что Люби нас выдал. Мы считали его предателем до тех пор, пока после войны не выяснилось, что списки нашей группы попали к немцам вместе со связным, которого они схватили на улице.

Сам же Люби был арестован и казнен в год освобождения его второй родины — в сорок четвертом.

Так закончилась одиссея капитана Люби.

К сожалению, книг его в наших библиотеках отыскать не удалось.



Под небом Парижа свела двух офицеров русского флота игра случая? воля Провидения? каприз истории? Две прихотливо сплетенные судьбы... Парижское подполье было последним общим узлом, связавшим нити их жизней.

Люби привел Петрова в одну из групп парижского Сопротивления. Так начал он свою вторую германскую радиовойну. Чем она закончилась для него — неизвестно. По одним сведениям, радист-маки был сожжен в Бухенвальде, по другим — мирно почил в бозе под Франкфуртом-на-Майне, где служил дьяконом в русском храме в Висбадене.

До Аляски он не добрался...

Если на погосте церкви Святой Елизаветы сохранилась плита Петрова, на ней следовало бы выбить надпись: «Здесь покоится сын трех стихий — моря, льдов и эфира, воин и пастырь Дмитрий Петров. Не Родина изгнала его. Но Родина помнит его».

Глава девятая

ЗАПОНКА ЛЕЙТЕНАНТА ЖОХОВА

Москва. Осень 1990 года

Как это называть? Живет себе человек, живет, крутится, вертится, стекла для балкона добывает, дочь в школу водит, и еще миллион всяких терзаний, забот, дел.. И вдруг в житейской суете его умом, его душой овладевает одно случайное имя, ничего ему толком не говорящее... И он, вместо того чтобы думать о людях, родных и близких, о тех, кто входит в самый тесный круг его общения, сосредоточивается лишь на этом имени, на этом человеке.

Всякий раз, когда со мной это происходит, меня начинает корежить, как шамана, который вызывает дух давно исчезнувшего соплеменника.

Я понимаю, что отныне все насущные дела мои придут в упадок, потому что я буду узнавать, искать, собирать все о человеке по имени Петр Алексеевич Новопашенный, и когда его



информационная аура стусится настолько, что увижу — кто это, я пойму, мне откроется, зачем я искал, зачем тревожил его тень на том берегу Стикса...

Имя Новопапенного все же попало на скрижали истории, хотя оно процарапано на них весьма слабо. Цензоры двадцатых, тридцатых и всех последующих годов постарались и вовсе выскрести его: сначала убрали с морской карты, переименовав остров его имени, вычеркнули отовсюду, откуда могли, — из мемуаров, географических справочников, Морского атласа, научных статей...

Но имя человеческое невытравимо, как растение, что и под камнем пробьется. Не в одной, так в другой книге кто-то помянет моего героя.

Пожалуй, первым, кто это сделал, был «Дарвин» полярных экспедиций Вилькицкого, врач «Таймыра» Л.М. Старокадомский. Открываю его книгу «Экспедиция Северного Ледовитого океана», 1946 год: «П.А. Новопапенный, назначенный в экспедицию на “Вайгач” после окончания Морской академии по гидрографическому отделению, проработал два года в Пулковской обсерватории и был одним из наиболее опытных гидрографов-геодезистов во флоте».

Немного, но все же... Из этой же книги узнаю, что существует отчет об экспедиции, написанный Новопапенным в соавторстве с Вилькицким и Старокадомским: «Плавание гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1913 году».

Прекрасно, значит, и в этих строчках живет человек.

Выписываю из спецхрана Ленинки морские журналы русской эмиграции. Листаю парижскую «Военную быль», пражский «Морской журнал», сан-францисские «Морские записки»...

Там строчка, тут строчка, словно искры отторевшей жизни...

«Попал в плен к японцам под Гензаном на парусной шхуне в 1904 году...» Жил год в Японии. Ага, значит, вот почему и жасминовый чай, и дальневосточная экзотика Фронау!

Советская монография «Моонзундская операция», 1928 год. Тираж 800 экземпляров. Автор — бывший сослуживец Ново-



пашенного по Балтике барон А.М. Косинский, преподаватель Военно-морской академии РККА: «Переходя к службе связи, я ограничусь также отзывом адмирала Бахирева: “Начальник службы связи капитан 1-го ранга Новопащенко шел навстречу нашим нуждам, и просьбы наши им исполнялись, если к тому представлялась возможность. Разведок фактически мы производить не могли, но все же достаточно осведомлены были о движении и возможных намерениях противника из его телеграмм”.

Значит, после ухода адмирала Непенина Новопащенко возглавлял секретный центр русского флота по радиоперехвату и расшифровке переговоров германского флота. Знать бы ему тогда, что не пройдет и трех лет, как судьба забросит его навсегда именно в Берлин, в стан бывшего врага.

Цитата из мемуаров капитана 1-го ранга И.И. Ренгартена об октябре 17-го, когда большевизированный Балтийский флот трещал по швам: «Бедный Новопащенко бьется как рыба об лед; до чего все развалилось — не может пройти гладко такая ясная вещь, как выставление поста службы связи, ибо в деле путаются и начальник, и комитет и мешают друг другу... Он ездил на Вердер и в Пернов, говорил по телефону с постами. С Залиса ему сообщили, что теплой одежды не надо присылать, ибо сухопутные войска отослали присланную им одежду: они не намерены зимовать и с первым холодом кончат воевать — пойдут по домам... Ну а что же тогда делать посту? Для кого наблюдать, если войско ушло? Логично». След бранных забот брannого человека...

А вот еще из той же работы: Новопащенко в 17-м председатель комитета Союза морских офицеров города Ревеля (СМОР), то есть глава офицерского профсоюза.

Еще мне удалось выудить из архивов, что в 1916 году Новопащенко был командиром строящегося в Ревеле эскадренного миноносца «Константин». Еще раньше, сдав «Вайгач» в 15-м году, принял эсминцу «Десна». Что родился он в 1881 году, 6 марта, то есть под знаком Рыб, всю жизнь был холост. Православный. Штурман 1-го разряда. Кавалер орденов Анны IV степени за



храбрость, Анны III степени с мечами, Анны II степени и Владимира IV степени.

Из разных источников выяснилось, что в 1919 году Новопащенный служил в красном Питере в качестве главного редактора «Морского сборника». В том же роковом году каким-то образом перебрался в белый Ревель, возглавив там отделение разведки в Морском управлении Северо-Западной армии.

Я решил повторить свой берлинский опыт и разыскал в справочнике «Весь Петербург» за 1912 год домашний адрес Новопащенного: ул. Большая Зеленина, дом 31... На этой же улице в доме № 3 квартировал и его соплавателъ — лейтенант Колчак. Новопащенный жил ближе к Большому Крестовскому мосту через Малую Невку — на углу Барочной улицы.

Старая, темная кирпича пятиэтажка с красивой некогда шлемоверхой угловой башней не смогла ничего сообщить о своем загадочном жилье, ушедшем отсюда в Арктику, да так сюда больше и не вернувшимся. Да и не до жильцов ей, предназначенной на слом, сейчас было, как не было и жильцам дела до ее обветшавших стен и забитого фанерой окна в романтической башне. По иронии случая прирос к дому гриль-бар «Аляска», будто напоминая, что хаживал Петр Алексеевич и на Аляску...

Однажды я узнал, что в Севастополь пришла посмертная посылка из Парижа от хранителя архива кают-компаний русских офицеров Николая Павловича Остелецкого. Бывший севастополец завещал родному городу редчайшие комплекты морских журналов, выходивших в разных странах, куда забрасывала эмигрантская доля офицеров российского императорского флота.

Я листал их с душевным трепетом — передо мной лежали судьбовестные книги. Списки зарубежных кают-компаний. Розыски близких, друзей, сослуживцев. Скорбные листы флотского мартиролога: погибли в Гражданскую, расстреляны большевиками, сгинули на чужбине... Сотни фамилий, имен, чинов. Цвет и соль русского флота.

До отхода московского поезда оставался час. Вещи были со мной, и я решил сидеть в музее до последнего. Оставались пять



минут из отмеренного срока, а имя Новопапенного так и не попадалось.

«Ну помоги же! — молил я его. — Ведь помог же мне в Берлине. Теперь себе помоги!»

Его судьба открылась, как счастливо снятая карта. За минуту до того, как захлопнуть «Бюллетень общества офицеров русского флота в Америке», в раскрытом наугад августовском номере за 1956 год читаю чуть видные строки: «Новопапенный Петр Алексеевич, капитан 1-го ранга, скончался в октябре 1950 года, по-видимому, в пересылочном лагере в Орше. Был схвачен большевиками в Тюрингии при неожиданном отходе американских войск».

Ворошение старых эмигрантских журналов не прошло без пользы. В одном из номеров «Морских записок» я случайно открыл статью Николая Транзе. Она захватила меня своим непридуманным драматизмом и, увы, реликтовым благородством. Привожу ее с незначительными сокращениями.

«Капитан 2-го ранга Н.А. Транзе 2-й

ВО ЛЬДАХ ТАЙМЫРА

от редакции «Морских записок»

В 1913 году экспедиция под командой капитана 1-го ранга Б.А. Вилькицкого, состоявшая из ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», выйдя из Владивостока в поисках северного морского пути на запад, открыла ряд новых земель и островов, после чего вернулась во Владивосток. Этот же поход был повторен летом 1914 года, причем они дошли до Таймырского полуострова, но тяжелый лед принудил корабли встать на зимовку у мыса Челюскина. С наступлением полярной ночи старший лейтенант А.Н. Жохов, незадолго до этого переведенный с «Таймыра» на «Вайгач», тяжело заболел. Через несколько дней, когда выяснилось, что дни его сочтены, А.Н. Жохов выразил желание повидаться перед смертью со своим другом, старшим лейтенантом Н.А. Транзе, старшим офицером «Таймыра».

С «Вайгача» была послана радиограмма, извещающая, что Жохов очень болен и просит Транзе навестить его...



По получении этой радиограммы я пошел к начальнику экспедиции за разрешением взять двух-трех матросов-добровольцев для похода налегке на "Вайгач". Разрешение было получено... Иду в командное помещение, читаю радиограмму, объясняю мое положение как ближайшего друга Жохова. Рисую обстановку и условия пути, мое намерение покрыть расстояние до "Вайгача" в один день и предлагаю желающим разделить со мной трудности похода. Расстояние между кораблями было всего около 16 миль, но это было пространство, почти сплошь изрезанное торосами, образовавшимися еще поздней осенью, когда зимующие корабли дрейфовали на севере с постоянно взламывающимися ледяными полями, в которые они вмерзли...

Осенью этот переход партий с "Вайгача" на "Таймыр" занял несколько дней, так как на всем протяжении пути между обоими судами почти не встречалось ровных ледяных полей.

Вызвал охотников. Оказалось, их много. Выбрать было нелегко, но жалко отказывать энтузиастам. Поторопив их с приготовлениями, пошел налаживать санки, провизию, палатку, снаряжение. Все было предусмотрено, и при возможном минимуме веса. Собравшись, мы тронулись.

Была еще полярная ночь, не считая нескольких минут восхода солнца около полудня над горизонтом; температура около 45° и ниже; не ветрено.

Мой план был прост: идти, пока не встретим препятствия — трещину во льду, которая из-за своей ширины нас остановит.

Шли мы долго, без остановки и еды. Я шел впереди по компасу и звездам, мои спутники тянули санки. Наконец высокий торос, а за ним... трещина. Перейти ее нельзя было, оставалось ждать, когда она подмерзнет. Пока разбивали палатку и готовили харч, я пошел вдоль трещины, из которой шел густой пар...

Недалеко от остановки я обнаружил небольшой осколок льдины в трещине, образующий как бы островок в ней. Всюду вода замерзала на глазах.

Довольный своим открытием, я вернулся в палатку, достал из своего мешка жестяную банку с водкой, которую я сознательно,



вопреки нашим правилам, захватил с собой для этого “ударного” похода, и начал наливать ее в рюмку. Не тут-то было: ни капли, а банка тяжелая. Водка замерзла! В первый раз в жизни пришлось водку не замораживать, а оттаивать на примусе, чтобы сделать по рюмке перед едой. Быстро похарчив, подошли к месту моего ледяного “островка”.

Надев лыжи, я по только что образованному льду перескочил на него, а с него тем же приемом и на другую сторону трещины. Привязав кусок льда к захваченной с собой для этой цели веревке (да простят мне моряки это слово), я ее перебросил своим спутникам и перетянул санки на свою сторону. Тем же приемом помог и им присоединиться ко мне.

Пошли дальше. Шли без остановки. На ходу перехватили шоколад и сухари.

Наконец, по моим расчетам, мы прошли все расстояние, а огня с мачты “Вайгача” не видно. Подыскав вблизи высокий торос, все мы взобрались на него — огня нет. Что делать? Стало ясно только одно: решение должно быть принято на месте.

Разбили палатку, опять “разогрели” водку, поели, согрелись горячим чаем.

Стал вслух обсуждать наше положение, делясь всеми деталями со своими спутниками. Первое: курс на “Вайгач” я держал очень точно, значит, из-за компаса большой ошибки в направлении быть не может. Второе: расстояние. Его на глаз здесь, конечно, не оценишь, но на мне были три пedomетра: один на поясе, один в кармане, один на торбазе. Еще задолго до болезни Жохова я тренировал себя при прогулках по льду.

Таким образом, и второй вопрос, вопрос расстояния, тоже не вызывал сомнений.

Оставался третий фактор — метеорологический.

Не развернуло ли ветром наше ледяное поле во время нашего похода так, что курс изменился? Иначе говоря, если считать отходную точку “Таймыра” неподвижной, не изменился ли пеленг от нее на “Вайгач”? Другой причины не было и быть не могло.



Приняв разворот ледяных полей за единственную возможность, мы задались вопросом: а в какую сторону он мог произойти? К западу или к востоку? Решение этого вопроса стало кардинальным.

“Таймыр”, будучи ближе к берегу, если под все усиливавшимся ветром и разворачивался со своим полем, то меньше, чем “Вайгач”. Это привело меня к выводу: расстояние мы прошли, но находимся к востоку от “Вайгача”. Насколько? Неизвестно, но я не предполагал его большим. Разобравшись, таким образом, в обстановке и условиях похода, я честно объявил своим компаньонам о трудности нашего положения.

Находимся мы на огромном ледяном просторе, темнота почти круглые сутки, сугубые морозы, небольшой запас провизии и керосина. Непогода — пурга или метель, всегда возможные в это время, — может быть губительной, следовательно, времени терять нельзя.

Идти дальше вперед на север рискованно. Если расстояние пройдено, ухудшается возможность увидеть огонь на “Вайгаче”. Идти на восток кажется сомнительным, а потому может оказаться тоже рискованным. Остаться на месте просто нет смысла и тоже может стать формальным по мере истощения запасов.

Остается одно направление — на запад.

Однако, ввиду того что это лишь логический вывод, я, не считая себя вправе подвергать своих спутников этой опасности, предложил свой план: они остаются в палатке на месте. Из связанных лыж делают мачту, на которую прикрепят керосиновый фонарь. Я пойду прямо на запад в поисках клотикового огня “Вайгача”. Если увижу его скоро, вернусь на их огонь и вместе пойдем на “Вайгач”. Если я увижу огонь не скоро, то есть расстояние от “Вайгача” будет для меня ближе, чем возвращаться к ним, я пойду на “Вайгач”, а за ними придет партия с корабля. Если же я огня вообще не увижу, я возвращусь обратно к ним, и то же самое сделаем в направлении на восток.

Сильно подчеркнул им, что сама судьба их может зависеть от их огня на лыжной мачте...



Взяв шоколад, сухари и винтовку, а также кинжал из своего мешка — браунинг для этого похода у меня был в кармане, — я сказал моим сотоварищам: “До скорой встречи”, — и пошел один в темноту, на запад. Отсутствие теней сильно мешало: не было видно ни впадин во льду, ни выстрелов на нем. Часто падал.

При сильном морозе раздавался порой треск льда и торосов. Шел целый час, не видя огня по курсу. Встаю на торос, впираюсь глазами в горизонт — огня нет. Штурманским чутьем прикидываю в уме: чему равен угол пройденного от палатки расстояния — миля или полторы, при пробеге от корабля в 15 миль? Получаю около 5° . Величина угла смутила меня, но в то же время указывала, что если взятое мною направление верно, то “Вайгач” уже недалеко от меня. Решил идти дальше. Чаще и чаще всхожу на вершины торосов — огня нет. Вдруг мозг пререзает краткая фраза телеграммы с “Вайгача”, полученная нами накануне выхода: “Будьте осторожны, сегодня впервые видели следы медведей”.

Холод пробегает по спине, нервное воображение разыгрывается. При неожиданном треске льда вблизи невольно сжимаешь винтовку, трогаешь кинжал, браунинг. Рисуеться нападение медведя и как я, пустив в ход кинжал и браунинг, хотя и с сильным повреждением для себя, справлюсь с ним. Вот когда я пожалел, что не было со мною моей чудной чукотской лайки Чукчи, которую я оставил на “Вайгаче” при переводе на “Таймыр”. Ведь медведь меня может учуять издалека, в то время как я узнаю о его присутствии уже будучи под ним. Время течет убийственно медленно. Проходит еще полчаса, а огня нет! Начинаю сомневаться в логике своего размышления в постройке плана действий. Впервые закрадывается сомнение: а не на восток ли надо было идти? Подсчитанный в уме угол расхождения курса увеличивает сомнения. Не повернуть ли к палатке, пока не поздно? Решил, однако, пройти еще с полчаса. Очень тяжелы были эти последние полчаса! Медведи, сомнения, ошибка в расчете, неизбежная гибель партии и самого себя, если теперь не найду ни того, ни другого огня, — все это навязчиво сверлит в мозгу. Беру себя в



руки, успокаиваю свои нервы. Вновь взбираюсь на вершину, и... прямо по курсу и невдалеке открылся огонь!

Почти побежал на него. Он постоянно от меня скрывался за торосами и часто пропадал.

Поднявшись на верхнюю палубу "Вайгача", я неслышно спустился в кают-компанию. Надо было видеть изумление моих друзей, увидевших меня одного!

Внеся холод полярной ночи в теплое помещение корабля, я, разоблачась, объяснил Неупокоеву, где оставил своих компаньонов, расстояние до них, направление, огонь на мачте-лыже, условия льда и т.д. Сейчас же партия с Неупокоевым и Никольским, захватив собак, отправилась на поиски моих верных сподвижников этого незабываемого, в полярную ночь, путешествия! Ударный переход был сделан меньше чем в сутки.

Через несколько часов мы были все вместе, а до этого я уже сидел в каюте своего больного друга Жохова.

Застал я его в тяжелом положении и физически, и морально, не потому, что он жаловался на что-нибудь, а потому именно, что он уже не на что не жаловался и был в состоянии апатии почти все время в течение тех дней, что я провел с ним до его кончины.

Ушел он в экспедицию женихом. Жил мечтой о невесте, свадьбе, встрече, будущей жизни. Теперь же, когда мне порой удавалось навести его мысли на то, что было так дорого ему, он на минуту оживлялся, чтобы потом еще глубже впасть в апатию, выявляя полное безразличие ко всему.

Он просил меня похоронить его на берегу, вытравить на медной доске написанную им эпитафию и повесить ее на крест, сделанный из плавника, с образом Спасителя — благословения его матери.

Все это мною было свято выполнено.

Жохов был большой поэт, и еще в Морском корпусе он писал стихи и посылал их в периодические издания под разными псевдонимами, где никогда не отказывали ему в печатании. А писал он большею частью тогда, когда мы оба, сидя хронически без



отпуска и без денег, мечтали о калаче, масле, икре для компенсации скудного корпусного обеда или ужина.

Свою эпитафию Жохов написал еще до моего прихода на “Вайгач” и сам прочел ее мне, сделав последние поправки.

Под глыбой льда холодного Таймыра,
Где лаем сумрачный песец
Один лишь говорит о тусклой жизни мира,
Найдет покой измученный певец.

Не кинет золотом луч утренней Авроры
На лиру чуткую забытого певца —
Могила глубока, как бездна Тускароры,
Как милой женщины любимые глаза.

Когда б он мог на них молиться снова,
Глядеть на них хотя б издалека,
Сама бы смерть была не так сурова
И не казалась бы могила глубока.

Пророческими оказались слова его: он умер, не видя восхода солнца, в долгой полярной ночи.

Вечная память другу, честному человеку, недюжинному поэту, достойному офицеру!

По окончании приготовлений к погребению и с первой же сносной погодой гроб с покойным Жоховым, покрытый Андреевским флагом, со скрепленным палахом и треуголкой на крышке, доставили сперва на “Таймыр”, что было нелегко, а оттуда к месту захоронения на западе Таймырского полуострова.

Матросы “Вайгача” напрягали последние силы, таща тяжелые сани с гробом по торосистому пути. Все они добровольно вызвались помогать и этим воздать свой последний долг умершему. Мои матросы с “Таймыра” вместе со мной присоединились к общим усилиям этой драматической погребальной партии.



Подкрепление с “Таймыра”, обнаружившего на горизонте похоронное шествие, было вовремя.

Первое желание умирающего Жохова было быть погребенным в море, подо льдом, на месте зимовки “Вайгача”. Мотив его был: нежелание доставить какую-либо излишнюю физическую тяжесть экипажу корабля, а тем паче совершать путешествие с его гробом по торосистому ледяному покрову до берега. Мои возражения этому мотиву, дружная и сердечная атмосфера последних дней его жизни, проведенных вместе в его каюте, изменили его желание — он просил похоронить его на берегу.

Рытье могилы оказалось невероятно сложной задачей. Больше того, совершенно неожиданной по своим трудностям задачей для всех нас. Мы знали о вечной мерзлоте все, что было известно по этому вопросу в то время. Оказывается, мы ничего не знали. Не знали ее природу, ее свойства и практически не имели о ней никакого понятия.

Вопрос был простой: вырыть могилу достаточной глубины, чтобы полярные медведи и волки не могли бы достать гроб. Казалось бы, орудия для этой цели — лом, кирка, лопата — все, что надо. Идя на берег, мы и забрали их в достаточном количестве. Не тут-то было. Ломом или киркой откалывали лишь незначительные куски этой вязкой массы смерзшейся земли и воды; здесь лопаты оказались совершенно излишними.

Несколько часов напряженной работы показали полную бесплодность наших усилий вырыть могилу. А вырыть мы должны были. Что делать? Решили передохнуть, попить чаю.

В партии был душа-человек, матрос Попков, очень славный, добрый, симпатичный и преданный. Поппросил его вскипятить воду из снега в примусе. Надо заметить, что снег в Арктике мелкий, сухой, но ветром скатан в изумительно плотную, компактную массу. Его легко можно резать ножом или пилить пилой, он не рассыпается.

Чтобы укрыться от холодного, пронизывающего ветра, все мы забрались в один из ящиков из-под нашего злосчастного гидроаэроплана, который вскоре был с большой пользой пере-



делан в аэросани. Ящики же, хранившие и гондолу, и крылья, были с началом зимовки перетащены с большим трудом с корабля на берег. В них было устроено депо провизии на случай гибели корабля.

Стали обсуждать вопрос о могиле. Как вырыть ее? Продолжать работу ломом и киркой — это решение было бесповоротно отброшено. Я предложил попробовать взрывать грунт подрывными патронами, несколько штук коих были взяты на всякий случай с корабля. Сделав небольшое отверстие в уже пробитом грунте — а глубокого мы сделать не могли, — заложили патрон и взорвали его. Результат — самый печальный. Более мелкие куски мерзлоты, точно труха, были выброшены в незначительном количестве вверх из отверстия, превратившегося в неглубокую и неширокую воронку. Стало очевидным, что и этот метод непригоден.

Пошли в ящик продолжать пить чай. В это время Попков, обращаясь ко мне, говорит, что ему “заморозило палец”, когда он прикоснулся голой рукой к металлическому поршню помпы примуса. Не придавая этому значения, ибо все мы порой имели отмороженными пальцы или носы, а чаще всего уши и щеки, я сказал ему, чтобы растер отмороженный палец снегом, и продолжал обсуждать с Неупокоевым и Никольским столь неожиданно для нас вставшую проблему. В это время Неупокоев, сидевший лицом к Попкову, обратил внимание, что тот растирает отмороженный палец о глыбу снега, которую он выпилил, и внес в ящик для чая. Подойдя к нему, мы увидели, что уже не один, а четыре пальца отморожены до последнего сустава.

Сняв рукавицы, мы втроем поочередно стали растирать снегом его отмороженные пальцы.

Растираем четверть часа — успеха ни на йоту. Пальцы Попкова как культишки, по его выражению: твердые, как камень, белые, при тряске кисти издают звук удара кости о кость. Дело плохо, тем более что при морозе ниже -40° , да со снегом в руках, наши пальцы начинают мерзнуть, несмотря на то что мы постоянно засовывали их за пояс, отогревая на животе. Что делать? В этом виде Попкова оставить нельзя.



Я снял с себя очень мягкий внутренний чулок торбазы, то есть мехового сапога, и мы начали поочередно растирать им пальцы Попкова.

Растирали не меньше часа, пока стали сказываться результаты, а сказались они только тогда, когда вся кожа этих пальцев была содрана и пальцы стали кроваво-красными (но не кровоточивыми), сильно распухшими, но мягкими.

Убедившись, что немедленной дальнейшей опасности Попкову нет, а, наоборот, он нуждается в скорой медицинской помощи, мы, обернув кисть в чистый носовой платок и меховые перчатки, завернули ее еще в мой кожаный чулок и с провожаемым отправили больного на корабль.

Много недель прошло, пока доктор закончил ампутирование ему гангренозных пальцев, отвоевывая сустав за суставом.

Во время инцидента с Попковым пришло и решение нашей задачи. Испробовав все, решили, что единственно, чем мы сможем добиться достаточной глубины могилы, — это вырубить ее в мерзлоте топорами.

С Попковым я послал распоряжение доставить на берег все топоры “Таймыра” и точильное колесо. Когда топоры прибыли и мы начали высекать ими мерзлоту, дело стало спориться, но топоры тупились ежеминутно.

Когда гроб был привезен и с молитвой опущен в могилу, ружейным залпом мы отдали почесть усопшему товарищу».

Так в орбиту моих поисков вошли эти два имени — Алексей Жохов и Николай Транзе. Оба они сделались мне близки и интересны так же, как и их командир Новопашенный. И я стал выкалывать из небытия и их души.

Прямых потомков у Жохова не было — лейтенант ушел из жизни женихом. Но были боковые ветви — братья, сестры, кузины, племянники... Расспрашивал о Жохове всех, с кем случай сводил и в Питере, и в Севастополе, и в Москве. Не тот, не тот, не тот...



У океана печатного тот же нрав, что и у морской стихии: можно годами бороздить и тралить его глубины, а он однажды возьмет да и выбросит по воле волн на берег-стол то, что ты и представить себе не мог...

Ну откуда мне, москвичу, было знать, что в те самые дни, когда я выживал в объединяющемся Берлине, ленинградская «Вечерка» опубликует очерк «Запонка лейтенанта Жохова»?¹ И каким чудом вырезку из газеты занесло ко мне на Преображенку?! Но ведь занесло!

Впиваюсь в статью... Вот и о Новопащенном: «Ледоколом “Вайгач” командовал один из лучших гидрографов флота Петр Алексеевич Новопащенный, сменивший первого командира — известного полярного исследователя А.В. Колчака. Новопащенный был старше Жохова и уже награжден орденом за храбрость при участии в Цусимском сражении».

Вот нечто новое о Жохове:

«Алексей Николаевич Жохов, правнук героя войны со Швецией и Англией капитана Г. Невельского...» Тут бы акцент сделать на первопроходческих, исследовательских заслугах адмирала Невельского — ведь именно они и снискали ему славу... Правнук вполне поддержал ее. Их имена — на одной карте...

Но все-таки — запонка. Ее лейтенант Жохов забыл в либавском доме своего земляка-костромича, флотского генерала Ратькова². Это случилось, по всей вероятности, в 1910 или 1911 году, когда лейтенант Жохов еще служил на линкоре «Андрей Первозванный». Историю этой вещицы поведала журналистке дочь капитана 1-го ранга Ратькова Марина Константиновна:

«Алексей Николаевич Жохов бывал у моего отца, председателя старейшин Морского корпуса, по делам службы. Я была тогда совсем девчонкой. Но помню, как старшая сестра Елизавета не скрывала своего восхищения молодым красавцем-лейтенантом. Она и сохранила этот маленький сувенир, который

¹ Вечерний Ленинград. 1990. 13 июля.

² В Русско-японскую войну — старший офицер крейсера «Баян».



Жохов случайно обронил у нас. Был и его портрет, подаренный нашему отцу, но, к сожалению, пропал во время блокады».

Я узнал адрес Ратьковой и позвонил ей в Питер, поинтересовался, нельзя ли взглянуть на эту легендарную записку.

— А ее у меня нет.

— ?!

— Я вернула ее законному наследнику: Алексею Дмитриевичу Жохову, племяннику. Он живет у вас в Москве. Можете ему позвонить...

И я звоню. И вновь чудо: траектория жоховской судьбы проходит через мой кабинет. Алексей Дмитриевич Жохов, немолодой, высокий, плотный мужчина, пожаловал на чашку чая. Нам есть о чем поговорить — ему рассказать, а мне послушать... Он, как и дядя, тоже гидрограф, недавно вернулся с Таймыра, был на мысу Могильном, где похоронены лейтенант Жохов и кочегар Ладоничев. Лыды подрезали мыс так, что обе могилы под угрозой обвала. С креста Жохова кто-то стащил иконку... Надо бы перенести оба захоронения в глубь полуострова. Но как? Добраться туда можно только вертолетом из Диксона. А это деньги, бумаги, визы, разрешения, резолюции. Нужны добровольцы, спонсоры, силы и здоровье...

В конце разговора Жохов достал наконец легендарную записку. Та самая, что описана в газете, — перламутровая, с коралловым глазком. Из морских материалов. Я зажал ее в ладонях.

Как странно — такая безделушка, а пережила своего хозяина и будет жить еще и век, и другой... Неужели это все, что осталось от той жизни?! Остров на карте. Еще озеро. Несколько фотографий. Записка... От иных и надгробья-то не осталось...

— Эх, сколько информации спрессовано в этой вещице! Если бы она могла говорить...

— А мы попробуем ее разговорить, — усмехнулся Жохов. — Дайте-ка нитку.

Он подвесил записку и вытянул руку над расстеленной на столе картой Союза. Записка стала медленно раскатываться над кружочком Москвы. Я почти не сомневался, что она отклонится в сторону Таймыра: туда, где покоится прах ее хозяина. Но



маятник пошел в другом направлении — перекрестном, — вдоль северо-западного румба. Я наложил линейку, она пролетела от Москвы через Таллин.

— Вот вам и направление поиска, — еще раз усмехнулся Жохов. Отвязав запонку, он бережно упрятал ее в футлярчик.

«Упорно грезится мне Ревель...»

Ленинград. Ноябрь 1990 года

В Ревель-Таллин мне случилось ехать через Ленинград, с любимого Балтийского вокзала. Но прежде, в московской «Красной стреле» моим соседом по купе оказался не кто иной, как начальник Главного управления навигации и океанографии вице-адмирал Юрий Иванович Желгов. (Обычная дорожная случайность?) Незадолго до революции этот пост занимал отец командира «Таймыра» и начальник РЭСЛО Андрей Ипполитович Вилькицкий. О нем и разговорились.

— А мы тут взяли и восстановили своими силами, — рассказывал Юрий Иванович, — надгробие Вилькицкого на Смоленском кладбище. Плиту подновили, оградку укрепили, якорные цепи повесили. Загляните при случае.

Я и заглянул. Среди всеобщего гранитного повала, гниющих сучьев и прочей мерзости запустения, воцарившейся в этом старинном российском некрополе, сверкали на обновленном граните золотые буквы: «Вилькицкий». Радовался я недолго.

Отправился на Литейный посмотреть Мириинскую больницу, где всю жизнь проработала Нина Гавриловна Жохова. Больница с историей и с архитектурой. Сам Кваренги создавал ее проект в начале XIX века. Предназначалась она для простого люда. Когда-то перед фасадом главного корпуса стоял памятник основателю больницы, попечителю многих благотворительных учреждений, человеку доброй и щедрой души — принцу Ольденбургскому. «Он был изображен, — сообщает старый путеводитель, — словно склонившимся к просителю, в чем-то нуждающемуся человеку». После революции принца, разумеется, убрали, а постамент декорировали медицинской эмблемой:



чашей со змеей... Бронзовую змею только что отодрали и похитили в очередной раз.

Вандализм в Питере ранит особенно больно...

Я вошел под старинные своды. Вот здесь, за окошечком регистратуры, Жохова и работала.

Ужасная работа — день-деньской искать на полках медицинские листы. Такой работой пугают нерадивых школьников. А она, дворянка, институтка, дочь флотского генерала, красавица, всю жизнь просновала мимо этих бесконечных стеллажей. И кто-то в очереди к ней на что-то сердился, понукал, помышкал ею — и конечно же не догадывался, что эта седенькая бабуся была когда-то полярной музой морского офицера, что это в ее глаза мечтал заглянуть он перед могилой, что это в них таится бездна Тускароры...

Тристан и Изольда, Орфей и Эвридика, Мастер и Маргарита... Но это литературные герои. А тут — живые люди: Алексей и Нина. Пример непридуманных судеб поражает глубже, особенно тех, кто как-то к ним причастен. Какая мощная вспышка духа озарила эту пару, если уж без малого век о них помнят, говорят, думают, пишут; если глубокие старцы читают наизусть строки чужой любви и они греют их. Быть может, и в наше время размытых чувств свет той оборванной любви послужит кому-то путеводной вехой, как помогает крест лейтенанта Жохова узнавать полярным капитанам берега в арктическом тумане.

Бог не дал им продлить свою жизнь в детях. Но... но кровь Нины Жоховой еще бежит в чьих-то жилах. В войну, в блокаду (!), она была донором. Сколько людей спасла ее «красная руда»? Сколько душ спас от тлена пошлости и распада погребальный сонет ее жениха?

Да пребудут они в нас всегда — Нина и Алексей, разлученные и связанные общей фамилией.

Небо Арктики. Ноябрь 1990 года

...Серебристая десница самолета занесена над белым простором. Северный океан с высоты выглядит взморщенным голубым киселем... А вот и первые льдины. Они белеют толченой скорлу-



пой. Очень скоро голубое исчезнет под белым — пошла сплошная заснеженная равнина. Ледовитый океан плывет под крылом расстресканный, словно бок гигантского белого кувшина. Трещины: от волосяных линий первого надлома до рваных промежутков разбитых вдребезги кусков. Изломы иных длинны и извилисты, словно реки; зигзаги других расчерчены по линейке...

Самолет полярной авиации держит курс к проливу Вилькицкого. Мы летим вдоль Главного Северного морского пути. Я пытаюсь представить себе, каким он открывался с обледеневших мостиков «Таймыра» и «Вайгача».

Белые льдины, надломленные кованым форштевнем, нехотя расступались, точно раздвигались заколдованные ворота неприступного чертога. И корабли переходили из одного зала в другой, из бухты в бухту, из моря в море, а ледяные створки сходились за кормой и, кто знал, может быть, навсегда замыкали путь назад. А путь вперед мог пресечься в любую минуту — сомкни студеный океан свои ледяные челюсти чуть сильнее, и все. И он сомкнул, и вмерзли ледаколы на всю стосуточную ночь...

Дороги — русла, по которым течет время человечества. На заре цивилизации русла исторических событий совпадали с руслами Нила и Евфрата, Ганга и Днепра, Волги и Янцзы... С веками время людей выплеснулось и на морские трассы.

Северный морской путь — из разряда столбовых дорог прежних поколений — как Великий шелковый путь или путь «из варяг в греки». Увы, он еще и самый опасный для освоения.

У Фриттьофа Нансена — железные нервы. Но и он назвал Арктику «страной льда и ночи, страной ужаса и смерти».

Велик и во многом безымяннен мартиролог этого пути смельчаков, авантюристов, капитанов полярной удачи.

Когда и кто открыл скорбный список? Английский капитан Хью Уиллоби? Отчаянный Хью, который повел три своих корвета в вожделенную Индию мимо сибирских берегов? Он сам и оба его корабля сгинули во льдах Арктики, не перейдя и первого Сту-



денного моря, которому капитан Баренц еще не дал своего имени. Два экипажа вымерзли в скалах Мурмана, спалив обломки своих кораблей на кострах. И только третий корвет добрался до устья Северной Двины, и оттуда санным путем «ходоки в Индию» добрались до Москвы.

Но и несчастный Уиллоби, и итальянец Джон Кабот¹, увлекший английского капитана безумной идеей, и русский посол в Риме Герасимов, впервые эту идею высказавший во всеевропейское услышание, были правы. Кратчайший путь из Европы (Англии) в Индию лежал через... Ледовитый океан. Величайший морской тракт цивилизации (Европа—Индия) мог быть намного короче, а значит, и деловой ток всего человечества мог быть ускорен. Это ли не задача для рыцарей духа, прогресса и воли?

Увы, их было не так много в обширном человеческом племени. Раз в столетие находился новый «Уиллоби», который решался бросить жизни своих экспедиционеров (вместе со своей собственной) на игровое поле ледовой рулетки.

XVI век — капитан Баренц. Дальше Новой Земли пробиться не удалось.

XVII век — Петр Великий. Послал суда в Японию Северным путем. Дальше устья Оби не пробились.

Чуть позже (после смерти Петра) экспедицию повторили. И — о удача! Офицер русского флота датчанин Витус Беринг прошел под парусами весь путь ледяных капканов, открыл пролив, достойный восторгов, почестей и славы, выпавших Магеллану. Пролив соединял два океана — Ледовитый и Тихий, его берега отделяли Евразию от Америки, и эти новые врата человечества вели в Индию короче и быстрее, чем лабиринт Магеллановой протоки.

Виват, Витус Беринг! По его пути устремятся десятки судов... Но только спустя полтора столетия шведу Норденшельду на паровом зверобое «Вега» удастся прорваться в Тихий океан. И то не сразу. Всего в ста милях от Берингова пролива «Вега» вмерзла в лед и зазимовала. Зато в июле 1879 года Нильс Норденшельд

¹ Джованни Кабото.



мог смело считать себя чемпионом трехсотлетней арктической эстафеты: его пароход, оставив за кормой льды «океана без кораблей», вошел в воды Тихого океана, связав их оба в историях мореплавания нитью единого рейса.

Впрочем, Арктика оставляла равноценные лавры и для тех, кто смог бы повторить этот путь в ином направлении — с востока на запад. Вот они-то и выпали на долю Вилькицкого и его экспедиции спустя 36 лет.

Как бы ни обвиняли царское правительство в рутине и неадаптивности, но именно оно положило начало государственному освоению Великого Северного пути.

При нашей любви присваивать всему, что бы ни было, громкие имена Главный Северный морской путь вполне мог носить имя Колчака. Ведь именно Колчак, как в свое время адмирал Макаров, задумал и разработал специальный тип арктического судна — ледокольный транспорт. Под его наблюдением в Петербурге строились «Таймыр» и «Вайгач». Именно он повел их к месту старта — во Владивосток. Потом уже запущенное им дело вершилось без него. Но до последних дней жизни компасная стрелка души его смотрела на Север.

Глава десятая ПРИКОЛ-ЗВЕЗДА

«У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России.

Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровавым чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель».

Так писал о нашем герое Владимир Максимов.

Имя этого человека, брошенное на весы Фемиды, еще не остановило их чаши.



За семьдесят послереволюционных лет злых и бранных слов об адмирале Колчаке сказано не меньше, чем восторженных за сорок шесть лет его жизни.

За два года до гибели у него была возможность сказать «нет», и тогда бы жизнь его продлилась, а имя украшало бы географические справочники, борта кораблей, титулы книг и уличные таблички. Но он сказал «да» и выбрал тот путь, который на Руси издавна метился грозным перепутным камнем: «Прямо поедешь — убитому быть...» Да и мог ли он выбрать круглую дорогу, когда только по прямой лежал путь к главной цели его жизни — к Южному полюсу?!

Как бы там ни было, но из истории Севастополя его имя не вычеркнуть, как не вымарать его из ледяных скрижалей Арктики.

Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября (по старому стилю) 1874 года в Петербурге на казенной квартире служащего Обуховского завода.

«Отец мой, — сообщал Колчак в протоколах допроса, — Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте, затем был на уральском Златоустовском заводе, после этого служил приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, то остался на этом заводе в качестве инженера или горного техника...

Мать моя — Ольга Ильинична, урожденная Посохова. Ее отец происходит из дворян Херсонской губернии. Мать — уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи...» Тут надо было бы добавить, что из семьи не просто дворянской, но и морской, давшей русскому флоту двух адмиралов.

Отец же, семнадцатилетним юнкером флота, участвовал в обороне Севастополя, и не где-нибудь, а в ее страшном пекле — на Малаховом кургане. Там он стоял на гласисной батарее¹, что

¹ Гласис — земляная пологая (в сторону противника) насыпь впереди наружного рва укрепления.



располагалась впереди башен. «С 15 апреля по 27 августа, стоя помощником батарейного командира, за сожжение огнем гласисной батареи 4 августа фашин и туров во французской траншее награжден знаком отличия Военного отряда (солдатским "Георгием". — Н.Ч.). В бою на Малаховом кургане 27 августа контужен, ранен и взят в плен».

В 1899 году Василий Иванович опубликовал свои воспоминания «На Малаховом кургане».

Вообще, корни рода Колчаков уходят в Боснию. Прапрадед адмирала — турецкий генерал Колчак-паша (имя его в переводе — «боевая рукавица») был пленен в бою под Хотинном (1739) русским фельдмаршалом Минихом. Колчак-паша, встретив в России весьма доброе к себе отношение, нашел в ней вторую родину, и даже получил от императрицы Анны Иоанновны небольшое имение. Спустя полтора века его праправнук, командуя Черноморским флотом России, поставит Блистательную Порту на грань поражения.

Звезда Александра Колчака начала свой взлет уверенно и круто. В Морском корпусе он шел все время первым или вторым. Блестяще окончил его в девятнадцать лет, получив премию адмирала Рикорда. «Гардемарин Колчак, — отмечал современник, — был серьезным, высокоодаренным юношей с живыми, выразительными глазами и глубоким грудным голосом». Он кончил корпус фельдфебелем, вторым по старшинству своего выпуска, с премией в 300 рублей, и был произведен в чин мичмана в 1894 году.

«Во время моего первого плаванья, — вспоминал Колчак, — главная задача была чисто строевая на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южнополярной экспедиции, но занимался этим в свободное время: писал записки, изучал южнополярные страны. У меня была мечта найти южный полюс...»

Не флаг флотоводца, не лавры политика манили молодого офицера. Многие ли из нас в его годы ставили перед собой равно великую цель?



Ученые записки Колчака высоко оценил адмирал Макаров. Степан Осипович нашел эти труды замечательными и представил их в 1899 году императорской Академии наук. А двадцатипятилетний лейтенант исправно нес свои вахты на броненосце «Петропавловск», том самом, на котором столь трагично кончит свой век его высокий покровитель. «Петропавловск» шел навстречу своей еще нескорой гибели — через Гибралтар, Суэц в Порт-Артур. Но судьба его вахтенного начальника уже решилась. На стоянке в Пирее Александра Колчака разыскал известный русский географ Эдуард Толль, который тоже не чуял своей близкой смерти в белом безмолвии.

«Здесь (в Пирее. — Н.Ч.), — пишет Колчак, — я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля принять участие в организуемой Академией наук под его командованием северной полярной экспедиции, в качестве гидролога этой экспедиции. Мне было предложено, кроме гидрологии, принять на себя еще и должность второго магнитолога...»

На все эти предложения Колчак ответил «да». Он всегда произносил это слово, когда ему предлагали поле деятельности, требующее отвагу и сулящее риск, неведомый исход, — будь то экспедиция на край земли, командование действующим флотом или верховенство в обреченном правительстве. И тогда, на рубеже веков, молодой офицер принял опасное предложение безумного смельчака как счастливейший дар судьбы. Идти туда, где не побывал еще ни один человек, на вершину планеты, пробиваться сквозь льды и снега на шхуне, на собаках, на лыжах — да есть ли еще более достойное для мужчин дело?

Для того чтобы подготовиться к штурму Северного полюса, лейтенант Колчак был направлен в Главную физическую обсерваторию. Три месяца упорного постижения геофизических таинств; затем стажировка в Норвегии у самого Фритьофа Нансена.

Наконец в июне 1900 года деревянная — немагнитная — шхуна «Заря» отправилась в свое опаснейшее предприятие. Россия еще не знала имен Седова, Русанова, Брусилова, но арктический мартиролог XX века вот-вот готов был открыться именем



Толля... «Заря» уходила туда, где географию заменяли манящие мифы, вроде «Земли Санникова», а карты были столь белы, что на них не проступали еще даже такие архипелаги, как Северная Земля. Лавры Колумба и Магеллана брезжили первопроходцам нового столетия только там — в ледяных пустынях арктических морей. Никто не мог сказать, на сколько лет покидают они мир газет и телефонов, автомобилей и электричества, всего того, что зовется цивилизацией.

Еще не изобретено радио, и им не послать, если случится беда, зова о помощи. Да если б и могли они подать тревожную весть, кто и на чем смог бы прийти им на выручку? Каждый из них был обречен на смерть от обычного аппендицита, не говоря о иппе, тисках ледовых полей, белых медведях, лютой стуже и прочих напастях, грозящих мореплавателю в высоких широтах и поныне.

Александра Колчака провожала в это безнадежное плавание (деревянная шхуна не имела ледовых подкреплений) невеста — Софья Омирова, дочь действительного статского советника, председателя Казенной палаты Подольской губернии.

Уже зажглась, уже горела на его небосклоне старинная Прикол-звезда — Полярная, ведущая точно на север. Поморское ее название прстранным образом вобрало в себя половину его фамилии. Потом и вовсе она станет частью его имени — Александр Васильевич Колчак-Полярный. А пока гидролог и второй магнитолог аккуратнейшим образом заполнял свои журналы у безлюдных берегов Таймыра, угрюмых скал Новосибирских островов. Первая зимовка во льдах — унылая, безрассветная и бесконечная, как вой пурги в обледеневших снастях. Потом вторая...

Льды не позволили «Заре» идти дальше на север, к Земле Беннетта, куда так стремился барон Толль. Потеряв всякую надежду пробиться к островам на шхуне, Толль решил идти туда пешком. Взяв в собой трех спутников и оставив склад продовольствия на Новосибирских островах, он навсегда исчез в снежной пустыне. Последним его распоряжением лейтенанту Колчаку было увести «Зарю» в устье Лены (запасы топлива на



шхуне кончались), доставить в Петербург собранные материалы и коллекции и готовить новую экспедицию.

Колчак выполнил последнюю волю Толля. В декабре 1902 года он наконец выбрался из сибирских буранов в Петербург и сделал экстренный доклад в Академии наук о работе экспедиции и отчаянном положении барона Толля. Счет жизни, если барон со своими спутниками был еще жив, шел на сутки, в лучшем случае на недели. Впрочем, обмороженный докладчик уповал на лучшее: он очень надеялся, что вся группа, добравшись до Земли Беннетта, зимовала там в снеговой хижине. Колчак просил Академию выделить ему средства для организации спасательной экспедиции, он уверял ученый совет, что доберется до Земли Беннетта не на шхуне, бессильной перед льдами, а по разводьям на легкой шлюпке, перстаскивая ее через перемычки между полями. Седовласые мужи науки смотрели на него как на мальчишку в лейтенантских погонах и толковали о том, что сподвижник Толля подвержен какой-то особой форме безумия — северомании, какой страдал, видимо, и сам барон, двинувшийся на лыжах в ледяной плен Арктики. Но запальчивость молодого офицера подкреплялась такой верой в успех дела, столько неприсклонной воли сквозило в каждом его слове, что ученый совет сдался и предоставил ему полную свободу действий.

На следующий день, едва было получено разрешение, Колчак выехал в Архангельск. Там — шел уже январь 1903 года — он набрал себе шесть спутников — двух матросов и четырех мезенских добытчиков тюленей. С ними и отправился через Якутск и Верхоянск в стойбище, где ожидал с партией в 160 ездовых собак разворотливый сибирский промышленник Оленьин. На собаках добрались к устью Лены, где стояла «Заря» под командованием лейтенанта Матисена. Сняли с нее вельбот, поставили на нарты и протащили по льдам на Новосибирские острова. Надо ли говорить, что это был за поход?! Двигались в крошечной тьме, на морозе под сорок, да еще по торосистому льду. Уж на что привычные северные собаки, и те больше шести часов не выдерживали — падали в снег с высунутыми языками.



И все-таки они добрались до открытого моря! Оленьин с якутами и тунгусами остались на островах, а лейтенант Колчак с шестью гребцами вышел на малом вельботе в Благовещенский пролив.

Не могу себе этого представить: сорок два дня на шлюпке в Ледовитом океане. Шли то на веслах, то под парусом, если позволял ветер. Лавировали между льдинами и в туман, и в снежные заряды. Полтора месяца в не просыхающем от брызг и захлестов платье, без горячей пищи, на одних сухарях и консервах. Правда, были еще шоколад и водка. Но все же от простуды спасало весло — ломовая работа гребца.

Не было в истории полярных путешествий такого плаванья.

6 августа 1903 года вельбот достиг Земли Беннетта — безжизненной скалистой суши, придавленной льдами. Она считалась неприступной с моря, эта навечно вымерзшая земля. Мыс, на котором высадилась отважная семерка, Колчак назвал Преображенским, ибо 6 августа был днем Преображения Господня.

Ничто не выдавало здесь следов Толля. Надо было идти в глубь этой гибельной суши. По счастью, наметанный глаз экспедиционера заметил гурий — рукотворную горку камней. В ней обнаружили бутылку с запиской Толля. Тетрадный листок давал лишь общий план Земли Беннетта, на котором была помечена стоянка отчаянных лыжников. Найдя ее, Колчак извлек из-под приметного камня все, что собрал и записал в своем последнем походе Толль. Барон сообщал в дневнике, что, израсходовав продовольствие, он принял отчаянное решение возвратиться пешком на Новосибирские острова, к главному складу провизии. Последняя запись была помечена концом ноября 1902 года. Оставалось только догадываться, что могла сделать с полуголодными людьми полярная ночь вкупе с сорокаградусной стужей.

Однако надо было знать точно: добрался ли Толль до Новосибирских островов? И Колчак повторил свой немислимый путь в обратном направлении.

Склад провизии, к которому пробивался барон, оказался никем не тронутым. Спасатели сняли шапки и перекрестились. Прими, Господи, беспокойные души!



Выждав на острове Котельном, когда замерзнет море, Колчак в октябре перешел по льду на материк в Устьянск, не потеряв ни одного из своих верных помощников. Всех семерых, целых и невредимых, встретил в Устьянске Оленьин, терпеливо дожидавшийся их всю осень. На его отдохнувших собаках два месяца добирались в Якутск, куда и прибыли в январе 1904 года.

Так закончились обе полярные экспедиции, на которые лейтенант Колчак положил без малого четыре года лучшей поры жизни.

Лишь спустя несколько лет он обобщит результаты полярных изысканий в печатном труде «Льды Карского и Сибирских морей». Это исследование и по сей пору считается классическим по гидрологии Ледовитого океана. В 1928 году американское Географическое общество переиздало его на английском языке под названием «Проблемы полярных изысканий».

Известна ли сегодня эта работа соотечественникам автора? Боюсь, что, как и все, что вышло из-под пера Колчака, она была заточена в какой-нибудь «спецхран». Но специалисты знают, должны знать, обязаны знать. Ибо это не досужие записки путешественника и не кабинетные построения теоретика, а живой опыт полярного морехода, положившего начало освоению великой магистрали вдоль северного фасада России. И те, кто шел за «Зарей» следом, — «Святой Фока» и «Святая Анна», ледоходы Вилькицкого «Таймыр» и «Вайгач», и те, кто в советское время осваивал стратегический Главсевморпуть, папанинцы и челюскинцы, вознесенные сталинской пропагандой так, что имена предшественников растаяли в тумане забвения, — все они так или иначе прибегали к ледовой лоции лейтенанта Колчака-Полярного.

За подвижническую научную деятельность Александру Колчаку была вручена весьма необычная в мирное время награда — орден Св. Владимира IV степени. Академия наук и Императорское географическое общество удостоили его большой золотой медали, которой до Колчака были награждены лишь двое исследователей.



Казалось, жизнь его определилась раз и навсегда — гидрографический факультет Морской академии, а там новые экспедиции, новые открытия, новые труды и новые награды.

Однако карьера моряка-ученого не суждено было стать...

Ленинград. Июль 1990 года

Школьная истина «атом неисчерпаем до бесконечности» воплотилась для меня в этом человеке — Андрее Леонидовиче Ларионове, с его загадочной профессией хранителя корабельного фонда, с его воистину неисчерпаемой родословной. Продолжатель старого моряцкого корня, женатый на племяннице «иртышского затворника», последнего гардемарина Пышнова, оказывается, он же еще — по материнской линии — приходится и племянником Федору Андреевичу Матисену, капитану толлевской шхуны «Заря», командиру Колчака по корабельной службе в тех самых первых арктических плаваниях XX века.

Рассказывая об этом, Ларионов не преминул извлечь один из бесчисленных своих фотоальбомов, и я увидел Колчака таким, каким вряд ли его кто видел, кроме товарищей по походу да обладателя редкого снимка. Попадись он в 30-е годы следователю НКВД, уж тот бы точно не заподозрил в этом чернобородом полярнике, облаченном в меховые одежды, будущего Верховного правителя России.

СТАРОЕ ФОТО. В самом деле, трудно узнать в этом джеклендовском первопроходце адмирала Колчака, знакомого нам лишь по последним, сибирским, снимкам — усталый адмирал с тяжелым взглядом. Меховой капюшон обрамляет красивое мужественное лицо, взгляд отрешенный, мягкий, чуть мечтательный и все же твердый.

Еще не пролегли по тому лбу жесткие складки от тяжелых забот и жестоких решений, гнева и отчаяния; еще не обтянуты скулы злой тоской безнадежности, а свет в глазах не выели дымы Порт-Артура, Ирбена, Зонгулдака, Уфы и Омска...

На втором снимке Колчак сидит в кают-компании «Зари». И опять же никто не узнает в нем будущей грозы самураев



микадо и рыцарей кайзера, янычар султана и комиссаров Предсовнаркома. Сидит некий молодой, коротко стриженный человек, врасстая черной бородой в полярный свитер. Современное лицо — ни дать ни взять молодой физик из Академгородка.

Кохтла-Ярве. 1991 год

Я приехал в «столицу сланца» на автобусе.

Здесь, на задворках городского тепличного хозяйства, в заброшенном родовом имении, в уголке старинного парка чернеет «осколок Земли Санникова» — гранитная глыба символической могилы барона Эдуарда Васильевича Толля.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «Начальником была обещана премия тому, кто первый увидит Землю Санникова, — писал боцман толлевской “Зари” Никифор Бегичев. — Но увы! Сколько мы ни смотрели в трубы и бинокли, Земли Санникова не видели. Много раз меняли курс, но все бесполезно...»

Памятник боцману — в полный рост — стоит в заполярном Диксоне. Разнесло же их камни аж на тысячи верст по осту и норду!

Еще двое искателей загадочной земли — Колчак и Матисен — нашли последнюю гавань в Иркутске: один в 20-м — от расстрельной пули, другой в 21-м — от сыпного тифа.

Символическая могила Толля, позвавшего обоих на поиск призрачной земли, сооружена в его бывшем баронском имении под Кохтла-Ярве. Увы, имение постигла участь большинства дворянских гнезд. Сохранились лишь каменные столбы с коваными петлями давно снятых ворот, могильные плиты, едва видимые из густой травы. Сохранился и уголок старинного усадебного парка.

На боку каменной «льдины» выбито на русском и эстонском: «Известному русскому исследователю Эдуарду Толлю».

Чья-то добрая рука взрастила живой цветочный ковер у подножия.

Два капитана... Колчак и Матисен. Вот сюжет для будущего романиста.



Родились они в одном городе — Петербурге. Учились в одних стенах, только в разных ротах: Колчак — в младшей, Матисен — в старшей. Один — православный, другой — лютеранин. В крови первого гуляли турецкие гены, характер второго умерялся шведской сдержанностью. Но обоих поманила брезжущая Земля Санникова. И оба пошли на край света за неистовым до самозабвения геологом-землепроходцем Эдуардом Васильевичем Толлем... Для молодых офицеров он один стал кумиром, вожатым, учителем. Они не клялись ему в верности, не произносили громких слов, но, когда он сгинул в ледяной пустыне, оба, не щадя жизни, искали его, как ищут самого родного человека, до конца своих дней чтили его имя, верили в его дело.

Шхуна «Заря» оказалась для них зарей жизни. Матисену выпало быть командиром судна, Колчаку — подчиненным. Они не очень ладили, друзья-соперники. Но они вытянули из флотской фуражки один и тот же жребий. И даже их семьи раскололись одинаково: оба оставили жен и сыновей.

Судьба ненадолго развела их в Русско-японскую войну. Колчак попал в Порт-Артур, а Матисен пошел в Цусиму старшим штурманом на крейсере «Жемчуг», оказавшись в Маниле в одной компании с Домерщиковым, Левицким, Старком, Политовским...

После Порт-Артура военная звезда Колчака пошла на взлет, все выше и выше... Матисену не случилось добыть в походе громкой славы.

Спустя пять лет жизнь снова свела их в одном рейсе. Они снова шли штурмовать Арктику: Колчак — командуя «Вайгачем», Матисен — «Таймыром». Восемь месяцев они вели свои ледоходы через три океана во Владивосток. И даже успели пройти в Берингов пролив, заглянуть за мыс Дежнева. Но открывать новые земли выпало другим. Как в бильярде: оба сделали великолепную подставку своим коллегам — Вилькицкому и Новопашенному — и надолго ушли в тень фортуны. Обоих отозвали в Петербург по служебной надобности.



Рухнули надежды взять у Арктики реванш за гибель Толля, снова помериться силами с Ледовитым океаном. В прах рассыпалась и ставка на большую науку. Надвигалась новая война, и заново предстояло начинать карьеру, но не ученых-гидрографов, а боевых офицеров. Оба стартовали примерно с одной и той же отметки: Матисен — командиром канонерской лодки «Уран», Колчак — командиром экипажа «Уссуриец». Закончили же войну на разных высотах Колчак — вице-адмиралом, командующим Черноморским флотом, Матисен — каперантом, командиром вспомогательного крейсера «Млада», бывшей яхты княгини Шаховской.

В 18-м Колчак пошел спасать Россию с тем же безумным риском и с той же самоотверженностью, с какими спасал когда-то Толля. Он спасал корабль российской государственности по всем правилам борьбы за живучесть, латая его бреши полками, бригадами, дивизиями.

Матисен не пошел за Колчаком в Гражданскую. Гордость не позволила? Принял сторону большевиков. А честнее сказать, ушел от всякой политики в дебри Восточной Сибири, в гидрографические изыскания на все годы братоубийственной смуты.

Он ненадолго пережил своего соперника. Умер от сыпного тифа в том же Иркутске, где погиб и Колчак. Начальные и конечные точки их жизненных траекторий совпали географически точно, как совпадали некогда курсы «Вайгача» и «Таймыра».

Может быть, неспроста нет у них у обоих, вечных странников, вечных искателей, могил, пригвождающих бранные останки к одной географической точке. Как нет их у Седова, Русанова, Брусилова, всех, кто положил свои жизни на ледяной алтарь Арктики.

Они ушли в Ойкумену, в свою последнюю и вечную экспедицию. И строчки их современника — Бориса Пастернака — стали им общей эпитафией:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.



Когда в деревянный, занесенный снегами Якутск, где Колчак со товарищи отогревался и приходил в себя после ледовой эпопеи, докатилась весть о начале войны с Японией, молодой офицер немедленно отбил телеграмму в Академию наук с просьбой откомандировать его обратно на флот. Вторая депеша полетела в Главный морской штаб. Податель ее испрашивал разрешения отправиться из Якутска прямо в Порт-Артур. Смысл пространного ответа из Академии сводился к тому, что Колчак не будет отпущен во флот до тех пор, пока не представит подробный отчет о второй экспедиции. Садиться за письменный стол, когда в Порт-Артуре горят русские корабли и гибнут его однокашники?! Именно о невозможности такого положения телеграфировал он лично президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу. И тот его понял и разрешил отсрочку в отчете до окончания войны. Сдав Оленьину все собранные материалы и оставшиеся деньги для доставки в Петербург, Колчак начинает новый тысячеверстный путь из Якутска в Порт-Артур. До Иркутска добирался на перекладных лошадях. В Иркутске его ждал сюрприз, и какой: отец, несмотря на преклонные годы, приехал обнять сына — единственного! — быть может, в последний раз, да не один — добрался в глубь Сибири с Сонечкой Омировой.

Стоял март 1904 года. Грустным было это весеннее венчание в иркутском храме. Ведь наутро ждало новобрачных отнюдь не свадебное путешествие — разлука. Лейтенант Колчак уезжал в осажденный Порт-Артур прямо от свадебного стола.

Мог ли он подумать тогда, что смертная пуля поджидает его не на порт-артурских сопках, а здесь, в этом городе, где над ним только что держали венчальный венец? Пройдет всего шестнадцать лет, и ни японцы, ни турки, ни германцы — свои, россияне, такие же мужики, с какими он делил все тяготы полярной одиссеи, выведут его на берег Ангары и бездумно вскинут винтовки по взмаху чужой руки.

Но пока его ждало, как тогда говорили, новое поле чести — румбы Желтого моря.



В Порт-Артуре лейтенант Колчак предстал перед своим нечаянным покровителем — командующим флотом вице-адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым. Всегда чужавшийся высоких протекций, Александр на сей раз надеялся, что адмирал, весьма благоволивший к его научным работам, не откажет в назначении на миноносец, корабль, которому по роду службы чаще всего приходится встречаться с противником. Однако вид у соискателя активной боевой жизни был столь изможденным после северных передраг, что адмирал Макаров решил дать отчаянному лейтенанту передышку и назначил его на пятитрубный крейсер «Аскольд». На большом корабле быт более комфортабельный.

Это была их последняя встреча. Флагман порт-артурской эскадры налетел на японские мины... Гибель Макарова потрясла всех, даже японцев. Многие порт-артурцы приносили свои личные клятвы отомстить за адмирала — самую светлую голову русского флота. Дал такую клятву и лейтенант Колчак. И вскоре выполнил ее. Сразу же после трагического известия он подал рапорт о переводе на минный заградитель «Амур». Еще через какое-то время он наконец добился того, чего просил у Макарова, — назначения на миноносец, командиром на «Сердитый». Он рвался в бой. Но судьба сыграла злую шутку. Здоровье, подорванное полярными лишениями, не выдержало новых встрясок. Командир «Сердитого» слег в госпиталь с двусторонним воспалением легких. Валяться на госпитальной койке с боевым ранением — куда ни шло, но с заурадной обывательской пневмонией?! Сознать это было невыносимо для офицерской чести, и лейтенант с лицом аскета, едва спал жар лихорадки, вернулся на мостик «Сердитого».

Порт-артурские миноносцы — кораблики довольно щуплые, в свежую погоду на приличном ходу волна порой перехлестывала через невысокий мостик. Эти соленые купели, а может и недавние ночевки во льдах, тоже не прошли даром. Острый суставной ревматизм чуть не вынудил его снова слечь. Но возвращаться в госпиталь отказался наотрез.



И словно в награду за стойкость, военное счастье ему улыбнулось. На подходах к Порт-Артуру «Сердитый» выставил группу мин. На них, точь-в-точь как «Петропавловск», наскочил и подорвался японский крейсер «Такасаго». Лейтенант Колчак сдержал свое обетное слово.

Спустя многие годы военные историки назовут четырех лучших адмиралов русского флота, итожа первое двадцатилетие XX века: адмирал Макаров, адмирал Эссен, адмирал Непенин и адмирал Колчак. Эта плеяда продолжит славное созвездие XIX века: Лазарев, Ушаков, Сенявин, Истомин, Нахимов, Корнилов...

За уничтожение крейсера Александр Колчак получил Георгиевское оружие.

К весне 1905 года судьбу Порт-Артура решал береговой фронт. Командир «Сердитого» покидает лишившийся боевой работы миноносец и уходит на береговую батарею морских орудий, вольно или невольно повторяя военную судьбу отца на Малаховом кургане. Даже взрывы неприятельских снарядов метят их одинаково: та же контузия и то же ранение в руку. Однако позицию не покинул и до самых последних залпов, в бинтах, командовал батареей. Лишь после падения крепости он позволил отвести себя в госпиталь. Оттуда в апреле был переправлен японцами в Нагасаки. Раненым пленным офицерам микадо разрешил возвращаться на Родину без каких бы то ни было обязательств. И вскоре Колчак отправляется в Петербург рейсовым пароходом через Канаду...

Гибель Колчака и разгром его армии — это отнюдь не личная трагедия адмирала как политика и полководца, не частная беда тех, кто шел под его знаменем. Это боль и кровь всего народа. Любая победа в Гражданской, внутриотечественной, кровнородственной войне — это пиррова победа.

Те мерзости и зверства, какими бурлит Гражданская война по ОБЕ стороны баррикад, были названы победителями лишь



его именем — колчаковщиной. Да, белогвардейцы вырезали на спинах пленных совдеповцев красные звезды. Но и красноармейские командиры с не меньшей ненавистью забивали офицерам гвозди в плечи — по числу звездочек — или вспарывали красные лампы вдоль бедер. С тем же основанием красный террор и кровавые перегибы ЧК можно было окрестить дзержинщиной, буденовщиной или свердловщиной.

Колчак не рвался к верховной власти. Она выпала ему как тяжкий крест, уклониться от которого ему не позволили ни долг гражданина, ни офицерская честь.

Все было так, как на первом корабле его мичманской юности, — крейсере «Рюрик». Когда в бою с превосходящей эскадрой погиб командир, его сменил старший офицер; когда пал и он, на его место заступил штурман; затем на мостик, превратившийся в ад боя в командирский эшафот, поднимались — по старшинству — остальные офицеры... По этому же праву и адмирал Колчак вступил в командование гибнущим кораблем русской государственности.

Ни личное бесстрашие, ни бескорыстность, ни верность канонам чести, ни флотоводческий дар, ни воинская твердость не только не помогли Колчаку как политическому вождю и государственному мужу, но даже мешали там, где, его противники отнюдь не гнушались быть демагогами и интриганам, уверяя себя и других, что «революцию в белых перчатках не делают», что благородство, честь, совесть — предрассудки буржуазной морали, а нравственно лишь все то, что помогает удержать власть в ежовых рукавицах.

Я думаю, что любой честный, прямой человек, неискушенный в политике, будь он и семи пядей во лбу, не смог бы обуздать, подчинить стихию, охватившую страну в девятнадцатом году.

Да, он не был новичком в Сибири. Адмирал хорошо знал ее стужи, льды и ветры, но мог ли он знать (да и кто мог?) многоплеменный народ этого полуcontinента? Мог ли он разобратся в том политическом циклоне, который вихрился вокруг него: рвавшиеся домой и готовые заплатить за это любую цену



чехословацкие полки, дальневосточная партизанщина в тылу, интриги японцев, своекорыстные англичан, бунты в собственных рядах, спровоцированные эсерами, бессилие, чванство, предательство ближайших помощников...

«Несомненно, очень нервный, порывистый, но искренний человек; острые и неглупые глаза, — характеризует его мемуарист-современник, — в губах что-то горькое и странное; важности никакой, напротив — озабоченность, подавленность ответственностью и иногда бурный протест против происходящего...

...Жалко адмирала, когда ему приходится докладывать тяжелую и грозную правду: он то вспыскивает негодованием, гремит и требует действия, то как-то сереет и тухнет; то закипает и грозит всех расстрелять, то никнет и жалуется на отсутствие дельных людей, честных помощников...»

СТАРОЕ ФОТО. 1 мая 1919 года. Как не похож вице-адмирал в защитном френче на самого себя всего лишь семнадцатилетней давности. Лицо, изуродованное резкими складками. Если нанести их на бумагу — прочтется иероглиф безмерной душевной и физической усталости, но готовности нести свой крест до конца.

Не свехтерой, не аскет, не фанатик. Человек, который вдруг увидел в стеклянном око фотообъектива черный зрачок так скоро наставленного ствола. Горестно ужаснулся судьбе, но не отвел глаз, не склонил головы.

Впрочем, если верить его возлюбленной — Анне Васильевне Тимиревой, «ни одна фотография не передает его характер. Его лицо отражало все оттенки мысли и чувства, в хорошие минуты оно словно светилось внутренним светом и тогда было прекрасно. Прекрасна была и его улыбка...

...Он был человеком очень сильного личного обаяния. Я не говорю о себе, но его любили и офицеры, и матросы, которые говорили: “Ох и строгий у нас адмирал! Нам-то еще ничего, а вот бедные офицеры!”»

Что бы там ни говорили о причинах краха Белого движения, но корень зла уходит в старинную русскую беду — распрю. Меж-



доусобная рознь земель, удельная гордыня вождей, генералов, атаманов, несогласие партий и партиек — все это, помноженное на интриги и коварство союзников, весьма и весьма поспособствовало военному поражению.

И еще одна наша застарелая беда: равнодушие русского человека к тому, кто там на престоле, — варяг ли, эллин, иудей. До Бога высоко, до царя далеко, и каждая сосна своему бору шумит.

Вековая отстраненность от учреждения власти, заведомая подневольность любой власти (ибо всякая власть от Бога) рано или поздно заставляют доведенного до отчаяния мужика взяться за топор и вилы. Его политическая активность вспышечна и потому разрушительна, ибо культура политического созидания, как и контроль за властями предержажшими, где не привита, а где жестоко вытравлена. Вот и в 17-м, и в 18-м российскому крестьянству — главному телу народа — все равно было, кто там правил бал в Питере — «большаки» ли, эсеры, кадеты... «Нам один пес, лишь бы яйца нес, а мы бы ели да похваливали!»

Потом спохватятся, когда на двор придут и хлеб отнимут, да так почистят, как и татары не грабили. Поднимутся то тут, то там — да поздно.

В своем прекрасном романе об адмирале Владимир Максимов попытался взглянуть на Гражданскую войну глазами Колчака:

«Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все, попадающее на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеют значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно.

Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние



семинаристы выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне, прославленных боевых генералов?

Ответ здесь напрашивается сам по себе: к счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним-единственным качеством — умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею».

Еще надо в расчет взять и то, что все эти аптекарские ученики и недоучившиеся фельдшеры охотно и твердо усвоили подленькие нравы налетчиков, лихо «грабивших награбленное».

И если в Белом стане последнюю черту человеческого озверения мешали переступить остатки офицерской чести, православной веры или дворянского приличия, то в красном без колебаний приняли «игру без правил», смердяковский постулат воинствующего безбожия: «Все дозволено!»

И не символично ли, что против адмирала Колчака выступил большевик, взявший имя героя, рванувшего к своему благу с топором в руках, — Родиона Раскольников. Юный большевик Ильин, уверовавший, как и его кумир, что именно ему дозволено все, поступил в гардемаринские классы вовсе не из-за любви к морям или ради мечты достичь полюса, а для того лишь, чтобы спасти себя от фронта.

На революционной мутной волне мичман Ильин-Раскольников достиг в иерархии своего клана адмиральского ранга, даже превзойдя по служебной лестнице будущего противника — адмирала Колчака. И если Колчаку в 17-м не хватило «революционной гибкости» отдать почетное оружие, ставя на одну чашу весов честь, на другую — жизнь, то «первый морской лорд советского адмиралтейства», свободный от «буржуазных предрассудков», в 19-м, спасая свою жизнь, велел спустить красный флаг перед английскими шлюпками, окружившими его севший на камни флагманский корабль. И кто потом из его соратников поставил в упрек «морскому лорду», что ему выпала печальная слава первым в советском флоте спустить флаг перед неприятелем?



Честь флота, доблесть флагмана — право, какое смешное донкихотство перед всесветным пожаром «мировой революции»!

Нетрудно представить, чем бы закончился поединок между Родионом Раскольниковым и князем Мышкиным, сведи их не читательское воображение, а жизнь. Но жизнь и свела — в Предуралье... Как ни непредставим адмирал Колчак в облике князя Мышкина, но все же их роднит один и тот же идеализм. И насколько адмирал не дотягивает до героя Достоевского, настолько Ильин-Раскольников превосходит в масштабах вседозволенности своего литературного предтечу.

В ночь перед расстрелом Александр Васильевич Колчак не спал. У него было время подвести итоговую черту. Сорок шесть лет... Год его жизни вполне мог считаться и за два... Было все, что только может пожелать себе человек: и подвиги, и слава, и прекрасные женщины, диких городов и экзотические страны, военное счастье и отцовские радости. У него не было причин цепляться за жизнь. Но разве может человек бестрепетно расстаться с такой жизнью, которую осенила счастливая звезда?!

Семен Чудновский: «...Колчак и находившийся тоже в тюрьме министр Пепеляев были выведены на холм на окраине города, на берегу Ангары Колчак стоял спокойный, стройный, прямо смотрел на нас. Он пожелал выкурить последнюю папиросу и бросил свой портсигар в подарок правофланговому нашего взвода. Рядом с ним Пепеляев, короткий, тучный, смертельно бледный, стоял с закрытыми глазами и имел вид живого трупа. Наши товарищи выпустили два залпа, и все было кончено. Трупы спустили в прорубь под лед Ангары...»

Тело его, как и подобает моряку, приняла вода. Сибирь, которой он отдал лучшие годы молодости, отвагу и жар души, подарила ему ледяной саркофаг. Полярная Прикол-звезда, как и заклинал он под гитарные струны, горит, сияет над его безвестной могилой.



В 1903 году лейтенант Колчак, обследуя Землю Беннетта, провалился под лед. Он потерял сознание от холодового шока и был вытащен боцманом Бегичевым.

В 1921 году адмирал Колчак, точнее, его тело с расстрельной пулей в сердце ушло под лед Ангары.

Трагический парафраз судьбы?

Говорят, когда Сталин прочитал протоколы допросов Колчака, он крепко выругался: «Какого человека расстреляли, сволочи! Нам так не хватает честных и порядочных людей!»

Глава одиннадцатая

«КНЯЖНА»

В иркутской тюрьме она была преисполнена такого достоинства и благородства, готовая не на словах, а на деле умереть рядом с возлюбленным, была так величава и красива, что убийцы ее гражданского мужа невольно признали и прозвали ее «княжной». И даже в своих мемуарах писали — «княжна Тимирева». А она была — казачка. Не станичная — из интеллигентной семьи превосходного музыканта Василия Ивановича Сафонова, директора Московской консерватории.

Москва. Январь 1970 года

Не могу простить себе, что не догадался разыскать эту женщину. Ведь жили в одном городе, по одним улицам ходили, быть может, в одном метровагоне рядом сидели. Но...

Радуюсь за тех, кто посмел прийти к ней, расспросить, записать. Пожалуй, в большей мере это удалось алтайскому (!) энтузиасту-исследователю Георгию Васильевичу Егорову.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Я приехал к ней на Пятоциху ранее условленного часа. Долго ходил около ее дома, заглянул во все близрасположенные магазины, чтобы скоротать время. Я волновался...

Ровно — минута в минуту — в условленное время я надавил кнопку звонка у двери на первом этаже.



Дверь открыла старуха. Нет, не немощная, не дряхлая. Но седая. Вся седая. Я представился. Она отступила от двери вглубь прихожей на один шаг. Не больше. Этим самым приглашая меня пройти. Тоже на один шаг. Не больше — лишь переступить порог. И тут она меня предупредила (голос у нее прокуренный, хриплый):

— Имейте в виду, я советскую власть не люблю...

Сейчас, когда всем все дозволено, трудно представить мое состояние, когда я слышал такие слова. Я пробормотал что-то невнятное, что-то наподобие того, что, дескать, дело ваше личное, вы можете то или другое... Словом, сам не совсем понял, что сказал.

Анна Васильевна молча показала, куда повесить пальто. Провела меня в довольно большую комнату, сплошь заставленную старой мебелью, старыми вещами — чем-то старым, массивным. И сама она села в старое массивное кресло из темного дерева с высокой спинкой. Достала длинный, с кабинетную авторучку, мундштук, вставила в него дешевую (типа “Астры” или “Примы”) сигарету. Закурила. Мундштук держала всей пятерней в ладони, устремив дымящую сигарету вперед.

Она не была, как принято говорить, подчеркнуто любезной. Если не сказать больше. Мелькнула мысль: ничего, стерплю. Не каждый день соприкасаюсь с историей, тем более живой историей. Не стесняясь, рассматривал я комнату; спрашивал, с кем она живет, и как вообще у нее прошла жизнь после Гражданской войны. Она отвечала отрывисто, не вдаваясь в подробности: после Гражданской войны тридцать семь лет провела в советских лагерях. За что — не знает. При Дзержинском, говорит, ее время от времени выпускали, потом снова забирали, а при Ежове и при Берии уже не выпускали; сидела, что называется, безвылазно.

Эта первая наша встреча была непродолжительной и беспредметной: говорили обо всем и ни о чем. Уходя, я испросил разрешения зайти к ней еще и еще — в общем, заходить к ней, пока буду в Москве. Она не очень охотно, но все-таки согласилась, дала разрешение посещать ее. Меня это устраивало, тем более что



жила она совсем недалеко от архивов, в которых я тогда копался, изучая материалы Гражданской войны.

Я захаживал к Анне Васильевне время от времени. Мы теперь уж беседовали как старые добрые знакомые. Иногда она угощала меня чаем. Говорила гораздо охотнее о своем детстве, об отце, который был другом великого Бородина. Однажды я спросил, что это за бюст стоит под потолком на шифоньере, не Колчак ли. (Бюст был черный, наполовину чем-то прикрыт.) Нет, говорит, это не Александр Васильевич (за все наши встречи в ту зиму при разговорах она, по-моему, ни разу не назвала Колчака по фамилии, называла только по имени и отчеству), это, говорит, не Александр Васильевич, а бюст моего отца. Он был в течение пятнадцати лет директором Московской консерватории, там, говорит, до сих пор в вестибюле (или в фойе) висит мемориальная доска, на которой отец назван "известным русским музыковедом и музыкальным просветителем".

— За него я и получаю сейчас пенсию. На нее и живу...

Был ее отец довольно долго и директором Нью-Йоркской консерватории.

А однажды — кажется, на следующий год, в очередной свой приезд в Москву, — я увидел у нее в простенке фотопортрет мужчины средних лет с шотландской бородой.

— У вас раньше его не было. Кто это? — спросил я.

— Это Солженицын!.. — Она произнесла с гордостью и даже торжеством.

А Солженицына тогда только что (так писали в то время) "выдворили" за пределы страны, лишив гражданства, и хранить его портреты было, конечно, небезопасно. Но ей, как видно, терять было нечего, она шла на конфронтацию открыто.

Полжизни она провела в советских лагерях, в том числе и среди уголовников. И тем не менее за тридцать семь лет к ней не пристало ни одного лагерного слова — речь ее интеллигентна, во всех манерах чувствовалось блестящее дворянское воспитание. Единственное, что омрачало общее впечатление, — она курила дешевые сигареты. Курила беспрестанно и через очень длинный,



примитивно-простого изготовления мундштук. И вообще одета она была бедно. Очень бедно. Но рассуждала — рассуждала самобытно. Рассуждала по-сегодняшнему, по-перестроечному — критически. И очень смело. Казалось, просидев тридцать семь лет, можно потерять не только смелость, потерять личность. А она сохранила себя. Она была в курсе культурной жизни если уж не страны, то, во всяком случае, столицы — это точно. Голова у нее была светлая. Еще в начале нашего знакомства она мне заявила, что о политике говорить не будет — политика ее не касается. Политика — не ее дело. В политику она не вмешивалась и тогда, в Омске, в 1918—1919-м. Мы в основном говорили, если можно так выразиться, о корнях нашей сегодняшней культуры — о людях, ее знакомых, давно покинувших Родину, покинувших Россию, но оставивших о себе хорошую память. Разговоры шли об интеллигенции, эмигрировавшей за границу. Она преимущественно говорила о театре, много о театре — она большой театрал. Даже сейчас, говорит, в своем возрасте и в своем положении, не пропускает новые спектакли ни во МХАТе, ни в “Ермоловой”. Еще тогда, за двадцать лет до нашей перестройки, очень нелестно (как и многие сейчас) отзывалась о М. Горьком. В лагере ее несколько раз навещала Пешкова, первая жена Горького. Они много лет переписывались, дружили...

Анна Васильевна рассказывала:

— В начале февраля 1917 года мой муж (С.Н. Тимирев. — Н.Ч.) получил отпуск, и мы собирались поехать в Петроград — то есть мой муж, я и мой сын с няней. Но в поезд сесть нам не удалось: с фронта лавиной шли дезертиры, вагоны забиты, солдаты на крыше. Мы вернулись домой и пошли к вдове адмирала Трухачева, жившей в том же доме, этажом ниже. У нее сидел командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Иванович Непенин. Мы были с ним довольно хорошо знакомы. Видя мое огорчение, он сказал: “В чем дело? Завтра в Гельсингфорс идет ледокол «Ермак», через четыре часа будет там, а оттуда до Петрограда поездом просто”. Так мы и сделали.

Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы купили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне



отъезда я получила в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей — он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо четырех часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с собой не взяли — есть нечего. Так мы с собой ничего и не привезли.

А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали — в Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией.

Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь, — с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих чувств. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, — сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи — это ли не уважение к человеку?

Мне он был учителем жизни, и основные его пожелания: “Ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты” и “Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно” — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы.

И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорит:

— Я думаю — за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром.

Что из того, что полвека прошло, никогда я не смогу примириться с тем, что произошло потом. О, Господи, пережить это, и сердце на куски не разорвалось.



И ему и мне было трудно — черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что, даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции, в то время как люди, шедшие за ним, гибли за это, и поэтому последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: “Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться”.

Я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.

И все. Луна в окне, черная решетка на полу от луны в ту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверно, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:

— Скажите, он расстрелян? — И он посмел сказать мне “нет”.

— Его увезли, даю вам честное слово.

Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал».

СТАРОЕ ФОТО. Анна Васильевна Тимирева. 1916 год. Мягкий взгляд влюбленной женщины. Уже влюблена. В него. Еще все впереди. Грустна и красива. Мила и добра. Скорее всего, именно эта карточка уже подарена ему, уже стоит в рамочке на его рабочем столе во флагманской каюте «Георгия Победоносца».

Фото 1969 года. Она? Да, это она. Открываешь — и тебя отбрасывает ее взгляд... Неженская твердь в глазах и жестких складках. Печально, но твердо сжатые губы. Как схож их горестный рисунок — у Анны и Александра.

Горькая мудрость в изломе бровей. Нет ни укора, ни жадобы в ее очах. Она не видит фотографа. Она смотрит в себя. Взгляд



человека, который вдруг обернулся и ему открылась вся его жизнь — разом. И какая жизнь!

Галоп по степи на любимом коне и салоны музыкального Олимпа России, балы в Морских собраниях и тревоги военной Балтики, лепестки сакуры в фонтанах города храмов — Киото и лазаретные вши под бинтами раненых, теплушки и бараки, коммуналки и камеры, чужие углы и снова бараки, бараки, бараки.

Расстрелян любимый, расстрелян сын, развеяно в лагерную пыль полжизни. В конце пути полунищенское одиночество в коммуналке.

Старое фото — как застывшее зеркало. Разве посмеет кто назвать эту семидесятипятилетнюю женщину старухой? Красиво взвихренные волосы. Эдакие седые протуберанцы, раскинутые током мощной энергии. А может, разбросанные ледяными ветрами века, от которых она не прятала лица. Анна Васильевна Тимирева — островок достоинства и веры в архипелаге ей подобных островков, которые не смог размыть и проглотить кровавый ГУЛАГ.

«Княжна» Анна Тимирева и «королевна» Ксения Гемп, Екатерина Домерщикова и Нина Жохова. О, женщины серебряного века!

Глава двенадцатая

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ТРАНЗЕ

Таллин. Зима 1990 года

Люблю этот город с той давней поры, когда студентом прикатил на зимние каникулы с рублем в кармане и тихо обмер, выйдя на заснеженную Ратушную площадь...

Лет пять назад я снова зачастил в Таллин на «русимские дни», которые, благодаря стараниям «неформалов» из клуба морской старины «Штадт Ревель», отмечаются здесь торжественно и душевно.

Глава клуба, бывший боцман водолазного судна Владимир Владимирович Верзунов, сын донского казака и Ладужской



эстонки, привел меня на старинное русское кладбище и зажег свечу на могиле Игоря Северянина. Потом прочитал нараспев глуховатым простуженным голосом:

Упорно грезится мне Ревель
И старый парк Катеринताल...
...И лабиринты узких улиц,
И вид на море из домов,
И вкус холодных, скользких устриц,
И мудрость северных умов.

Едва он произнес две строчки, как я вздрогнул, будто услышал пароль.

Берлин. Фронау. Буддистский храм. Сеанс медитации. Новопаппенный, Транзе... И я задал ему этот вопрос, которому он ничуть не удивился:

— Не знакома ли вам фамилия Транзе?

— Знакома. Братья Транзе дружили с Игорем Северяниным. Они жили неподалеку от Тойли, дачи Северянина... Между прочим, я учился в мореходке вместе с Лео Транзе, внуком младшего из братьев этого семейства — Леонида Транзе.

Так замкнулся этот круг! Северянинской строкой... Берлин — Ревель — Таллин... Новопаппенный — Северянин — Транзе — Верзунов...

— Кстати, жив еще и сам Леонид Александрович Транзе. Ему за девяносто. Он тоже, как и Александр, Владимир и Николай, учился в Морском корпусе... Но... попал в «ленинский выпуск» восемнадцатого года. И живет он не так далеко — в Локсе.

На другой день мы ехали в небольшой приморский городок, что в полусотне километров от Таллина. Я до самого конца не верил в возможность такой встречи... Верзунов только усмехался в свои пышные усы.

Локса! Сосновый рай почти курортного городка. Частные домики, ухоженные на европейский манер.



Коттеджик с мансардой, весь в хозяйственных пристройках. Нас встречают хозяева, давние знакомые Верзунова, и, подготовив старца, ведут нас к нему по крутой деревянной лестнице.

Волнуюсь. Последний представитель дореволюционного поколения некогда большого и славного морского рода! Последний из гардемарин Морского корпуса.

Не доучился год до производства в офицеры. В начале 18-го их всех выпустили на все четыре стороны. «Ленинский выпуск»...

Комнатка в мансарде. Сухонький старичок с лицом доброго гнома. В зеленом вельветовом картузе с козырьком, прикрывающим больные глаза от лишнего света. Темно-прозрачная кожа глиняно-холодных, тяжелых рук.

Он был подобен водолазу-глубоководнику, который ушел на запредельную глубину времени — из своего девятнадцатого века в конце двадцатого... Эх его обжала толща времени! У него не осталось ровесников. Чужое время, незнакомые лица далеких потомков.

Но ведь зачем-то он спустился в эту немислимую глубь? Одрахлевший гонец, какую весть ты принес нам от своих братьев, от своего серебряного века, из-за гребней всех укативших в историю войн, революций, кризисов?

В этой мансардной комнатке он живет безвыездно уже много лет. Я оглядываю ее, как осматривают батискаф, совершивший рекордное погружение.

Икона Спаса в красном углу. Сварная печь-плита вроде «буржуйки». Часы-кукушка в резном футляре. Тарелка с россыпью таблеток валидола. Стоечка на колесиках — для передвижений по комнате. Посох-конь...

Леонид Александрович Транзе-4-й. Он очень рад нашему визиту. Семьдесят лет никто не называл ему этих имен — Новопашенный, Жохов, Вилькицкий... Они звучат для него как пароль. Он готов рассказать нам то, чего никому не рассказывал. Он улыбается, смеется, вытирает слезы... Он с трудом выговаривает слова, но это пока просто от волнения. Он еще разговорится. У него дальнзоркая память. Он помнит вопросы на экзамене



по военно-морской географии, которые задавал ему преподаватель, брат лейтенанта Шмидта, Владимир Петрович. Он помнит прозвища воспитателей и гардемаринские песенки. Но порой забывает имена внуков и правнуков.

— Я «холодный моряк», — говорит он о себе, невесело посмеиваясь. Конечно же, мечтал о дальних морских плаваниях (какие совершал отец), о морских сражениях (в каких участвовал старший брат Александр), о новых открытиях (какие совершал брат Николай), а выпало всю жизнь работать на земле — добывал диамид, рубил сланец, возделывал виноградник во Франции... Правда, рыбачил, жил в Тойле, где стоял дом Игоря Северянина, хорошо знал поэта. И старик прочитал на память его строчки: «Тринадцать раз цвела сирень, тринадцать весен отшумело...»

Однажды весной рыбацкий бот с Леонидом Транзе и его товарищем затерло льдами и унесло в море. Они выбирались несколько суток, обморозились. Кожа с рук Транзе слезла, как перчатки, и этот жутковатый «сувенир» взял на память лечивший его врач. А друг не выжил. Сначала ему отняли ноги. Уже умирая, он просил Леонида жениться на его красавице-жене. На роду, что ли, им, Транзе, было написано быть душеприказчиками умирающих друзей? Как Николай исполнил последнее желание Жохова, так и Леонид выполнил волю друга — взял в жены его вдову. И над могилой товарища прочел эпитафию Жохова, которую и сейчас повторил нам с Верзуновым без запинки, как некий завет, принятый от брата:

Под глыбой льда холодного Таймыра..
Могила глубока, как бездна Тускароры,
Как милой женщины любимые глаза..

— А что такое бездна Тускароры? — спросил я.

— Это глубоководная впадина у Курильских островов, которую исследовал «Таймыр». Вы не верьте, что Жохов погиб из-за придирок Вилькицкого. Это Старокадомский так пишет. Николай говорил, что это все не так... Я верю Николаю. Он был моим



крестным отцом. Мы были очень близки... Он выучился фотографии и как-то подарил мне свой снимок с надписью: «Лентяю Лене от лентяя Николая». Но он никогда не был лентяем...

Да, их всех, братьев-моряков, трудно упрекнуть в барской праздности.

Последний из гардемарин, Леонид Александрович Транзе закончил свою полувековую трудовую карьеру работником лесного склада местной судоверфи. Потом, узнав об этом, племянник Жохова воскликнет в Москве: «Да мы, оказывается, в одно время с ним в Локсе работали! И не знали друг друга...»

Не замкнула судьба этот круг — Жохов — Транзе.

Старик плохо слышал. Я кричал ему в его 1915-й, в начало века. Слабое эхо выносило из колодца его памяти имена, названия, даты, и они застывали на пленке диктофона.

— Как сложилась судьба Николая Транзе? — кричали мы вместе с Верзуновым.

— Николая? — переспрашивал старец. — Николая... Он командовал эсминцем «Молодецкий» и в 18-м году привел его из Гельсингфорса в Кронштадт. Ледовый поход Щастного... Они спасли Балтфлот, но Щастного расстреляли. Сволочи!

Ему и в девяносто три не простить той общей моряцкой обиды.

— Эсминец «Молодецкий» поставили на хранение... Точнее говоря, на корабельное кладбище, где потом в 23-м и порезали. А Николая списали на берег, как-то забыли о нем, что и спасло его от расправы... Александра-то трижды арестовывали.

Отца, старика, и то однажды арестовали. Тридцать верст пешком гнали из нашего именища до Луги. Без шапки. Сестра на коня вскочила, догнала... Отпустили отца. Он уже лет пять как не служил... Да и семейка-то у нас — одиннадцать ртов. Отец долго не выдержал, через три года умер... Да...

Офицеров стреляли пачками... Красный террор. Ну, Николай не стал дожидаться. Сговорился с одним контрабандистом, и тот за большие деньги взялся переправить брата и его жену в Швецию. В Финляндию он не хотел. Ушли ночью. Попали в шторм.



Испортился мотор. С жизнью прощались. Жена поседела... Николай в технике разбирался. Мотор починил. Высадились в Швеции... Ну а дочь-то их с нами под Лугой осталась...

Тут еще раз Юденич на Питер пошел. В 19-м году. Прошли белые через Лугу, через наше село и встали за Гатчиной. Всех взбудоражили. Ну, я, как бывший гардемарин, военный человек, пошел с белыми на фронт... Николай потом на меня очень сердился: «Дурак! Мы с Сашей за тебя вот так навоевались... Ты за землю держись. Земля никогда не изменит».

От Севера он в восторге был. Говорил: кончится война — ни дня на службе не останусь. На Север! Там для России великие дела можно делать...

— Когда вы с Николаем последний раз виделись?

— А в том же девятнадцатом, когда Юденич назад пошел... Мы на семейном совете тоже решили: надо уходить. Добра не будет. Сложили кой-какое имущество на телегу, детей посадили, отца с матерью — и в путь. Всех лошадей у нас по конской мобилизации еще в войну взяли. А одного конька — ох, хорош был! — я берег. В лесу прятал. Он нас всех и спас.

Только уехали из дому, как там сразу погром начался. Все вещи унесли, дом сожгли, скотный двор спалили. Даже лодочный сарай на берегу озера сожгли...

Остановились мы на ночлег в селе Осмино Гдовского уезда. Вдруг стук в окно. Николай! Вернулся за дочерью. Как он нас отыскал, одному Богу известно. Пришел из Швеции в Ревель на английском миноносце, по расспросам узнал, где мы. И вот нашел, дочку забрал и уехал. Не знали мы с ним, что в последний раз обнялись...

— А что с ним случилось?

— А что с нами со всеми случилось? Жизнь разбросала... Нас в Эстонии друг отца приютил — Клапье де Колонг, флагманский штурман эскадры Рождественского. У него ферма в Онтике была... Сестра Тамара — в Ленинграде. Александр — в Дании, Николай — в Норвегии. У него ж ни копейки за душой. Вот и нанялся рабочим на угольные копи Шпицбергена. Все к люби-



мому Северу поближе. Чуть в шахте его не завалило. Вернулся. Немного рыбачил. Скопил кое-каких деньжонок, там, в Норвегии, ему и бывшие сослуживцы помогли, кто из офицеров флота остался... Вот они и пристроили его судомойкой на пассажирский трансатлантический лайнер «Оскар II». Это чтоб в Америку ему перебраться. На жену с дочерью денег не хватило, они временно остались в Швеции.

— А зачем он отправился в Америку?

— Тут такое дело... Американцы еще во времена первых походов «Таймыра» и «Вайгача» проявляли большой интерес к результатам экспедиции. Оба ледокольных парохода заходили на Аляску...

Николай был образцовый вахтенный начальник. Он хорошо фотографировал и заснял многие участки побережья, которые даже в лоциях описаны не были. Все снимки и их негативы остались у сестры Тамары. Она жила в Ленинграде, и брат очень сокрушался: «Эх, мне бы эти снимки сейчас... Я бы сразу из нищеты выбрался».

В двадцать втором сестра уехала в Эстонию. Каким-то чудом ей удалось перевезти через границу эти снимки.

Вот с ними-то он и отправился в Америку. Весь рейс мыл посуду. По две тысячи тарелок в сутки. Уставал страшно. Потом фотографию маме прислал. Где-то она тут была...

СТАРОЕ ФОТО. Трудно узнать в камбузном рабочем — матросская форменка, рукава закатаны по локоть — блестящего офицера русского флота. Он сидит на трапе машинного отделения с зажатой в пальцах папиросой. Волосы взъерошены ветром, на лбу морщины, пронзительный взгляд — тертый жизнью калач. Все позади: и льды Таймыра, и огонь Моонзунда, и шахты Шпицбергена, и утлый бот в штормовой Балтике... Однако спина прямая, в лице готовность начать жизнь заново и в тридцать семь.

И он начнет ее. Снимки, которые он доставил в Америку, потрясли географическую общественность. Через какое-то время был издан фотоальбом об экспедиции Вилькицкого, а потом



и книга об открытии Северной Земли. Николай Транзе сразу сделался состоятельным человеком, выписал в Америку жену и дочь, купил участок в штате Огайо и своими руками построил хутор с бревенчатым домом, который все в округе прозвали «русской избой».

Дочь окончила Сорбонну.

Николай Александрович Транзе-2-й, старший лейтенант русского флота, полярный исследователь, командир эсминца «Молодецкий», скончался в «русской избе» в шестидесятых годах. Было ему за семьдесят. До последних лет держал в руках топор — трудился...

Тело его предали огню, а пепел согласно завещанию развеяли над хутором.

Вот такая судьба... Пожалуй, самая счастливая, если сравнивать ее с участью остальных искателей «блаженной земли».

Кстати, Николай Транзе-2-й прислал свой изданный альбом младшим братьям, пустившим корни в Эстонии, — Леониду и Авениру. Старший из братьев, Александр Транзе-1-й, тоже прислал из Копенгагена свою книгу «С эскадрой Рождественского» — сборник воспоминаний офицеров-цусимцев. На титуле сделал надпись: «Один из авторов и переплетчик этой книги — А. фон Транзе». Книга была заключена в вечный переплет из хорошо выделанной акульей шкуры. Прочнейшая ли кожа помогла или счастливый случай, но только из двух книг до наших дней дожила лишь она одна.

Альбом Николая с уникальными фотографиями сгорел в пожаре войны, во время одной из бомбардировок Таллина в 1941 году.

Я думаю, если бы Фабиан Рунд не увлекся так поиском подлинных негативов, он вполне мог отыскать фотоальбом Николая Транзе... в библиотеке Лейпцигского института зарубежных стран. Не может быть, чтобы немецкие географы пропустили такое издание!

Я мучительно пытался понять, что заставило Николая Транзе не просто покинуть Родину, а бежать... Уж ему чего было бояться — не «дракон», не деспот, полярный герой, единодушно



утвержденный командой командиром «Молодецкого»?.. Разгадка приоткрылась не сразу.

В день побега вышла статья в «Известиях» — «Первый смертный приговор». Он был вынесен человеку, спасшему Балтфлот. Речь шла о капитане 1-го ранга Алексее Михайловиче Щастном, начальнике морских сил Балтфлота в 18-м году. Щастному выпала печальная участь стать официальной жертвой № 1 советской судебной машины. До его процесса смертная казнь по суду в РСФСР была отменена. Разумеется, вовсе не это обстоятельство вписало имя Щастного в историю нашего флота. Понадобилось семьдесят два года, чтобы потом те же «Известия», что сообщили о его расстреле как контрреволюционера и саботажника, публично признали, что произошел чудовищный судебный произвол и Алексей Щастный был именно тем морским командиром, который-то и сумел организовать уход боевого ядра Балтфлота из Финляндии в Кронштадт.

Глава тринадцатая

БРАСЛЕТ АДМИРАЛА ЩАСТНОГО

Адмирал Алексей Михайлович Щастный... Немногим ныне скажет что-нибудь эта странная фамилия, столь похожая на слово «счастливый».

Был ли счастлив адмирал Щастный? До тридцати семи лет — наверное...

Детство — безусловно, счастливое, обеспеченное достатком генеральской семьи, согретое семейным теплом бабушек, мамы, нянек, братьев, сестры. Да и есть ли лучший город для мальчишества, чем тихий зеленый древний Житомир на реке Тетерев?

Он счастливо окончил киевский кадетский, а затем Морской корпус в Петербурге — по высшему разряду. Он пережил резню офицеров в марте 17-го в Гельсингфорсе. И октябрьский переворот обернулся ему неожиданным валетом — матросы выбрали его за доброту и толковость командующим Балтийским флотом.



Он был всего-навсего капитаном 2-го ранга, но народная молва и газетчики возвели его в адмиральский чин, упраздненный большевиками. Так и вошел в историю адмиралом...

Он был счастлив в семейном кругу. Милая выпускница Смольного института благородных девиц Антонина (по-домашнему — Нина) Приемская-Сердюкова подарила ему дочь Галю и сына Льва.

Он был счастлив в звездный час жизни, когда вывел из осажденного немцами Гельсингфорса, пробившись сквозь льды, в Кронштадт большую часть Балтийского флота. Двести вымпелов, двести боевых кораблей — линкоров, крейсеров, эсминцев, тральщиков, подводных лодок — спас он для России. Он был счастлив, когда 30 апреля 1918 года 3-й съезд моряков Балтийского флота стоя аплодировал ему, скромному военному, совершившему титанический подвиг во славу Отечества. В любой другой стране офицера, спасшего свой флот, увековечили бы в памяти потомков. А его, Щастного, — расстреляли... Он был несчастлив всего один раз — в день ареста, 28 мая 1918 года...

Гельсингфорс. Кронштадт. Шлиссельбург.

Весна 1918 года

Чтобы по-настоящему оценить, что свершил этот человек и чего стоил ему сей подвиг, нужно вспомнить, что Балтика — море замерзающее и никогда до того злополучного февраля боевые корабли во льдах не ходили, а пережидали зимы в гаванях. И прежде чем решиться на этот немалый риск — вести корабли, особенно тонкобортные эсминцы и хрупкие подводные лодки, меж острых ледяных глыб, — Щастный призвал себе на помощь капитана 1-го ранга Новопащенко и старшего лейтенанта Транзе, обладавших уникальным опытом плавания во льдах, к тому же арктических. Впрочем, главным ледовым советником его был Николай Транзе, так как на Новопащенко Щастный возложил военно-дипломатическую миссию. Петр Алексеевич вел с немцами переговоры в Ганга, выторговывая льготные условия эвакуации флота, оттягивая время ультиматума...



РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «Этой делегации, — писал бывший старший офицер эсминца “Новик” капитан 2-го ранга Г. Граф, — было передано требование, чтобы к 30 марта весь русский флот покинул Гельсингфорс; те же корабли, которые по своему состоянию принуждены будут остаться, должны в условленный час поднять флаг “Щ”. Это значило, что на них осталось минимальное количество команды, необходимое лишь для охраны, и то, что они не примут никакого участия в борьбе финских красных с немцами. В случае неисполнения этих требований германский адмирал угрожал принять активные меры.

По возвращении делегации капитан 2-го ранга Щастный решил во что бы то ни стало вывести все корабли в Кронштадт. Совершенно не считаясь ни с двусмысленными приказами Москвы, требовавшей то вывода, то оставления флота, ни с определенным давлением со стороны англичан, требовавших его уничтожения, Щастный приступил к выполнению этой трудной задачи.

Началась лихорадочная подготовка к предстоящему переходу. Лед еще был довольно прочный, в особенности от Гогланда до Кронштадта, а потому сильно опасались, что часть кораблей, не осилив его, затонет во время пути. Однако рассуждать не приходилось, затих даже Центробалт. Было решено послать все суда, даже те, которые стояли в ремонте, с разобранными машинами. Они должны были идти на буксире ледоколов.

Работа кипела. Команды, напуганные слухами, что немцы будут вешать матросов без суда и следствия, работали так, как не работали и в доброе старое время. Один за другим корабли быстро изготовлялись к выходу в море.

В порту творилось что-то невообразимое. День и ночь там курсировали баржи и подводы; грузились провизией, углем и всем, что только можно было захватить на кораблях.

На многих кораблях всевозможным добром были завалены все палубы, каюты и коридоры. На одном из линейных кораблей возник вопрос, куда девать огромные запасы муки, чтобы она не подмокла. Думали недолго: решено было спрятать в... орудийные



башни. В результате многие механизмы оказались испорченными.

Первыми, еще задолго до прихода германцев, ушли дредноуты. Потом дотянулись другие большие суда: линейные корабли, крейсеры, заградители и транспорты. В последнюю очередь — миноносцы, тральщики, яхты “Штандарт” и “Полярная звезда” с членами Центробалта и посыльное судно “Кречет” с А.М. Щастным. Больше всех волновались и торопились члены Центробалта, которые боялись, что германцы не выпустят яхты из Гельсингфорса и всех их немедленно расстреляют.

В Гельсингфорсе осталось самое незначительное число судов, не имевших никакого боевого значения. Согласно условию, они в назначенный час подняли флаг “Щ”.

30 марта германская эскадра вошла на Гельсингфоргский рейд и, одновременно с войсками, ее десант занял город.

Переход в Кронштадт был особенно труден маленьким кораблям. С большим трудом ломая лед, они страшно медленно продвигались вперед. При нормальных условиях этот переход занял бы всего 10—12 часов, теперь же многие миноносцы совершили его в 8—9 дней. Однако, несмотря на такие трудности, все корабли благополучно дошли до Кронштадта, и только несколько миноносцев оказались с сильно продавленными бортами. Некоторые корабли дошли, имея у себя весьма малое количество людей, едва достаточное, чтобы обслуживать котлы и машины на одну смену. Так же мало на многих кораблях было и офицеров — иные дошли только с одним командиром.

Это был исторический, но вместе с тем и глубоко трагический поход русского флота, недавно такого мощного, в блестящем состоянии, а ныне разрушенного, не пригодного ни к какой борьбе. Во время этого последнего похода во флоте еще раз вспыхнула искра прежней энергии. Личный состав сумел привести оставшиеся корабли в последнюю базу.

Главная заслуга в том, что флот был приведен в Кронштадт, без сомнения, принадлежит капитану 2-го ранга А.М. Щастному.



Только благодаря его настойчивости корабли не были оставлены неприятелю или затоплены, как того хотели союзники.

Придя в Кронштадт, часть судов перешла в Петроград и расположилась там вдоль всей Невы, часть же миноносцев и тральщиков была поставлена в Шлиссельбург для охраны берегов Ладожского озера.

Теперь флот оказался вблизи от центра власти, под непосредственным влиянием и неусыпным наблюдением Смольного. Тем не менее далеко не все было спокойно, в особенности в Минной дивизии. На многочисленных митингах, где выступали и офицеры, там стали раздаваться речи против власти комиссаров и призывы к открытому восстанию. Наряду с этим готовился и план овладения Петроградом после переворота на флоте.

Смольному, конечно, сейчас же стало об этом известно. Немедленно начались аресты как среди офицеров, так и среди команд. Миноносцы, как ненадежные корабли, были переставлены значительно выше по течению Невы, вне черты города.

Одним из первых был арестован и затем отправлен в Москву А.М. Щастный, которому предъявили обвинение в измене. Депутация от команд, выезжавшая туда, чтобы требовать его освобождения, не была никуда допущена.

Обвинение, предъявленное А.М. Щастному, было сформулировано так: "Щастный, совершая героический подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против Советской власти".

Такая странная формулировка обвинения не может не поразить каждого здравомыслящего человека, тем более что на суде не было ни фактов, ни свидетелей, показывавших против А.М. Щастного. Наоборот, все показания говорили в его пользу.

Против Щастного выступил только один — Троцкий. У него не было фактов, он высказывал лишь предположения, но все же утверждал, что Щастный искал популярности, чтобы направить ее против Советской власти.



А.М. Щастного защищал присяжный поверенный В.А. Жданов. Он произнес блестящую речь. Защищать было легко, так как за подсудимого говорил его подвиг.

Присутствовавшие ни одной минуты не сомневались, что будет вынесен оправдательный приговор.

Когда судьи наконец удалились в совещательную комнату, Троцкий, бывший только “свидетелем”, тоже моментально шмыгнул туда: он боялся, что под влиянием речи защитника судьи вынесут оправдательный приговор.

Суд вышел. Председатель Верховного революционного трибунала громко и раздельно прочитал смертный приговор. Все остолбенели, не хотели верить своим ушам. Кажется, привыкли уже ко всему, но такой явной и возмутительной несправедливости никто не ждал.

Защитник спросил: “Куда можно обжаловать приговор?” “Приговор революционного трибунала кассации не подлежит, хотя можно еще обратиться к Президиуму Центрального Исполнительного Комитета”, — ответил ему, уходя, председатель.

По статусу Верховного трибунала приговор мог быть отменен только пленарным заседанием ЦИКа. Однако председатель последнего, Свердлов, заявил, что ранее 24 часов ЦИК созван быть не может, а по истечении этого срока созывать его бесполезно, так как Щастного уже расстреляют...»

РУКОЮ ИСТОРИКА. В своем последнем слове на суде Щастный, в частности, сказал: «С первого момента революции я работал во флоте у всех на виду и ни разу никогда никем не был заподозрен в контрреволюционных проявлениях, хотя занимал целый ряд ответственных постов, и в настоящий момент всеми силами своей души протестую против предъявленных мне обвинений».

Такой эпизод из зала суда приводит В. Звягинцев, майор юстиции, помощник начальника Управления военных трибуналов.

Убедительных доказательств, которые бы заставили усомниться в искренности этих предсмертных слов Щастного, нет. Ведь судили его только за те действия (бездействия), которые



охватываются временными рамками нахождения в должности командующего флотом. А это — немногим более месяца. Однако за этот небольшой срок он сделал совсем немало — спас Балтийский флот от уничтожения. Переход кораблей из Гельсингфорса проходил в крайне тяжелых условиях. Дело было не только в толщине льда (около 75 сантиметров) и ледяных торосах (по 3—5 метров). Корабли подверглись обстрелам с острова Лавенсари и других островов, захваченных финскими контрреволюционерами; команды кораблей были укомплектованы всего на 60—80 процентов. Но моряки, руководимые Алексеем Михайловичем Щастным, совершили невозможное.

Флот практически в полной сохранности прибыл в Кронштадт. Всего было спасено 236 кораблей, в том числе 6 новейших линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и миноносцев, 12 подводных лодок. Все эти корабли сыграли в дальнейшем важную роль в разгроме интервентов, стали фундаментом строительства ВМС страны.

То, что возглавлял ледовый поход А. Щастный, а не Гельсингфоргский комитет РКП(б) или Совет комиссаров флота (совещательный орган при командующем), как утверждается в книге под редакцией И. Минца, установить нетрудно. «Известия» ВЦИК освещали те события подробно.

Велик соблазн объяснить суть конфликта Щастного и Троцкого строфой Маяковского:

Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря политикам ловким
быть под началом Бронштейна бескартузого,
какого-то бесштанного Левки?!

Но дело не в «бесштанности» Льва Троцкого. Моряки, народ чрезвычайно щепетильный в отношении своей многосложной профессии, не всякого еще адмирала признают флагманом.



А тут — провинциальный журналист, выдавший море только с берега, встает в позу флотоводца.

«Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник». Троцкий в миллионный раз доказал эту истину, когда первая и последняя спланированная им вместе с Раскольниковым морская операция — разведка боем ревельского рейда — окончилась позорным провалом: оба эсминца-разведчика, «Спартак» и «Автроил», попали в плен к англичанам, а сам Раскольников, прикрывшийся чужим паспортом и чужим бушлатом, был изобличен и отправлен в лондонскую тюрьму.

Разумеется, Щастный не выказывал восторгов по поводу «адмирала» Троцкого. Позволял себе обсуждать его приказы, отпускать колкие замечания... Все это становилось известно Троцкому — фискалов у нас всегда хватало. Их взаимная неприязнь росла от доноса к доносу. Последней каплей в чаше терпения наркома по военным делам стал отказ начальника Морских сил Балтики сменить комиссара Балтфлота Блохина на присланного Троцким Флеровского.

«За день до приезда Щастного в Москву, — комментировала арест командующего Балтийским флотом газета «Анархия», — прибыли из Петрограда в Морскую коллегию комиссар Балтийского флота Флеровский и член Морской коллегии Сакс. Прибывшие сделали доклад морскому комиссару Троцкому. В результате Щастный был вызван в Москву, в Морскую коллегию.

По приезду Щастный отправился в Военный комиссариат, где к тому времени собрались в кабинете Троцкого морской комиссар Троцкий, члены Морской коллегии Раскольников, Вахрамеев, адмирал Альтфатер, Сакс и Флеровский. Троцкий пригласил Щастного в кабинет, где в присутствии собравшихся предложил ему дать объяснения по поводу его образа действий в Балтийском флоте за последнее время. Троцкий говорил в повышенном тоне. Стал возвышать тон и Щастный.

После бурного непродолжительного объяснения Троцкий объявил Щастному, что он арестован по постановлению Морской коллегии, и вызвал караул...»



Ход дальнейших событий легко проследить по тогдашним не прикрытым еще большевиками газетам «Великая Россия», «Заря России», «Возрождение», «Наш век» и другим:

«Вскоре после объявления приговора к А.М. Щастному был допущен его защитник В.А. Жданов. Они вместе составили жалобу в Президиум ЦИК. В этой жалобе были указаны кассационные поводы и представлены возражения по существу дела. Из числа нарушений правил судебного процесса в жалобе были указаны следующие обстоятельства: отказ в вызове свидетелей защиты и отказ в отложении дела за неявкой свидетелей со стороны обвинения, отказ в выдаче копий с документов обвинительного материала и много других.

Эта жалоба была подана лично В.А. Ждановым председателю ЦИК Свердлову, при этом никаких разговоров между ним и защитником не было.

В ночь на вчера А.М. Щастный был увезен из Кремля неизвестно куда. Вчера утром председатель трибунала при ЦИК Медведев на вопрос В.А. Жданова о судьбе его подзащитного ответил, что приговор приведен в исполнение.

Во время свидания с защитником А.М. Щастный не высказывал почти никакой надежды на изменение приговора и был очень опечален судьбой своей семьи, состоящей из жены и двух детей, которые остались без всяких средств к существованию.

Жена Щастного, как оказывается, не могла проститься с мужем: она находилась в это время в Петрограде, куда уехала хлопотать о том, чтобы все свидетели были извещены о процессе и явились в суд. Но так как дело было назначено к слушанию экстренно, то она не могла своевременно вернуться в Москву».

«Расстрел»

В беседе с представителем бюро журналистов председатель трибунала Медведев подтвердил факт расстрела Щастного.

По полученным нами сведениям, Щастный расстрелян в помещении Александровского военного училища. Даны были два залпа».

**«Приезд в Москву супруги А.М. Щастного.**

Сегодня в Москву приезжает из Петрограда супруга А.М. Щастного. Выезжая в Петроград, супруга А.М. Щастного надеялась вернуться в Москву до окончания разбора дела в трибунале, но не успела и узнала о состоявшемся приговоре в Петрограде».

«Левые с.-р. о смертной казни.

Левые с.-р. решили вести широкую агитацию среди провинциальных Советов за отмену смертной казни. Одни из лидеров партии левых с.-р. на вопрос о дальнейшей тактике партии в связи с создавшимся положением сказал:

— Мы поведем самую решительную кампанию на предстоящем Съезде Советов против восстановления смертной казни, которая была отменена Вторым съездом Советов. И вместе с тем с нашей стороны последует призыв к Советам на местах, чтобы они требовали от центральной власти исполнения вынесенного предыдущим съездом постановления об отмене смертной казни».

«В СЕМЬЕ РАССТРЕЛЯННОГО (беседа с Н.Н. Щастной).

Сегодня наш сотрудник был принят Н.Н. Щастной. С покрасневшими, заплаканными глазами, с выражением муки и ужаса на побледневшем лице, она вся олицетворение горя... Говорит прерывающимся голосом и время от времени подносит к глазам платок: ее душат рыдания...

Неделю назад после свидания с арестованным мужем Н.Н. выехала в Петроград, окрыленная надеждами: она достанет документы, проливающие новый свет на все это кошмарное дело, и А.М. будет спасен... Но она опоздала... Вернее, они поторопились — капитан Щастный уже расстрелян...

Выслушав мою просьбу сообщить некоторые подробности о ее так трагически погибшем муже, Нина Николаевна на мгновение задумалась. По ее лицу промелькнула какая-то тень. Она вспомнила прошлое, такое близкое и в то же время — такое далекое...



— Мой муж — уроженец Житомира, Волынской губернии. Он, как теперь говорят, — украинец. Его семья исключительно военная: так, например, отец А.М., умерший два месяца назад, был генерал-лейтенантом и служил все время в Киеве... А.М. выбрал себе морскую службу и провел на флоте 20 лет: участвовал в двух войнах и, между прочим, в первой из них, т.е. русско-японской, во время блокады Порт-Артура прорвался на своем миноносце в нейтральную гавань.

Что касается его последних дней, то я знаю, что перед своим отъездом из Петербурга он получил от матросов совет — не ездить, так как в Москве его могут арестовать.

— За что? — недоумевал А.М. и поехал навстречу грозившей смерти. Он был твердо уверен, что его не в чем обвинить, так как свою роль на флоте он рассматривал только с точки зрения моряка-специалиста. В политическую сторону Балтийского флота он не вмешивался, но в то же время можно ли теперь в русской жизни разграничить политику от неополитики? Теперь все переплетено... Он был сильно поражен, когда Троцкий отдал приказ о его аресте.

— За что, — говорил он мне, — я арестован? Если им необходимы доказательства, то я их представляю.

С этими словами он дал мне письмо на имя Зарубаева, его заместителя во флоте, с просьбой переслать в Москву на суд какие-то бумаги... Зарубаев мне обещал, но исполнил ли свое обещание — не знаю, так как теперь уже поздно...

Нина Николаевна закрыла лицо руками... Успокоившись, она продолжала:

— И теперь, насколько я знаю по газетам, не хотят даже выдать его тело... К чему этот новый ужас? Ведь если, с их точки зрения, он — контрреволюционер, то ведь он уже мертвый... Он уже не может ни агитировать, ни вредить... Я хочу теперь одного: пусть отдадут мне его тело! Пусть дадут в последний раз взглянуть на мертвого отца детям...

Галина и Лев — это их имена — говорят мне: "Мама! Когда же придет папа?" Что я могу ответить?!



У меня недостает сил сказать им, что их папу убили и что они теперь сироты. К тому же мы остались без средств, у нас ничего не имеется.

Если же я получу тело А.М., то увезу его в Житомир, где находится фамильный склеп Щастных и где будет покоемся первый выборный командир Балтийского флота... За что все это? За что?

Взволнованный и потрясенный, я простился с плачущей Н.Н. Щастной!..

К-ий».

Петербург. Октябрь 1993 года

После двух лет поисков дочери Щастного — Галины Алексеевны — в Таллине и Казани вдруг, кружным путем и по стечению многих счастливых случайностей, узнаю питерский телефон и адрес сына опального героя — Льва Алексеевича, коротающего свой пенсионный век на Большой Охте. Вот и встреча назначена, и попутные «жигули» мчат по бесконечно унылому — в пустырях, новостройках, кладбищах, бетонных оградах «почтовых ящиков» — проспекту Энергетиков. Типовой блочно-панельный коммунохозоведомственный Ленинград, обложивший со всех сторон прекрасные стены Петербурга. И привычная тоска — сам в таком же райончике обитаю — забирается в душу.

Сын Щастного жил в придорожной длинной «хрущобе», по счастью для него и для его жены, Елены Петровны, только что перенесшей ампутацию обеих ног (гангрена) — на втором этаже.

Если бы адмирал Щастный заглянул из своего посмертного высока под крышу сына — что сказал бы он, что подумал бы о нынешнем житье-бытье своих потомков? С его дореволюционными житомирско-киевскими представлениями, что есть самый скромный достаток, он бы наверняка нашел положение сына — бедняцким, а может, и нищенским. Зная бы это наперед, повел ли он свои корабли в тот отчаянный Ледовый поход?



Думаю, что повел... Уж такая это страна Россия, где доброты-донкихоты не переводятся, и ведут они свои корабли сквозь безнадежные льды, льды, льды...

И была встреча — радостная, сумбурная и горестная, когда под прессом отпущенного делами и вокзальным расписанием часа мешалось все: светлые воспоминания детства и обида за отца, сыновья гордость и сиротская горечь, смущение за убогий пенсионерский быт и досада на новую помеху жизни — инвалидную коляску, слишком громоздкую для тесной комнатки; наконец, самое главное — стремление вместить в эти шестьдесят суматошных минут семьдесят лет, прожитых столь опасно и трудно. Увы, кончились те времена, когда в Питер можно было приезжать, чтобы не спеша обойти всех друзей и толковать, не глядя на часы... Из-за этих-то безжалостных часов разговор пошел так: вопрос — ответ, вопрос —...

— Лев Алексеевич, вы хоть как-то отца помните?

Лев Алексеевич поплотнее прижал к уху слуховой аппарат. Расслышал. Горько усмехнулся:

— Когда отца расстреляли, мне было три года... Но в памяти осталось одно-единственное впечатление. Я реву, мама пытается меня успокоить. Тихо. Тогда человек в чем-то черном с золотом снимает с полки модель парусника и ставит передо мной. Я сразу же перестаю плакать. Вот, собственно, и все воспоминания. Маму помню лучше. Беленькая такая... Она ведь не пережила гибели мужа и умерла в двадцать втором. Похоронили ее в склепике в Александро-Невской лавре. Нет, не сохранился. Сравнивали с землей... Она ведь смолянка была — Антонина Николаевна Приемская. Кончила институт в четырнадцатом и сразу же стала Щастной. Всего-то четыре года и прожили. Нас же с Галей взяла к себе мамина сестра — Анна Николаевна. Тетя Аня и заменила нам всех родных, которых после взрыва заметно поубавилось.

— Какого взрыва?

— Расправа над отцом высшими лицами государства была для нас взрывом, который перекоरेжил все наши судьбы... Я окончил ФЗУ и стал фрезеровщиком. Однако ни на один



ленинградский завод меня не брали. Фамилия «Щастный» была слишком памятна заводским кадровикам. К тому же в анкете мне приходилось писать — внук генерала, сын адмирала... Но фамилию менять не хотел, так как считал отца героем и верил, что справедливость восторжествует. После моей четвертой или пятой попытки поступить на работу кадровик «Арсенала», бывший матрос, сжалился надо мной и сказал: «Да пиши, что из рабочих». С его легкой руки я и определился в жизни.

Эту неверную запись в анкете бывший дворянин Лев Щастный подтвердил всей жизнью, большая часть которой прошла у станка. И женился на пролетарке — дочери нижегородского машиниста. И воевал рядовым стрелком, защищая родной город. И только в конце сороковых в силу природной одаренности сумел окончить конструкторские курсы и стать инженером — это без высшего-то образования! — в одном из оборонных НИИ, проектировавшем танки.

Одна беда — детей нет. Ни у него, ни у сестры Галины. Правда, та взяла приемного сына и вырастила его. Но все же пресекся род Щастных. И есть тут одно обстоятельство весьма мистического свойства. Дело в том, что по материнской линии Алексея Михайловича из поколения в поколение передавался некий заговоренный от бесплодия браслет. Адмирал верил в его магические свойства и потому за несколько часов до расстрела, составляя завещание, посвятил этому браслету целый пункт: «Браслет носить моей жене, затем дочери, когда женится мой сын Лев, то браслет передать его жене, согласно завещанию моего деда — Константина Николаевича Дубленко. Браслет хранится в футляре...»

Увы, браслет таинственно исчез, и род хранителей его пресекся. Старинной русской тоской из ямщицкой песни веет от этих строк: «...а жене скажи, что в степи замерз... Передай кольцо обручальное...»

А завещание Алексея Михайловича Щастного я держал в руках. Трудно представить себе, что эти ровные каллиграфические строки человек выводил перед лицом смерти. Надо было



иметь мужество, чтобы, расставаясь с жизнью в 37, подумать о будущем каждого из своих многочисленных родственников:

«...Матери моей Александре Константиновне — 8 тысяч рублей. Брату моему Александру — ...Брату Георгию — ...Сестре Екатерине Михайловне — ...»

Родовую усадьбу — дедовский дом в Житомире (Театральная ул., 16) — завещал сыну Льву. Он, конечно, ее не получил, как не получила и вдова расстрелянного никакой пенсии, о которой писал Щастный в завещании, воистину не ведая, с кем имеет дело... «Жене моей я полагаю оставить свою пенсию, которая, я надеюсь, будет ей назначена».

Вспомнил и адвоката Жданова, но не в завещании, а в отдельном письме: «Дорогой Владимир Анатольевич, сегодня на суде я был до глубины души тронут Вашим... настойчивым желанием спасти мне жизнь... Пусть моя искренняя предсмертная благодарность будет Вам некоторым утешением».

Читаешь эти строки и видишь командира, уходящего в пучину вместе с гибнущим кораблем. Спокойно и четко отдает он свои последние распоряжения...

Завещание помечено: «22 июня. 1918 год.

Москва — Кремль. 3 часа ночи».

А в шесть его расстреляли.

Расстрелять Щастного решили в самом надежном, с точки зрения Троцкого, месте — в Реввоенсовете, размещавшемся на Знаменке близ Арбата в здании бывшего Александровского училища. Расстреливали китайцы, не знавшие русского языка и потому очень удобные для сохранения тайны казни. Китайцы сделали свое дело молча. Но... проговорился их командир Андреевский, и мир узнал все подробности подлого дела.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «Вижу — стоит одинокая фигура, — писал старший расстрельной команды в своих воспоминаниях. — В штатском, на голове белеет фуражка. Лицо симпатичное, взволнованное. Смотрит в глаза. Понравился он мне. Я говорю:

— Адмирал! У меня маузер. Видите — инструмент надежный. Хотите, я застрелю вас сам?



Видимо, от слов моих ему стало жарко. Снял фуражку, отер платком лоб. Молчит и только мнет свою белую фуражку...

— Нет! Ваша рука может дрогнуть, и вы только раните меня. Лучше пусть расстреливают китайцы. А так как тут темно, я буду держать фуражку у сердца, чтобы целились в нее.

Китайцы зарядили ружья. Подошли поближе. Щастный прижал фуражку к сердцу. Видна была только его тень да белое пятно фуражки... Грянул залп. Щастный, как птица, взмахнул руками, фуражка отлетела, и он тяжело рухнул на землю. Китайцы всунули его в мешок... Послал помощника в Кремль, доложить. Привозит ответ: "Зарыть в училище, но так, чтобы невозможно было найти".

Начали искать место. Пока искали, слышался шум автомобиля, и во двор, с потушенными фарами, въехал лимузин. Прибыло "само" начальство. (Уж не Троцкий ли? — Н.Ч.) Стали искать общими усилиями. Нужно было спешить — начинало светать...

Вошли внутрь — училище пустое. В одной из комнат, где стоял один-единственный стол, остановились и решили закопать здесь, если под полом нет подвала. Оказалось, что нет. Раздобыли плотничьи инструменты, вскрыли паркет. Вырыли яму, опустили мешок, зарыли, заделали паркет. Так и лежит он там, под полом...»

Только одно и скажешь — уголовщина. Махровая политическая уголовщина...

Троцкий преподавал молодому Сталину — тогда еще уполномоченному ВЦИК по вывозу хлеба с Северного Кавказа — предметный урок: как надо расправляться с личными противниками. «Процесс» Щастного — это пролог тех судилищ, которые прокатятся по стране в двадцатые — тридцатые годы в буйном цвете революционно-трибунальной казуистики. В одном из них сгинет и главный обвинитель балтийского флагмана — Крыленко.

Отблеск печальной судьбы Щастного падет и на главного свидетеля (читай — инквизитора) Троцкого. Падет в тот день,



когда на череп витии мировой революции обрушится ледоруб убийцы.

Адмирал рубил лед форштевнями своих кораблей...

Вместе с завещательным документом, не документом — припечатанным к бумаге криком души тридцатисемилетнего человека, выталкиваемого из жизни, рвущего кровные нити с молодой женой и малыми детьми, — вместе с этим не желтеющим листком добротной, надо полагать, из старых кремлевских запасов, «слоновой» бумаги, Лев Алексеевич Щастный хранит и детское письмоцо отца, киевского ученика:

«1895 год. 25 ноября.

Дорогая мама, целую тебя крепко!

Мы все живы и здоровы, чего и вам желаем от Бога. Милая моя мама, поцелуй от меня бабушку и пожелай ей всего хорошего. Целую тебя крепко и Сашу. Дома все хорошо и благополучно. Александр Иванович был у нас вчера утром. Анна кланяется тебе. Дорогой папа, кланяюсь тебе и желаю тебе всего хорошего. Приезжай скорее. Мы скучаем за тобой.

Остаюсь твой сын Алексей Щастный».

Случай или нечто большее сохранили для Льва Алексеевича эти два рукописных следа отца: гимназическую каллиграфию и последние предсмертные строки. Он бережно упрятал их вместе с тремя уцелевшими фотографиями в потертую папочку, и я с ужасом понял, что это незамысловатое картонное изделие для него нечто вроде символа отца, чей прах покоится невесть где, эдакая карточка-заместитель изъятого из жизни человека.

О, несобранное братство сынов и дочерей, чьи отцы были закланы во имя лучезарной утопии — Лев Щастный, Иван Ризнич, Галина Гернет, Борис Черкасский, Ростислав Колчак, Ирина Новопашенная — несть числа вам в блаженном сиротстве вашем!

А что же Троцкий? Летом 1918 года «Еврейская газета», выходившая в Петрограде, опубликовала заметку о том, что



отец предреввоенсовета Давид Бронштейн проклял сына Лейбу в синагоге и отрекся от него за ослушание и безбожие.

Арест Щастного и скоропалительная расправа над ним под прикрытием судебного фарса потрясли Россию, которая хоть и называлась советской, но еще хорошо помнила процедуру суда присяжных. Имя несчастного адмирала мелькало в газетных шапках. Обозреватели оппозиционных изданий поражались вздорности обвинений — все они тянули на дисциплинарное, на административное наказание, но никак не на расстрел. Современники Щастного и нынешние историки недоумевали и недоумевают, почему столь беспощадно был уничтожен моряк, спасший для страны целый флот. В любом другом государстве имя его было бы увековечено на бортах кораблей... И все-таки — почему?

Еженедельник «Совершенно секретно» выдвинул версию: у Щастного при аресте обнаружили в портфеле фотокопии документов, изобличающих Ленина и Троцкого в связях с германским Генеральным штабом. Этими документами Щастного снабдили англичане еще в Гельсингфорсе, дабы подорвать его доверие к правительству большевиков.

Сомнительно, что это были копии подлинников. Германия еще не была разгромлена, а немецкие генштабисты умели хранить секретные бумаги. Но даже если это и были копии достоверных документов, то в случае публикации их в газетах ничего не стоило объявить, что желтая пресса-де не брезгует никакими фальшивками, что все это провокация контрреволюционеров и т.п.

Разгадка гибели Щастного в другом, и ее подсказала одна из газет, опубликовавшая в подбор к сообщению об аресте Щастного заметку о том, что в тот же самый день из Москвы выехал в Новороссийск член Морской коллегии И.И. Вахрамеев с особо секретным пакетом, врученным ему лично Троцким. Там, на Юге, решалась судьба второго мощного флота России — Черно-



морского, и командовавший им адмирал Саблин так же, как и его коллега на Балтике, весьма скептически относился к большевистскому наварху. И чтобы приструнить строптивых военспецов, Троцкому нужна была показательная казнь. Щастному-то и выпала роль жертвенного тельца. Саблин не захотел разделить его участь и, получив зловеший вызов в Москву, отправился в белый Крым. Боевое же ядро Черноморского флота спасет от потопления — как Щастный спас балтийские корабли — капитан 1-го ранга Тихменев.

Все-таки странное, мягко говоря, отношение к флоту у первого советского военного наркома — взрывать его, топить, а тех, кто противится «мудрым» приказам, — под расстрел. Впрочем, вполне объяснимое отношение: флот чужой, царский, его не жалко, не большевиками строен, не ими выпестован. Надо будет — свой построим, Россия богатая, и руды для корабельной стали хватит, и командиров из своих напасемся. А пока слишком много хлопот с моряками: сегодня они «краса и гордость революции», а завтра, того и гляди, повернут стволы линкоров против «освободителей России и всего угнетенного человечества». И ведь как в воду смотрел товарищ Троцкий. Сначала черноморские дредноуты развернули орудийные башни против большевиков — в двадцатом, а спустя год и балтийские в Кронштадте ощерились — «Петропавловск» с «Севастополем». Те самые, что привел из Гельсингфорса Щастный, те самые, что обороняли потом Ленинград в Великую Отечественную войну.

Брожение на Балтийском флоте, и главным образом на миноносцах, продолжалось еще до начала июля. После ряда арестов среди офицеров и команд, а также бегства от почти неминуемого расстрела одного из главных инициаторов возмущений лейтенанта Г.Н. Лисановича флот окончательно замер, то есть стал только сборищем кораблей, без руководителей и личного состава. Кронштадт и Петроград превратились в кладбище его прошлой мощи и славы, а сами корабли — в живые трупы...

Не стал дожидаться ареста с расстрелом и старший лейтенант Транзе. Вместе с Лисановичем и другими офицерами



он горячо протестовал против ареста Щастного, выступая на антибольшевистских митингах в Минной дивизии... Судьба его была предрешена. Декретом Совнаркома он в списке других неугодных офицеров был объявлен «уволненным от службы во флоте».

Белой июньской ночью на катере шведского контрабандиста тридцатидвухлетний моряк вместе с молодой женой отправился в опасное свадебное путешествие. Перед тем в шлиссельбургском Благовещенском соборе они поставили свечу Николе Морскому... Чудотворец явил чудо — утлая посудинка не попала ни под пулеметы пограничной стражи, ни под штормовую волну. Они высадились на шведские скалы. И вовремя.

Спустя полтора месяца грянет выстрел Каннегисера в Урицкого и полетят офицерские головы, поднимется первая кровавая волна красного террора...

СТАРОЕ ФОТО. Николай Транзе и молодая элегантная дама с седой прядью красиво уложенных волос — жена, Елена Борисовна. Все позади — ледовые походы, войны, революции, аресты... Спокойная, сыто-деловитая Америка. Они нашли в ней свое место. И белый воротничок, и модный галстук — кто узнает в респектабельном члене Географического общества США мечтательного юношу в белом мичманском кителе или камбузного посудомойщика? А в глазах у обоих — светлая грусть, грусть людей, знающих истинную цену своему счастью.

Там, в штате Огайо, Николай Транзе посадил перед своей «русской избой» две черные березы...

Глава четырнадцатая

САГА О ТРАНЗЕ

Право, история этой семьи стоила бы эпического сказания. Оно охватило бы по меньшей мере последнее столетие, со всеми его морскими бурями, морскими битвами, войнами, голгофами и терниями...



В таллинском парке Кадриорг, бывшем северянинском Катеринтале, высится на берегу моря прекрасный памятник «Русалке» — броненосцу береговой обороны, погибшему в штормовом море в 1893 году. Список погибших моряков открывает имя их командира — капитана 2-го ранга Иениша. Но скорбное это место на гранитном камне предназначалось совсем для другой фамилии — отца братьев Транзе — капитана 2-го ранга. От рокового похода Александра Транзе-старшего спас житейский пустяк: за сутки до выхода в море слег с ангиной, и на «Русалке» отправился Иениш. Но не каприз судьбы уберег Транзе от гибели — заговор от смерти на водах. Известно, что пору офицерской молодости Транзе-старший провел на Дальнем Востоке, часто бывал в Японии... То была сущая Мекка для морских офицеров; именно из этой, самой загадочной и самой экзотической, страны привозили они и диковинные вещицы, и удивительные истории, и изящные татуировки... Те, кто подолгу нес стационарную службу в японских портах, брали во временные жены японских девушек. Сыны холодного Петербурга, туманной Балтики, они вкушали сказочный Восток со всем пылом юности и недавнего мальчишества. Наверное, не было ни одного соблазна, которого бы они не испробовали, — от курильни опиума до кумирни предсказателя судеб... Мичман Транзе тоже не избежал искуса. По семейному преданию, японский монах заговорил его от гибели в море.

Заговор этот оказался столь силен, что распространился на всех сыновей Транзе. Ни один из них не погиб в море, хотя побывали в весьма рискованных переделках.

Первым после отца испытал спасительное воздействие охранной мантры старший сын — Александр. В Цусиму мичман Транзе пришел на броненосце береговой обороны «Адмирал Ушаков». Этот геройский и несчастный корабль был растерзан японскими снарядами вдребезги и ушел в пучину горой искореженного металла...

Особо ценные для себя книги копенгагенский переплетчик одевал в неизносимую акулю кожу. Среди таких немногих



экземпляров оказался и томик «Цусимы» Новикова-Прибоя. Именно в этой книге осталась и по сию пору живет память об Александре Транзе 1-м на Родине.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Он (командир “Ушакова” капитан 1-го ранга Миклухо-Маклай. — Н.Ч.) знал, что жизнь разбитого броненосца угасает с каждой минутой. Миклухо куцей рукой потер лоб, потом сделал ею резкий жест, словно что-то решительно отбросил. Только теперь судорога боли исказила его лицо. Но это продолжалось одно мгновение. Словно желая убедиться в стойкости присутствующих в рубке людей, он внимательно посмотрел на них сквозь очки голубыми глазами и сдержанно, как будто решался пустяковый вопрос, сказал:

— Пора кончать. Застопорить машины! Прекратить стрельбу! Затопить корабль.

...Спустя минуту-другую орудия замолчали, и судно остановилось, все больше и больше кренясь на правый борт и беспомощно покачиваясь на морской зыби. Через пробоины и открытые кингстоны с ревом врывалось во внутренние помещения море...

Оба неприятельских крейсера продолжали стрелять по “Ушакову”.

Его верхняя палуба стала быстро заполняться матросами. Все шлюпки были разбиты. Поэтому люди с поспешностью хватали матрацы, набитые крошеной пробкой, спасательные пояса и круги. Одни сразу бросались за борт, другие медлили, словно не решаясь на последний шаг. У дальномеров на штурманской рубке задержались мичманы Сипягин и Транзе вместе с сигнальщиками. Находясь совершенно открыто, они каким-то чудом уцелели от неприятельских снарядов и бесшумно простояли на своем боевом посту. Старший артиллерист Дмитриев, увидев их, крикнул:

— Вы больше там не нужны. Скорее спускайтесь вниз — спасаться!

Один за другим они начали сбегать по трапу. В этот момент разорвался снаряд у основания боевой рубки. Сигнальщик Демьян Плаксин, спускавшийся последним, кровавой массой свалился на мостик.



“Ушаков” с креном на правый борт медленно погружался в волны. На правом ноке его грот-реи, приводя в ярость врага своею непокорностью, все еще развевался боевой Андреевский флаг».

Лишь однажды упомянут Транзе в романе. Всего одна строчка...

СТАРОЕ ФОТО. Доброе, очень доброе, умное, грустное лицо. Совсем не воинственные усы. Стоячий белый воротничок с лиселями — отогнутыми уголками — подпирает скулы. Пенсне на черном шнурке. Похож на гимназического учителя, надевшего на вицмундир погоны старшего лейтенанта.

Стекла увеличивают и без того большие глаза. Взгляд слегка отрешенный, куда он брошен — в прошлое ли, в Цусиму, или в будущее, в Моонзунд?

И прямой пробор, и накрахмаленный воротничок — в паузе между двумя морскими мясорубками.

Однажды этот офицер в чеховском пенсне сам взялся за перо. Правда, к тому времени он был скромным копенгагенским переплетчиком. Но он никогда не забывал, что родом он из Морского корпуса.

Капитан 2-го ранга А. Транзе поделился воспоминаниями: «Броненосец береговой обороны “Адмирал Ушаков” в Цусимском бою».

«Адмирал Ушаков», идя концевым кораблем кильватерной колонны броненосцев, в самом начале боя четырнадцатого мая, вследствие неисправности одной из главных машин, должен был идти на буксире парохода «Свирь». Исправив машину и отдав буксир, стали догонять далеко ушедшую вперед сражающуюся свою эскадру.

Командир броненосца капитан 1-го ранга Владимир Николаевич Миклухо-Маклай, увидев впереди тоже отставший, накренившийся, горящий, осыпаемый японскими снарядами броненосец «Наварин», выйдя на левый его траверз, как бы прикрывая «Наварин», приказал застопорить машины и открыть интенсивный огонь по неприятелю.



Командир «Наварина» капитан 1-го ранга барон Фитингоф, справившись с креном и пожарами, в мегафон крикнул нашему командиру: «Спасибо, Владимир Николаевич! Иди вперед с Богом!»

Ночью, после минных атак японских миноносцев, продолжая идти согласно последнему сигналу адмирала Рождественского «Курс NO 23° Владивосток», «Адмирал Ушаков», вследствие малого хода, уменьшившегося до 7 узлов из-за сильного дифферента на нос от полученных в дневном бою пробоин, оказался в море один, отстав от кильватерной колонны, состоявшей из броненосцев «Император Николай I» (флаг адмирала Небогатова), «Орел», «Генерал-адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин».

Рано утром 15 мая были сделаны приготовления к погребению убитых в дневном бою. Убитые были положены на шканцах, приготовлена парусина обернуть их и балластины для груза. Собрались офицеры и команда. Началось заупокойное богослужение, но, когда на горизонте за кормой показались силуэты идущих 4 японских крейсеров — «Мацушима», «Ицукушима», «Хашидате» и «Нийтака», — командир попросил священнослужителя иеромонаха о. Иону ускорить и сократить отпевание, так как не сомневался в неизбежности боя. Когда японские крейсера приблизились на дистанцию нашего огня, командир приказал предать убитых морю и пробить боевую тревогу, под звуки которой и под пение «Вечная память» тела убитых, так и не завернутые в парусину, только с привязанными балластными, были опущены в море. Продолжая идти тем же курсом, японские крейсера прошли на север, не открывая стрельбы, что нас очень удивило, так как, имея большое преимущество в силах, они, без сомнения, могли бы весьма быстро покончить с нашим подбитым броненосцем. Уже находясь на японском крейсере «Якумо» в качестве пленных, от японских офицеров мы узнали причину этого непонятного нам случая: нам была показана карта, на которой от Цусимского пролива были нанесены несколько расходящихся на север курсов, по которым, согласно заранее выработанному плану, японские корабли должны искать и



преследовать остатки русской эскадры в случае ее поражения. «Вы все равно никуда не могли бы уйти, мы знали, в каком вы состоянии; те крейсеры шли на присоединение к главным силам», — сказали нам японские офицеры.

Часов около 10 утра слева по носу были видны дымь многих кораблей и слышна недолгая артиллерийская канонада. Только после стало нам известно, что это происходила сдача судов адмиралом Небогатовым.

Продолжая, по возможности, идти курсом NO 23°, уклоняясь в сторону от каждого замеченного на горизонте дыма, около часа или двух пополудни увидели на горизонте на носу силуэты 20 японских кораблей. Стало ясно, что прорыв невозможен, а бой и гибель неизбежны. Командир повернул от неприятеля, от которого отделились в погоню за нами два корабля. Стали готовиться к последнему бою: выбросили за борт оставшиеся от отражения ночных минных атак на верхней палубе и на мостике снаряды мелких скорострельных орудий, готовили из бревен плотики, чтобы к ним привязывать раненых, разнесли по кораблю спасательные пояса и койки; команда и многие офицеры переоделись во все чистое и новое; одному из офицеров командир, выйдя из своей каюты, сказал: «Переоделся, даже побрился, теперь и умирать можно».

Японские крейсеры «Ивате» и «Якумо», идя большим ходом, медленно сближались.

На головном из них был поднят какой-то длинный сигнал. На броненосце пробили боевую тревогу. Когда японские крейсеры, находясь сзади нашего правого траверза, были в пределах дальности наших орудий (63 кабельтова), командир приказал дать залп. Крейсеры на наш огонь не ответили. К нашему удивлению, на фок-мачте головного крейсера «Ивате» мы увидели большой русский коммерческий флаг; и только тогда, разглядев вымпел переговоров по международному своду, поняли, что сигнал относится к нам. Когда доложили командиру разобранную часть сигнала: «Советую Вам сдать Ваш корабль...» и что есть еще и продолжение сигнала, командир, сказав: «Ну а продолжение



сигнала нам знать и не надо», приказал не подымать «до места» ответное «Ясно вижу», чтобы, продолжая сближаться, крейсера подошли бы еще ближе. Когда же дистанция уменьшилась до возможной действительности нашего огня, командир приказал поднять ответ «до места», а со спуском его снова открыть огонь. Японские крейсера, пользуясь своим огромным преимуществом в ходе и большей дальностью своих орудий, отойдя за пределы досягаемости наших снарядов, открыли огонь по броненосцу. Так начался наш последний, неравный бой. Вскоре же начались попадания в броненосец, появились пробойны, вспыхнули пожары. Наши же снаряды ложились безнадежно далеко от неприятеля. От пробоин образовался крен, выровнять который из-за перебитых труб отливной системы не представлялось возможным. Крен на правую сторону все более и более увеличивался, а из-за крена дальность полета наших снарядов все более и более уменьшалась. Этим обстоятельством пользовались японские крейсера, подходя все ближе и ближе к броненосцу. Наконец, как следствие крена, заклинились обе башни. Одно из двух 120-миллиметровых орудий правого борта было разбито, загорелись снаряды в беседках на верхней палубе. Действовало только одно оставшееся 120-миллиметровое орудие для подбодрения команды и... «на страх врагам». Японские крейсера, видя, что наш огонь почти совсем прекратился, подойдя почти вплотную, в упор расстреливали броненосца из всех своих орудий. Тогда командир приказал открыть кингстоны, взорвать трубы циркуляционных помп и, не давая «отбоя», разрешил команде спастись «по способности», бросаясь в море. Все шлюпки были разбиты или сгорели.

Минный офицер, лейтенант Борис Константинович Жданов, помогал судовому врачу-доктору Бодянскому за кормовой башней привязывать раненых к плотикам и к койкам и спускать их в море. Когда доктор спросил его: «А что же у вас самого нет ни пояса, ни крута?» — Жданов ответил: «Я же всегда говорил всем, что я в плену никогда не буду!» Сняв фуражку, как бы прощаясь со всеми вблизи находящимися, он спустился вниз. После рас-



сказывали, что стоявший у денежного ящика часовой, чуть ли не в последний момент снятый со своего поста, слышал револьверный выстрел из каюты Жданова.

Когда за несколько минут до гибели в броненосец попало одновременно несколько снарядов, один из которых взорвался о носовую башню, часть матросов, стоящих за башней, бросились за борт и нечаянно столкнули в море стоявшего у борта офицера. Сигнальщик Агафонов, увидя, что офицер, отдавший ему свой спасательный круг, упал в море без какого бы то ни было спасательного средства, с револьвером и биноклем на шее, не задумываясь бросился с верхнего мостика, с высоты 42 футов, за борт на помощь погибавшему офицеру.

«Адмирал Ушаков», перевернувшись, шел ко дну. Кто-то из плавающих матросов крикнул: «Ура — “Ушакову”! С флагом ко дну идет!» Все бывшие в воде ответили громким долгим «ура», и действительно: до последнего мгновения развевался Андреевский флаг. Несколько раз был он сбит во время боя, но стоявший под флагом часовой строевой, квартирмейстер Прокопович, каждый раз вновь поднимал сбитый флаг. Когда разрешено было спастись, старший артиллерийский офицер лейтенант Николай Николаевич Дмитриев в мегафон крикнул с мостика Прокоповичу, что он может покинуть свой пост, не ожидая караульного начальника или разводящего, но Прокопович, стоя на спардеке вблизи кормовой башни, вероятно, оглох за два дня боя от гула выстрелов и не слышал отданного ему приказа. Когда же к нему был послан рассыльный, то он был уже убит разорвавшимся вблизи снарядом.

После того как «Адмирал Ушаков» скрылся под водой, японцы еще некоторое время продолжали расстреливать плавающих в море людей. Прекратив наконец стрельбу, они не сразу, а значительно позже, вероятно получив по радио приказание, спустили шлюпки и приступили к спасению погибающих. Спасали долго и добросовестно, последних, как говорили, подбирали уже при свете прожекторов.

В японских газетах при описании боя и гибели броненосца «Ушакова» было напечатано, что, когда к плавающему в море



командиру броненосца подошла японская шляпка, чтобы спасти его, Миклухо-Маклай по-английски крикнул японскому офицеру: «Спасайте сначала матросов, потом офицеров!» Когда же во второй раз подошла к нему шляпка, он плавал уже мертвый на своем поясе.

Так погиб в Цусимском бою 15 мая 1905 года броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» и его командир капитан 1-го ранга В.Н. Миклухо-Маклай, а с ним старший офицер капитан 2-го ранга Мусатов, минный офицер лейтенант Жданов, старший механик капитан Яковлев, младший механик поручик Трубицын, младший штурман прапорщик Зорич, комиссар чиновник Михеев и около ста матросов.

В кают-компании броненосца был прекрасно написанный портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова. Часто на походе офицеры обращались к портрету и спрашивали: «Ну, что нам суждено?» И им казалось, что на портрете лицо адмирала меняло свое выражение. Было решено, что в случае боя тот из офицеров, кто будет в кают-компании, должен посмотреть на портрет, чтобы узнать, доволен ли своим кораблем адмирал. Один из офицеров, бывший случайно в кают-компании незадолго до гибели корабля, взглянул на портрет, и ему показалось, что «адмирал изъявляет свое удовлетворение».

По скромности Транзе не написал, что под конец он был тяжело контужен и произошло еще одно чудо — совершенно беспомощный человек уцелел на воде, посреди Японского моря...

...Устроить жизнь на чужбине помогла случайность — датская награда, которую Александр Транзе получил в 1912 году, во время визита российских кораблей в Копенгаген. В знак признания его мужества, проявленного в Цусимском сражении, король наградил его Кавалерским крестом меча I степени. Этот-то крест и помог потом беженцу с нансеновским паспортом обрести датское подданство.

РУКОЮ ОЧЕВИДИЦА. «В эмиграции, после неудачных попыток найти работу, — писал в некрологе бывший подполковник корпуса гидрографов А.Н. Нордман, — занялся переплетным делом,



но по чрезвычайной скромности писать счета за работу для него было мучением; он сбавлял до минимума. Поэтому заказов было много, но мало доходов.

Он был почетным членом копенгагенской русской библиотеки, где переплел все книги почти даром, покупая только материал... В 1949 году по неосторожности одного из пассажиров трамвая ему раздробило дверью два пальца, после чего не смог больше работать.

У Транзе было много интересов. Он постоянно следил за событиями, и вообще любил жизнь, хотя она и не была к нему милостива. Он любил людей, и те, кто его знал, любили его, что и доказали, придя отдать ему последний долг.

У подножия его смертного одра, накрытого Андреевским флагом, было 74 венка, которые принесли русские и датчане. У гроба стоял почетный офицерский караул.

Александра Александровича Транзе не стало 3 сентября 1959 года.

Братьям Транзе везло на морях.. Николай во льдах моря Лаптевых перенес два сильнейших приступа аппендицита, но выжил. Уцелел на «Молодецком» во всех боях на Балтике, не сгинул в шторм, когда на катере контрабандиста заглох мотор...

И Леонид Транзе вышел живым из ледового плена, пощадило его море.

Брат же Стефан, четвертый по старшинству, не стал связывать свою жизнь с коварной стихией.

Поручик армейской артиллерии Стефан Александрович фон Транзе за храбрость в боях против германских войск был награжден солдатским «Георгием». Участвовал в походе генерала Юденича на Петроград и честно разделил участь Северо-Западной армии.

А участь ее в ноябре 1919 года была ужасной...

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «Будучи участником беженского движения, — писал в зарубежном сборнике «История и современник» Г.И. Гроссен, бывший редактор «Вестника Северо-Западной армии», — я свидетельствую.



Голодная, раздетая, уставшая от непрерывных боев, храбро защищавшая вместе с эстонцами Нарву, Северо-Западная армия у эстонских границ встретила эстонские штыки с приказом — не переходить эстонской границы. Пошли длительные и унижительные для русского командования просьбы разрешить русским отдохнуть в Ивангороде и в деревнях на правой стороне Нарвы. Эстонское командование, забыв заслуги русских (защита Ревеля, эстонских границ и Чудского озера и пр.), жестоко отказывало в отдыхе. Изнуренные белые войска, еле живые, продолжали тесниться у границ Эстонии и отбиваться от превосходящих их численностью красных сил, наступающих с Гдова.

И только 16 ноября последовало “милостивое” (но с условиями Бренна — полное разоружение) разрешение перейти русским на левый берег Нарвы, оружие оставлялось только тем частям, которые соглашались вести дальнейшую борьбу с большевиками. Через Нарву разрешалось пропустить только запасных, пленных и прочих.

...Тяжело быть оскорбленным врагом, но еще тяжелее испытывать оскорбление со стороны своих вчерашних союзников. Эстонские части пропускали через границу русских мелкими отрядами, и здесь организованный грабеж эстонцев не знал удержу. Отнимали не только оружие и пулеметы, но и грабили обозы, отнимали лошадей, сбрую, снаряжение, деньги и личные вещи. Несчастные русские, несмотря на зимнюю стужу, буквально раздевались, и все беспомощно отнималось. С груди срывались нательные золотые кресты, отнимались кошельки, с пальцев снимали кольца. На глазах русских отрядов эстонцы снимали с солдат, дрожащих от мороза, новое английское обмундирование, взамен которого давали тряпье, но и то не всегда. Не щадили и нижнее теплое американское белье, а на голые тела несчастных побежденных накидывались рваные шинели. Беженцы, как только вступали на территорию Эстонии, попадали в невозможно тяжелые условия исключительно потому, что для обеспечения и устройства беженцев в пути не было предпринято решительно никаких средств и мер, очевидно из-за



неожиданности этого поистине исторического дела. Эшелоны с беженцами из-под Ямбурга и Гдова, вслед за первым, стали приходить в Нарву почти ежедневно и насчитывали в себе каждый раз сотни людей — мужчин, женщин и детей. Но беженцы хлынули в Нарву не только по железной дороге, но и по шоссе или с живым инвентарем своего хозяйства, а железнодорожные служащие приезжали и с большим скарбом своего домашнего хозяйства. Не всегда было возможно прибывших беженцев отправить из Нарвы в пределы Эстонии в день их прибытия или хотя бы на следующий день. Некоторые эшелоны задерживались на станции Нарва-II по нескольку дней. Какого-либо приемного пункта, кроме двух тесных, грязных, наполненных к тому же солдатами барачных, для беженцев не было: или открытое небо, или же, в лучшем случае, холодный вагон без печи. Достать кипятку, не говоря уже о горячей пище, беженцу было невозможно.

Откуда появилась тифозная вошь?

По общему мнению, вошь принесли с собой чины Красной Армии, взятые в плен белыми или добровольно перешедшие на сторону Северо-Западной армии, ибо тиф еще до похода на Петроград уже более года гулял по голодным районам России. Первые отдельные случаи тифозного заболевания, если не ошибаюсь, были обнаружены у красноармейцев, перешедших на сторону белых у станции Волосово, но тогда на это не обратили никакого внимания. Только 15 ноября 1919 года в госпитале Красного Креста (Нарва) доктор Колпаков установил наличие тифозных больных.

Этот “госпиталь” только по недоразумению можно было назвать госпиталем, так как помещался он во втором этаже казармы для рабочих. Это помещение было густо набито ранеными и больными. Эпидемия начала быстро расширяться, а в начале декабря обнаружены были первые случаи сыпняка, который стал уже молниеносно распространяться, тогда-то и начался настоящий ад в нарвском мешке. Власти, как всегда при массовых несчастьях, оказались застигнутыми врасплох. Они ничего умнее не могли придумать, как ту же завязать нарвский



мешок, чтобы никто не мог оттуда вылезти и разнести заразу по остальным частям Эстонии. А между тем в Нарву больные прибывали на подводах, пешком, а то и просто ползком. Больных начали класть, не записывая и не считая, на холодные каменные полы парусиновой и суконной фабрик. Когда все полы были покрыты больными, их клали в вестибюле, на площадках лестниц, под лестницами. А больные, как саранча, все прибывали и прибывали. Начавшись в районе прядильной и суконной фабрик, эпидемия стала повальной и, быстро охватив весь правый берег Нарвы, перешла на левый, в эстонские части, так что к 20 декабря все госпитали в Нарве были переполнены и больные оставались там, где их застигла ужасная болезнь.

Вскоре после появления эпидемии начал заболевать и умирать госпитальный персонал. Санитарные эстонские и русские власти заматались, но каких-либо радикальных мер борьбы с эпидемией не принималось. Все дело сводилось к бумаге и к участию в бесчисленных комиссиях в Ревеле, где начальство жило спокойно. А между тем Нарва постепенно обратилась в громадный гроб с мертвыми и живыми людьми. Неподготовленность и малое количество лечебных заведений, про которые шла слава как о неизбежных очагах смерти, были причиной того, что заболевшие солдаты и беженцы бродили как тени по городу, ища приюта. Вследствие этого зараза еще больше распространялась. К середине февраля 1920 года одна Ивангородская часть Нарвы имела 7730 больных, а всего в Нарве насчитывалось в самый разгар эпидемии более 10 000 тифозных.

Помню, в Петрограде на Литейном проспекте был "Театр ужасов", куда ходили любители сильных ощущений. Пьеса "Мороз по коже", однако, совершенно бледнела перед тем ужасом, который я испытывал в Нарве при посещении в начале февраля "госпиталя" — парусиновой фабрики, которая, в полном смысле этого слова, была гробом живых и мертвых людей.

Представьте себе невысокое здание в 180 аршин длиной, 18 аршин шириной, 5 аршин высотой. Вонь и смрад ужасные, ибо уборная внизу вся завалена калом. Больные ходили буквально



под себя или в коридор, по которому, не запачкав ноги, нельзя было пройти. Вентиляции нет. Врачи, заболев, также сваливались в общую вшивую кучу. В этом бараке-гробе шевелилось 1016 больных. На всех была лишь одна полуживая сиделка, сама с температурой не ниже 37,9, и 16 санитаров. Эти полуживые люди едва успевали подать несчастным кипяток, о чае нечего было и думать. Поэтому нет ничего удивительного, что около барака шныряли спекулянты-мальчишки, которые продавали несчастным снег по 7—10 марок за котелок. Питались обреченные на смерть лишь хлебом, 90 процентов больных даже не имели возможности вымыть руки и лицо. Баня была недостижимой мечтой. Между живыми на полу лежали застывшие трупы. Больные сами выносили трупы из барака на двор или улицу, где складывали в кучу, откуда их забирал автомобиль-грузовик и свозил на кладбище в поле. Среди солдат можно было видеть бродячих как тень офицеров, решивших умирать с теми, с кем они несли радости и невзгоды войны. Они сначала самоотверженно ухаживали за больными товарищами, на свои средства покупали им лекарства, клюкву, но вскоре сами свалились в общую кучу. Удел один — смерть. Выздоровливающих, как оказалось, был весьма незначительный процент. Накрытые шинелями, а то и тужурками, на холодном каменном полу лежали несчастные, громко бредя в жару. Я видел на полу брошенное белье, которое, казалось, шевелилось от тысяч ползущих насекомых. Эти ползущие рубахи и кальсоны преследовали меня несколько ночей. Постепенно вся Нарва почувствовала себя во власти страшной и всемогущей вши. Это вездесущее насекомое положительно сводило с ума всех еще здоровых людей. Все говорили только о вшах. Все хотели поделиться друг с другом мыслями, но и все боялись друг друга. Одна мысль неотступно сверлила мозг: “А вдруг при рукопожатии насекомое переползет на меня?..”»

Стефан Транзе пережил все эти ужасы и уехал во Францию по рабочему найму — в Тулузу на ковроткацкую фабрику. После Второй мировой войны перебрался в США, к брату Николаю, где и окончил свои дни.



Владимир Транзе (второй брат по старшинству), гардемарин выпускного курса, погиб не в море... В январе 1904 года император Николай II посетил Морское училище по случаю начала Русско-японской войны и произвел досрочное производство старшекурсников в офицеры.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «В швейцарской, — писал в книге “Моряки” контр-адмирал Т.К. Граф, — мы обступили государя и государыню и стали умолять всех нас сейчас же отправить в Порт-Артур на эскадру. На это государь возразил, что кто же тогда будет служить на кораблях в Балтийском и Черном морях. Но все же, так как по положению десять первых могли выбирать вакансии сами, государь разрешил отправить их в Порт-Артур. Остальные были разочарованы, но понимали, что иначе и быть не может. Затем мы стали упрашивать их величества дать нам что-нибудь на память, и, не удержав нас окружающее начальство, мы готовы были разорвать шубу государыни и пальто государя. Все же царские пуговицы, носовые платки и перчатки исчезли в одну секунду, разодранные на куски.

Наконец их величества сдались и, еще раз попросившись со всеми, стали выходить. Мы бросились за ними и облепили карету. Несколько человек взобрались даже наверх и к кучеру на козлы, но их оттуда согнали.

Мороз был около 10 градусов, а мы выскочили без фуражек и в одних голландках. Однако это нам не помешало, когда карета тронулась, с криками “ура” броситься за нею. Как начальство ни останавливало, но порыв был так велик, что, казалось, и сам государь не мог бы воспрепятствовать бежать за ним. И мы неслись все дальше и дальше, не отдавая себе ясного отчета куда. Около Николаевского моста уже стали уставать, но и не думали прекращать проводы. Когда же государь остановил карету и взял к себе ближайших, испугавшись, что они могут простудиться, то остальные гардемарины бросились на извозчиков, а некоторых взяли лица из свиты.

Так мы и продолжали сопровождать царскую карету и все время кричали “ура”. Публика в удивлении останавливалась, но, поняв, в чем дело, тоже кричала и снимала шапки. Вид получался



совершенно необычайный, и, наверное, полиция была очень смущена и не знала, что и предпринять.

Наконец царская карета остановилась у подъезда Зимнего дворца на набережной, а за ней подкатили и наши извозчики. Их величества, видя нас, стали ласково упрекать за то, что мы по морозу, без всякой верхней одежды, совершили это путешествие, и приказали в таком виде назад не возвращаться. В ожидании же присылки наших шинелей из корпуса государь велел войти во дворец и отдал распоряжение, чтобы нас напоили горячим чаем и вином. Мы страшно обрадовались и скромно вошли во дворец. Потом нас провели в какое-то помещение и скоро подали чай и вино. Вскоре были доставлены шинели, и мы отправились восвояси.

И все-таки один из гардемаринов простудился, заболел и умер. Этот печальный жребий выпал на долю Владимира Транзе.

В том же печальном году родился самый младший из братьев Транзе — Авенир. Быть бы ему моряком, но грянул октябрь 17-го, Морской корпус в 18-м выбросил свой последний, «ленинский выпуск» из недоучившихся гардемарин.

Авенир вместе с матерью и остатками некогда большой (девять братьев и сестер) семьи остался жить в Эстонии. Однако навсегда сохранил интерес к флоту, к морякам. Прочитал, пожалуй, все книги в нарвской городской библиотеке о морских путешествиях, Порт-Артуре, Цусиме, войне на Балтике... Кто мог подумать, что библиотечный формуляр с длиннющим списком морских книг станет для него роковым документом? В сорок первом, за неделю до начала войны, чье-то бдительное око усмотрит в читательской страсти Авенира антисоветские настроения (среди прочитанных книг были и мемуары офицеров белого флота), и Транзе-младшего заберут в НКВД. Но тут разразилась война. Всех арестованных погрузили в эшелон для отправки на восток. Спасение пришло воистину с неба. Состав стоял на товарных путях Нарвы, когда неподалеку немецкая авиабомба попала в эшелон, груженный морскими минами.

За минуту до чудовищного взрыва он еще беседовал со своими спутниками — бывшим директором эстонского банка



и нарвским протоиереем Колчиным... Заслышав вой падающей бомбы, он инстинктивно бросился под нары. Вагон разнесло вдребезги. Он вылез из-под месива трупов. Протоиерей, залитый кровью, еще хрипел... Вопли, стоны, женский визг. Авенир, припадая на раненую ногу (осколок прошил мякоть ягодицы), бросился туда, куда бежали оставшиеся в живых, — прочь от горящего эшелона. Морские мины рвались одна за другой... Впереди бежал солдат из охраны. Авенир видел, как ему снесло голову, но солдат еще бежал по инерции.

Рельсы и вагонные колеса долетали аж до Ратушной площади. Авенир добрался до домика дальней родственницы. Ее тоже ранило в локоть. Она не сразу узнала в бритоголовом окровавленном зэке Авенира Транзе.

«Спаси! Спрячь!» — бился он у нее в ногах.

Она спрятала его в деревянном сарае, сообщила жене. Вдвоем переложили пленницу так, чтобы выгородить тайный закуток для раскладушки. На нее и уложили раненого. Несколько дней он прометался в бреду. Стоны его могли услышать соседи. Тогда женщины открылись хозяину дома (он жил во флигеле), и тот ночью перетащил на себе Авенира в подвал. Там он и пролежал до 18 августа 1941 года, когда войска НКВД покинули город вместе с армейскими частями... Авенир перебрался в Таллин. Работал подмастерьем на суконной фабрике.

5 марта 1944 года в его дом попала авиабомба. Из вещей уцелел только подстаканник...

Умер Авенир Александрович Транзе в 1982 году в Таллине, кладовщиком железнодорожной санэпидемстанции.

Такая вот грустная сага... Впрочем, не грустнее, чем сама жизнь.

Голос у Леонида Александровича сел вместе с батареей диктофона. Мы стали прощаться. И тут Верзунов сделал старику царский подарок.

— А вы знаете, что в Карском море есть острова Транзе?



— Как... Транзе? — растерялся патриарх корневитого рода.
— Неужели вы не знали? Вот, смотрите...

Верзунов развернул подробную карту Северной Земли и показал два небольших острова в проливе Вилькицкого. Над ними, словно нимб, нет, словно радуга, шла типографская надпись: «Острова Транзе».

Руки у Леонида Александровича затряслись, губы задрожали, он стащил с худого лысого черепа вельветовый картуз. Карта не уточняла, что это были острова Николая Транзе. В тринадцати буквах надписи увековечивалась память всех моряков этой фамилии...

Спустя несколько недель после нашего визита Леонид Александрович тихо скончался. Но он успел сказать то, что хранил всю жизнь. Он успел передать нам весть... Его погребли на Песчаном кладбище в Таллине. Владимир Владимирович Верзунов положил ему в гроб три гвоздики: белую, синюю, красную — цвета российского флага, поднятого первооткрывателями на скалах Северной — а тогда Императора Николая II — Земли. И еще прочитал эпитафию — сонет Жохова:

Под глыбой льда холодного Таймыра...

Я же добавлю от себя северянинские строчки:

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб.

Глава пятнадцатая ЧЕЛОВЕК БЕЗ ОСТРОВА

Москва. Январь 1994 года

Получаю юбилейный номер «Морского сборника». Старейшему российскому журналу 150 лет. По сему поводу на развороте портреты всех главных редакторов. Вдруг среди



прочих — знакомое лицо, а чтобы не было никаких сомнений, подпись: «П.А. Новопашенный. 1919 год». Как?! Он и главным редактором любимого журнала успел побывать?! Вот уж — человек-загадка...

Но это маленькое фото, как и старая визитка в Берлине, предвещало большие новости. Это был и привет, и предупреждение: ждите!

Мне не по себе стало, когда ночью после торопливо-коротких междугородных трелей в телефонной трубке раздался голос: «Я — Новопашенная... Вы писали о моем отце? Меня зовут Ирина Петровна. Я звоню из Канады...» Это был звонок почти что с того света. Только не в загробном, а в географическом смысле. Потому что там, на той стороне планеты, сиял сейчас солнечный свет и мир тот назывался Новым Светом...

Потом, придя в себя после разговора с дочерью моего героя, я объяснил себе все так: есть ноосфера — обширнейшая область человеческого разума, совокупного земного интеллекта, общемировой памяти. Это как бы радиозфир нашей галактики, и я, любитель-коротковолновик, бросил в него позывные, казалось бы, давно умолкшей станции и вдруг получил ответ. Станция с позывными «Петр Новопашенный» работала! Я получил — неважно, через кого и откуда, — ответы на свои вопросы. Тут не было ни временных, ни пространственных, ни цензорских барьеров. Есть контакт!

И какой контакт! Спустя неделю после звонка из Канады в дверь позвонил почтальон и вручил большой бумажный пакет, запечатанный в пластик, сквозь который пестрели наклейки экстренной международной экспресс-почты. На стол легли убористо исписанные странички воспоминаний дочери об отце, ксероксы послужного списка на капитана 1-го ранга Новопашенного и архивных справок, схема родословного древа, фотографии, слайды, негативы...

Право, что-то сдвинулось там, в потустороннем мире, от моего неосторожного вторжения в земную колею старого моряка. Ведь неспроста же меня преследует ощущение, что



между ним и мной возник некий «канал связи», как сказали бы кибернетики. Люди менее точных наук назвали бы его «духовной нитью» или еще как-то... Но ведь вот какая лавина информации съехала с надмирных высот на мои немые зовы. Точь-в-точь как в горах на громкий крик съезжают снежные лавины.

И еще подумалось: а ведь однажды траектории наших жизней пересеклись в одной пространственно-временной точке. Это было в Орше в 1950 году. Мне было четыре года, и я ехал в поезде из маленького белорусского городка, в котором родился, к бабушке в Москву. Поезд Берлин—Москва, куда меня посадили в Барановичах, шел через Оршу, где, быть может, уже умирал в тюремной больнице командир «Вайгача». Мы целых четыре года жили с ним в одном времени, даром что мне оно выпало несмысленным детством.

Однако к делу! 29 июня 1919 года главный редактор журнала РККФ «Морской сборник» военмор Петр Новопащенко, командированный из Петрограда в Астрахань, бесследно исчез, не добравшись и до середины пути. Такой вот детектив. Об этом доложили наркомвоену Троцкому, назначившему бывшего каперанга на эту должность.

— Искать! — распорядился военный вождь рабочих и крестьян.

И ВЧК немедленно начала розыск. Правда, были дела и поважнее. На Питер, колыбель революций, надвигались части белой Северо-Западной армии. С гатчинских высот офицеры Юденича уже рассматривали в бинокли золотой шлем Исаакиевского собора. И никому в ВЧК не приходило в голову, что, не будь у генерала Юденича таких офицеров, как капитан 1-го ранга Новопащенко, контр-адмирал Пилкин, лейтенант Ферсман, поручик Транзе или корнет Оболенский, не пришлось бы объявлять красный Питер на осадном положении.

Итак, главный редактор старейшего русского журнала «Морской сборник» и один из первооткрывателей Северной Земли, начальник русской морской разведки на Балтике в 17-м году и лучший шифровальщик вермахта в 41-м, узник Заксенхаузена



и этапный зэк пересыльной оршанской тюрьмы, знаменитый полярник и безвестный эмигрант с пожизненным нансеновским паспортом, капитан 1-го ранга Российского императорского флота и высокопоставленный красный военмор Петр Алексеевич Новопашенный — един во всех перечисленных лицах. Какой уж тут детектив, когда все сразу названо своими именами?!

И все же...

«Папа не поехал в Астрахань, — сообщала Ирина Петровна в письме. — По дороге на юг он должен был донести о своем передвижении через какого-то местного начальника. Этот начальник, бывший морской офицер, оказался папиным приятелем. Он-то и доложил потом на запрос, проезжал ли Новопашенный в Астрахань, что проезжал. На самом деле отец принял твердое решение уйти к сослуживцам в Северо-Западную армию Юденича — в Эстонию. Он повел группу моряков с семьями через псковские болота. Вел по компасу. Шли долго и мучительно. Папа потом рассказывал, что мужчины порой теряли надежду и хотели возвращаться обратно, но жены их подбадривали и не давали унывать.

Они перешли красный кордон и ушли в Эстонию.

Из-за того, что приятель-офицер подтвердил, что папа проезжал в Астрахань, его сначала не искали, и мама, которая ожидала мое появление на свет, была в относительной безопасности...»

И снова все тот же ключевой вопрос, который перепутным камнем вставал в судьбе каждого россиянина, оказавшегося за кордоном: почему покинул родину? Задавая его сотни раз, мысленно и устно, живым и покинувшим сей мир соотечественникам, я вдруг открыл для себя, что понятия «родина» и «государство» могут не совпадать; более того, могут быть враждебными друг другу. Разве не враждебным был для родины древних иудеев римский протекторат во главе с прокуратором Понтием Пилатом? Или для французов государственная машина коллаборациониста маршала Петена? Или для чехов,



венгров, словаков империя Габсбургов? Да мало ли в истории примеров, когда люди воспринимали государство как оковы на теле родины, как машину для утверждения иноземного гнета под ширмой «независимости и суверенитета»? И разве не так воспринимал советскую власть Ленина — Троцкого человек монархических убеждений и православный христианин капитан 1-го ранга Петр Новопашенный? А вместе с ним и миллионы его единомышленников и единоверцев, ставших под знамена белых армий для борьбы с узурпаторами-большевиками, захватившими власть предательски, в тылу воюющей страны, набравших силу — сомнений в том у них не было — на деньги кайзера, щедро субсидировавшего все подрывные движения в недрах Антанты, будь это пламенные вожди-сепаратисты в британских колониях или лидеры большевизма в России.

Если что и помешало Новопашенному сразу сделать свой выбор — уйти к Корнилову на Кубань или к генералу Миллеру на Север, — так это рождение в 18-м году дочери Светланы. А следом и вторая наметилась — Ирина. Не всякий отец двух маленьких детишек, и к тому же долгожданных, решится броситься в омут Гражданской войны. Однако выбор был сделан, и Новопашенный в этот омут бросился со всем семейством, когда явился подходящий случай...

А ведь его карьера в Красном флоте складывалась куда как успешно: ему доверили не только экспедиции, но и главный журнал флота — «Морской сборник». В апреле 1919 года Новопашенного назначили главным редактором.

По меньшей мере два обстоятельства заставили его вспылать ненавистью к новым властителям. Это расстрел большевиками его боевого товарища и соратника по Ледовому походу Алексея Щастного, а чуть позже — зверское истребление царской семьи. «Кровопийцы» — это слово навсегда стало для него синонимом слова «большевики». Даже спустя четверть века он бросит в лицо «людям из органов», которые придут к нему в камеру вербовать на «спецработу»: «С убийцами и кровопийцами не сотрудничаю!» И подпишет себе приговор.



А ведь все же пришли они к нему на поклон, готовые забыть «белые грехи», презрев «пролетарскую гордость», точнее — комчванство. Уж очень нужны были клетки его уникального мозга, насыщенного стратегической информацией...

Очень важно заметить, что Новопашенный не сбежал за кордон, спасая шкуру, как потом о нем судили-рядили, а ушел в Белый стан, чтобы воевать. Уходя в Эстонию к Юденичу, Новопашенный руководствовался теми же мотивами, по каким и писатель Куприн надел в свои немолодые годы офицерскую шинель с трехцветным шевроном «северо-западников», и безвестный миру прапорщик Стефан Транзе, и командир крейсера «Богатырь» капитан 1-го ранга Политовский, и командир тральщика «Китобой» лейтенант Моисеев, и еще тысячи и тысячи русских офицеров.

Впрочем, шли не только офицеры, но и рыбаки с Чудского озера, составившие по названию своего острова Талабский полк, и бывшие красноармейцы, принимавшие сторону белых батальонами... Не все было так просто в том девятнадцатом году, как это пелось в агитках Демьяна Бедного. Не с бараньей покорностью меняла Россия кресты на звезды...

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Победоносное наступление С.-З. армии было подобно для нас разряду электрической машины, — писал автор “Поединка” и “Гранатового браслета”. — Оно гальванизировало человеческие полутрупы в Петербурге, во всех его пригородах и дачных поселках. Пробудившиеся сердца загорелись надеждами и радостными упованиями. Тела окрепли, и души вновь обрели энергию и упругость. Я до сих пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того времени. Все они, все без исключения, говорят о том восторге, с которым они ждали наступления белых на столицу. Не было дома, где бы не молились за освободителей и где бы не держали в запасе кирпичи, кипятки и керосин на головы поработителям».

Новопашенный, как кадровый боевой офицер, вернулся к тому, что делал три года назад, воюя с немцами, — возглавил службу наблюдения и связи в Морском управлении Северо-



Западной армии, которая как размещалась при Непенине в кадриоргском особнячке, так в нем же и возродилась благодаря стараниям ее последнего главы — каперанга Новопащенко. Старания же Петра Алексеевича были направлены на то, чтобы вызволить из Питера как можно больше бывших сослуживцев, которым грозила «чрезвычайка». Оттуда, из Ревеля, он вел отчаянный поединок с карательной машиной большевистских вождей. При этом в красном Питере невольными заложниками оставались его жена и дети.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «...Отец организовал из Ревеля помощь морякам, которые должны были скрываться. Он посылал курьеров в Петербург к маме. Мама по вечерам на извозчике оповещала этих моряков и помогала им бежать.

Во время последней (Второй мировой. — Н.Ч.) войны нас нашел в Берлине бывший солдат Нестеров, который был одним из тех курьеров-проводящих. Мама хотела бежать с ним к мужу в Ревель, но вернулась с самого начала пути, так как у Светланы начался жар. Эту группу потом всю поймали. Нестеров спасся, так как сумел отпроситься “до ветру”...

Мама припоминала случай, когда один из курьеров отсыпался у нее в квартире, а ночью началась облава ЧК. Прошли по всем квартирам, а до нас не дошли. Может быть, поленились подниматься на самый верхний этаж, где мы жили? Бывало, и такой пустяк спасал людей. Но пришло время, когда и мама должна была скрываться. Она переехала к крестной Светланы. Все комнаты в ее квартире были заняты солдатами и матросами. Кое-кто из них знал маму, но никто не донес, что это жена “царского офицера”. И все же слухи просочились до чужих ушей. Однажды пришел комиссар и стал допрашивать маму. Мама говорила, что детей она прижила вне брака, замужем никогда не была и никакого Новопащенко не знает. Убедила ли она командира своей наивной ложью, но только он проявил к ней вполне определенный интерес и, прощаясь, объявил, что завтра заглянет “на чашку чая”. Мама, ей было тогда двадцать лет, и она была прехорошенькая, немедленно собрала нас, вещи и съехала с



опасной квартиры. Когда же комиссар заявился «на чашку чая», то наша родственница набросилась на него с обвинениями, что мама якобы обокрала ее, а он — ее покровитель, и она смеет думать, что и отец внебрачных малюток. Обескураженный кавалер ретировался. Мы же все были спасены от столь опасного внимания к нашей семье...»

СТАРОЕ ФОТО. Юная женщина со смятенным, чуть потерянным взглядом. Слишком много всего — от житейских перемен до вселенских потрясений — обрушилось на ее премилую головку в эти два года: ранее замужество и война, тут же забравшая мужа из дома, рождение двух дочерей и голодный, холодный, опасный на каждом шагу Питер, Гражданская война, муж за кордоном, посыльные-курьеры, полуподпольная жизнь, ежечасный страх грубого стука в дверь, — что для них ее крошечные дочурки, если они царских детей не пожалели? И все же во взгляде — решимость бороться, помогать ближним и жить самой, прикрывая детей.

Это фото могло оказаться в чекистском досье с суровыми, как приговор ревтрибунала, пометами: «жена офицера-белогвардейца», «связная закордонного белогвардейского разведцентра». Всякий, кто взял бы потом эту фотографию в руки, вряд ли догадался, что вина этой дамы лишь в том, что она помогала спастись от расстрела своим обреченным соотечественникам.

Наконец и она решилась на побег... «По рассказам мамы, она бежала с нами на санях через Финский залив. Помогли англичане. Я предполагаю, что это было под конец 1920 года, так как она закутала нас в меха. Ямщик неохотно нас взял. Он боялся, что плач маленьких детей всех выдаст. Но мы вели себя смиренно и даже не кричали, когда сани перевернулись...

Из Ревеля родители переправились в Англию, в Лондон, Отец работал в обсерватории. Но они не смогли прожить там на скудное папино жалованье и переехали в Германию...»

В Германии начала двадцатых годов было еще сложнее прокормить семью. Но морально, психологически жить там русскому эмигранту было много легче, чем в гордом Альбионе,



упивавшемся лаврами победителя и презиравшем своего провозвавшегося союзника, да еще подписавшего капитулянтский мир с Германией. И немцы, и русские, нашедшие приют на земле вчерашнего противника, чувствовали себя примерно одинаково: как пассажиры, потерпевшие общее кораблекрушение. Правда, немцы были у себя дома, где, как известно, и стены помогают. И все же Германия стала для недавних российских подданных пусть не родной матерью, но вполне гостеприимной мачехой.

«Берлин из-за близости к России, — свидетельствует “русский без Отечества” Михаил Назаров, — поначалу превратился в проходной двор, через который эмигранты постепенно распределялись по другим странам... В 1922—1923 годах в Германии жило около 600 тысяч русских эмигрантов, из них 360 тысяч в Берлине... В Берлине выходили десятки (русских — Н.Ч.) газет и журналов, работали три русских театра. Множество известных ученых продолжали свою деятельность в Русском научно-философском обществе, Религиозно-философской академии, в Русском академическом союзе; возникли десятки профессиональных объединений (инженеров, адвокатов, промышленников и т.д.), политических партий».

Возникло и Общество взаимопомощи офицеров бывшего российского императорского флота. Возглавил его Петр Алексеевич Новопащенко.

«...Я хорошо помню, как у нас на квартире собирались бывшие русские моряки. Иногда они играли с папой в бридж... 19 ноября отмечали морской праздник. Мама и мы со Светланой готовили традиционного в Морском корпусе жареного гуся с яблоками. Военный священник-отец Леонид Розанов служил в большой комнате молебен. На двери висел Андреевский флаг. Когда я стала постарше, отец выпускал меня в морской форме приветствовать гостей. Не любила я этого и смущалась. После полудня посылалась делегация на кухню уговаривать дам присоединиться к застолью моряков... Мы росли в этой среде и очень любили все, что говорило о море и флоте...

Деньги отца не интересовали, поэтому жили мы очень скромно. Папа подрабатывал поделками с инкрустацией пер-



ламуutra под японцев (научился в японском плену), а мама рукодельничала».

Веймарская Германия весьма напоминала РСФСР двадцатых годов. Обе страны, потеряв монархов, пережив позор и разруху военного поражения, зализывали раны и пестовали свои новонабранные армии, пока что помогая друг другу...

Несомненно, в штабах рейхсвера помнили, кто такой адмирал Непенин, знали историю с шифрами и крейсером «Магдебург», теперь уже в подробностях, а значит, были осведомлены и о той роли, какую сыграл в разгадке кодов кайзеровского флота ближайший помощник Непенина, а затем и его преемник капитан 1-го ранга Новопашенный, ныне швартовщик на прогулочных причалах Трептов-парка. Разумеется, никто из бывших противников не собирался ему мстить. Более того, его, отменного профессионала, пригласили работать в дешифровальный отдел главного штаба рейхсвера. Новопашенный принял приглашение.

«Я уже говорила, папа в деньгах не разбирался, и когда немцы спросили, сколько он хочет получать, ответ был таков: “Чтобы я мог прожить с семьей”. Столько и дали. Хватало в обрез. Ставку ему подняли лишь тогда, когда им заинтересовались американцы и стали звать к себе. Но папа остался в Германии. К сожалению!»

Интересовались им не только американцы... «Несколько раз из СССР нам подсылали моряков, якобы друзей, которые слишком вьедливо расспрашивали о работе отца. А подселившийся к нам на квартиру некто Лев Семенович Багров вел себя настолько подозрительно, что мы не без оснований считали его агентом НКВД. При всем при том он числился в Союзе моряков, возглавляемом отцом. Следы этого человека таинственно исчезли в Швеции.

И все же Союз русских моряков в Берлине действовал успешно, оказывая бывшим русским морским офицерам посильную помощь. Бывало, что из Франции, которая не очень хорошо обращалась с эмигрантами, высылались бывшие русские моряки.



Так, у нас очень часто появлялся Буткевич (бывший капитан 2-го ранга. — Н.Ч.).

Ходатайства папы большей частью были успешны. Только в одном трагическом случае ему ничего не удалось.

Арвид Манфредович фон Буш, бывший лейтенант русского флота (выпуск 1915 года), был арестован по доносу, обвинявшему его в крепких высказываниях по адресу Гитлера. Папе написал священник, который навещал Арвида Манфредовича в тюрьме, с просьбой помочь. Но до расстрела оставалось 10 дней, и папа ничем помочь не смог...

Папа не принимал германского подданства и каждый год продлевал свой нансеновский эмигрантский паспорт. Он верил, что рано или поздно вернется в Россию...

И он действительно вернулся на Родину, но, увы, вовсе не как ее гражданин.

В мае 45-го мы жили в маленьком тюрингском городке Ринглебене. Городок находился в американской зоне оккупации. Но в один день все резко изменилось: американцы по договоренности со Сталиным ушли за Эльбу, и буквально на следующий день к нам нагрянуло НКВД. Обыск длился с утра до вечера. Говорить друг с другом родителям не позволяли. Отец, по словам мамы, держался спокойно, только однажды побелел (у него была грудная жаба). Отобрали письма, золотые вещицы, документы, фотографии. Но иконы и кресты не взяли. Осталась и серебряная ладанка, с которой отец ходил в ледовые походы на Севере (ею благословила отца его мать, которая любила его больше остальных детей). Папа всегда носил ее под шинелью. Он вообще состоял старостой в нашем храме, что на русском кладбище в Тегеле.

Вот эту серебряную иконку Спасителя я храню теперь в своем канадском доме.

Папу отправили в Заксенхаузен, ставший к тому времени советским лагерем для немцев. Правда, сначала его держали в тюремной камере с одним молодым немцем. Парня потом выпустили, и он рассказывал нам, что не потерял бодрости духа



благодаря отцу, который каждое утро истово молился и исправно делал зарядку. Его сокамерник волей-неволей последовал его примеру.

Там же, в тюрьме, к отцу наведальась некая делегация из Москвы, которая предложила ему перейти на службу в шифровальный отдел НКВД. Отец ответил, что на “кровопийцев и убийц” не работает. Несмотря на столь резкий ответ, к нему отнеслись с уважением и даже снабдили его папиросами. Думаю, что его противники по достоинству оценили мужество обреченного... Вскоре после этого его и перевели в Заксенхаузен.

За все эти долгие годы я получила от папы только одно письмо, которое пришло во Францию, где я жила. Он просил прислать папиросы и наши фото.

Мы все, и он тоже, надеялись, что его отпустят. Ведь отпустили же его сослуживца по Балтийскому флоту барона Рудольфа фон Мирбаха (командира посыльного судна “Кречет” при Непенине. — Н.Ч.). Кстати, с одним из его сыновей я состою в переписке... Однако в один печальный день отца вместе с другими “репатриантами” загнали в вагоны — ни сесть, ни лечь, — и поезд двинулся на восток. Отец приехал в Оршу в бреду и горячке. Потом от одного его попутчика, товарища по несчастью, я узнала, что папа несколько дней провалялся в лазарете пересылочного пункта. В беспамятстве он выкрикивал корабельные команды и наши с сестрой имена. По сведениям этого же человека, его похоронили в Орше в общей яме.

Лишь одно заветное желание отца было исполнено: он погребен не на чужбине. В его бумажнике я нашла крохотный конвертик с русской землей. Я положила его маме в гроб (она умерла в Берлине 10 сентября 1970 года) вместе с самодельной иконкой и статьей моего мужа о папе, которая была опубликована во французском географическом журнале.

Но где могила отца? Я всегда мечтала, что ему будет воздано должное, и имя его на карте Арктики будет восстановлено. Ведь даже сам Вилькицкий писал маме, что считает величайшей несправедливостью факт назначения начальником экспедиции



его, а не Новопащенко, офицера старшего и годами, и опытом. Недаром и государь принял с докладом об итогах экспедиции именно папу, а не своего флигель-адъютанта. Я была поражена, что отца помянули на Родине добрым словом. Спасибо вам всем!»

...Сколько ни ездил через Оршу, всегда проезжал ее поздно ночью. А в этот раз поезд Минск—Петербург остановился у оршанского перрона днем. Вокзал здешний, по-сталински помпезный и эклектичный, весьма отдаленно напоминающий своей серо-оранжевой расцветкой и рустованной колоннадой Инженерный замок в Питере, был весь облеплен мемориальными досками, извещавшими о том, что Оршу посетил как-то Калинин, что мимо проезжал Ленин, что вождь всемирного пролетариата объявил комиссару станции благодарность... Не было лишь одной: «Сюда в 1945 году прибыл поезд с русскими репатриантами, среди которых был и выдающийся русский полярный исследователь, командир ледокольного судна “Вайгач” капитан 1-го ранга Петр Алексеевич Новопащенко, сгинувший в оршанском пересыльном лагере...»

Санкт-Петербург. Январь 1994 года

Вместе с судьбой Новопащенко приоткрылся и финал жизни корветтен-капитана Фабиана Рунда. Не только Господни, но и человеческие пути воистину неисповедимы. Если бы шефу абвера адмиралу Канарису сказали, что один из его сотрудников станет всамделишным — не подставным, не агентурным — ударником коммунистического труда, добропорядочным ленинградцем, мастером-наставником советской молодежи, образцовым проформом, председателем кассы взаимопомощи в ателье по ремонту радиоаппаратуры, думаю, что и этот «греческий сфинкс», никогда ничему, не удивлявшийся, все же покачал бы головой. Тем не менее пьеса в театре абсурда развивалась вполне по законам житейской логики и теории вероятностей. После



нашумевшего покушения на Гитлера в июле 1944 года, когда абвер был перетряхнут сверху донизу, скромный сотрудник Фабиан Рунд, не причастный к покушению ни сном ни духом, был отправлен на фронт и угодил в Северную Норвегию на линкор «Тирпиц» в качестве офицера радиоразведки. Прослужив на нем чуть больше месяца и получив тяжелое ранение в грудь при налете английской авиации, очнулся лишь в морском госпитале в Лиинахамари, где спустя неделю лечение продолжили уже советские врачи. Город был взят штурмом — десантом с торпедных катеров — столь стремительно, что не только раненые, но даже «жрицы любви», обслуживавшие немецких моряков, не успели покинуть гарнизонный бордель.

После выздоровления Рунд попал сначала в рабочий батальон № 460, сформированный на Кольском полуострове из военнопленных и размещенный в палатках под Ваенгой (нынешний Североморск), а затем был переведен в лагерь № 530, состоявший в основном из пленных чехов, словаков и поляков. Видимо, так сказалось его знание русского языка, пусть и слабое, почерпнутое из бесед с Петровым на «Летучем голландце». Здесь было много легче, чем в рабочем батальоне. Рунд работал с поляками на обмуровке печей мурманского хлебокомбината, там же познакомился с булочницей, эвакуированной из блокадного Ленинграда, Доротеей Людвиговной Беловой, урожденной Артшвагер. Обрусевшая немка, петербурженка в пятом поколении Доротея Людвиговна, вдова фронтового шофера, сгинувшего подо льдом Дороги жизни, и стала верной подружкой своего соотечественника.

После освобождения из лагеря Рунд расписался с суженой в мурманском загсе, и вскоре супруги Беловы уехали в Ленинград, где и стали жить в комнате Доротее Людвиговны, которую добрые соседи по коммуналке помогли сберечь в целости и сохранности. Фабиан Белов (он благоразумно взял фамилию жены) устроился работать по специальности в ателье по ремонту радиоаппаратуры, что в начале Московского проспекта. Там он честно трудился всю оставшуюся жизнь. Портрет его много лет украшал Доску почета предприятия «Наши маяки». «Маяк» Фабиана Ивановича Белова



угас в 1975 году после третьего инфаркта. Вполне возможно, что сердечная болезнь развилась после нескольких посещений «большого дома» на Шпалерной, куда бывшего корветтен-капитана вызывали в 1970 году для детального выяснения его личности и деятельности в абвере. Однако ничего особо криминального в прошлом Белова-Рунда установить не удалось. На всякий случай ему было предложено сменить невскую столицу на российскую глубинку. Но стараниями Доротеи Людвиговны — блокадницы, и ее матери, старой большевички, Фабиан Рунд, он же гражданин Белов, сохранил свою ленинградскую прописку. Умер он, когда его новая родина отмечала 30-летие победы над фашистской Германией, и похоронен был на Смоленском лютеранском кладбище в могиле отца жены, своего тестя.

Подумал ли он перед смертью о Петрове? Знал ли, что тот похоронен под Мюнхеном? Как странно выпало им обменяться родинами, точнее, последними пристанищами на чужбине.

Кентшин. Апрель 1995 года

Той весной колесная судьба занесла меня в польский городок Кентшин, бывший восточнопрусский Растенбург, где в двенадцати километрах на юго-восток располагалась полевая ставка Гитлера «Вольфшанце». Мой польский коллега историк-журналист Ежи Шинский водил меня по лесным тропам от бункера к бункеру, поясняя, кто в нем укрывался или что в нем находилось:

— Бункер Геббельса, бункер Гиммлера, бункер Геринга, бункер Гитлера, представительство штаба сухопутных войск, бункер кригсмарине... А здесь работали шифровальщики.

И тут меня кольнуло. Здесь работал и мой герой все три года, пока Гитлер управлял отсюда своими фронтами, здесь, под глыбой бетонного перекрытия, бывший моряк русского флота Петр Новопащенный дешифровывал радиоперехваты сталинских депеш.

Если взглянуть на этот факт абстрактно, мы не увидим в нем ничего особенного: как работал в рейхсвере наемный русский



эмигрант, так и продолжал он свои переводы цифровых текстов в буквенные и после 33-го года. Исправно получал жалованье, иных источников пропитания в силу возраста добыть уже не мог. Когда весной 41-го его вместе с шифровальным отделом ОКВ привезли сюда, в сверхсекретную зону мозгового центра вермахта, он еще не знал, что ему скоро придется иметь дело с советской системой скрытого управления войсками. А когда узнал?

По всем понятиям советского патриотизма он должен был сказать: «Я не хочу работать против своей Родины» — и получить пулю в затылок. Но он не был и не мог быть советским патриотом. Более того, он ненавидел режим, воцарившийся в России, служить которому было невозможно по канонам его чести и веры. Как многие, хотя и не все, русские эмигранты в Германии, он видел в походе Гитлера — было такое заблуждение! — продолжение военных походов белых вождей против большевиков и верил, что только силой германского оружия можно сломать вышки сталинских лагерей. Тем паче что газета «Правда» в Берлине не распространялась, а «Фелькише беобахтер» о зверствах фашистов на оккупированных территориях ничего не писала.

А если взглянуть на работу «лучшего шифровальщика вермахта» глазами моего отца, получившего в атаке под Витебском разрывную пулю в предплечье? Знаю, отец, как бы много ни открылось для него в последние годы о той войне, абстрактного подхода не принял бы. Для него и его фронтовых сотоварищей Петр Новопашенный — враг, нечто вроде власовца. Никто бы из них не стал вникать в перипетии исторических обстоятельств.

В этом главная драма командира «Вайгача», прирастившего Россию на сорок тысяч квадратных верст, но в судный час оказавшегося в стане врага. А ведь мог бы, как его товарищ Борис Вилькицкий, тихо и мирно догорать в русском приюте под Брюсселем ли, Берлином ли аж до первого полета человека в космос.

В далеком 19-м году капитан 1-го ранга Новопашенный, уйдя за кордон к Юденичу, круто изменил не только свою жизнь, но и решил судьбу дочерей-малюток: они никогда больше не увидели Петрограда, России, родины. Он избавил их от многих бед и



унижений: от страха внезапного ареста, от чудовищных очередей и карточек, от обязательного поклонения вождам, от анкетных ярлыков о дворянском происхождении, от цензорских указок худсоветов и «искусствоведов в штатском». Если бы художнику-фарфористу Ирине Петровне пришлось творить в Ленинграде, а не в Берлине... Он избавил ее от многого того, что выпало пережить, как страшный сон, многим ее российским сверстницам и ровесникам. Но он лишил ее родины — большой и малой. А эта утрата — без скидок на сантименты — не восполнится ничем и никогда. Любой эмигрант подтвердит это. Есть вечный спор, кто больше потерял: тот, кто ушел, или тот, кто остался?..

И последнее, что удалось узнать о Новопапшенном. Там, в Питере, в брошенной квартире на Большой Зеленинской, остались тетради с его научными трудами, сконструированный им прибор для автоматической записи колебаний уровня моря — мареограф, графики послойной температуры арктического льда и многое, многое другое, не говоря о личных походных дневниках, фотографиях. Все это сгорело в 1942 году, когда в дом попала немецкая «зажигалка». Сгорела лучшая часть его жизни — экспедиционная...

Глава шестнадцатая

САЛЮТ РОССИЙСКОМУ КОЛУМБУ

Не могу представить себе Колумба или Магеллана, коротающих свой век за подбивкой сапог или ремонтом старых табуреток. А вот флигель-адъютанта Бориса Вилькицкого за варкой столярного клея — очень даже могу. Варил в Лондоне на первых порах эмигрантской жизни за милую душу. Да еще стоял во главе артели из таких же выброшенных на осушку жизни моряков. И табуретки починял, и полки, и прочую нехитрую мебель. Еще кур под Парижем разводил...

И кто мог подумать на чернильной фабрике в Брюсселе, глядя, как седовласый конторщик разворачивает свой скромный



обеденный узелок, что этот русский старик не раз трапезничал за императорским столом, развлекая своими остроумными смешливыми принцесс, чьи останки давно поглотили недра уральских шахт. Все было в жизни доживавшего свой век бывшего адмирала и флигель-адъютанта...

В это трудно поверить, но на всех картах мира до 1913 года там, где сейчас распростерлись на пол-Ирландии острова Северной Земли, на стыке двух морей — Карского и Лаптевых — зияло огромное белое пятно. Первые очертания неведомых берегов появились на глобусе благодаря подвигам и жертвам русских военных моряков в 1913 году.

А за три зимы до того в воды Тихого океана были посланы два ледокольных парохода — «Таймыр» и «Вайгач» — Государственная экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО). Именно с этого момента и началось воистину государственное освоение той трассы, которая сегодня носит название Главсевморпути и... тихо утасает.

В 1913 году 28-летний капитан 2-го ранга Борис Вилькицкий повел свои суда в небывалый поход — из Владивостока в Архангельск — через шесть арктических морей, и в каждом из них «Таймыр» и «Вайгач» могла подстергать судьба вмерзших во льды и бесследно сгинувших экспедиционных шхун Седова, Русанова, Брусилова...

Эта земля не далась ему в руки сама — шли, шли и наткнулись. Полярный командор пошел на риск: разъединил суда (они всегда держались рядом, чтобы в любой момент оказать помощь друг другу). «Таймыр» пошел на север, а «Вайгач» — вдоль материка.

3 сентября 1913 года, обходя плотные льды у мыса Челюскин, полярные моряки увидели сквозь разрывы тумана неизвестную гористую землю, уходившую в море неоглядной далью. Вилькицкий вместе с сотоварищами высадился на нее и торжественно поднял российский флаг. Потом на борту «Таймыра», еще раз сверившись с морскими картами, огласил приказ:



«Нам удалось достигнуть мест, где еще не бывал человек, и открыть земли, о которых никто не думал. Мы установили, что вода на север от мыса Челюскин — не широкий океан, как считали раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет большое научное значение, объясняет многое в распределении льдов океана и дает новое направление поискам Великого пути».

На 37 тысяч квадратных километров приросла Россия... А сколько боевых кораблей, мирных грузов было переброшено по этой воистину национальной стратегической трассе в послевоенные и вовсе недавние годы?! Даже такой хрупкий корабль, как авианосец (тяжелый авианесущий крейсер «Минск»), и тот умудрились перетянуть не вокруг Африки, а вокруг Таймыра, через пролив Вилькицкого.

Открытие Земли Императора Николая II — так нарекли новые острова — стало последним крупным географическим открытием в истории человечества.

Амундсен, человек, как и все северяне, весьма сдержанный, не удержался от восклицания в адрес Вилькицкого: «В мирное время эта экспедиция возбудила бы весь мир». Но когда «Таймыр» и «Вайгач» прибыли в Архангельск, началась Первая мировая война. Экипажи экспедиционных судов были раскассированы по боевым кораблям, а Борис Вилькицкий получил флигель-адъютантские вензеля на погоны (офицер свиты Его Величества) и эскадренный миноносец на Балтике. На нем, на «Летуне», он добывал себе новую, ратную славу. Вилькицкий мог бы остаться в императорской свите (великим княжнам очень нравились уроки географии, которые преподавал им «милый Бобочка»), но он сам отпросился в Минную дивизию, в «клуб самоубийц», как называли моряков этого лихого соединения.

Над ним подтрунивали: капитан 1-го ранга — и на миноносце. С таким чином линкором командовать. А он ходил на своем «Летуне» к черту в пекло, пока не подорвался однажды на германской мине. В память о той операции — золотое Георгиевское ордено.



Наверное, Вилькицкий и в самом деле родился под счастливой звездой. Повезло в Порт-Артуре — выжил, повезло в Арктике — не сгинул во льдах, повезло на Балтике — выплыл. Повезло и в четвертый раз. В 1917 году, когда командир «Летуна» и его старший офицер Николай Задлер были арестованы, судовой комитет эсминца написал на Вилькицкого, «любимца августейшей семьи», форменный донос, — только чудо спасло его от расстрельной пули. И все же Вилькицкий не оставил флот даже в ту лихую годину — ушел в Ревель к своему товарищу по совместным походам Петру Новопащенко, возглавлявшему знаменитую непенинскую Службу связи.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «В это время, — отмечал в своих записках Вилькицкий, — я служил в Ревеле, в Службе связи Балтийского флота, учреждении, поставленном на огромную высоту доблестным адмиралом Непениным, безнаказанно убитым при Керенском на посту командующего Балтийским флотом.

Секретнейшая работа Службы связи по выяснению операций германского флота парализуется окончательно, так как новой власти все “секретное” особенно подозрительно.

На флоте офицерство и лучшая часть матросов группируются вокруг некоторых начальников, оставшихся популярными в силу своей энергии, честности и патриотизма, но и этим начальникам не видно во всероссийском хаосе никакой силы, на которую можно опереться для борьбы со все шире разливающимся злом. Неприятельские армии почти беспрепятственно продвигаются по русской земле. Германские самолеты уже летали над городом Ревелем, и их циклисты (мотоциклисты. — Н.Ч.) проникли на улицы, когда мне удалось с начальником Службы связи и остатками личного состава уйти на одном из транспортов в Гельсингфорс, где находился штаб флота.

Там капитан 2-го ранга Щастный, оказавшийся во главе флота, предпринимает героические усилия, чтобы спасти эскадру от захвата немцами и увести ее через тяжелые льды в Кронштадт и Петроград. Служба связи больше никому не нужна, и меня отпускают на все четыре стороны.



Германские войска высаживаются в Западной Финляндии и с белыми финнами продвигаются к Гельсингфорсу, освобождая страну от красных финнов и от всего русского. За два дня до занятия Гельсингфорса, одновременно с выходом Щастного с флотом в его трудный поход, и я направился в Петроград искать себе применение.

Популярность Щастного растет и вызывает опасения Троцкого. Щастного обвиняют в контрреволюции, арестовывают и после пародии суда расстреливают.

На боевом флоте мне делать больше нечего, его песня спета. Надо осмотреться, переждать, найти временную работу подальше от всякой политики».

А жизнь, а служба начинались лучезарно: с Лазурного берега, с Тулона, куда 19-летний мичман был командирован сопровождать новобранцев на эскадренный броненосец «Цесаревич»...

Чужую жизнь мы читаем по азбуке слепых, касаясь лишь ее вершин и впадин. Так прочтена бегло и по рельефу жизнь российского Колумба XX столетия. Чтобы зажечь будущего биографа, замечу, что Бориса Вилькицкого можно считать одним из самых первых командиров-подводников в русском флоте. В осажденном Порт-Артуре он вызвался командовать одноместной подводной лодкой, сооруженной конструктором Налетовым из подручных средств. По счастью, тот утлый снаряд так ни разу и не вышел в море. Но 19-летний мичман, избежав одной опасности, шел навстречу другой: на сопке Высокая он вел матросов последнего резерва в контратаку. В рукопашной схватке получил пулю в грудь.

Госпиталь. Плен. Возвращение на флот. И снова под пули. На этот раз уже в России, охваченной всполохами восстаний, предвестниками будущей Гражданской войны.

«Назначен из состава батальона, идущего на усмирение мятежа в Прибалтийском крае по собственному желанию». Эта отметка в послужном списке старшего лейтенанта Вилькицкого едва не сыграла роковую роль в октябре 17-го.



А ведь ему светила тихая кабинетная служба в столице под крылом отца-генерала. Андрей Ипполитович Вилькицкий, сам вдоволь наплававшись по окраинным морям Российской империи, потерявший младшего сына (гардемарин Юрий Вилькицкий умер в плавании от брюшного тифа в 17 лет), пытался уберечь и старшего от невзгод. Куда там!

Правда, по настоянию отца штурман крейсера «Олег» Борис Вилькицкий поступает на гидрографическое отделение Николаевской Морской академии. Но только потому, что эта «мирная специальность» обещает новые испытания и новый риск. Его боевой товарищ по Порт-Артуру капитан-лейтенант Колчак-Полярный уже зажег душу молодого офицера рассказами о загадочной Земле Санникова, своими дерзостными планами найти путь в непроходимых сибирских морях из Европы в Азию, из Владивостока в Архангельск, дабы не гонять российские корабли на Тихий океан вокруг Африки. Планы воистину глобальные. И реальные: по эскизам Колчака уже строились экспедиционные ледокольные суда «Таймыр» и «Вайгач». Деятельный эрудированный моряк, гидрограф от Бога, Колчак, потерявший в Арктике зубы и здоровье, снова рвался в белое безмолвие Севера. Он намеревался возглавить экспедицию, подготовленную с государственным размахом. Но судьба улыбнулась Вилькицкому. Именно он повел в гиблые льды оба ледокольных транспорта — навстречу смертям и открытиям.

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна...

За все свои полярные удачи Вилькицкий расплатился потерей семьи и Родины. Страшная цена!

Но вот что удивительно. Пока Борис Андреевич Вилькицкий мыкал горе на чужбине, пока он полагал, что его жизнь напрочь отсечена от Родины, здесь, в тогдашнем Ленинграде и нынешнем Питере, хранились и хранятся его детские фотографии. Здесь помнили его мальчишеские шалости, беды и радости,



как могут помнить только родственники. Пусть дальние, по линии старшей сестры Бориса — Веры Андреевны, но все же, как ни вытравливали в них память до 17-го года, правнучатая племянница славного морехода Ирина Семеновна Тихомирова бережно сохранила и детские фотографии столетней давности, и семейные предания, дошедшие от прабабушек. Она же сумела и приумножить семейный архив копиями генеалогических справок и послужных списков Вилькицкого. Не историк, ветврач по образованию, она взялась за кропотливый исследовательский труд задолго до того, как возник публичный интерес к имени полярного первопроходца, когда каждый свой рассказ бабушка сопровождала обязательной оговоркой: «Только никому об этом не рассказывай!» Таись, что в твоём роду был такой человек. Да и как было не таиться, когда к имени Вилькицкого советские историки намертво припечатали такую характеристику:

«Есть все неопровержимые свидетельства того, что Борис Вилькицкий добровольно и охотно перешел на сторону временного белогвардейского правительства Северной области, старался, хотя и безуспешно, переметнуться на службу колчаковскому правительству, ревностно выполнял задания. Только добросовестное выполнение Б.А. Вилькицким контракта по обеспечению Карских товарообменных экспедиций в 1923 и 1924 годах несколько смягчает его вину перед своим народом. В последние годы жизни стареющий полярник страдал ностальгией по всему русскому и хотел вернуться на Родину, однако это ему так и не удалось».

И все-таки он вернулся в Россию!

Брюссель. Октябрь 1995 года

Да простят меня брюссельцы, но столица Бельгии была для меня прежде всего городом, где оборвалась жизнь российского Колумба. И когда мне довелось вступить в пределы тихого и уютного королевства, первым делом стал искать могилу Бориса Вилькицкого. К стыду сотрудников российского посольства, никто из них так и не смог сказать, где погребен наш великий



соотечественник. Лишь с помощью приятельницы русского брюссельца Виталия Поповского, предоставившего мне свой кров, балерины на пенсии Ивон Франсуа, обзвонившей все брюссельские кладбища, удалось выяснить, что Вилькицкий похоронен в Икселе, окраинном районе на юге столицы. Туда-то мы и двинулись втроем.

С большим трудом разыскали в лабиринте города мертвых плиту красного мрамора под траурной туей. За бетонной стеной грохотал поезд. С ближайших прудов пролетали над могилой командора чайки... Строго говоря, это была не его могила, а семейное захоронение младшей сестры Лидии. Бориса Андреевича положили к ней и ее мужу генерал-майору Шорину, так как на аренду собственного участка у него не было средств. Но проклятое безденежье донимало его и после смерти: в кладбищенской конторе нам сказали, что в будущем году истекает 30-летний срок оплаченной аренды и захоронение ликвидируют. Сообщение нас огорошило: получалось, что в год 300-летия Российского флота должна быть уничтожена надгробная плита российского Колумба! Хорошенькое дело же...

Вернувшись в Москву, я стал бить во все газетные колокола: опубликовал несколько очерков, писал письма в МИД, в оргкомитет юбилея, в Главный штаб ВМФ... Убеждал облеченных властью лиц, что прах Бориса Вилькицкого можно (юридически) и нужно (по совести) перезахоронить на родине, в его родном Санкт-Петербурге. Делал все это без особых надежд. У разведомственных чиновников была железная отговорка: нет денег. В самом деле, старикам пенсии не выплачиваются, а тут останки какого-то белоэмигранта из-за тридцати земель перевозить надо.

Нельзя поднять словом человека из гроба, но слово может поднять гроб из могилы. И я был свидетелем этого чуда... Российский МИД нашел валюту на перезахоронение нашего национального героя. (Юбилейная кампания подмогла!) И командор вернулся в Россию.



Санкт-Петербург. Ноябрь 1996 года

Если бы он был русским американцем, прах его упокоили бы в пантеоне, но Вилькицкий был русским россиянином, не принявшим ни бельгийского, никакого иного подданства, и потому его положили сюда, в чудовищно запущенное, изуродованное не руками, лапами вандала старинное и, несмотря на все, славное Смоленское кладбище, что на Васильевском острове. Его следовало бы назвать еще родительским, ибо здесь лежат кости родителей едва ли не всех российских гениев и талантов: Чайковского и Даргомыжского, Рериха и Зощенко, лежат тут — неведомо, правда, где — Шишкин, Куинджи, Александр Блок...

Прах Бориса Вилькицкого перевезли из Брюсселя не символически. Вся Россия видела по НТВ, как из земли Иксельского кладбища был извлечен хорошо сохранившийся дубовый гроб, как накрыли его Андреевским флагом...

Могилой Вилькицкого могли бы стать и порт-артурская сопка, и льды Арктики, и воды Балтики, и даже берега реки Конго, где его свалила однажды тропическая лихорадка. Не стало его последним приютом и брюссельское кладбище, где в семейной могиле младшей сестры Лидии Шориной пролежали его бранные останки 35 лет.

Свое посмертное плавание Борис Вилькицкий совершил, как говорят моряки, в «деревянном бушлате» на борту бельгийского судна «Мария Бьянки».

Он вернулся в родной город, проделав тысячемильный путь по Северному морю и Балтике. И штормовое осеннее море стихло, провожая командора в его последний поход к его последним островам — Турухтанным, где расположен 87-й причал Петербургского торгового порта. Капитан «Марии Бьянки» немало удивлялся столь необычному штилю в конце ноября. И еще просияло во время погребения безнадежно хмурое небо питерского предзимья...

За гробом Вилькицкого шли адмиралы.

Впервые за все советские и постсоветские годы воинские почести были отданы белоэмигранту. Об этом приходится гово-



рить особо, потому что в сознании многих битва белых с красными еще продолжается, и из Москвы был звонок организаторам перезахоронения: высокое должностное лицо, пожелавшее остаться неназванным, предупредило, что ни оркестр, ни салют для белоэмигрантов воинскими уставами не предусмотрены. Тем не менее командование ЛенВМБ и Военно-морской академии к рекомендациям московского начальника не прислушалось и контр-адмиралу Российского императорского флота Борису Вилькицкому были отданы все воинские почести: флаг, караул, салют, торжественный марш.

Наверное, сыграл свою роль и Указ президента о Дне гражданского примирения, принятый за три недели до этой акции. Хотя, конечно же, никакими указами-приказами не примирить живущих в нас «красных» и «белых», воюющих в нас и вне нас, раздирающих наши души без малого век. Не по этой ли причине не найдем мы портрета Вилькицкого в святилище нашей флотской истории — Центральном военно-морском музее?

Установит ли кто-нибудь мемориальную доску на доме № 96 по каналу Грибоедова, где жил Вилькицкий? Назовут ли его именем улицу в родном городе?

Витебская область. Докшицы. Июнь 1997 года

Строчка из Полного послужного списка старшего лейтенанта Вилькицкого. На вопрос анкеты «Из какого звания происходит и какой губернии уроженец» дан ответ: «Уроженец С.-Петербургской губ. Из потомственных дворян Минской губ.»

Корни славного рода берут начало в середине Белоруссии, там, где бьют истоки двух рек — знаменитой Березины и малоизвестного Сервича. Березина, вошедшая в историю Отечественной войны 1812 года, да и минувшей войны, бежит к Черному морю, Сервич — к Балтийскому. Поэтому на въездном знаке в Докшицы помещен старинный герб городка (статус города сему местечку, отличившемуся еще в Северной войне против шведов, Екатерина II даровала в 1796 году); два кувшина, из которых выливаются голубые ленты рек.



Докшицы вынырнули в 1997 году из глубины своих веков, сохранив лишь церковь да здание бывшей корчмы. Все остальное было уничтожено многочисленными войнами, которые прокатились через городок испепеляющими волнами. Пепелища быстро заросли многоквартирными домами из серого кирпича. В промежутках между ними серели шиферные кровли городских хат с палисадниками. Даже церковь во имя Святителя Николая и та была поставлена в начале XX века.

Жалкое зрелище являл собой старинный град без старины. И сразу же закралось опасение, что никаких особенных следов пребывания Вилькицких на здешней земле отыскать не удастся. Названия докшицких улиц только укрепляли эту мысль: Урицкого, Дзержинского, Гайдара, Маркса. Нечего было надеяться узреть хотя бы переулок Вилькицкого. Голубоглазая докшичанка, которую я остановил на улице, сказала, что впервые слышит такую фамилию, что краеведческого музея в городе нет и лучше всего обратиться в местную школу.

Я заглянул в пустые по случаю каникул классы. Бросился в глаза стенд, посвященный жизни Горького, чье имя носила пионерская дружина. Пожилая учительница ничего о своем славном земляке не слыхала и адресовала меня к здешнему краеведу Николаю Дмитриевичу Чистякову. Но даже он, учитель истории, впервые слышал о причастности Докшиц к первооткрывателям Северной Земли. Правда, сообщил немало интересного: в окрестной деревне Улесье было имение порт-артурского героя генерала Кондратенко, в чудом сохранившемся здании на бывшей Ратушной площади останавливался французский генерал — пасынок Наполеона и вице-король Италии Эжен Богарне. Было немало иных громких имен. Но памятник в центре Докшиц стоял лишь одному человеку. В отличие от всех остальных монументов и монументиков здешний Ильич куда не указывал, а держал руки в карманах.

Я представил себе, что бы творилось в каком-нибудь безвестном португальском городке, если бы там узнали, что это родина Фернана Магеллана. В Докшицах о своем Магеллане не знали ничего.



На выезде из Докшиц в сторону Гродно берет свое начало красивая и полноводная в низовьях Березина. Когда-то над истоком росли две березы. В хрущовские времена при спрямлении шоссе березы срубили, а ключи завалили землей и камнями так, что теперь здесь образовалось болото. Не так ли обстоит и с духовными родниками? Там, где они завалены, простирается трясина.

Санкт-Петербург. Сентябрь 1997 года

Приезд этого человека не стал событием для питерской прессы, которая с упоением следила за визитом в Россию американского мага. Тем хуже для невских хроникеров, тем более что высокопоставленный германский чиновник вовсе не жаждал вокруг себя газетной суеты. Он прилетел в аэропорт Пулково из Бонна, чтобы побывать на могиле своего русского деда — контр-адмирала Российского императорского флота и полярного исследователя Бориса Андреевича Вилькицкого.

Советник министра юстиции ФРГ Петер Вилькицки (по-русски Петр Андреевич Вилькицкий) прибыл в Санкт-Петербург не по приглашению мэра или президента Географического общества РФ, а по семейным каналам. И встречала его лишь внучатая племянница командора, ныне скромный библиотекарь Ирина Тихомирова.

Короче, в один из сентябрьских дней Петр Вилькицки, рослый, с клинышком седоватой бородки (как у деда), ступил с трапа на землю того самого Пулково, где родился его знаменитый предок.

...Семейная жизнь Бориса Вилькицкого раскололась как арктическая льдина. В смутные годы Гражданской войны жена Бориса Андреевича, дочь генерала Тихменева, Надежда Валерьяновна, получив ложное известие о гибели мужа на Севере, уехала в 1919 году в Баварию. В поверженной голодной Германии все же лучше, чем в «обновленной» России. Надежда Вилькицкая вышла замуж за немца-коммивояжера, который взял ее с сыном Андреем и дочерью Татьяной. Эту новую жизнь она не



стала ломать даже тогда, когда ее отыскал Борис, заброшенный в Европу с остатками разгромленной армии Северного правительства.

Их сын Андрей вырос гражданином Германии, получил техническое образование и с началом Второй мировой войны был призван в вермахт. Лейтенант инженерных войск Андрей Вилькицки (впрочем, он мог носить и фамилию отчима) служил в понтонных частях, наводя мосты через реки в полосе Восточного фронта. В 1942 году у его жены Катрин родился сын, которого нарекли Петером. Однако молодой отец так и не повидал первенца. В 1943 году лейтенант Вилькицки погиб в Польше при полигонном испытании гранат нового типа.

Молодая вдова вырастила Петера одна. Сумела дать ему высшее юридическое образование. Мальчик вырос в чисто немецкой среде, поэтому не знал по-русски ни слова. Правда, Катрин не прерывала родственных связей со своим русским свекром, и Петер время от времени виделся с легендарным дедушкой. Но что тот мог рассказать иноязычному внуку?

Незадолго до смерти он прислал 19-летнему Петеру открытку с надписью: «В твоём возрасте я уже командовал подводной лодкой...»

Весной 1961 года российский Колумб тихо и мирно скончался в брюссельской богадельне. Гроб, накрытый Андреевским флагом, опустили в могилу на Иксельском кладбище, чтобы через тридцать пять лет открыть и перевезти с согласия Петера в Россию. На семейном островке запущенного, полуразграбленного Смоленского кладбища и упокоился первооткрыватель Северной Земли, а вовсе не Новой, как второпях выбили на черном граните мастера из похоронного комбината.

К счастью, гость из Германии этой географической ошибки не заметил. Надпись сверху деликатно прикрыли венком. Но всем, кто сопровождал Петера по дебрям буреломного погоста, было очень неловко за то, что так коряво и бездумно была увековечена память одного из великих россиян нашего беспамятного века.



Чувство неловкости сменилось жгучим стыдом, когда мы пришли в музей бывшего Морского корпуса (Военно-морского училища имени М.В. Фрунзе), где учились и дед, и прадед Петера Вилькицки. В этом замечательном музее висели чьи угодно портреты — даже Крупской и чекиста Глеба Бокия на стенде «Они слушали в этих стенах В.И. Ленина», но не нашлось здесь места хотя бы для маленькой фотокарточки бывшего питомца корпуса, который завершил эпоху великих географических открытий.

Но вернемся под гостеприимный кров Тихомировского дома на Комендантском аэродроме. Гость из Германии был немало удивлен кропотливой летописью рода Вилькицких, которую составила хозяйка дома. Только тут, перебирая старые фотографии, увидели все, как разительно похож Петер на своего великого деда. Я смотрел на его лицо, такое славянское, такое русское, и не мог поверить, что этот человек не понимает нашу речь, что для того, чтобы глаза его оживились, нам всем нужно мучительно подбирать английские и немецкие слова. Петер не понимал язык своего отца, своего деда.

Он не мог, как его дед, весело гаркнуть гребцам: «Навались!» Он не мог, как его дед, крикнуть при виде неизвестного острова: «Земля!» Он не мог, как его отец, дед, прадеды прошептать в трудный миг: «Спаси, Господи, люди твоя!» Он был русский с онемевшей русской душой. Именно по ее зову он прилетел в Петербург, отпросившись со своей ответственной работы на пару выходных дней. Поездка влетела, конечно, в копеечку, что для него, многодетного отца, чувствительно...

Но летел, вопреки всем пересудам и предрассудкам. Поклонился крестам деда и прадеда, их земле, их городу, всем, кому дорога память о российском командоре, и кто пытается спасти ее от тлена.

Однако мне надо было о стольком еще рассказать, о стольком его расспросить, и он, я это чувствовал, отвечал бы весьма откровенно, но между нами стоял проклятый языковой барьер, в котором мы пробивали лишь отдельные брешки. И свая этого барьера уходили в разломный, раскольный 17-й год.



В том роковом году с матросской пулей, пойманной в плечо офицерской шинели, и решилась судьба древнего рода. В Вилькицкого стреляли матросы февральского Кронштадта.

За что? А за то, что носил флигель-адъютантский аксельбант, за то, что делил трапезы с принцессами. Скорее всего, тому, кто стрелял, и это было безразлично. Просто маячил перед ним офицер, капитан 1-го ранга. Классовый враг.

Вилькицкому повезло — стрелок промахнулся. Потом в него стреляли много раз из револьверов, пулеметов и даже пушек — вдогон уходящему из Архангельска на чужбину ледоколу. Но не зря про него говорили — заговоренный. Уцелел...

Род Вилькицкого пустил на новой почве свои побеги. В 1976 году Петер назвал новорожденного сына Борисом. Мальчик вырос и служит в бундесвере по контракту. Рядовой Борис Вилькицкий, правнук русского командора.

Все же сделать из нас манкуртов, Иванов, родства не помнящих, так и не сумели. Помнили и Вилькицкого даже в самые запретные на дальнорскую память годы.

Вот и начальник Главного гидрографического управления ВМФ СССР, дальний преемник генерала Андрея Вилькицкого, контр-адмирал Юрий Жеглов еще при Андропове на свой страх и риск отрядил матросов привести в порядок могилу «царского генерала» Андрея Вилькицкого на Смоленском кладбище.

И на мыс Могильный выбрались dobroхоты, перезахоронили останки лейтенанта Жохова и кочегара Ладоничева подальше от опасного оползня.

А большой рыболовецкий траулер наречен «Пролив Вилькицкого»; пусть и не прямо назван в честь Бориса Андреевича, а все же носит на борту славную фамилию.

Когда Петер прочитал эти бронзовые литеры на скуле большого морского судна, думаю, что ясны они ему были без перевода. БМРТ «Пролив Вилькицкого» стоял в старинном петровском доке Кронштадтского порта, и капитан траулера Юрий Серегин принял внука Вилькицкого как самого дорогого гостя. В кают-компании был накрыт подобающий случаю стол;



а потом Серегин вручил Петеру увесистый том — «Атлас океанов», в нем имена его предков не раз повторялись в названиях островов, мысов, проливов.

Улетая в родной Бонн, Петер поведал о семейном предании: в 17-м году, опасаясь очередного обыска, Борис Вилькицкий замуровал в стену отцовской квартиры свой золотой наградной кортик. Это оружие, и прах командора, и его имя отныне навечно пребудут в морской столице России.

Пока писались эти строки, пришло сообщение из Пулковской обсерватории: крымский астроном Николай Черных назвал открытый им астероид № 5314 планетой Вилькицких — в честь отца и сына, великих первопроходцев Арктики. Памятник что надо — ледяная глыба, летящая в безднах Вселенной. Почти как в стихах лейтенанта Жохова.

Глава семнадцатая

МЕСТЬ «БЛАЖЕННОЙ ЗЕМЛИ»

Это случится с ними не сразу. Года через три-четыре после возвращения экспедиции. Но случится.

А пока они стоят на деревянных мостиках своих утюгоносых, высокотрубых ледаколов, под сенью старомодных мачт с «вороньими гнездами», опутанными почти парусным такелажем. А пока они вглядываются в клубы холодного тумана над разводами ледяного океана, который курится, как дурное болото.

— Ваше благородие, никак остров!

— Да, да, вижу! Борис Андреевич, впереди открылся берег... Он не отмечен на карте!

— Записать в вахтенный журнал!

Чем грезилась им эта земля?

Чем она была на самом деле? А может, и ныне есть?

Ее тайна навсегда вошла в их жизнь, как тонкий сладкий яд, как сокровенное посвящение, как невыплаканная боль... Никто из них не стал богат и знаменит. Но не она ли освещала мрак их



душевных смут, согревала в житейские невзгоды и наполняла их сердца тихой гордостью.

В той забытой, так и не возбудившей мир экспедиции было 15 офицеров. Если бы оба ледокола погибли во льдах и туманах Арктики, о них слагали бы легенды, поэмы... Но они победили, и лавры по случаю военной поры, гражданской уособицы и прочих невзгод им забыли вручить, судьба расплатилась с ними по-своему.

Ледокольный транспорт «Таймыр»:

капитан 1-го ранга Борис Вилькицкий — умер в 1961 году в богадельне под Брюсселем;

капитан 1-го ранга Петр Новопашенный — сгинул в оршанском пересыльном лагере;

лейтенант Алексей Жохов — лежит на мысу Могильном; лейтенант Алексей Лавров — похоронен в Омске в сорок втором;

лейтенант Николай Евгенов — «...досрочно освобожден из лагеря за высокие производственные показатели и применение в работе стахановских методов труда...»;

лейтенант Дмитрий Анцев — погиб в двадцатых годах;

капитан 2-го ранга (летчик) Дмитрий Александров — пал в бою под Ригой во главе морского ударного батальона в 17-м году, ему выстрелят в спину;

старший лейтенант Аркадий Фирфаров — у его смерти роковая дата — 37-й год;

доктор медицины Леонид Старокадомский — один из немногих, почивших своей смертью. Прах его покоится на Немецком кладбище в Москве.

Ледокольный транспорт «Вайгач»:

старший лейтенант Николай Транзе — пепел рассеян в штате Огайо;

лейтенант Константин Неупокоев — умер после операции аппендицита в 26-м году;

лейтенант Николай Гельшерт — погиб в 17-м;

мичман Александр Никольский — умер на чужбине;

мичман Андрей Ильинский — судьба неизвестна;



доктор Эдуард Арнгольд — в 18-м умер от тифа в Ялте; по другой версии — расстрелян там.

Неужели и в самом деле это «блаженная земля» изломала их судьбы, бросила за кордон и колючую проволоку, переименовала их острова и земли, обокрала могилы?

За что все это?

Не за то ли, что по их стопам пришли конкистадоры Арктики — за нефтью, мехом, золотом, газом; построили бараки и превратили вечную мерзлоту в кладбище для миллионов людей; разворотили тундру гусеницами и ножами бульдозеров, усеяли девственно-чистые берега тысячами тысяч железных бочек в распадах «блаженной земли»?

Конечно, они не знали, для кого и для чего разведали и проторили путь во льдах.

Есть у земли свои заветные оазисы, куда не должны вторгаться люди. Своим неумеренным разумом, любопытством, алчностью они, подобно мухам, забравшимся внутрь хронометра или иного прецизионного прибора, могут разладить, нарушить, погубить древние балансиры природы, порвать тончайшие нити и цепи экологического механизма планеты. Посторонним вход воспрещен! И мы, люди, пока что здесь посторонние.

Убежден: Север, Арктика — одна из таких жизнесущих зон, куда нельзя было входить до поры. Но мы вошли. Я своими глазами видел гнойные раны этого вторжения и на Таймыре, и на Кольском, и на Колыме, и в Белом море... Всюду одни и те же жуткие следы воровского хапанья. Недаром грворят, не в горькую шутку, что ледоколы ныне торят путь не только во льдах, но и в бревнах. Сибирские реки выносят трупы порубленных лесов и трупы расстрелянных людей из размытых могильников.

Рано, рано пришли мы в «блаженную землю».

И еще одно. Запонка лейтенанта Жохова! Крупица меры и надежды! Так же, как эта малая вещица вернулась к своему законному наследнику, так и все выбитое, сдвинутое, смешанное силой зла и забвения вернется на крути своя.



Вернется образок на крест лейтенанта Жохова. Вернутся на острова, земли и города их первозданные имена. И уже возвращаются. И возвращаются из дальних стран книги, как перелетные птицы. Потеплело на родине!

Вот и имена «Таймыра» и «Вайгача» уже проступили на бортах новейших ледоколов.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Таллин. Май 1991 года

В Таллине буйствовала весна. Из бастионов Вышгорода выхлестывала цветущая сирень. Грозные некогда форты превратились в жардиньерки — огромные подобию тех, что выставляли в витринах таллинских цветочных магазинов. Валуны и те прозеленели под дубами Кадриорга. И здешние сосны в который раз, в который век воздели к Солнцу свои желтые свечечки.

А море... Свинцово ли серая Балтика голубела так под майским солнцем?

В этот раз не пришлось гадать, кто же покровительствует мне в этом прекрасном городе.

Верзунов. Именно он заказал номер в маленькой, никому особенно не известной флотской гостинице «Русалка». То была старинная казенная вила Балтийского флота, на опушке кадриоргской дубравы, близ памятника броненосной лодке «Русалка». Выстроенная на немецкий манер, с мансардой под красной черепицей, она смотрела окнами всех трех этажей на близкое море.

Верзунов утверждал, что здесь жилали в свое время и адмирал Эссен, и адмирал Рожественский, и другие балтийские знаменитости... Некогда роскошная загородная вила с великолепной и поныне паркетной лестницей была разгорожена на множество комнатушек и носила статус гостиницы III разряда для командированных в Таллинскую военно-морскую базу офицеров.

Благодаря стараниям Верзунова бывшая адмиральская дача приняла под свой кров всех, кто сумел приехать на «дуусимские



дни». Были здесь и внучка командира «Авроры», павшего от осколка японского снаряда в боевой рубке, Анастасия Всеволодовна Егорьева, и сын корабельного инженера с броненосца «Орел» Михаил Владимиров Костенко, и дочь автора незабвенной «Цусимы» Ирина Алексеевна Новикова, тихая, застенчивая женщина, посвятившая жизнь российской флоре...

Прогуливаясь у памятника «Русалке», я обратил внимание на то, что гранитный форштевень, вырубленный скульптором, в основании постамента направлен не просто по тому курсу, которым уходила злополучная «Русалка» навстречу своей гибели. Сколько раз бывал здесь, а никогда не замечал этой особенности, да и в путеводителях, в описаниях монумента, кажется, ничего об этом не сообщалось. Круглая площадка вокруг памятника была сделана в виде компасной картушки, так что не составило особого труда определить роковой курс более или менее точно: 22—23°.

И тут меня осенило: да ведь это же курс, каким прорывались во Владивосток сквозь Цусиму эскадры Рождественского! Курс норд-ост 23°. Даже глава в романе у Новикова-Прибоя так названа: «Курс NO 23°».

Получается, что русские корабли шли к своему разгрому курсом «Русалки».

Как бы там ни было, но бронзовый ангел вздымал свой крест над морем и в память моряков-цусимцев. Другого памятника у них не было.

Был, впрочем... Белокаменный храм Спаса на Водах воздвигли всем российским миром на берегу Невы. На мраморных плитах значились имена всех сгинувших в пучине Желтого моря — и офицеров, и матросов. Храм-памятник постигла участь собора Христа Спасителя в Москве. Не дрогнула рука у вожака ленинградских большевиков — Мироныча, когда подписывал приказ о сносе «цусимского храма». Иконы, на престольный крест продали за границу. Крест и сейчас хранится в Париже (хранится ведь!), а мраморные плиты, говорят старожилы, ушли на облицовку станций метро.



Преданье старины далекой? Как бы не так... И в наши просвещенные дни не дрогнула рука у кого-то из таллинских отцов города наметить трассу скоростного трамвая прямо через некрополь русских моряков — Александровское кладбище. Спасибо таким, как Верзунов и его друзья. Отстояли. Но кто-то повадился бить старинные надгробья. Верзунов привел своих «ревельцев»: собрали расколотые куски, склеили, навесили цепи, вернули на места ритуальные якоря... Через месяц вандалы наведались вновь. И снова неформалам из клуба морской старины пришлось браться за лопаты, ломы, мастерки, кисти...

Ждать помощи от властей не приходилось. Для одних памятники на старом кладбище были «следами русской экспансии», для других — «символами проклятого царизма». Именно по инициативе особо бдительных чиновников было разрушено в 70-е годы символическое надгробие Гиляровскому — старшему офицеру печально знаменитого броненосца «Потемкин». Гранитные обломки и по сю пору не удалось поставить на место. Досталось и сыновьям Гиляровского. Трое юношей — кадет и гардемарины — погибли в море, спасая своих барышень, когда внезапный шторм перевернул в заливе их прогулочную лодку. Они погребены вместе, воистину в братской могиле. Три керамических фотопортрета на одном обелиске. Всем троим рука вездесущего вандала выцарапала лица...

Верзунов прекрасно понимал, что аргументы вроде «мертвым не мстят» или «из песни слова не выкинешь» на ревнителей классового или национального подхода не действуют, и посему молча творил свое благородное дело, которое временами казалось столь же безнадежным, как и труд Сизифа... И все же...

Сначала он убедил кладбищенского сторожа, что могилы русских моряков небесхозны... Так за «красный рубль» в регистрационных книгах появились отметки о том, что расходы по содержанию могил каперангов Политовского, Берлинского и прочих несут их «родственники».

«Родственники» в лице Верзунова и его друзей пришли однажды к воротам кладбища с цветами, свечами и Андреев-



ским флагом. Глазели праздные зрители, случайные прохожие... Толковали меж собой, что за странный флаг принесли — белый с синим крестом: «Финский, что ли?» Но в «Вечернем Таллине» появилась заметка, что в городе впервые после сорокового года была отслужена панихида по морякам, погибшим в Цусиме, а к могилам тех, кто похоронен на Александро-Невском кладбище, возложили цветы...

Так были начаты «цусимские дни», так был начат поход против беспамятства... Он был продолжен под объективами видео- и кинокамер, при стечении отнюдь не праздных горожан.

Как всегда, по укоренившемся за последние годы ритуалу, мы, хозяева и гости, ранним утром вышли на главную аллею некрополя. Первой могилой, над которой склонили флаг русского флота, был камень капитана 1-го ранга Политовского, младшего минера крейсера «Олег» в Цусиме, командира «Богатыря» в Первую мировую... Камнерез придал его надгробию форму маячной башни. Когда-то ее венчал бронзовый фонарик, теперь в оставшуюся от него нишу поставили горящую свечу, и маяк ожил... Потом поклонились могиле старшего офицера «России» Николая Берлинского, чей прах переправили после боя на родину с Дальнего Востока. Не обошли и саркофаг камчатского героя контр-адмирала Изыльметьева. Положили сирень, гвоздики и ландыши на крохотный холмик Игоря Северянина...

В полдень в главном православном храме Таллина, чьи купола парят над Вышгородом, началась торжественная панихида в том нефе, где сохранились мраморные доски с именами цусимских кораблей и павших на них «ревельцах».

— Помяни, Господи, рабов твоих Александра, Николая, Пимена, Владимира, Петра, Алексея, Никодима, Евстафия...

Отцу Александр называл бесконечный мартиролог, составленный для этой службы Верзуновым.

После службы автобус отвез всех в Минную гавань, где нас поджидал «готовый к бою и походу» морской тралышник. На нем мы вышли на внешний рейд, чтобы опустить на воду венки на бывших якорных стоянках броненосцев Второй эскадры. Отсюда



они уходили; и также проплывал по левому борту хмурый остров Вульф, а по правому — Нарген, так же створились с кормовыми флагштоками шпили старинных кирх...

Была в этом выходе, третьем по счету, своя особая надежда. И Верзунов, и все мы до последнего верили, что тральщик поднимет в море Андреевский флаг — тот самый, что сшит женами «ревельцев», освящен в соборе и доставлен на борт корабля. Поднимут хотя бы на полчаса, хотя бы в момент спуска венков на воду. Пусть развеется если уж не на штатном месте — на гафеле, то рядом с современным Военно-морским флагом на сигнальном фале, вместе бы их и приспустили... Ведь именно под этим сине-крестным белым флагом уходили отсюда русские корабли в Тихий океан, под ним — не спущенным — уходили в волны кипящего от разрывов моря...

Но... Кто-то из телекомментаторов поспешил объявить, что «впервые за последние семьдесят три года в море выйдет военный корабль под Андреевским флагом». Московское начальство всполошилось, и на борт тральщика прибыла целая группа таллинских чиновников, которая во главе с весьма озабоченным возложенной на него миссией капитаном 1-го ранга должна была пресечь любую попытку подъема запрещенного в 17-м году флага.

Правда, Верзунов героически простоял на открытом мостике, держа на шквальном ветру древко с синекрестным полотнищем, и тральщик «Алтайский комсомолец» шел как бы под Андреевским флагом, и встречные яхтсмены изумлялись этому невиданному зрелищу, объясняя его себе киносъемками какого-нибудь исторического фильма. Я же утешал его тем, что возрождать Андреевский флаг надо не на безвестном «Алтайском комсомольце», а на «Авроре» — полноправной участнице Цусимского сражения, и что на «Авроре» — я сам видел! — этот флаг уже заготовлен и хранится до заветного часа.

В глазах Верзунова, огромного, широкоплечего, стояли слезы, должно быть, выжатые свежим ветром.

Под прерывистый сильный бас тифона, под трескучие залпы из автоматов опустили на воду с минных дорожек еловые венки



с белыми лентами: «Офицерам Второй эскадры», «Морякам Цусимского сражения»... Куда-то вынесет их волна?

И я подумал, что точку в затянувшемся романе нужно ставить именно сейчас, когда на палубе морского тральщика, как в финале классической пьесы, собрались представители рода Левицкого, Транзе, Егорьевых... Когда флаги — Андреевский и советский — приспущены и в память Ризнича, Домерщикова, Ларионова, Иванова-Тринадцатого, Вальдмана, Беклемишева, Пышнова, всех прочих моих героев.

Я люблю этих людей — офицеров русского флота: гордецов, франтов, кавалеров — на берегу; штурманов, механиков, минеров, артиллеристов — на корабле; страстотерпцев, храбрецов, героев — в бою. Неповторимо и невозродимо оно, это удивительнейшее племя, истребленное, изведенное, рассеянное, исчезнувшее... И ловлю я в своих сослуживцах, то в одном, то в другом, их рассеянные черты. Тот носит фуражку с тем утраченным шиком и вкусом, тот недурно музицирует в кают-компании, а этот бесстрашен, галантен и дерзок...

Счастлив, что еще успел застать последних могилок русского флота... Я не знал их в молодости, я видел их в глубокой старости. И конечно же, там, на заре XX века, они были совсем иными, чем кажутся мне отсюда, на склоне столетия. Но мне они дороги именно такими, какими встают со старых фотографий, из архивных бумаг, писем, книг, дневников...

Двадцатый век не баловал русский флот шттилями и блестящими викториями. Не было ни Наварина, ни Чесмы, ни Синопа. Были Порт-Артур, Цусима, Моонзунд, Ледовый поход, открытые кингстоны под Новороссийском, ржавая смерть в Бизерте... Не было Лазарева, Ушакова, Нахимова, Корнилова. Но были Макаров, Эссен, Непенин, Колчак.. И была оборона Севастополя, след в след первой, и был кровавый таллинский переход, и легендарная атака Маринеско. Были подводные кругосветки атомарин и всплытие на Северном полюсе. Погружение за километровую глубину и гибельный пожар субмарины XXI века...



Всякое было... Но нити бед, побед и судеб, связующие оба разнофлажных флота Отечества — русский и советский, — едины. Порой их невозможно проследить, но еще труднее разорвать.

Случаен узор судеб героев этой книги. Назовите другие имена, и рисунок вязи изменится, как в калейдоскопе. Но обязательно останутся при том — долг и мужество, честь и отвага...

Право, мы все современники по двадцатому веку.

В конце 2002 года на фасаде дома № 96 по набережной канала Грибоедова была открыта мемориальная доска в честь выдающихся российских гидрографов Андрея и Бориса Вилькицких, отца и сына, живших в этом доме и уходивших из него на свои первопроходческие подвиги. Семь лет обивала пороги всевозможных кабинетов и офисов племянница Бориса Вилькицкого Ирина Семеновна Тихомирова, пока не нашлись добрые люди из ЗАО «ВИСКО» и не сделали того, что должны были сделать городские власти, а то и вовсе — Правительство России.

Это был первый и единственный памятный знак в честь нашего соотечественника, чье имя завершает великолепный ряд мореходов эпохи великих географических открытий: Магеллан, Васко да Гама, Колумб... Мы вернули скромную толику своего долга перед российскими Колумбами. Жаль, что городские власти и командование ЛенВМБ не сочли нужным почтить это событие своим присутствием. Может быть потому, что не приехали обычно вездесущие телевизионщики? Но так или иначе град Петра принял эту мраморную плиту как орден. Орден полярных командоров.

1997—2002 гг.

*Берлин — Таллин — Санкт-Петербург —
Нижние Кресты*

ДВА КАПИТАНА И «СВЯТАЯ АННА»

По следам героев из книг и жизни

Этот рассказ я начинаю из Пскова, с того места, где когда-то стоял дом, в котором родился и вырос Вениамин Каверин, автор замечательного романа «Два капитана». самого дома уже нет, есть мемориальная доска...

Быть может, надо было начать с гранитного причала города Полярного, что при входе в Кольский залив. Ведь именно отсюда отправилась «Святая Мария», шхуна капитана Татаринова, в гибельные льды Карского моря. Это по роману. Да и по жизни — прообраз главного героя лейтенант Брусилов повел свою «Святую Анну» тоже отсюда, из Екатерининской гавани тогдашнего Александровска-на-Мурмане.

Но для меня эта вечно волнующая история открылась именно с каверинских страниц, поэтому и я начинаю свой розыск из Энска-Пскова, с берегов реки Великой.

Сначала был роман...

Поразительно, как иные книги могут программировать жизнь. Знаю это не с чужих-то слов, а по собственному опыту. Я не собирался намеренно подражать одному из капитанов запавшей в душу книги. Мало ли хороших увлекательнейших вещей было прочитано в юные годы? И, казалось бы, история поиска пропавшей шхуны капитана Татаринова погребена под слоями иных впечатлений. Да и каверинский роман я не открывал потом лет тридцать. И вдруг поймал себя на том, что все эти тридцать лет я искал своего капитана, вольно или невольно проделав путь главного героя. Даже служить судьба забро-



сила меня в тот самый город Полярный, из которого по жизни, а не по роману уходила в свое роковое плавание шхуна «Святая Анна», она же — «Святая Мария» в книге. И довелось побывать над тем островом, который был открыт в Арктике благодаря дрейфу «Анны-Марии», — островом Визе. И в «городе Энске», то бишь Пскове, жить приходилось и даже купаться в тех местах на слиянии рек «Тихой и Песчинки», рек Великой и Псковы, где ловил папаненком голубых раков Саня Григорьев и куда вынесло сумку утонувшего почтальона с письмами капитана Татарина. Даже этот эпизод повторился, правда, не в Пскове, а в Москве, и несколько в иной форме. Вместо подлинных писем капитана Татарина я выудил на великой толкучке Измайловского вернисажа подлинное фото лейтенанта Георгия Львовича Брусилова.

Образ капитана Татарина — собирательный. Его романная биография вобрала по меньшей мере три реальных моряцких судьбы — старшего лейтенанта Георгия Седова, лейтенанта Георгия Брусилова и частично геолога-морехода Владимира Русанова. От Седова командиру «Св. Марии» досталось его азовское детство и начало морской карьеры. От Брусилова практически все остальное — идея экспедиции, ее подготовка, обстоятельства похода. Даже отчества у них совпали — оба Львовичи. Как и у Татарина, у Брусилова был тоже брат, только не двоюродный, а родной — тоже офицер флота — Сергей Львович Брусилов. Преподававший в советские годы в Военно-морской академии в Ленинграде.

Легко понять мое волнение, с каким я держал старый снимок. На фотобумажной четвертушке остался след человека, исчезнувшего в белых просторах Арктики 85 лет тому назад. Старая фотография чудом пережила войны, революции, кражи, пожары, блокады, эвакуации, перестройки...

«ВИЛЬКИЦКИЙ... ОН НИ ЧЕРТА НЕ ОТКРЫЛ!»

Право, не хочется вступать в полемику с любимым героем любимой книги, однако же, как говорили древние, «Платон мне друг, но истина дороже».



Валентин Каверин (так же, как и его летчик, Саня Григорьев) пребывал в полной уверенности, что восстанавливает историческую справедливость, утверждая устами литературного героя:

«Только теперь я вспомнил о его (капитана Татарина) открытии. Что это за земля к северу от Таймырского полуострова?.. Что за черт! Это была Северная Земля, открытая в 1913 году лейтенантом Вилькицким. (В 1913 году Б.А. Вилькицкий был в чине капитана 2-го ранга. — Н.Ч.) Очень странно!..

...Вилькицкий открыл Северную Землю осенью, не помню точно когда, но только осенью, в сентябре или октябре. Осенью, через полгода! Осенью, значит, он ни черта не открыл, потому что она была уже открыта...»

Эти строки писались тогда, когда еще был жив сам Вилькицкий. Могу представить, с какой горечью читал он роман в своем брюссельском изгнании.

Однако я далек от мысли обвинять Каверина в намеренном искажении фактов. В те годы, когда он работал над будущей книгой — а это были 1938 год и последующие за ним еще пять лет, — среди некоторых советских историков Арктики бытовало мнение, что первым на западное побережье Северной Земли высадился геолог Владимир Русанов, и поскольку он погиб, бесследно стигнул, то никак не смог доказать своего первенства. А все лавры первооткрывателей достались экспедиции Вилькицкого, которая на несколько месяцев позже увидела неизвестную землю и высадилась на ее восточное побережье. И если бы Вилькицкий тщательно обследовал и западные берега, то возможно бы обнаружил если не живых русановцев, то по меньшей мере их последнюю стоянку.

Легенда эта родилась в 1934 году, когда и в самом деле была найдена первая стоянка погибших двадцать с лишним лет до этого моряков с «Геркулеса». Обследуя безымянный островок в Карском море, гидрографы с парусно-моторной шхуны «Сталинец» наткнулись на остатки одежды, детали фотоаппарата «Кодак» (Саня Григорьев у Каверина обнаружит на стоянке Татарина целый аппарат с частично сохранившимися пленками), картонные гильзы, сломанный горный компас, бритву, монеты и другие вещи.



Все они и в самом деле принадлежали русановцам. Но дело в том, что Русанов, как установил его биограф и исследователь арктических земель Владислав Корякин, шел не сквозным путем в Тихий океан, а намеревался войти в устье Енисея. Следы его последней стоянки находились за 200 километров от поставленной цели, то есть Енисейской губы, и за тысячу — до ближайшего острова из архипелага Северной Земли. Как ни заманчива легенда о погибшем первооткрывателе, она остается лишь сюжетной версией романа. Северная Земля осталась за Борисом Вилькицким. И это научный, географический факт. Жаль, что сухой язык науки мало что изменит в массовом читательском сознании. Слишком уж велика убедительная сила художественного слова, пусть даже и запечатлевающего ложную посылку. Другое дело, что околичности наших арктических эпопей сегодня мало кого волнуют.

Итак, вещи экспедиции Русанова и даже деревянный брус с «Геркулеса» хранятся ныне в питерском Музее Арктики и Антарктики. Остов седовского «Святого Фоки» догнивает на отмели под Архангельском, а вот брусиловская шхуна «Святая Анна» как в воду канула. В воду? Все, кто хоть раз видел это крепкое, приспособленное к плаванию во льдах судно, были убеждены, что никакие сжатия ледовых полей не смогут раздавить яйцеобразный корпус, трижды обшитый дубом и обитый по ватерлинию листовой медью.

Шхуна строилась для поиска пропавшей полярной экспедиции Франклина в конце XIX века. И сама разделила ее участь. В этом есть своя мрачная мистика...

Среди нескольких версий о судьбе брусиловской экспедиции есть и такая, достойная на первый взгляд фантастики Александра Беляева: шхуна «Святая Анна», вмерзшая в лед, продолжает свое неспешное движение по большому кругу, вовлеченная в так называемый центрально-арктический циклический дрейф.

Известный полярный авиаштурман В. Аккуратов утверждал, что в 1937 году, пролетая в районе Земли Франца-Иосифа, видел под крылом вмерзший в лед безлюдный парусник с тремя мачтами и обломанными реями. По силуету судно очень напо-



минало «Святую Анну». (Уж не Аккуратов ли стал прообразом летчика Саши Григорьева в «Двух капитанах»?) Полярники-профессионалы говорят — возможно. Брошенный в Арктике экспедицией Мак-Мора корабль дрейфовал во льдах 57 лет.

Может быть, и «Святая Анна», присыпанная снегом, в гирляндах инея на реях, все еще вершит свое тихое кружение вокруг земной оси? И какой-нибудь непридуманный пилот, рыбак или моряк однажды поднимется на ее палубу и распахнет примерзшую дверь обледенелой рубки, где неистлевший в вечном холоде судовой журнал, как книга судеб, откроет участь тринадцати оставшихся на борту брусиловцев?

ИКОНА НА ШТУРВАЛЕ

Штральзунд. Октябрь 1988 года

В Штральзунд меня занесло безо всяких дел. Просто в один из воскресных дней мои берлинские друзья Петра и Манфред, у которых я гостил, решили показать мне старый ганзейский город-порт. Мы сели в скорый поезд, бегущий на северо-восток Германии, и через три часа, как до Твери, докатили до Штральзунда.

Островерхий город с взъерошенной временем красной чешуей черепиц весьма походил на Ригу, с той разницей, что вместо Даугавы Штральзунд рассекала неширокая протока между материком и островом Рюген, соединенным с портом железнодорожной дамбой.

Лютеранские петухи на шпилях смотрели в море. От остывшей Балтики веяло промозглой осенью, и мы отправились на поиски подходящего кабачка.

В средневековых припортовых улочках с не по-немецки облупленными обветшавшими домами (правительство ГДР почему-то не баловало Штральзунд дотациями) шныряли храбрые корабельные крысы, давно сменившие трюмы пароходов на подвалы Хинтерланда¹).

¹ Припортовый район.



Мы обогнули монастырь Святого Духа с госпиталем для престарелых матросов и наконец нашли то, что искали: два фонаря — зеленый и красный, — зазывно светились в сумерках перед входом в бирштуббе — пивной погребок — «У Ханзы».

Красные фонари не означали здесь ничего дурного. Их прочные рифленные стекла, способные выдержать удар штормовой волны, служили раньше на морских судах в качестве отличительных огней левого борта, зеленые же — правого. Они и при входе в погребки расположены именно так, как привычно морскому глазу: красный по левую руку, зеленый — по правую.

Туристы сюда почти не заглядывают, опасаясь нарваться на не слишком вежливое замечание подвыпившего моремана. Но с бывальными берлинцами я чувствовал себя в этом простецком зале, завешанном старыми сетями и гравюрами парусников, в своей тарелке.

Рослый немолодой буфетчик в кольчужном фартучке на пивном брюшке и наколотой на предплечье розой ветров кивнул нам на столик под деревянным рулевым колесом, украшавшим стену зала. К ступице штурвала была прикреплена русская икона, как мне сначала показалось — Божией Матери. Однако, приглядевшись, я разобрал церковнославянскую вязь — «Святая Анна Кашинская». Штурвал этот маячил прямо у меня перед глазами. На медной накладке проступали затертые латинские литеры — «...andor...».

Это все, что оставалось от названия судна, которое когда-то управлялось этим штурвалом. «Андорра»? — гадал я. — «Шандор»?

По моей просьбе Петра спросила у буфетчика, что за имя начертано на штурвале. Тот пожал плечами и сказал, что эту реликвию добыл для бара его отец, бывший рыбак. Он вызвался позвонить ему и набрал номер. После недолгой беседы пере-сказал нам то, что услышал:

— После разгрома Гитлера Германия страшно голодала, и администрация союзных держав разрешила немецким рыбакам выходить в Балтийское и Северное моря. Но никому не хотелось



вытягивать своими тралами морские мины, которыми оба моря были начинены, как хороший суп клецками, и все сейнеры забирались подальше на север. Отец ходил механиком на небольшом траулере. В ту пору по морям носило много всяких брошенных и полузатопленных посудин. Особенно часто встречались они в Северном море, куда течениями выносило остатки разгромленных арктических конвоев. Был случай, когда рыбаки пришвартовались к брошенному сухогрузу и привезли в Штральзунд замечательный улов в виде груды новеньких американских солдатских ботинок.

Однажды, это было осенью 1946 года, отцовский траулер едва не врезался в густом тумане в брошенную парусную шхуну. Высадившись на нее, рыбаки обнаружили много мясных консервов. Провиант перегрузили в трюм траулера, заодно сняли этот штурвал и эту икону. Забрали также и граммофон с пластинками.

— Чей же это был парусник?

— Отец не знает. На нем не было ни флага, ни имени на борту.

Вот и вся история.

Я покидал Штральзунд, даже не подозревая, что этот город таит свой ключ к тайне «Святой Анны». Точнее, половинку ключа. Вторая его часть приоткрылась именно там, откуда шхуна лейтенанта Брусилова вышла в свой последний и, хочется верить, все еще не оконченный рейс, — в Екатерининской гавани, на гранитных берегах которой стоит город Полярный. Во времена Седова и Русанова он назывался Александровском-на-Мурмане, в честь последней российской императрицы — Александры Федоровны. Некогда рыбацкий поселок на выходе из Кольского залива превратился за сто лет своего существования в большой по заполярным меркам город, в крупную военно-морскую базу Северного флота. Вот в этом — ныне забытом Богом и Минфином — граде выходит на невесть какие средства — на энтузиазме любителей истории края — провинциальный журнал «Екатерининская гавань». Один из номеров подарил мне главный редактор этого уникального издания Игорь Опимах. Открываю и первым делом



читаю статью на «местные темы» — «Экспедиция Брусилова». А в ней такие строчки:

«...Шхуна вышла из Петербурга 10 августа (28 июля) 1912 года.. Когда «Святая Анна» выходила в Финский залив, произошел замечательный эпизод. Мимо проплыла яхта «Стрела», на борту которой находился будущий президент Франции Пуанкаре.

— Как прежде называлась яхта? — поинтересовался он.

— «Пандора».

— Да, — задумчиво сказал будущий президент. — Пандора — богиня, которая неосторожно открыла сундучок с несчастьями.

И эти слова оказались пророческими».

Стоп! «Пандора»! «Святая Анна» называлась раньше «Пандора». Нанести новое имя на борту — поддела. Но на штурвале и некоторых других важных деталях шхуны было выбито ее первородное имя — «Пандора». Икона Святой Анны — какую же еще могли вручить им перед походом?! Именно той святой, в честь которой и перенарекли судно. Конечно же, это могла быть икона и Николы Морского, покровителя моряков, и Христа Спасителя. Но к штурвалу «...andor...» была прикреплена все же Святая Анна. Два совпадения... По двум точкам штурманы берут пеленг. Можно ли это маленькое открытие считать пеленгом на пропавшую шхуну? Что если именно брусиловскую «Аннушку» встретили в Северном море немецкие рыбаки? Разве не могла она со своим мощным противолодовым корпусом продержаться на плаву с 1914 по 1946 год? Как бы там ни было, но и эта история лишь пополнит злосчастный сундучок Пандоры, и без того набитый версиями о судьбе «Святой Анны» и ее команды.

Псков. Ноябрь 1997 года

А в Пскове помнят, любят и чтят капитана Татарина. Даже домик отважного капитана могут показать: старинный особнячок на Ольгинской набережной, что глядит своими окнами на реку Великую, на стены, купола и башни здешнего кремля. Впрочем,



достоверность этого домика такая же, как и у подвальчика булгаковского Мастера на Арбате. Читательская фантазия щедра и неистощима. И все же с капитаном Татариновым в Пскове-Энске можно встретиться. Для этого надо прийти в старую часть древнего города к детской библиотеке, что на улице Некрасова. Там увидишь, как широко шагает в летных унтах и пилотском шлеме бронзовый Саня Григорьев, а за его спиной — то ли из глыбы льда, то ли из гребня волны, вырастает капитан Татаринов.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться...» Ставить памятники любимым литературным героям — традиция давняя, охватившая многие страны, где «жили» Том Сойер или Дон Кихот, Тиль Уленшпигель или андерсеновская Русалочка... Теперь такой монумент есть и в Пскове, поставленный стараниями и терпением заведующей детской библиотекой Аллы Алексеевны Михеевой. Жаль только, что в нашей стране нет памятника невыдуманным героям этой истории — Георгию Седову, Георгию Брусилову, Владимиру Русанову. Да и российскому Колумбу Борису Вилькицкому тоже еще постамент не заготовлен.

Впрочем, в Полярном поставили на гранитный пьедестал старинный церковный колокол, под прощальный звон которого уходили из Екатерининской гавани пропавшие экспедиции. И имена Брусилова и Русанова выбиты на камне.

В те самые годы, когда в США интерес к Северу подстегнула золотая лихорадка, российские энтузиасты устремились в Арктику отнюдь не ради «золотого тельца». Их вела в гибельные пространства Ледовитого океана державная идея: проторить для России морской путь великой стратегической и экономической важности, соединить регулярным транспортным сообщением Дальний Восток с Крайним Севером. Прокладывая эту трассу, полярные экспедиции россиян пропадали вместе со своими кораблями. То была воистину русский космос — льды да льды кругом. Туда, на поиски новых земель, уносили своих соотечественников поморские кочи, собачьи упряжки и парусные шхуны...

Тогда, в начале XX века, Полярный круг манил к себе, как ворота Вселенной.



ЗАГАДКА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ

Первая и пока что единственная в мире высокоширотная зимовщица Ерминия Жданко, исчезнув во льдах Арктики в 1913 году, подала о себе весть в 1928-м?

Если бы за настоящие приключения давали «Оскаров», история с полярной шхуной «Святая Анна», наверное, получила бы наград не меньше, чем нашумевший фильм о «Титанике». Тем более что драматические события разворачивались примерно среди тех же льдов и айсбергов.

В злосчастный год гибели крупнейшего лайнера мира отправилась навстречу льдам и неизвестности небольшая парусная шхуна, бывшее зверобойное судно, «Святая Анна». Перед ней стояла непростая даже для современного атомохода задача — пройти Северным морским путем из Петербурга (потом из Александровска-на-Мурмане) во Владивосток. Опасный и тяжелый крест подобного предприятия взвалил на себя 28-летний офицер Российского императорского флота лейтенант Георгий Брусилов. Об Арктике он знал не понаслышке, судно было приспособлено к сжатию ледяных полей, запасов хватало на несколько зимовок. Может быть, поэтому Георгий Львович рискнул взять в этот поход свою дальнюю родственницу Ерминию Жданко. Впрочем, не все так просто...

Можно было бы смотреть на нее как на сумасбродную генеральскую дочь, которая в силу каприза «увязалась» за экспедицией, если бы не знать характера этой 20-летней казачки. В четырнадцать лет она едва не укатила к отцу в Порт-Артур, чтобы защищать с ним крепость. Узнав, что дальний родственник семьи Георгий Брусилов затеял небывалое плавание со зверобойной охотой на всем пути через Ледовитый океан, Ерминия умолила, упросила, уговорила Брусилова взять ее хотя бы вокруг Скандинавии до Александровска-на-Мурмане. В Екатерининской же гавани — последнем оплоте цивилизации на предстоявшем пути — выяснилось, что несколько членов экипажа сбежали с борта шхуны, предчувствуя гибельный рейс, а лейтенант Андреев, друг детства



Брусилова, в назначенный срок на «Святую Анну» не прибыл. Девушка в сердцах писала родителям: «Этого Андреева я видела на “Святой Анне” в Петербурге. И как-то сразу почувствовала недоверие и антипатию... С Андреевым должны были приехать в Александровск ученый Севастьянов и доктор... но вдруг накануне отхода оказалось, что ему “мамочка не позволила”, а попросту он струсил... Между тем, когда об экспедиции знает чуть ли не вся Россия, нельзя же допустить, чтобы ничего не вышло... Аптечка у нас большая, но медицинской помощи, кроме матроса, который был когда-то ротным фельдшером, никакой. Все это произвело на меня такое удручающее впечатление, что я решила сделать, что могу, и вообще чувствовала, что если я тоже сбегу, как и все, то никогда себе этого не прощу». Такие вот мотивы, весьма далекие от порыва взбалмошной барышни. Ерминия окончила медицинские курсы (тогда они назывались «самаритянскими») и потому считала своим профессиональным долгом сопровождать экипаж «Святой Анны» в качестве лекаря. К тому же она настолько вошла в курс всех дел экспедиции, что даже внесла в общий пай двести рублей из своих весьма скромных личных средств. Тем не менее Брусилов весьма сомневался, брать ли девушку с собой. Все решила телеграмма, которая пришла от генерала Жданко в ответ на просьбу дочери разрешить ей поход на шхуне. «Путешествию Владивосток не сочувствую. Решай сама». Она и решила...

Знала ли Мимка, как ее звали дома, на что себя обрекает? Кое о чем догадывалась, прокачавшись месяц в полярных водах на деревянном парусном судне среди простых мужиков, не стеснявшихся, как и все матросы, в выражениях. Но могла ли она представить себе все тяготы зимовки, да еще не одной, в скованных льдах? Уже на первой кончился осветительный керосин. Жгли тюлений жир в плошках... Вечная сырость, неистребимый холод, нескончаемый мрак полярной ночи, плесень на всем — на подушке, одежде, продуктах, авитаминоз, болезни... Заболевали, сдавали наиболее сильные мужчины, капризничали, ссорились, швыряли в сердцах тарелки с супом чуть ли не в голову «обидчику», выкрикивали непристойности, ввязывались в драки...



А она терпела. Более того — утешала их, увещевала, лечила. И еще играла им на фортепиано в кают-компаниях. Брала нежнейшие аккорды под грохот ломающихся льдов и шорох инея, осыпающегося с обмерзших рей... Не представляю себе эти концерты среди торосов, среди белого безмолвия ледяной пустыни...

О том, каким добрым ангелом для команды была Ерминия, мы знаем из дневника штурмана Валерия Альбанова. Ему да еще матросу Конраду посчастливилось вырваться из ледяного ада. После крупной ссоры с лейтенантом Брусиловым Альбанов вместе с несколькими добровольцами ушел по льду со шхуны на Большую землю. Был шанс спастись вместе со штурманом и у Ерминии Жданко. Но она, повинувшись своему врачебному долгу и выбору сердца, осталась с больным командором и больными матросами. Что бы о ней ни судачили, а она исполнила клятву Гиппократова по самому высокому счету. Альбанов был последним, кто принес вести о «Святой Анне» в 1913 году... Что было потом? Шхуна навсегда ушла в область преданий, домыслов и легенд... Восемь десятилетий историки Арктики, ученые-гляциологи, полярные летчики и всевозможные аналитики ломали и ломают головы над тем, что могло случиться со вмерзшим во льды судном и людьми лейтенанта Брусилова. Десятки гипотез и теорий... Я тоже попытал счастья на этой зыбкой ниве... И вдруг (после публикации статьи «Два капитана и "Святая Анна"») звонок из Санкт-Петербурга: «Приезжайте! Есть новости от Ерминии Жданко!» Выезжаю немедленно...

Человек, который назначил мне встречу в петербургском Дворянском собрании, бывший геолог Анатолий Вадимович Доливо-Добровольский, меньше всего походил на искателя громких сенсаций. И тем не менее он просто ошарашил меня сообщением:

— Ерминия Александровна Жданко гостила у наших общих родственников в Риге в 1928 году...

— В 28-м?! Спустя пятнадцать лет после исчезновения в Карском море?

— Да, именно так... В Москву из Риги пришла открытка, которая извещала других наших родственников о приезде Ерми-



нии вместе с десятилетним сыном. Она вышла замуж за Георгия Брусилова и жила вместе с ним во Франции.

— Позвольте, но как же это возможно?

— Вы знакомы с гипотезой П. Новокшенова и Д. Алексеева?

Она получила широкую известность. По версии этих исследователей, «Святая Анна» попала в циклический дрейф приполярных льдов, и весной 1915 года шхуну вынесло на чистую воду Северной Атлантики. У остававшейся на борту части команды были все шансы пережить вторую зимовку. Продовольствия хватало, да и зверя могли добывать по ходу дрейфа. Но у моряков не было радио, и они не знали, что в океане вовсю шла мировая война. Германские подводные лодки не брезговали никакой добычей, в том числе и парусниками. Всплывали, забирали капитана с судовыми документами с собой, давали команде возможность сесть в шлюпки и топили судно. Весьма вероятно, что именно так немцы поступили и со «Святой Анной», шедшей под флагом России. Только вместе с капитаном взяли и единственную женщину. Вряд ли измученные двумя зимовками «святоанновцы» смогли догрести до ближайшей земли. Любая штормовая волна могла оказаться для них последней. А вот двух пленников подводники обязаны были доставить в базу. Брусилов, как офицер русского флота, подлежал содержанию в лагере. Ерминию должны были интернировать до окончания войны. Выходит, что обоих освободили только в ноябре 1918 года. Что оставалось им делать? Возвращаться в Красную Россию, где офицеров расстреливали налево и направо? Да и дочери генерала вряд ли поздоровилось бы в большевистской Москве... У них был вполне здоровый житейский шанс: уехать во Францию, где еще до революции жил родной дядя Георгия Брусилова, тот самый, на чьи деньги была куплена и снаряжена «Святая Анна». И они, надо полагать, это сделали. Видимо, в том же 18-м году они и поженились. Мог и сын в это время родиться... Кстати говоря, к этому же состоятельному родственнику уехала из СССР после смерти мужа в 1926 году вдова Алексея Алексеевича Брусилова, бывшего царского генерала и инспектора кавалерии РККА.

Почему я вникаю во все эти дела и детали? Да потому, что Ерминия Александровна Жданко была дочерью Тамары Иоси-



фовны, урожденной Доливо-Добровольской, тогда как Георгий Львович Брусилов приходился родным братом Ксении Львовне Брусиловой, которая вышла замуж за высокопоставленного морского офицера — заместителя начальника Генерального Морского штаба России капитана 1-го ранга Бориса Иосифовича Доливо-Добровольского. Так все три дворянских рода — Жданко, Брусиловых и Доливо-Добровольских — оказались связанными тесными семейными узами. Вот почему Ерминия дала о себе знать прежде всего самому доступному для нее клану рижских родственников.

— Та открытка сохранилась?

— Она не должна была сохраниться по той печальной причине, что в двадцатые годы ОГПУ не поощряло зарубежные связи бывших дворян. Я полагаю, что и ответа-то на ту открытку не было. Но о ней говорили все, кто уцелел в нашем роду. Такие новости не забываются...

— Почему же в эмигрантской среде ничего не было слышно о сенсационном возвращении лейтенанта Брусилова? Ведь зарубежная русская печать весьма оперативно реагировала и на куда менее значительные события...

— Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, имя генерала Брусилова в нашем зарубежье было предано анафеме за службу большевикам и прежде всего за его Обращение к офицерам и бойцам белых армий в 1920 году. Сотни людей, доверившись честному слову Брусилова, возвращались домой и тут же попадали в застенки ЧК. Так что афишировать свое родство с «красным генералом» Георгий Львович не спешил, тем более что и его сын, и его спутница жизни тоже носили теперь эту фамилию. Во-вторых, командир «Святой Анны» отнюдь не жаждал полярных лавров, так как имел все основания полагать свою экспедицию более чем неудавшейся: во Владивосток не пробились, экипаж раскололся, шхуна погибла, люди на шлюпке не спаслись... А он, капитан, — жив, как ни в чем не бывало... Все эти обстоятельства могли вынуждать его к тихому замкнутому образу жизни где-нибудь на юге Франции, где никому не было дела до забытой русской экспедиции.



Откуда было Брусилову знать, что даже такой «неудавшийся» его поход принес пользу отечественной науке. Так, изучая дрейф «Святой Анны», профессор В. Визе предположил, что к северо-востоку от Новой Земли должен находиться неизвестный остров, который отклоняет движение льдов. Гипотеза Визе блестяще подтвердилась в 1930 году, когда экспедиция на ледокольном пароходе «Седов» открыла остров именно в том месте, где предсказал профессор.

Я видел этот скалистый клочок суши на полпути к полюсу из-под крыла десантного самолета. На острове Визе замерзала рота дальнего воздушного наблюдения войск ПВО страны. Из-за крайне тяжелой ледовой обстановки на остров не смогли доставить в летнюю навигацию топливо. Министр обороны принял решение забросить бочки с топливом на парашютах. Караван тяжелогруженных «АНов» стартовал из Амдермы. Через несколько часов напряженнейшего полета над ночными пустынями Ледовитого океана мы увидели «конверт» огней, выложенных замерзающими бойцами из пяти бочек с остатками солярки. На них и стали выходить воздушные машины. И тут мы узнали, что на острове среди полусотни солдат зимует и одна женщина — жена лейтенанта. Десантники, которые парашютировали грузы, тут же привязали к одной из бочек флакончик духов. Не знаю, долетел ли он до отважной зимовщицы в целости и сохранности, но знаю определенно — в этой женщине жила душа Ерминия Жданко.

За несколько лет до гибели Георгий Седов написал брошюру «Право женщин на море». Ерминия Жданко делом подтвердила теоретические выкладки полярного первопроходца. Как бы ни сложилась ее судьба (а лично я благодарен своему собеседнику за счастливый финал в арктической эпохе), мы все изрядно задолжали героине этих строк. Задолжали улицы с ее именем в Москве, Петербурге, Полярном. Задолжали теплоход «Ерминия Жданко», именную стипендию в медицинских институтах, мемориальные доски, страницы в учебниках, почтовые марки, настольные медали... — все то, что называется увековечиванием памяти. Правда, в неприступных отрогах запретной Новой Земли есть мыс Ерминия и ледяной купол Брусилова. Но это скорее их заслуга, чем наша.

БЕЛОЕ ПЯТНО НА КАРТЕ РОССИИ

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Минувшее десятилетие несколько устранило однобокость суждений о Колчаке: вышла добрая дюжина толковых, отнюдь не хулительных книг, сняты фильмы, художественные и документальные, написаны диссертации и пьесы. Спектакли об адмирале идут в Севастополе и Иркутске. На месте расстрела поставлен крест. В Кисловодском военном санатории «Благодать» открыт едва ли не первый в России музей Колчака, точнее, музейная комната, посвященная уроженке города Анне Васильевне Сафоновой-Тимиревой. Даже в Москве, в ограде храма на Соколе, можно прочесть имя адмирала Колчака на поминальной плите. Все это сделано стараниями энтузиастов, знатоков и ценителей отечественной истории. Официальные власти страшатся имени Колчака, то ли по преемственности от большевистских правителей, то ли от нежелания брать на себя еще одну заботу — увековечивать память «весьма спорного деятеля Гражданской войны», как оценили личность адмирала петербургские чиновники, когда инициативная группа горожан предложила отметить памятными досками дома, где жил и работал Александр Васильевич Колчак. В мемориальной прописке Колчаку отказали, как отказали и в реабилитации его по закону о жертвах политических репрессий. Его судебное дело отправили на правовую экспертизу в военный трибунал Забайкальского военного округа. По иронии истории делом Колчака занимался прокурор по фамилии Чапаев. Оттого ли, потому ли, но по всем статьям — лавина отказов: корабль назвать — отказ, восстановить на карте историческое название «остров



Колчака» — отказ, повесить мемориальную доску на дом, где прошло детство, — отказ...

Однако среди самых выдающихся десяти полководцев России XX века россияне, утверждает далеко не самая лояльная к героям Белого движения газета «Новые известия», третьим после маршала Жукова назвали адмирала Колчака.

Лучшими памятниками адмиралу стали книги последнего времени, вышедшие, по счастью, без санкции Главлита. К их числу принадлежат биографическая повесть-хроника «Адмирал Колчак», написанная историком флота Константином Богдановым, «Огонь и пепел» (Неизвестный Колчак) Валерия Краснова, его двухтомник «Колчак. И жизнь, и смерть за Россию», монография Ивана Плотнокова «Колчак», вышедшая в Ростове-на-Дону, книга алтайского исследователя Георгия Егорова «Последние дни Колчака», роман-эссе Юрия Власова «Огненный крест», роман Валерия Поволяева «Верховный Правитель», монография Валерия Синюкова «Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики», уникальное переиздание военных дневников отца и сына Василия Ивановича и Александра Васильевича Колчаков «Севастополь—Порт-Артур», предпринятое петербургским историком Александром Смирновым, замечательная документальная повесть Юрия Чайковского «Гранит во льдах» о русской полярной экспедиции, диссертационная работа авторитетного колчаковеда Сергея Дрокова... Все это составило многоплановую и яркую колчакиану, начатую эмигрантскими биографами адмирала Сергеем Мельгуновым, Михаилом Смирновым, Николаем Чириковым.

На долю автора этой книги выпало немного открытий в судьбе Колчака, хотя и довелось немало походить по его стопам и в Санкт-Петербурге, и в Лондоне, и в Севастополе, и в Таллине (бывшем Ревеле), и в Хельсинки (Гельсингфорсе), и в Полярном (Александровске-на-Мурмане), и в Тикси, и во Владивостоке, и в Пирее; довелось зажечь свечу на месте гибели Колчака в Иркутске... Впрочем, за героем этой книги все равно не угнаться.



Вряд ли кто из россиян его времени поездил по миру, походил по морям столько, сколько он...

И то, что открылось мне в беседах с бывшими офицерами русского флота (а мне посчастливилось застать в ясной памяти и мичмана с «Цесаревича» Альфреда Бекмана, и последних гардемарин Морского корпуса Александра Пышнова, Бориса Лобача-Жученко, Кербера...), в беседах с сыновьями тех, кто знал Колчака очень близко по службе и в жизни (контр-адмиралов Георгия Старка и Михаила Черкасского, капитанов 1-го ранга Алексея Щастного и Сергея Власьева), с дочерью капитана 1-го ранга Петра Новопащенко и внуком контр-адмирала Бориса Вилькицкого, с племянницами вице-адмирала Адриана Непенина и племянниками Федора Матисена и Анны Тимиревой; и то, что отзывалось в душе при чтении архивных документов, в тишине арктических снегов и на палубах ледоколов, — все в этой книге.

Ленинград. Май 1990 года

На Исаакиевской площади я сел в допотопный трамвайный вагончик с прямыми окнами в деревянных рамах. Этот экскурсионный трамвайчик, трамвай-воспоминание, повлек меня по старому Питеру, погромыхивая старинным железом... Девушка-гид перечисляла и экскурсионные маршруты: Петербург Пушкина, Петербург Блока, Петроград Ленина, Ленинград Кирова... Можно было пройти по адресам Гоголя и Шаляпина, Андрея Белого и Скрябина, Ахматовой и Гумилева. Но был — был и есть! — я знал это доподлинно, Петербург Колчака. Город молча помнил этого человека, сделавшего свой самый первый вдох под его неприветливым небом.

Быть может, и поручни этого трамвайчика помнили пальцы Колчака — гимназиста, гардемарина, офицера... Я ехал к тому дому, где прошло его детство: Поварской переулок, 6. Разумеется, его не было ни в каких путеводителях, как не было в них и второго весьма важного в его жизни адреса — Большая Зеленина, 3... Я постоял перед обшарпанным, как и повсюду в округе, трехэтажным фасадом. Мысленно примерил на стену мраморную доску с



золочеными буквами: «В этом доме прошли детские и юношеские годы выдающегося полярного исследователя, флотоводца и государственного деятеля России Александра Васильевича Колчака».

Потом я поднялся по запущенной за семь десятилетий без дворницкого догляда лестнице и позвонил в его бывшую квартиру. Три бойкие старушки — соседки по коммуналке — провели неожиданного гостя на кухню, выслушали мое сообщение о прежних хозяевах квартиры и были изумлены и приятно польщены своей причастностью к имени этого известного всем человека.

Я тоже был удивлен: старушки, жизнь которых пришлось явно лишь на советские годы и которые ничего, кроме худбы, о Колчаке не слышали, гордились тем, что жили в этом доме...

Два документа лежат на моем столе, знаменуя начало и конец жизни героя этих строк. Первый — выписка из метрической книги Троицкой церкви села Александровского Петербургского уезда: «У штабс-капитана морской артиллерии Василия Ивановича Колчака и законной жены его Ольги Ильиной, обоих православных и первобрачных, родился сын Александр, четвертого ноября, крещен пятнадцатого декабря 1874 года».

И второй — радиограмма председателя Сибревкома И.Н. Смирнова: «Ввиду движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения советской власти в Иркутске, приказываю вам находящегося в заключении у вас адмирала Колчака... с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить».

Между этими бумагами сорок шесть лет жизни.

Глава первая

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ МОРЕ

В год тридцатый по завершению севастопольской кампании полковник морской артиллерии Василий Иванович Колчак собрался посетить места, где прошла его боевая бомбардирская юность. Для его десятилетнего сына-гимназиста Сашки эта поездка началась как обычные сборы к бабушке в Одессу. Разве



что на сей раз отец попросил его быть непременно в полной гимназической амуниции, при фуражке с эмблемой 6-й петербургской классической гимназии. Сам он тоже надел в дорогу белый флотский вицмундир с севастопольскими медалями и солдатским «Георгием», полученным за меткую стрельбу с Малахова кургана, как полагал Саша, чуть ли не из рук самого адмирала Нахимова¹.

В Одессу выехали поездом, взяв два купе в вагоне первого класса: в одном ехали Ольга Ильинична со старшенькой Катей, в другом сам Василий Иванович с Сашей. Раньше никогда так не шпиковали — брали одно четырехместное купе во втором классе, но эта поездка обещала быть особенной с самого начала, и Василию Ивановичу очень хотелось, чтобы она стала праздником не только для него одного.

В Одессе полковник Колчак долго не задержался. Взял с собой сына и отправился в порт, где нашел старого приятеля, капитана грузопассажирского парохода «Гаджибей» Ивана Андреевича Порубко. «Гаджибей» совершал каботажные рейсы в Крым, Новороссию и дальше, до самого Батума. Капитан Порубко — могучий грузный казачина в белоснежной флотской тужурке при золотых нашивках — с радостью взялся доставить Василия Ивановича в Севастополь. Ольга Ильинична с Катей провожали их на следующий день. Старшей сестре тоже очень хотелось попасть на судно, но дело намечалось мужское, можно сказать, военное, так что морская прогулка ей никак не улыбалась. Они с мамой долго махали пароходу. Саша стал было отвечать им, сорвав со стриженной головы серую фуражку, но, поймав ироничный взгляд отца, водрузил головной убор на место и, подняв, как и он, правую руку, степенно поводил ладонью из стороны в сторону.

Море источало такую синеву, с таким радостным пере-
блеском южного солнца на взгорбьях волн, что никакая печаль

¹ Знак ордена Святого Георгия прапорщику морской артиллерии Василию Колчаку вручил комендант Севастопольского гарнизона князь Васильчиков 4 августа 1854 года.



не омрачала душу, тем более что разлука намечалась совсем недолгой, тем более что за маяком пароход встретили дельфины, вылетая из воды стремительными сверкающими полукружьями, тем более что капитан Порубко пригласил их на мостик, откуда мир открывался совсем по-другому — высоко и просторно.

— Ну что, господин гимназист, — обращался к нему повелитель этого лучшего на свете корабля, — батюшка-то ваш не рассказывал вам, как мы шли с ним в Севастополь на бочках с порохом? То-то был бы фейерверк, ежели бы турки нас зажгли? А, Василий Иванович? Тысяча пудов доброго артиллерийского пороха — то ж не фунт изюма?

— В Стамбуле бы слышали! — не отрывался отец от подзорной трубы. Он разглядывал удаляющийся берег.

— Я тогда юнгой был в Николаеве, немного старше вас, а батюшка ваш в юнкерах хаживал... Ну и отрядили нас в конвой порох в Севастополь вести на крытых фурах. А ведь пронюхай о том вражеские лазутчики, несдобровать нам: один лишь ружейный выстрел, — и поминай как звали!

Саша не раз слышал эту историю от отца. Когда началась Севастопольская война, Одессу, где жила тогда семья дедушки Ивана Лукьяновича Колчака, да и мамина тоже (правда, Ольга Ильинична Посохова еще не родилась к тому времени), обстреляли корабли англо-французской эскадры...

...Это случилось в Страстную пятницу — 9 апреля 1854 года, когда из всех одесских храмов выносили Плащаницу, символический саван Христа. Вдруг громом среди ясного неба бабахнул первый орудийный залп. Восемь английских и французских военных пароходов выстроились на внешнем рейде в боевую линию. Против них стояла лишь одна вооруженная 24-фунтовыми пушками береговая батарея прапорщика Щеголева, остальные являли собой лишь земляные насыпи, наспех возведенные ввиду назревавшей войны.

Русская береговая батарея открыла ответную стрельбу, но быстро сбавила темп, поскольку ураганный огонь изрядно побил



пушкарей. Тогда на помощь батареям бросились три лицеиста. Среди тех, кто подоспел к умолкающим орудиям, был и шестнадцатилетний Василий Колчак, выпускник одесского Ришельевского лицея (подобный ему был только в Царском Селе). Бой разгорелся не на шутку. Юноши наравне с канонирами вовсю орудовали у пушек — подтаскивали ядра, подносили заряды... Орудия умолкли лишь тогда, когда на батарее кончился порох.

Вражеские корабли, сжегши пристань и несколько купеческих судов, ушли, а хваткого смелого лицеиста оставили при батарее. Василия Колчака зачислили юнкером в 44-й флотский экипаж. Вскоре ему поручили сопровождать в Севастополь артиллерийские припасы, ввиду того что главный театр военных действий определился в Крыму. Везти порох морем было нельзя — неприятель установил морскую блокаду побережья. Тогда из Николаева, где размещались флотские арсеналы, огнеприпасы были погружены на конные фуры, и взрывоопасный транспорт двинулся под охраной казаков и моряков в дальний — полутысячеверстный — путь.

В том воистину адском походе Василий и сдружился с судовым юнгой Ваней Порубко, по кличке Казачок, поскольку тот, как, впрочем, и юнкер Колчак, был выходцем из черноморских казаков и вместо матросского платья носил неизменную черкеску.

На обед капитан пригласил дорогих гостей в свою каюту, где был накрыт стол на троих. И хотя в посвежевшем море «Гаджибей» изрядно покачивало — вестовой даже застелил стол мокрой скатертью, чтобы не съезжали тарелки, — Саша, который вдруг почувствовал, как столь радужный доселе морской мир несколько поблек и стал весьма неуютен, все же заставил себя сесть за стол. Уха из султанок, одобренная красным перцем и красным же луком, показалась преотвратной настолько, что он едва не выскочил из-за стола без спросу и не бросился на свежий воздух. Отец насмешливо поглядывал на побледневшее лицо сына, видимо, вспоминая и свои первые морские ощущения. Он попытался приободрить его, рассказывая французский



анекдот про некоего абсолютно лысого господина, у которого в ресторане вдруг в тарелку свалился сверчок. «Поскользнулся, милый?» — спросил господин.

Саша вежливо изобразил подобие улыбки. Он стоически выдержал до конца обеда, отведав лишь зеленого кислющего яблока на десерт.

— А не постоять ли нам на руле, Александр свет Васильевич? — великодушно предложил Порубко, поднимаясь из-за стола. Все трое сотворили послетрапезную молитву и покинули каюту.

На мостике, продуваемом свежим ветром, капитан велел рулевому матросу, рыжеусому дядьке в полотняной рубаше, передать штурвал «господину гимназисту». Саша, разведя до предела руки, с трудом ухватился за отполированные ладонями рулевых деревянные рукояти.

— Ложись на чистый зюйд! — скомандовал Порубко. — Так, чтобы эта стрелка смотрела на букву «S», — пояснил он, постучав пальцем по стеклу путевого компаса.

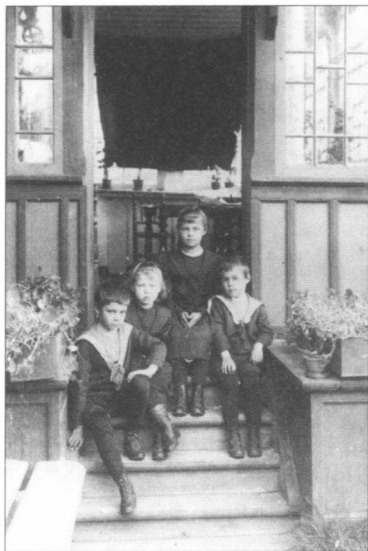
— Ну, ворочай вправо! Смелее...

Саша изо всех сил приналег на рулевое колесо, и оно нехотя повернулось. Сразу же нос парохода, увенчанный бушпритом («Гаджибей» нес и парусную оснастку на двух мачтах), медленно пошел вправо, отворачивая от берега. Мальчик не сразу поверил, что вся эта железная машина с дымящей трубой и высоченными мачтами подчинилась движению его рук; но она подчинилась! Пароход закачался сильнее, подминая под себя встречную волну. Качка стала килевой, да Саша уже и не замечал ее — дурнота прошла сразу, как только он ощутил в своих руках власть над огнедышащим кораблем. Глаза сияли гордостью — видели бы его сейчас питерские одноклассники! Видели бы Катя, мама! Ведь это он сейчас — сам, сам! — ведет большой пароход со множеством людей и грузов на борту. И никто из пассажиров даже не подозревает, что «Гаджибей» повернул на юг не кто иной, как гимназист третьего класса Александр Колчак.

Это упоительное счастье длилось с четверть часа, хотя мальчику и показалось, что он отстоял за штурвалом целую вахту.



Капитан 2-го ранга Борис Андреевич Вилькицкий. 1913 г.



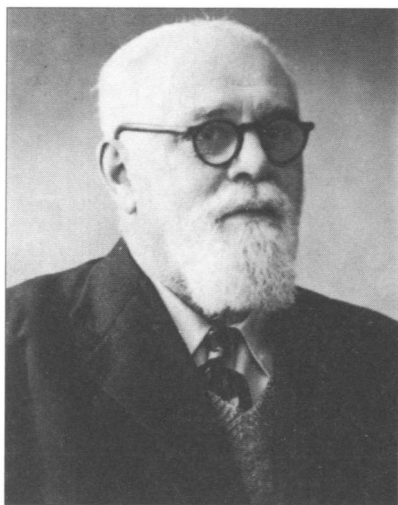
*Дети генерала Вилькицкого:
(слева направо) Борис, Лидия (по
мужу Шорина), Вера (по мужу
Баскакова) и Юрий. Парголово.
1894—1896 гг.*



*Флигель-адъютант
Б.А. Вилькицкий*



*Сын Бориса Вилькицкого Андрей и его жена Катарина.
Германия 1930-е гг.*



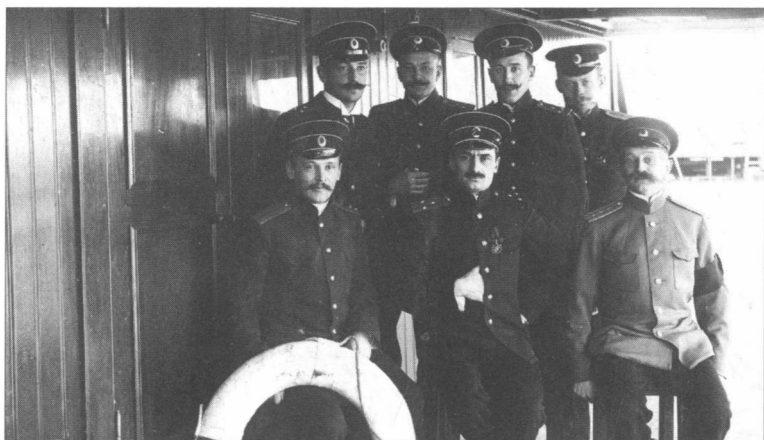
*«Российский Колумб» в эмиграции.
Один из последних снимков
Б.А. Вилькицкого. Брюссель. 1960 г.*



*Б.А. Вилькицкий в кругу родственников. Старость на чужбине
безрадостна даже в таком блестящем окружении. Брюссель. 1960-е гг.*



Отец генерал-майор корпуса гидрографов Андрей Вилькицкий (третий слева в первом ряду) и его сын Борис (второй справа во втором ряду) на выпуске гидрографов из Николаевской морской академии



Новый архипелаг еще не открыт... Группа офицеров ледокола «Вайгач».

В центре первого ряда — командир «Вайгача» капитан 2-го ранга Александр Колчак, за его спиной (второй справа) будущий командир икхуны «Святая Анна» лейтенант Георгий Брусилов (пропал в Арктике в 1913 г.). Во втором ряду слева — лейтенант Н. Гельшерт. Крайний справа в первом ряду — доктор Э. Арнгольт



*Подъем российского флага на новооткрытой Земле Николая II
(ныне Северная Земля). 1913 г.*



*Заброшенные бараки ГУЛАГа на Зеленом Мысу.
Фото Н.А. Черкашина. 1973 г.*



*Гардемарин
Петр Новопашенный*



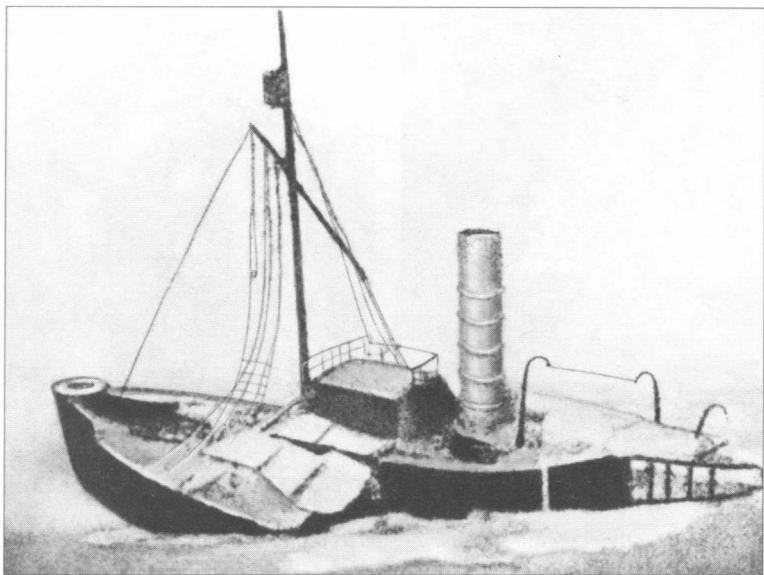
*Мичман П. Новопашенный
на крейсере «Россия». 1904 г.*



*Командир ледокола «Вайгач»
старший лейтенант
Петр Алексеевич Новопашенный. 1913 г.*



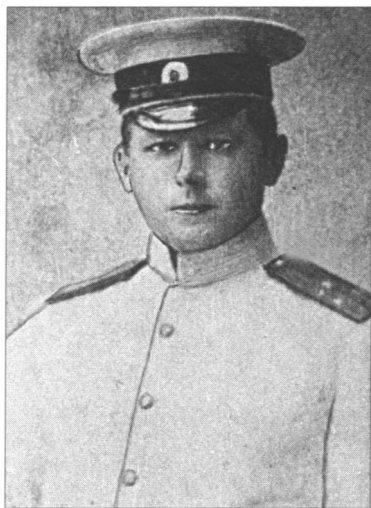
*Вера Новопашенная, жена
командира «Вайгача».
Санкт-Петербург*



*Так закончил свой славный путь ледокол «Вайгач» — на камнях
Енисейского залива. 1918 г.*



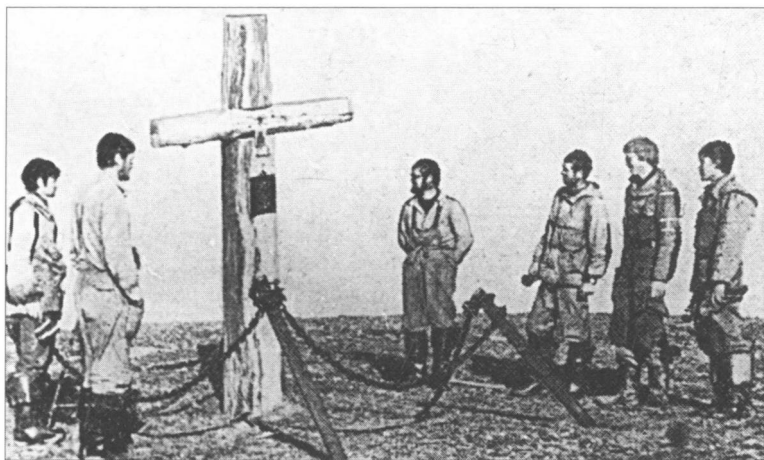
*Офицеры легендарной экспедиции на «Таймыре». В центре Борис
Вилькицкий, левее его — Петр Новопашенный. Третий справа во втором
ряду — лейтенант Алексей Жохов. 1913 г.*



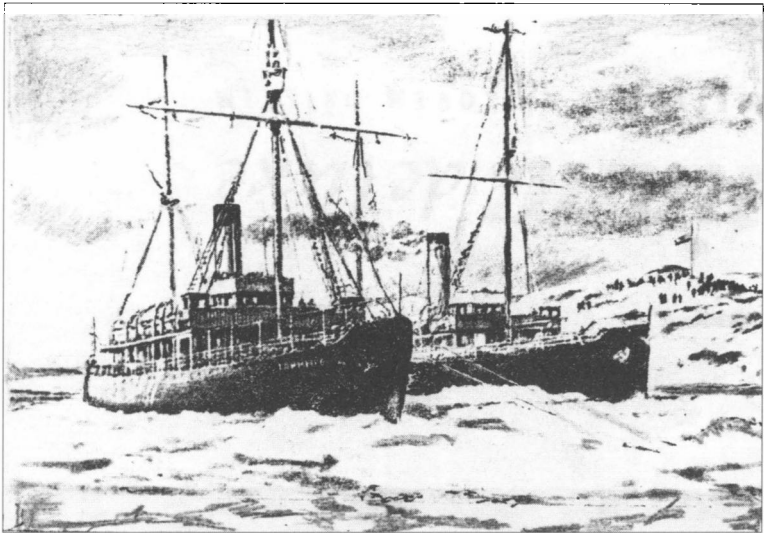
*Лейтенант Алексей Жохов.
Похоронен на мысе Могильный
(Карское море, залив Толля)*



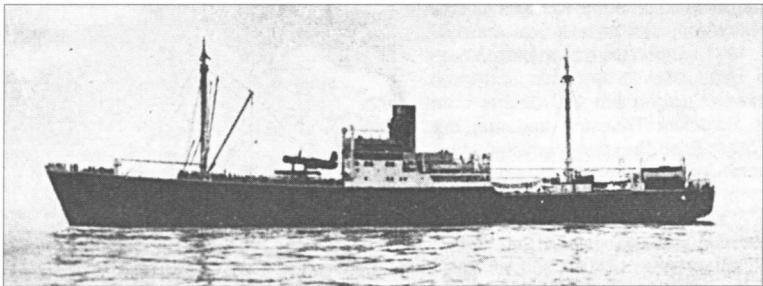
*Невеста Алексея Жохова — Нина.
Умерла в Ленинграде*



*Памятный крест, поставленный в честь экспедиции Толля
на острове Беннета группой энтузиастов во главе с Александром
Периным. 2003 г.*



Ледокольные суда «Таймыр» и «Вайгач» во льдах. Рис. Е. Войшвило



Германский вспомогательный крейсер «Комет» в Карском море



*Родоначальник флотской
династии полковник Корпуса
гидрографов Александр фон Транзе*



*Старший офицер «Вайгача»
Николай фон Транзе*



*Петр Алексеевич Новопашенный в
эмиграции. Германия. 1930-е гг.*



*Лейтенант Александр
фон Транзе. 1915 г.*



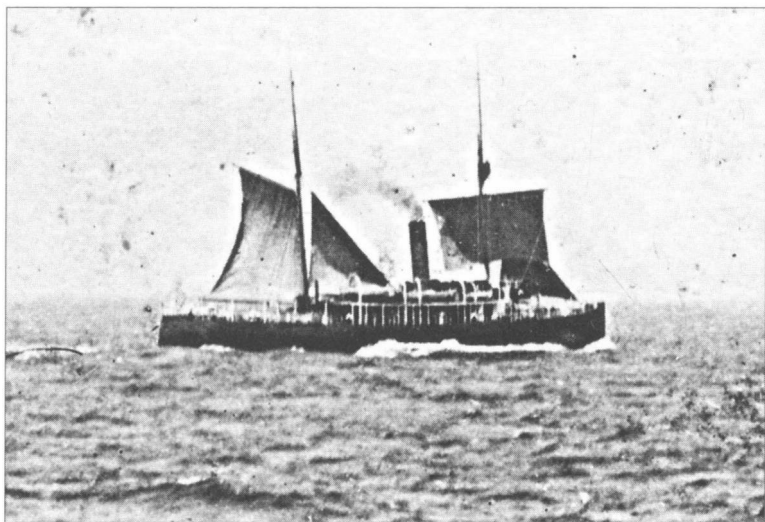
*Эмигрантская судьба разбросала
братьев Транзе по разным континентам.
Слева — Николай с женой приехал в Копенгаген
из США, чтобы повидаться с братом
Александром. 1930-е гг.*



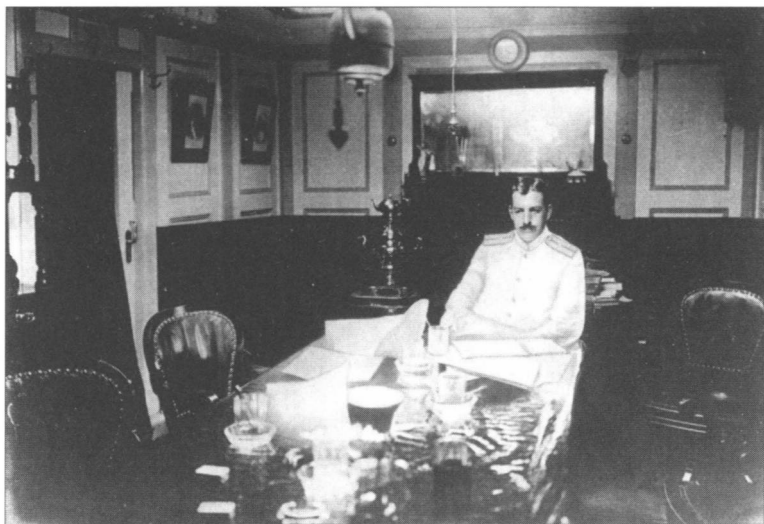
Александр фон Транзе с родственниками в Эстонии. 1930-е гг.



«Таймыр» в Тихом океане. 1910 г.



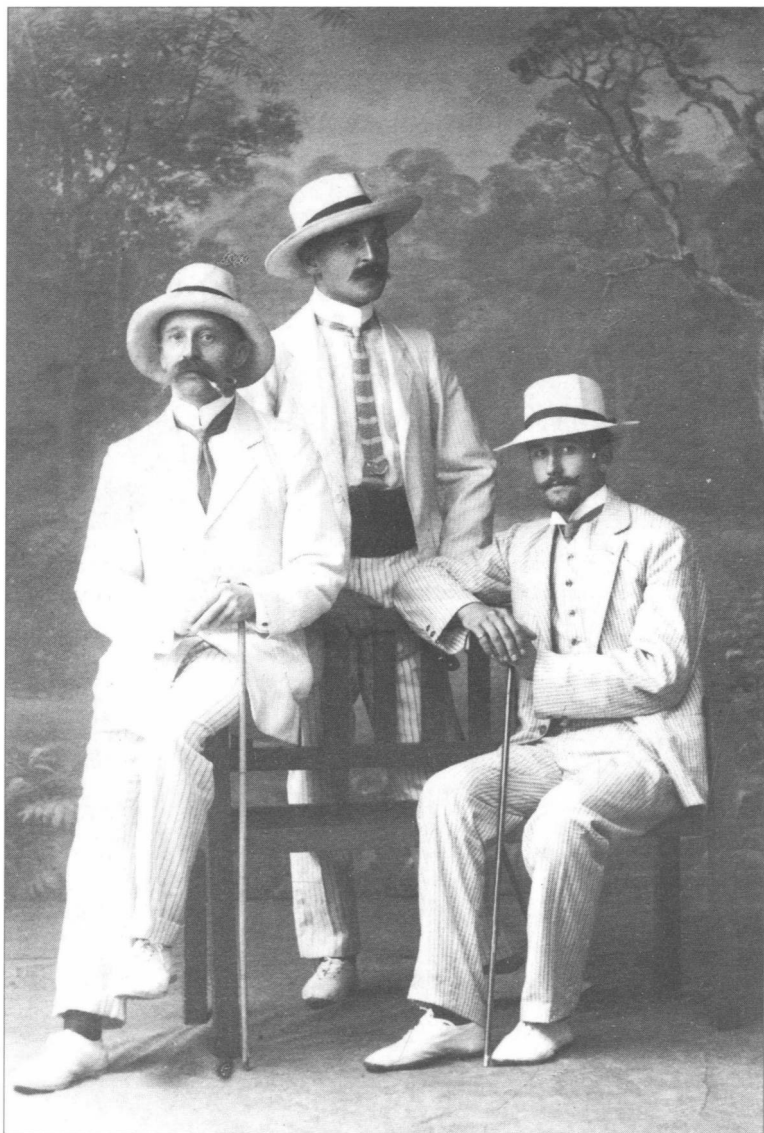
*Редкий снимок: «Таймыр» идет под парусами, экономя уголь.
Тихий океан. 1910 г.*



*Лейтенант Николай Гельшерт в кают-компании «Вайгача».
1910 г. Именно ему Колчак передаст командование «Вайгачом».
В 1920 г. расстрелян в Петрограде*



Судовой врач Эдуард Арнгольт в лаборатории



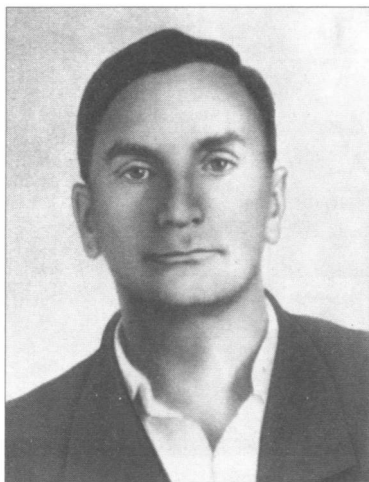
*Перед сходом на берег. Группа офицеров «Вайгача» во время перехода на
Дальний Восток Южным путем. Слева — судовой врач
Эдуард Арнгольт. 1909 г.*



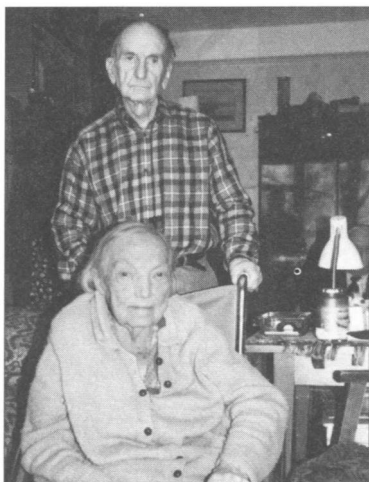
*Флагман Ледяного похода Алексей
Михайлович Щастный*



Нина Щастная, вдова флагмана



*Сын Алексея Щастного
Лев Алексеевич*



*Последний снимок четы
Щастных — Льва и Елены.
Санкт-Петербург. 1993 г.*



Могила Бориса Вилькицкого на брюссельском кладбище Иксель до переноса праха мореплавателя из Брюсселя в Санкт-Петербург. У надгробья писатель Н.А. Черкашин. 1996 г.



Российский флот помнит своего Колумба. Почетный караул у новой могилы Бориса Вилькицкого на Смоленском кладбище. 1996 г.



Внук Б.А. Вилькицкого Петер Вилькицкий приехал из Германии поклониться праху деда. Санкт-Петербург. 1996 г.



— Ну что, теперь уж, верно, моряком будешь? — спросил капитан Порубко. Саша ответил не сразу. Ему не хотелось обижать этого замечательного человека, но он сказал то, что давно уже было им решено:

— Нет. Я, как папа, буду пушки делать.

Перед глазами встали огромные пролеты обуховских цехов. Поднятые на цепях стволы гигантских орудий — что там Царь-пушка! — медленно плыли под закопченными стеклами заводских кровель. Огромные, зевастые — из них стреляли не люди по людям, а государства по государствам...

— Вы ведь читали сочинение господина Жюль Верна «Из пушки на Луну»? — спросил Саша. — Так вот и я хочу такую пушку построить, чтобы в снаряде до Луны долететь.

— О-хо-хо, — засмеялся старый капитан. — Да зачем вам Луна, коли мы еще свою Землю-матушку как след не знаем?

— Как это не знаем? — изумился Саша. — Столько путешественников было, все карты давно составлены.

— Все да не все... — Порубко достал из шкафа глобус на резной подставке. — Вот видите, у Земли две макушки, два полюса — Северный и Южный, а ведь ни одна живая душа туда не добралась, не посмотрела, как она, эта ось мира, через те полюса проходит, на каких таких подшипниках вертится? А вот вам, господин гимназист, целый застывший океан при полюсе, где люди только-только по самому краешку чуток прошли, — и все. А сколько ж там земель еще не открытых, островов... Ого-го! А вы на Луну собрались. Да у нас еще тут, на Земле, столько дел! Ну, как, уговорил?

— Я подумая, — дипломатично ответил мальчик.

— Ну что ж, брат Пушкин, тебе виднее. Айда чай пить.

И они снова спустились в капитанскую каюту, где вестовой привинтил к столу маленький дорожный самовар-кубышку из надраенной до зеркального блеска латуни. Чай пили турецкий с колотым сахаром, миндалем и сушками. А Порубко с отцом приняли по стопочке старки за успешное завершение того «порохового похода», из которого они вернулись не отроками, но мужами...



В Севастополь «Гаджибей» прибыл к полудню, когда с полукруглой о двух ярусах белой Константиновской батареи гулко и туто рванула воздух полуденная пушка. Пароход стал под разгрузку в квадратный ковш Артбухты, а отец с сыном, оставив дорожные вещи в каюте («Гаджибей» собирался в обратный путь через три дня), сошли в город. Первым делом они поднялись на центральный холм, увенчанный белым храмом с цветными, красно-сине-зелеными круглыми оконцами вроде судовых иллюминаторов. В наружные стены главного храма Севастополя были вделаны мраморные плиты с именами павших адмиралов. Сняв фуражки и взяв их, как положено, в левую руку козырьком вперед, Колчаки старший и младший поднялись на паперть. С замиранием сердца Саша вошел под высокие своды в полумрак, слегка расцвеченный цветными бликами витражных окон. Слева по всей стене поблескивали золотом беломраморные доски с именами георгиевских кавалеров, получивших эти знаки высшей воинской доблести в дни севастопольского стояния.

Позже Саша прочтет в книге отца «Война и плен»:

«...Беспрестанно падавшие снаряды поражали то человека, то станок, то оружие, то, падая в толщу насыпи, разворачивали ее и превращали в безобразную груду земли. Вот затлелись от бомбы туры и фашины. Солдат хватает мокрую швабру и, перекрестившись, влезает в забрасываемую снарядами амбразуру — пожар потушен, солдат убит. Впрочем, о смерти не задумывались, да и некогда просто было. Вот взвизгнуло ядро, пролетевши через самую середину амбразуры. Здоровый, красивый матрос, наводивший орудие, с улыбкой что-то приговаривая к выстрелу, незаметно осел, съежился, согнулся и медленно, почти плавно, рухнул наземь. Ядро снесло ему полчерепа. Рядом стоящий товарищ сорвал с себя фуражку, нахлобучил торопливо на кровавую голову мертвеца и спокойно заступил на его место. Весь забрызганный кровью своего предшественника, он хладнокровно наводил орудия, держась правой рукой за клин и отдавая команду прислуге. Ни секунды не было потеряно, и ответный выстрел загремел в свой черед...»



Если бы прапорщик морской артиллерии Василий Колчак написал свою «Войну и плен» прежде «Севастопольских рассказов» поручика горной артиллерии Льва Толстого, его литературный успех в России был бы не менее заметен, чем дебют его собрата по оружию. Но он сподобился написать свою хронику лишь спустя полвека после пережитых событий.

Помянув соратников по гласисной батарее, полковник Колчак спустился по приалтарной лестнице в крипт — нижний храм, где под напольным крестом из черного мрамора покоились останки великих севастопольских адмиралов — Лазарева, Истомина, Корнилова, Нахимова...

ОРАКУЛ-2000.

Лежать бы и адмиралу Колчаку вместе с ними, если бы смерть подкосила его на три года раньше, чем пришла к нему. Но и останки великих адмиралов не пощадили: в двадцатые годы «археологи» из НКВД пытались обнаружить в усыпальнице адмиралов драгоценные ордена на истлевших мундирах, кортики и сабли с золотыми эфесами. До них это пытались сделать англичане с французами, в 1918-м в гробнице шарили кайзеровские «любители старины». В 1942-м — фашистские офицеры. В 1992 году кости героев Севастополя шустрый питерский студент увез в коробке из-под бананов в Ленинград, еще не ставший Петербургом. Якобы на судебно-медицинскую экспертизу. Те ли черепа, не те, — неизвестно до сих пор. Но в тот же год некий шофер из Иркутска заявил телерепортеру, что он знает, где лежит скелет адмирала Колчака.

Лихолетье России сравняло их могилы с землей... Остались только кресты, где были первоначально похоронены севастопольские адмиралы, где был расстрелян Колчак. Некрополь великих сынов России исчез, как град Китеж...

Из Владимирского собора Василий Иванович повел сына крутыми тропами-спусками в сторону вокзала, точнее, в горную слободу Бомборы. Город еще хранил многие следы военного разрушения: то тут, то там попадались руины домов с пустыми



глазницами, пробоины-проломы в каменных заборах. Саша набрал целый карман штуцерных пуль и чугунных осколков.

Севастополь слишком долго, почти до скобелевских побед в Болгарии, простоял в развалинах, без права держать в своих бухтах военные корабли. И вот за шесть последних лет он стал оживать, отстраиваться заново. Год назад, пояснял Василий Иванович сыну, на стапелях севастопольского Адмиралтейства были заложены первые в мире многобашенные броненосцы «Синоп» и «Чесма». Да и сейчас хорошо было видно с высоты, как дымили в Южной бухте военные пароходы, как белели паруса сновавших пакетботов.

Морская синева была ровно налита во все разрывы городского ландшафта. Местами она стояла выше крыш, местами пропадала за взгорбьями холмов. Колонна затопленным кораблям белела как поминальная свеча в честь севастопольских героев.

— Куда мы идем? — спросил Саша, подбирая очередной осколок.

— В Бомборы, в слободу отставных бомбардиров. Там живет Павел Лукич Рогов, бывший канонир нашей гласисной батареи. Я ему жизнью обязан.

Только тут Саша заметил, что отец несет в руке небольшой, но увесистый сверток.

Когда столичный гимназист увидел этот крутой склон, заросший айлантом, дерезой и прочей дикой зеленью, сквозь которую краснели углы черепичных крыш, он не сразу понял, что там живут люди. Как можно ютиться на такой крутизне? Носить туда воду, дрова, хлеб и прочую провизию? Так могут селиться разве что горные ласточки, чьи гнезда торчат одно из-под другого. Но так жили в Бомборах люди. Множество семейств осевших в Севастополе отставных солдат и матросов, большей частью из бомбардиров давно минувшей войны, освоили каменистый склон, как смогли, настроили домиков-мазанок, налепили двориков с подпорами, насадили в долбленых ямах яблонь, абрико-



совых, вишневых, грушевых, персиковых, ореховых деревьев и, похоже, вполне примирились с неудобствами косогора.

Домик старого канонира Рогова они отыскиали не без помощи местных пацанят, которые с нескрываемым восторгом взирали на гимназическую форму нездешнего мальчишка и серебряные погоны полковника с острой черной бородкой и совершенно лысой головой. Они сопровождали столь редкостных гостей в Бомборах до самой верхотуры, где на третьем ярусе книзу крепился невесть как к скале белый мазанный домик в два голубых окошечка. На пронзительные вопли мальчишек вышел хозяин домика, дед Павлуха, в белой холщовой рубаше с закатанными рукавами.

— Господи сусе, Василий Иванович, ты ли?! И с сынком никак?! Вот ведь радость-то какая вышла. Вот ведь случай сподобился!

Василий Иванович снял фуражку, и они облобызались, после чего старик почему-то заплакал. Но тут же пришел в себя и зычно крикнул домочадцев:

— Варька, Глашка, жив-ва стол накрывайте! Гляньте, кто к нам пожаловал-то!

Из домика выскочили обе снохи Павла Лукича, потом выплыла сама хозяйка, прелюбезная Марфа Карповна, и в крохотном дворике закипело столпотворение вокруг столика под курым виноградным навесом. Откуда-то возник и старший внук отставного бомбардира Степка. Вихрастого Степку с облупленным конопатым носом совсем не смутило гимназическое великолепие юного гостя. Он тут же потащил Сашу еще выше — на самую макушку Бомбор, которую еще не успели застроить и где в рыхлых кремевых камнях у него были спрятаны главные сокровища: старое бомбическое ядро, жестянка с пуговицами от английских, французских, сардинских и русских мундиров, нерасплющенные штуцерные пули, здоровенные, как бутылочные пробки, английский тесак, два бомбардирских погона...

Отсюда, с высоты, город открывался в новом великолепии. Море входило в город глубоко и извилисто, всеми своими многорогими бухтами. В разрывах крон виднелись корабли и бастионы.



— Вона там — Лазаревские казармы, там матросы живут. А вон — Царская пристань, туда царева яхта приходит. А за ней Минная стенка — корабли при ней стоят. А дальше на том берегу — Михайловская батарея. А то — Павловская. А вона — Малахов курган!

Степка втянул воздух чуткими ноздрями и распорядился:

— Наши за стол садятся! Айда скорее, а то ничего не останется.

За столом, сколоченном из старых, но крепких корабельных досок, накрытых льняной скатеркой, сидели под виноградной сенью гость и хозяин дома. Мальчиков посадили рядом, заставив Степку отмыть руки с мылом. У Сашки ладони тоже почему-то оказались в ржавчине, глине, черной смоле... Он с восторгом оглядывал крохотный дворик и домик, как бы нависший над бухтой и городом. К тому же, как пояснил Степка, под черепицей жили белки, воровавшие у деда и у соседей грецкие орехи, а на самой кровле грелись зобастые ящерицы-гекконы, похожие на маленьких китайских дракончиков.

Обед был великолепен! Во всяком случае в Питере такого Саша никогда не пробовал: в глиняных мисках дымилась наваристая уха из барабулек и бычков, приправленная сладким красным перцем; затем одна из снох поставила на стол большое блюдо с голубцами в виноградных листьях, политыми сметаной, затем появились парадные оловянные кружки, полные черешневого киселя. А посреди стола в граненом графинчике рдело вино из шелковицы. Рядом же возвышалась бутылка шустовского коньяка, привезенного полковником морской артиллерии из самого Петербурга.

Первую чарку Василий Иванович и Павел Лукич подняли за убитого пулей в сердце через амбразуру батарейного командира лейтенанта Юрьева, потом за славного тезку канонира Рогова и, конечно, за адмирала Павла Степановича Нахимова.

РУКОЮ ОЧЕВИДИЦА. «В роковой день 26 мая мы потеряли нашего батарейного командира лейтенанта Юрьева, — сетовал в своих записках Василий Иванович Колчак. — Тяжела, мучительна



был служба на кургане, да и всюду в Севастополе. Вконец подорванные непрерывными потрясениями нервы совершенно притупились, и только гнет какой-то лег на плечи. Этот гнет спаял в моем представлении все пережитые дни в одну сплошную, однотонную массу физических и нравственных страданий. На фоне ее резко выделились моменты сильнейшего подъема чувств. Одним из таких моментов для меня была смерть Юрьева. Проходя по батарее, он остановился у одной из 24-фунтовых пушек во время ее заряжания. Матрос вынул из принесенного кокора заряд, хотел вложить его в канал орудия, тяжело был ранен осколком гранаты, лишился чувств и уронил заряд на платформу. Юрьев моментально поднял заряд, схватил приборчик для заряжания и — незаметно, вдруг — склонился на дуло орудия. Он не произнес ни звука, ни стопа. Смерть наступила мгновенно. Пуля через амбразуру поразила его в сердце».

Отдохнув с дороги и после сытного обеда, дождавшись, когда спадет полуденный зной, Василий Иванович и Павел Лукич в сопровождении Сашки и Степки тронулись в путь к Малахову кургану. На сей раз Колчак-старший взял извозчика, на котором все четвером приехали в самый центр Севастополя. Степка первый раз ехал в пролетке и потому сидел притихший и гордый, поглядывая по сторонам в тщетной надежде узреть на тротуарах кого-нибудь из знакомых. Саша полагал, что Малахов курган возвышается посреди города, как тот холм, на котором стоит Владимирский собор. Но оказалось, что до него еще добираться и добираться. Сначала они прошли сквозь невысокую, но торжественную колоннаду Графской пристани, спустились по гранитной лестнице к причалу, откуда к вящей радости обоих мальчишек пересели на небольшой катер-паровичок, который через полчаса доставил их на Корабельную сторону. Затем долго шли мимо Морского госпиталя до Аполлоновой слободы, поднимались через одну из арок старинного лазаревского акведука в гору и наконец предстали у подножия широкого, но не очень высокого взгорбья.



— Вот тебе, Сашок, и Малахов курган! — сказал Василий Иванович, снял фуражку и размашисто перекрестился. То же сделал и Павел Лукьянович Рогов, который по случаю такого похода обрядился в старый бомардирский мундир с унтер-офицерскими погонами.

— Пап, а кто такой Малахов?

— Шкипер был, пьяница несусветный при адмирале Лазареве еще... Жил под самым курганом, с тем и попал в историю. Да не в нем суть. Роковое место этот курган: адмиралу Истомину оторвало ядром голову, потом тяжело ранило, опять же ядром, адмирала Корнилова, а потом пуля ударила в висок адмиралу Нахимову. Адмиральская Голгофа.. Да и матросская тоже.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Жизнь на кургане становилась все тяжелее и мучительнее. Убыль людей увеличивалась со дня на день. От прицельных выстрелов мы еще в некоторой степени были защищены земляным бруствером толщиной около 20 футов и до 8 футов в высоту, но от навесного огня спасения не было...

...Посмотрел — весь низ моей шинели в клочки изодран осколками гранат, очевидно, проскочивших у меня под ногами во время беге. И ни одной царапины. А ведь я слышал у самых ушей своеобразное порханье осколков, самого малого из которых вполне достаточно было бы, чтоб отправить меня к праотцам...

В этом же месяце Малахов курган лишился своего начальника, капитана 1-го ранга Юрковского. Обходя батареи, он направился к башне и встретил по дороге капитана Станиславского. Разговаривая с ним, Юрковский остановился у самого входа в башню. В это время близко над ними разорвалась бомба и осколками тяжело ранило в бок Юрковского. Станиславскому же оторвало пальцы на ноге. Ему два раза делали ампутацию, но он не перенес ее, несмотря на свое атлетическое сложение, и через две недели скончался от гангрены. Юрковский прожил всего несколько дней».

Они поднялись на самый верх по дорожке, окаймленной туями, бересклетом, акациями, к оборонительной башне, со



стен которой еще не исчезли выбоины от осколков вражеских ядер. Неподалеку стоял крест над братской могилой русских и французских солдат. На нем Саша прочитал вслух надпись: «Смерть примирила их здесь».

ОРАКУЛ-2000.

Кто мог подумать, что в декабре 1917-го здесь снова прольется кровь русских морских офицеров? По наущению большевистских вожakov их будут расстреливать свои же русские матросы — «во благо мировой революции». Пройдет слух, что среди расстрелянных был и мичман Горенко, брат известной поэтессы Анны Ахматовой. Она откликнется на эту жуткую весть строчками, которые станут эпитафией всем, для кого Малахов курган стал офицерской Голгофой.

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.
На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.

В ночь с 15 на 16 декабря кровавого 1917 года было убито 23 офицера, среди них — три адмирала и генерал-лейтенант военно-морского судебного ведомства, командующий Минной бригадой капитан 1-го ранга И. Кузнецов, частенько бывавший в доме Колчаков.

День завершился поездкой на Братское кладбище, чей пирамидальный храм, похожий на солдатский шатер, белел на берегу главной бухты. Не было в мире более светлого, более солнечного



кладбища, чем эта севастопольская Вальгалла, напоминавшая скорее дворцовый парк, чем некрополь. Среди вечнозеленых туй, стоявших меж белых обелисков и склепов как зачехленные знамена, разбегались по склону этого последнего бастиона, который не взять никому никаким приступом, дорожки, проложенные к полковым плитам. Лишь один раз вздрогнул Саша: из сухой прокаленной земли торчал корень, похожий на человеческий локоть.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Раздался крик “французы!” Карпов, проходивший около башни в свой блиндаж, велел пробить тревогу; но барабанщик был убит, и тревогу протрубил стоявший тут же горнист. Послышалась частая, будто горох сыпался из мешка, перестрелка. В момент приступа я находился на левом фасе Гласисной батареи, у крайнего 68-фн. орудия, заряженного мелкою картечью с ядром. Я видел, как ряды синих мундиров смешались и рассеялись после выстрела, но взвившаяся пыль и пороховой дым скрыли от меня остальное.

Несколько выстрелов, разумеется, не могли удержать движения одушевленных масс. Французы все шли и шли вперед к кургану. Я поднял первый попавшийся пальник с дымящимся фитилем, схватил ручную гранату и пробежал к правому фасу батареи. Но здесь не удалось сделать ни одного выстрела. Орудия были или засыпаны землею, или подбитые лежали на сломанных станках. Французы, вскочившие в ров, по лестницам быстро взобрались через амбразуры и бруствер на батарею. Началась рукопашная схватка. На площадках кургана наши солдаты отдельными группами боролись с подавляющею массою французов. Дрались с ожесточением — штыками, прикладами, банниками, кирками, лопатами, всем, что было под рукою, чем попало, даже камнями. Шагах в 10 от Гласисной батареи, близ башни, лежал генерал Буссау. Окруженный небольшим числом наших солдат и ополченцев, бросился он к батарее, но зуавы стреляли по ним почти в упор, как в мишень. На батарее Жерве, внизу, с правой стороны кургана, бился князь Багратион во главе дружины 47-го курского ополчения. Ополченцы с топорами бросились на французов. Неприятель подавил их только массою.



Рядом с нашей батареей, на правом переднем фесе кургана, был редан¹ в 3 орудия: одно из них действовало по бывшему нашему Камчатскому люнету и два — на случай штурма. Командир редана, прапорщик конной артиллерии Постников, в первые минуты штурма долго защищался. Завязался страшный рукопашный бой. Нахлынувшая масса зуавов и венсенских стрелков бросилась на горстку мужественных защитников редана. Постников и его команда были буквально подняты на штуцерные тесаки (*sabre-baionette*), которые играли у неприятеля роль наших штыков. Как теперь помню симпатичное, молодое, с еле пробившимися усами лицо этого храбреца. Постников недавно был выпущен из корпуса и по прибытию в Севастополь прямо назначен на Малахов курган. Он часто заходил в наш блиндаж по вечерам побеседовать и посмеяться после тяжелого, томительного севастопольского дня.

Не зная, что делать, я искал батарейного командира. Только хотел я спуститься с батареи по трапу, как вдруг наткнулся на колонну алжирских стрелков. Их зверские черные лица дико смотрели по сторонам. Колонна шла скорым шагом, с ружьями наперевес, от батареи Жерве к башне. В глазах у меня запестрело от их красных, синих, белых плащей; капюшоны надеты на голову, придавая и без того свирепым физиономиям еще более грозный вид. Я инстинктивно бросился обратно, на левый фланг батареи. Тут все смешалось — матросы, солдаты, французы. В неприятельских траншеях еще раздаются сигнальные звуки труб и барабанов. Всюду звенят шомпола, слышен треск, стук оружия, крик, гам и стоны раненых. Вот уже на бруствере развевается трехцветное знамя!.. Вдруг я почувствовал сильный удар в плечо, упал, не мог подняться, но не терял сознания. Я видел, как минутой позже моего падения взмошел на батарею по мостику, переброшенному через ров, французский генерал Мак-Магон. За ним шел довольно многочисленный штаб. Офицеры были в полной парадной

¹ Редан — выступ в оборонительном сооружении.



форме, щегольски одеты, в новых блестящих эполетах, разноцветных востреньких кепи, с обнаженными шпагами в руках. Почему-то они остановились около места, где я лежал. Видя, что я приподнимаюсь и не могу подняться, один из офицеров помог мне. Очутившись среди блестящей свиты Мак-Магона, я вдруг заметил, что сапоги мои и шинель в крови, и на правой руке рана. “Ура” то близилось, то глухо звучало вдали, мешаясь с криком: “Vive l’empereur!” Французы овладели уже Гласисной батареей. Между орудиями и около них валялись убитые и раненые, большею частью наши матросы и солдаты. Малахов курган был занят. На башне также развевался трехцветный флаг. Кто-то закричал, по-видимому отдавая приказание; ко мне подошли два молоденьких солдата, почти мальчишки, тоже раненные. Они отправлялись на перевязочный пункт и попросили меня за ними следовать. Но я так ослабел и чувствовал такую сильную боль в плече, что с трудом мог двигаться. С раннего утра я ничего не ел, а все, что пришлось пережить в эти истинно ужасные минуты, сжимало сердце томительною болью».

На обратном пути отец дал по рублю двум сторожам-ветеранам, несшим вахту у железных ворот.

— Эх, мне бы здесь лечь после трудов земных... — вздохнул Василий Иванович, оглядываясь на Братский стан. Будто чувствовал — не суждено ему иметь своей могилы. Успенское кладбище в питерском селе Мурзинка, где упокоят его останки в 1913 году рядом с могилой жены, снесут в советские времена и на их безвестных костях возведут очередной жилой массив.

Обратно в Одессу возвращались на вполне родном уже «Гаджибее». Ночью Саша вышел из каюты на палубу. Экономя топливо, пароход шел под парусами, благо попутный ветер позволял идти почти той же скоростью, что и под парами. Падали звезды, и паруса казались огромными сачками для ловли этих стремительных мотыльков. Верхушки мачт покачивались среди созвездий. Переблесками лунной дорожки море таинственно роднилось с ночными светилами.



Весь Колчак, каким он известен миру — Колчак-Полярный, Колчак-Порт-Артурский, Колчак-Балтийский, Черноморский, Сибирский, — пошел от той самой первой детской встречи с Севастополем.

Военный риск отца, его умение превозмогать страх и делать под навесом смерти то, что нужно для боя, — все, что коротко зовется словом «мужество», передалось сыну.

Много лет спустя, когда вице-адмирал Колчак командовал Черноморским флотом, он в урочный час велел шоферу ехать в Бомборы. Автомобиль с трудом одолел крутизну единственной в слободе проезжей дороги. Адмирал выбрался из авто с полпути и пошел пешком, повинаясь памяти детства. Домик старого бомбардира был еще цел, но самого хозяина Бог прибрал еще на исходе века. О Степке Рогове удалось узнать, что сложил он свою матросскую голову в Порт-Артуре на эскадренном броненосце «Севастополь», которым командовал тогда незабвенной памяти Николай Оттович Эссен.

Адмирал молча спустился к автомобилю.

ОРАКУЛ-2000.

Мог ли предположить Василий Иванович, отбивая на Малаховом кургане атаки англичан и французов, что сын его станет британским офицером, внук — французским солдатом, а праправнук — американским? Но все произошло именно так...

Глава вторая

«НАДО КОЛЧАКА СПРОСИТЬ»

Осенью 1888 года 14-летний Саша Колчак впервые надел не матросский костюмчик, купленный мамой в конфекционе, а флотскую робу кадета, сшитую в швальне Морского кадетского корпуса портными-матросами. Из 3-го класса гимназии он перевелся в Училище «и по собственному желанию, и по желанию отца». Не возражала против выбора сына и мама, Ольга Ильинична, брат которой, дядя Сережа, был морским офицером.



«В канцелярию Морского Училища
Подполковника Колчака В.И.

Прошение

Желая определить на воспитание в младший подготовительный класс Морского Училища сына моего АЛЕКСАНДРА КОЛЧАКА, я, нижеподписавшийся, имею честь представить при сем метрическое свидетельство о рождении и крещении его и мой послужной список.

Если по принятии Александра Колчака в Училище, начальство оного признает нужным исключить его вследствие дурного его успения или поведения, а также вследствие таких болезней, которые препятствуют службе на флоте, то я обязываюсь, по первому требованию Училища, без замедления взять его обратно на свое попечение.

Марта 22 дня 1888 года.

Подполковник КОЛЧАК

С-Петербург,

Поварской пер., дом 6, кв. № 6».

Первое знакомство с будущими однокашниками вышло не очень веселым. Некий рослый и разбитной кадет-переросток, явно кичившийся тем, что в Корпусе он, как у себя дома, стал раздавать направо и налево клички оробелым новичкам.

— Колчак? — переспросил он, когда Саша назвался. — Ха-ха! Стульчак! Колчак-Стульчак!

Саша побледнел, крепко сжал кулаки и негромко, но твердо заявил обидчику:

— Если вы еще раз меня так назовете, я ударю вас по лицу!

Рослый кадет несколько озадачился, но быстро нашелся:

— А зачем вам кличка?! У вас фамилия такая, что и клички не нужно — Кол-чак!

Откуда ему было знать, что древняя тюркская фамилия означала «боевая рукавица», что один из прапращууров погребен на почетнейшем кладбище янычаров в Стамбуле.

Необычная фамилия доставляла немало проблем и Сашину отцу, дружившему с композитором Бородиным. Василий



Иванович много и подробно рассказывал ему то, что, правда, сам знал из исторических книг, — о жизни половецких ханов и их воинов, про своего исторического предка трехбунчужного пашу Колчака. Бородин в тот год напряженно работал над оперой «Князь Игорь». Своего половецкого князя он назвал Кончаком, по созвучию с древней фамилией друга. Каково же было его недоумение, когда после премьеры Василий Иванович не только не поздравил приятеля, но и вообще перестал с ним здороваться. Позже выяснилась причина его гнева:

— Как вы могла назвать половецкого хана Кончаком?! Это же в переводе — «штаны». Хан Штаны! Колчак — другое дело: это означает «боевая рукавица».

Звезда Александра Колчака начала свой взлет уверенно и круто. В Корпусе он шел все время первым, реже вторым.

В 1892 году Саша нашивает на свои погончики две золотистые лычки младшего унтер-офицера. Это его первое повышение в чине.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Кадет, среднего роста, стройный, художавый брюнет с необычайным, южным типом лица и орлиным носом поучает подошедшего к нему высокого плотного кадета. Тот смотрит на своего ментора с упованием. Ментор этот, один из первых кадетов по классу, был как бы постоянной справочной книгой для его менее преуспевающих товарищей. Если что-нибудь было непонятно в математической задаче, выход один: "Надо Колчака спросить"». Это слова однокашника «ментора-энциклопедиста» Д.В. Никитина, ставшего контр-адмиралом.

И еще одно гардемаринское свидетельство человека, который с младых ногтей и до первой седины в волосах пойдет за Колчаком всюду, куда тот его позовет. Михаил Смирнов, кадет младшей роты, напишет, будучи контр-адмиралом, так:

«Колчак, молодой человек невысокого роста, с сосредоточенным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким грудным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьезностью мыслей и поступков внушал нам, мальчикам, глубокое к себе уважение. Мы, тринадцатилетние мальчики, чувствовали в нем



моральную силу, которой невозможно не повиноваться, чувствовали, что это тот человек, за которым надо беспрекословно следовать. Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель корпуса не внушал нам такого чувства превосходства, как гардемарин Колчак. В нем был виден будущий вождь».

Питерский историк Константин Богданов отмечает:

«В Корпусе его более всего интересовали военные науки, при этом морскую артиллерию он, помимо официальной программы, изучал на практике на Обуховском заводе. Бывавший на заводе и гостивший в доме отца английский промышленник миллиардер Армстронг, нажившийся на производстве пушек и удостоившийся впоследствии звания лорда, оценил знания морского кадета по пушечному делу и предлагал ему в будущем должность инженера на своем заводе.

Здесь же, на заводе, юный Колчак по собственной инициативе приобрел навыки слесарного дела».

15 сентября 1894 года указом Государя Императора Александра III Александр Колчак был произведен в первый офицерский морской чин — мичман. Главная радость этого года была омрачена смертью мамы. Ольга Ильинична скончалась в одночасье, не дожив и до сорока лет. Ее отвезли на тихое Успенское кладбище в пригородном селе Мурзинка. Впервые Александр видел всегда веселого, насмешливого отца плачущим. Да он и сам не сдерживал слез, против воли скатывавшихся по щекам.

Василий Иванович всегда полагал, что именно он первым покинет сей бренный мир. Он был старше жены почти на тринадцать лет. На похороны приехал из Одессы ее отец, Илья Андреевич Посохов, ее кузены: капитан 2-го ранга Сергей Посохов (будущий контр-адмирал) и подполковник Андрей Посохов (будущий генерал-майор).

Второе событие, которое отметило тот черный год не только для мичмана Колчака, но и для всего флота, было кораблекрушение броненосной лодки «Русалка». Она затонула в шторм на полпути из Ревеля в Гельсингфорс. Считалось до той поры, что море перед стальными кораблями с паровыми машинами —



бессильно. Ан нет... Потрясало и то, что никому не удалось спастись...

Девятнадцатилетний офицер прибыл в петербургский 7-й флотский экипаж. Весной 1895 года получил назначение на только что спущенный на воду крейсер «Рюрик».

В мичманах Колчак ходил три года. В декабре 1898 года он приколот на погоны лейтенантские звездочки. Но своей флотской жизнью был крайне недоволен: рутина, тина, тишь да гладь...

Глава третья

«НА ВАХТУ НАРЯЖЕН МИЧМАН КОЛЧАК!»

Ночь. Свеаборгский рейд. Крейсер «Рюрик», прикованный к морскому дну двумя становыми якорями, спит вполглаза. Ночную вахту — с полуночи до четырех утра, самую мучительную для человеческого организма и потому «собаку» — отстоял мичман Антонов. Буркнув сменщику, мичману Матисену: «Все в порядке. На вахту свистали. Книга приказаний в рубке», — он ныряет в палубный люк, и, не теряя минуты, блаженно засыпая на ходу, спешит в свою каюту. «Собака» хороша тем, что на ней меньше всего распоряжений и дерготни — начальство почивает, и слава Богу. А вот на вахту мичмана Матисена приходится побудка, приборка, подъем флага, да и спать хочется зверски, не меньше чем на «собаке». Но зато сменщику, мичману Колчаку, достанется пик утренней суеты.

Темна осенняя финская ночь. На шкафуте при тусклом свете электрических лампочек строится в две шеренги заступающее на вахту отделение. Новый вахтенный офицер выкрикивает номера матросов, распределяя их по постам огромного корабля.

Первый час этой вахты — самый тяжелый: голова сама собой клонится на грудь. Если присесть на минуту в рубке, хотя это и запрещено, то можно сквозь смеженные веки увидеть обрывки прерванного сна. Но только на минуту, делая вид, что читаешь



книгу приказаний старшего офицера. И хотя большая часть приказаний относится к дневным вахтам, все же новый «вахтерцер» должен заглянуть в нее для порядка. Мичман Матисен, хоть и без году неделя на крейсере, но уже хорошо знает, как опасен соблазн посидеть в рубке. К черту книгу приказаний! Лучший способ прогнать дрему — сделать десять приседаний. И обойти всех вахтенных, а там и рассвет скоро...

За двадцать минут до склянок, с которыми закончится его томительное бдение, Матисен подзывает вахтенного унтер-офицера:

— Доложи мичману Колчаку, что без двадцати восемь.

Скотившись по трапу в офицерский коридор, бывалый унтер осторожно стучит в дверь колчаковской каюты. Тишина. Повторный более громкий стук не вызывает в каюте никаких шумов. Тогда вахтенный распахивает дверь и, перешагнув комингс, решительно трясет спящего за плечо:

— Так что изволите вставать, вашблородь! На вахту вам! Без двадцати восемь!

Он сочувственно смотрит на свою жертву — в такую рань самый сладкий сон. Особенно если лег за полночь. На столе у мичмана ученые морские книги, опять зачитался, как барышня...

— Однако, вашблородь...

— Уже проснулся... — обманчиво бодрым голосом откликается мичман. — Ступай себе...

Однако унтера не проведешь.

— Пожалуйте на вахту! Время выходит...

— Отстань! — сердится все еще спящий офицер. — Сказал же — встаю!

Сказал — еще не встал. Посланец вахтенного начальника подзывает вестового:

— Духопельников, не дай ему уснуть! Понял?! С тебя взыщется!

Матрос вырастает у изголовья оставленного на минуту в покое и потому крепко спящего барина. Он укоризненно смотрит на него, потом решительно стаскивает одеяло.



— На вахту опоздаете! Времечка-та вона сколько! — путает он барина, и тот наконец протирает глаза, хватается за часы и, убедившись, что на все остается 12 минут, проворно вскакивает в брюки, натягивает рубашку, бросается к умывальнику.

— Что ж ты, Духопельников, так миндальничаешь?! — сердится Колчак. — Я ж тебе наказывал — лей воду на грудь и кричи: «Потоп!»

— Жалко вас больно...

— А то, что я сейчас без завтрака останусь, — не жалко?!

— Успеем еще, Александр Васильич, это мы за минуту управимся.

Колчак облачается в тужурку, хватается с вешалки шарф, кортик, фуражку и рысью в кают-компанию, где Духопельников уже поджидает его со стаканом горячего кофе, двумя булочками и ломтиком сыра с розочкой из чухонского масла. На бутерброд нет ни минуты, весь завтрак нужно прикончить за сорок секунд. Опоздание на вахту — единственное преступление в мичманском кодексе, которое не имеет никаких извинений, все остальные грехи подвержены компромиссам. Хрустящая, хорошо пропеченная булочка исчезает во рту до половины и запивается обжигающим кофе. Вестовой сочувственно наблюдает за сверхскоростной трапезой, вон уже старший офицер принимает доклад вахтенного:

— Ваше высокоблагородие, через пять минут подъем флага без церемонии.

— Доложи командиру, — кивает старший офицер, поправляя фуражку. Только тут он замечает мичмана, судорожно проглатывающего кусок булки.

— Александр Васильевич, ты на вахту?

На крейсере все офицеры на «ты». На «вы» переходят лишь тогда, когда отношения резко портятся или в сугубо официальных случаях.

— Так точно, Николай Александрович!

На вторую булочку остается двадцать секунд, но ее уже не съесть. Начинается инструктаж:



— Заступишь на вахту, спусти паровой катер, а номер «раз» подними. Второй гребной катер — послать на берег за песком, выдраить его как следует. На нем же отправь мыть артиллерийские чехлы. Боцман знает какие. Маты тоже не забудь.

— Есть, есть!.. — отвечает мичман, пытаясь запомнить сквозь сонную одурь скороговорку распоряжений.

— И последнее: к 9 утра капитанский вельбот к трапу, командир едет к адмиралу. Не забудь «шестерку» послать за провизией пораньше. А то склады на обед закроют, а наши балбесы с ленточками «Рюрика» будут два часа по городу шататься, неровен час на начальство нарвутся.

Сверху доносится крик Матисена:

— На флаг! На гюйс! Смирно!

Все, пора наверх. Командир уже вышел.

— Флаг и гюйс — поднять!

Торжественно закурылкал медный горн. Все, кто на палубе, встали к борту с поднятыми к козырькам ладонями:

— Вольно! Свистать на вахту!

Это последняя команда Матисена, и он отдает ее с превеликим удовольствием. С первой же трелью боцманской дудки фуражка мичмана Колчака появляется над комингсом люка, поправляя кортик, офицер бодро подходит к однокашнику.

— Здорово, Федя!

— И тебя тем же концом... Принимай вожжи. Все распоряжения до подъема флага выполнены. Второе отделение на вахте.

При слове «распоряжения» новый вахтенный начальник чувствует некоторое смущение, поскольку не совсем уверен, что запомнил все, что ему поручил в кают-компании старший офицер.

Уточнить бы у него еще раз, но это лишний повод дать ему понасмешничать. Староф и без того остер на язык. Да и поздно. Он уже у командира на утреннем докладе. Заглянуть в книгу приказаний? Это мысль! Но увы, в книге по его вахте еще ничего не записано. Что же делать? Он всего столько наговорил... Разве



запомнишь на дурную со сна голову? Духопельников, верблюды, поздно разбудил. Говорят, если хорошо растереть уши, то это обостряет память.

Мичман Колчак яростно трет уши, они горят рубиновым огнем, но кроме того, что капитанский вельбот к трапу да постирать чехлы, ничего не вспоминается. Последняя надежда — старший боцман Никитюк.

— Рассыльный, позвать старшего боцмана!

Но Никитюк сам идет вперевалку навстречу.

— Серафим Авдеич, не говорил ли вам старший офицер насчет работ на утро?

— Так точно, ваше благородие, говорили. Паровой катер спустить, гребной поднять. Чехлы мыть.

Да, да, поднять, спустить, молодец боцман. Но что-то еще было.

— И все?

— Кажись, все!

Ладно, начнем аврал, а там вспомнится. Колчак выходит на шкафут.

— Гини второго парового катера — развести! — командует он. — Свистать обе вахты наверх, на гини становись!..

Он поднимается на мостик, откуда виднее спуск тяжелого катера. Дело это опасное — легко покалечиться, а то и насмерть матроса придавить. Хорошо хоть не на волне...

— Готова, вашблародь! — докладывает боцман снизу.

— На гинях! Гини нажать. Ходом гини! — нараспев командует мичман. Никитюк зорко следит за приподнимающимся с киль-блоков катером. Белая махина катера медленно вываливается за борт, покачиваясь над водой. Стопора сняты.

— Ги-и-и-ни травить! — тянет Колчак, будто впрягает свой голос в нелегкую общую работу. Десятки жилистых матросских рук удерживают на гинях трехтонную тяжесть парового катера.

— Легче, соколики, понемногу травить! На стопорах не зевай! — подправляет боцман ход аврала, зная по печальному



опыту иных спусков, как сжигают тросы кожу на ладонях при самовольном сходе катера на воду. Но в этот раз все обошлось. Катер на плаву и на нем уже разводят пары.

— Раздернуть! Катер на бакштов!

Обратным манером поднимают второй катер. Теперь самое время подавать к трапу капитанский вельбот.

— На первый вельбот! Вельбот к правому трапу! — командует Колчак. — Рассыльный, доложи старшему офицеру и командиру, что вельбот у трапа!

Запыхавшийся матрос бойко сообщает:

— Доложил, вашблаторь, командир сейчас выходят!

— Четверо фалрепных на правую!

Первым появляется старший офицер. Он выходит на верхнюю площадку трапа взглянуть на гребцов. Дело серьезное — к адмиральскому кораблю идти. Там уж все на заметку возьмут.

— Фуражки поправить! Грести враз. Наваливаться как один. Ты уж присмотри, Фролов! — говорит он загорелому квартирмейстеру, сидящему загребным.

— Не сумлевайтесь, вашсокродь, в чистом виде!

Колчак слегка уязвлен тем, что староф, как бы не доверяя ему, сам изучает гребцов и вельбот. Но с адмиралом шутки плохи. Командир и тот идет к нему на инструктаж с поджатым хвостом, и это не скрыть никакими молодецкими покриками.

Едва в дверях рубки возникает грузная фигура командира крейсера, как вахтенный начальник гаркает что есть мочи:

— Смирно! Свистать фалрепных!

Командир после контузии турецкой гранатой глуховат и всегда недоволен, что «командуют шепотом». Мичман Колчак, взяв под козырек, становится в затылок старшему офицеру, пожирая глазами, как положено, приближающегося командира. Как бы хотелось видеть в нем бравого морского волка. Но... Мичман Колчак обещает себе, что у него ни в какие лета не будет такого отвислого живота, такой свалявшейся бороды, хоть и подобритой по щекам по случаю визита на адмиральский корабль.



Это всем известный храбрец боев на Дунае тогдашний лейтенант, а ныне капитан 1-го ранга Ш., по корабельному прозвищу Шабля. Ко всем прочим физическим недостаткам Шабля отчаянно шепелявит, но самое печальное то, что он не умеет держать себя с офицерами, то сбиваясь на явное амикошонство, то самодурно вмешиваясь в ход простейших событий. Сегодня Шабля встал в проникновенном расположении духа, поскольку пребывал в полной неизвестности причин адмиральского вызова. Всякий раз ему мнится, что флагман вот-вот объявит приказ о его увольнении в запас, ибо он давно уже выслужил все мыслимые для его чина сроки.

— Не беспокойтесь, господа! — бросает он грустную и ласковую улыбку встречающим его офицерам. — Я сам... Я сам...

Вельбот ощутимо проседает под его тяжестью. Шабля снимает парадную треуголку и осеняет себя крестным знамением.

— С Богом! — командует он.

Первый же взмах шести длинных весел выносит вельбот на добрую сажень от трапа, затем вторую, третью... И р-раз, и — два... Остроносое суденышко набирает скорость под дружные удары отборных гребцов-молодцов — гордости старшего офицера. Мичман Колчак, заглядевшись на красивую греблю, быстро спохватывается:

— Горнист! Захождение!

Печально-певучий медный глас величаво плывет над рейдом.

После того как гребцы зашабашили веслами у борта адмиральского броненосца, жизнь на крейсере снова вернулась в рабочую колею. Вахтенный офицер в должном порядке распорядился отправкой гребного катера с брезентами, чехлами, матами, ведрами и щетками на песчаный пляж.

— Матвиенко! — крикнул Колчак старшине шляпки. — Набери песочка, мелкого, сам знаешь для чего.

Матвиенко знал — для командирского кота, чтоб он утоп, прохвост гадливый! Сколько ж из-за него, подлеца, палубу перелопачивать приходилось. Шабля не прощал и малейшего пятнышка. В несвежей сорочке мог выйти на люди, но палуба



на «Рюрик» всегда отливала ровной матовой поверхностью в цвет яичного желтка.

— Ваше благородие, разрешите обратиться? — за спиной мичмана стоял с поднятой к уху ладонью баталер Прошин.

— Обращайся, — весело откликнулся Колчак.

— Так что насчет провизии, дозвольте спросить. Буде ли шестерка на берег?

Мичман чуть не хлопнул себя по лбу: Боже, какой верблюд! Про песочек для кота вспомнил, а про провизию... Ведь старшой просил непременно пораньше, а сейчас: уже — страшно на часы глянуть — одиннадцатый час!

Вполголоса — вахтенному:

— Свистать на шестерку, артельщиков и буфетчиков наверх, к левому трапу.

Авось староф не заметит. Но вахтенный унтер-офицер после посвиста дудки, как нарочно, заорал с дурацким рвением:

— Ар-р-ртельщики, буфетчики, ходи к левому тр-р-рапу!

«Ну что ж ты так орешь?!» — поморщился мичман. Но было уже поздно. Старший офицер быстро зашагал к нему.

— Александр Васильевич, что это значит? Ты только сейчас посылаешь шестерку?

— Виноват, Николай Александрович! Упустил из виду...

— Упускают бабы белье в проруби! — острая борода старшего офицера задрожала от негодования. Он резко перешел на «вы»:

— Не так уж много я вам поручал, чтобы забывать элементарные вещи! Это не прихоть и не каприз: сейчас они попадут в обеденный перерыв и будут шляться по городу. А потом пойдут толки, что у меня распущены люди. Понимаете, не у вас и не у командира, а у меня.

От дальнейшего разноса Колчака спасает возглас сигнальщика:

— Вашесокродь, командир отвалили от адмирала!

Надо немедленно отзываться, надо править службу, как бы ни съедал его гневным взглядом староф.



— Горнист — наверх! — горестным голосом командует мичман. — Четверо фалрепных — на правую!

Хорошо Матисену, его вахта проходит под сенью ночи. Можно даже закурить в рубке, пряча огонек папиросы. А тут все утро в режиме чеховской Каштанки.

Вельбот несется, красиво рассекая волну. Белые усы под форштевнем взметаются вместе с шестью белыми всплесками ударяющих в воду весел. Гребцы откидывались почти навзничь, и в этот же момент вспыхивало облако брызг над разбитым гребнем. И-э! Навались! И снова назад, вровень с бортом. Играет с ветром синекрестный флаг. Во всем мире нет красивее гребли, чем на русских капитанских вельботах. Школа!

Снова затянул протяжную величальную песнь горнист — захождение! Командир заходит. Замерли фалрепные на трапе, готовые в любую секунду подхватить командира, если гульнет под вельботом волна. Но Шабля тигром вспрыгивает на нижнюю площадку. От утреннего благодушия не осталось и тени. И староф, и вахтенный начальник вытянулись в струнку, ожидая бури. Мичман Колчак первым предстает перед гневливым начальником.

— Господин капитан 1-го ранга, на крейсере Его Величества «Рюрик» вахту править наряжен мичман Колчак!

Обычно Шабля недослушивает рапорта, отделяясь старческим «Не беспокойтесь!». На сей раз он внимательно выслушивает ритуальную фразу и разглядывает вахтенного начальника так, будто видит его впервые. Не отнимая руки от козырька фуражки, Колчак делает уставной шаг влево.

— Очень плохо, что на крейсере Его Величества болтается за кормой овечий хвост!

И не вымолвив больше ни слова, тяжело переваливаясь, командир скрывается в дверях рубки.

Мичман Колчак застыл в оцепенении: неужели свисает пустой конец?

— Командуйте «отбой»! — шипит старший офицер. — Чего вы ждете?

— Горнист, Исполнительный!



Коротко вскрикнул горн, и Колчак опрометью бросается на ют. Но старший боцман, слышавший замечание командира, — это его позор! — опережает вахтенного начальника. Он же тычет кулаком под ребро дневального на бакштове, забывшего втащить конец, когда провизионная шестерка отвалила из-под кормы к левому трапу. Более позорного «гаффа» на вахте, чем конец, свисающий с кормы боевого корабля, придумать трудно. Колчак, кляня судьбину и ставя в душе крест на морской карьере, возвращается на шкафут совершенно убитый. Однако жалкий шут, говорит он себе, должен доиграть свою роль до последней уставной точки. Слава Богу, не сняли с вахты! Тогда только закрыться в каюте и револьвер к виску.

— На палубе прибраться! — а за четверть часа до полудня долгожданная всеми команда:

— Пробу подать!

Старший кок в накрахмаленном колпаке и белоснежном фартуке шествует в чинном сопровождении старшего боцмана на шканцы. В руках серьезного до скорби кока-сверхсрочника — надраенный пушке солнечного сияния медный поднос, на нем ломоть ржаного хлеба, солонка и миска наваристого флотского борща с торчащим из темно-красной гущи шматком мяса при мозговом мосле. По докладу с вахты к ним выходят старший офицер и командир. Все, кто на палубе, замирают по стойке «смирно», дабы ничем не нарушить священнодействие. Командир берет с салфетки ложку, зачерпывает гущу и безбоязненно отправляет ее под рыжеватые усы. Борщ в миске нагрет до той кондиции, когда снимающему пробу нет нужды дуть в ложку, а тем паче втягивать воздух на обожженный язык. Все предусмотрено, как и мозговая кость, торчащая посреди миски.

— Дозвольте ложечку, ваше высокоблагородие! — заботливо воркует старший боцман и ловко выбивает в нее сгусток костного мозга — любимого лакомства Шабли. Никитюк перехватывает благодарный взгляд мичмана Колчака: спасибо, братец, умаслил дракона по первому разряду! Теперь злосчастный «овечий хвост» будет наверняка забыт.



Зажмутив глаза, командир слизывает с ложки нежную консистенцию и расчувствованно уступает миску старшему офицеру. Тот при всей своей худобе обладает отменным аппетитом. Да и что может быть вкуснее флотского борща, приготовленного полтавскими коками, на свежем морском воздухе? Миска пустеет в мгновение ока. Оставив на белоснежной салфетке томатный след своей эспаньолки, старший офицер снова переходит на дружеское «ты».

— Корми людей, Александр Васильевич!

— Свистать к вину и обедать!

В ту же секунду раздольно и радостно залились по палубам «соловьи»: дудки боцманматов, созывающих «пьющих» к ендове с ромом. Крейсер недавно вернулся из заграничного плавания, и потому в винном погребе стоят недосыаемые для таможни бочки с ромом.

Старший офицер, утолив первый голод, степенно спускается в свою безраздельную вотчину — кают-компанию. Шабле накрывают в его салоне. Согласно вековой традиции, обедать в кают-компании он может только по приглашению офицеров. Но, зная его неровный нрав, офицеры редко пользуются своим правом. Командир тоже может приглашать к своему столу своих сотоварищей, усмотрев в том особую причину. Шабля не любит трапезничать в одиночестве, и сомнительное удовольствие делить с ним хлеб-соль чаще других выпадает старшему доктору. При этом Шабля, как капризный ребенок, которому каждую ложку нужно сопровождать сказкой, непременно требует от доктора сведений о пользе того или иного блюда, поданного на стол. Доктор, устав от лекций по биохимии пищеварения, стал сводить разговоры к страшным медицинским историям о прободных язвах желудка и циррозе печени, стараясь испортить сотрапезнику аппетит. Но нашел, на свою беду, очень терпеливого и заинтересованного слушателя.

— Да, да, цирроз... — поддакивал он, — вот у моего цесця так разнесло печень, что ему приелось удалить совершенно здоровое легкое, поскольку печень уже не вмешалась в животе.



Старший доктор округляла глаза и наклонял голову:

— Однако...

Старший офицер пребывал с командиром в весьма официальных отношениях, поэтому приглашения на совместные обеды получал редко. Зато в кают-компании он витийствовал:

— Вестовые, что у нас на закуску?

Буфетчик Козлов перечислял яства, и если среди них оказывалась жареная навага, старший офицер расцветал так же, как Шабля при виде жареной печенки, которую терпеть не мог староф. Это было одной из причин их очень сдержанных отношений.

Окинув оралиным взором безукоризненно накрытый стол, он приглашал толпившихся в салоне офицеров.

— Господа офицеры, прошу!.. Батюшка, благословите!

Корабельный священник отец Константин, откинув рукава подрясника, осенял стол святым крестом:

— Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им всем пишу во благовремени, и отверзаеше щедрую руку Твою, и исполняеше всякое животное благоволение... Аминь!

Так наступило главное событие дня.

Мичман Колчак пришел к столу последним, поскольку сдавал вахту. «Комод» — закусочный столик с тремя графинчиками «хлебного вина № 18», или попросту водки, — уже опустел. Мичман налил себе полрюмки, споловинил ее и поддел на вилку одинокий гриб, спрятавшийся под смородиновым листом. Позабыть поскорее муторную вахту. Стоило для того, чтобы печься о песке для командирского кота, быть первым в Корпусе все три года...

Матисен по-дружески придвинул стул на мичманском «шкентеле» — самом дальнем конце стола. Он, как старший из мичманов, председательствует здесь так же, как старший офицер на «барском» конце общего стола.

— Зайди ко мне, получил свежую почту...

О том, что командир был у адмирала и что флагман весьма скептически отнесся к боевой выучке «рюриковцев», каким-то



образом дошло и на мичманский «шкентель». Здесь не было двух мнений: Шаблю давно надо менять, и если он еще командует новейшим крейсером со своими марсофлотскими понятиями о современной тактике, то это только потому, что грудь его украшает густой «иконостас» за дунайские подвиги. Но все попытки старшего артиллериста, старшего штурмана и старшего механика изменить боевые расписания применительно к новым скоростям и дальности стрельбы натывались на непоколебимую веру Шабли в мудрость тех, кто правит флотом из-под «шпица» — золоченого шпиля над питерским адмиралтейством. Скорая война на Дальнем Востоке заставит заплатить за эту косную «мудрость» страшной ценой.

СУДЬБА КОРАБЛЯ:

Спустя несколько лет крейсер «Рюрик», правда, с другим командиром, не Шаблей, — капитаном 1-го ранга Трусовым — примет мученическую кончину в бою с японскими кораблями близ острова Цусима. Мичман Колчак узнает о том, как погиб корабль его мичманской юности, лишь в Петербурге после возвращения из японского плена.

В знаменитом бою отряда владивостокских крейсеров «Рюрик» разделил геройскую судьбу «Варяга», только еще более горшую. Истерзанный снарядами, едва управлявшийся корабль остался один на один с японской эскадрой из шести вымпелов.

После гибели командира офицеры «Рюрика» по старшинству сменяли друг друга в боевой рубке. Они поднимались туда, как на эшафот, залитый кровью своих предшественников. Капитану 1-го ранга Трусову оторвало голову, и она перекатывалась в такт качке по скользкой палубе рубки; старший офицер кавторанг Хлодовский лежал в лазарете с перебитыми голенями. Заступивший на его место старший минный офицер лейтенант Зенилов простоял в боевой рубке недолго: сначала был ранен осколком в голову, а затем разорван снарядом, влетевшим под броневой колпак... Настал черед лейтенанта Иванова-Тринадцатого. Оставив свою батарею левого борта, он поднялся в боевую рубку — броневой череп корабля. Мрачное зрелище открылось ему:



исковерканные приборы, изуродованные трупы... Не действовал ни один компас.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «...Несомненно, крейсер был обречен на гибель или пленение,— вспоминал Иванов-Тринадцатый.— Только одна мысль, что окруживший нас противник из шести вымпелов постарается овладеть нами, заставляла возможно быстрее принять какое-то решение, так как наше действительное положение было такое, что достаточно было прислать с неприятельских судов четыре баркаса с вооруженной командой, и они с легким и полным успехом могли подойти к крейсеру и овладеть им, так как при том разгроме, который царил на “Рюрике”, не было никакой возможности оказать им должное сопротивление: артиллерия была вся испорчена и молчала; абортажное оружие было также перепорчено, а живая сила команды, обескровленная пережитым боем, сделалась непригодной к серьезному сопротивлению. Не теряя времени, я отдал приказание мичману, барону Шиллингу, взорвать минное отделение крейсера с боевыми зарядными отделениями мин Уайтхеда. Боясь за неудачу или задержку отданного приказания, а времени уже терять было нельзя, так как кольцо неприятельских судов без единого выстрела все суживалось вокруг “Рюрика”, тут же я отдал приказание старшему механику, капитану второго ранга Иванову, открыть кингстоны затопления крейсера и об исполнении мне доложить. Выбежав на верхнюю палубу, я объявил о принятом решении и отдал распоряжение о спасении раненых из недр корабля. Но не насмешкой ли звучало мое приказание? Какое же спасение раненым и оставшемуся экипажу я мог предоставить? На этот раз только тихие и глубокие воды Японского моря в 40—50 милях от берега и те плавучие средства, кои представляют пробковые матрасы коек и спасательные нагрудники. Ни одной шлюпки не было в целости, все гребные и паровые суда были побиты в щепки. Часть команды начала доставать и расшнуровывать койки, другие начали выносить раненых из нутра судна на верхнюю палубу, прилаживать к ним спасательные средства и прямо спускать за борт. Надо было посмотреть на матросов



и вестовых “своих благородий”, которые с полным самоотвержением в ожидании ежеминутно могущего произойти взрыва проявляли заботу о раненых офицерах, устраивая то одного, то другого к спуску на воду. Я помню несколько эпизодов из этой заключительной сцены нашей драмы.

На юте с левой стороны лежал на носилках вынесенный с перевязочного пункта наш старший офицер капитан 2-го ранга Николай Николаевич Хлодовский. Он был совершенно голый, грудь его высоко поднималась от тяжелого дыхания, ноги с сорванными повязками представляли ужасный вид с переломанными голеньями и торчащими костями. Около него возился вестовой матрос Юдичкий, старающийся приладить под носилки несколько пробковых поясов, но это оказалось напрасным. Хлодовский, приподнявшись на локтях, открыл широко глаза, глубоко вздохнул и скончался на своем корабле. Идя дальше, на шканцах, я наткнулся на лежащего ничком на палубе командира кормового 8-дюймового плутонга лейтенанта Ханькова. Тело его было обнажено, и на спине, ниже левой лопатки, зияла громадная круглая рана, обнажавшая переломанные ребра, сквозь которые ясно было видно трепетанье левого легкого. Увидя меня, Ханьков умоляюще попросил меня его пристрелить, но так как при мне не было револьвера, я мог только его утешить, сказав: “Потерпи еще минуту, а там будет общий конец”.

Тут же под кормовым мостиком полулежал наш младший доктор Бронцвейг, у него были перебиты обе ноги в щиколотках. Обещав сделать распоряжение приставить к нему людей для помощи, пошел дальше и вдогонку услышал: “Не надо, все равно я пропавший уже человек”. Тут же навстречу попался наш старший механик капитан 2-го ранга Иванов, доложивший, что четыре главных кингстона затопления уже открыты. Я приказал травить пар из котла и застопорить обе машины. Больше я его не видел, он потонул при крушении. В это время явился ко мне мичман барон Шиллинг и доложил, что взрыва минных погребов произвести не удалось, так как нет подрывных патронов. Действительно, часть из них хранилась в особом помещении



рулевого отделения, уже затопленного, а другая часть взорвалась в боевой рубке. Я ответил, что теперь это безразлично, так как кингстоны открыты, крейсер наполняется водой, и мы не попадем в руки неприятеля. Дал ему поручение проследить за порядком спуска на воду раненых и за возможно быстрым исполнением этой задачи.

Крейсер уже заметно стал садиться в воду с дифферентом на корму и креном на левый борт. Я должен был, как последний командир корабля, еще раз обойти палубу крейсера, чтобы запечатлеть живее в памяти всю обстановку, а также посмотреть, много ли еще живых душ томится в его недрах и нуждается в помощи. Зайдя в боевую рубку, окинул ее и тело командира капитана первого ранга Трусова прощальным взглядом. Каким-то могильным холодом повеяло на меня. Тут же вспомнил, что на последнем из живых офицеров лежит обязанность выбросить за борт тут же лежащий мешок со всеми сигнальными секретными книгами, шифрами и документами, а также и с колосниками для тяжести, с трудом вытащил на крыло мостика и выбросил его за борт. Конечно, в нашей обстановке, при гибели судна на глубине около 300 сажен, такая мера и не требовалась, но я уже не рассуждал и от физического переутомления, контузий и всего морального потрясения действовал автоматически и по инерции, не считаясь со здравым смыслом. На мостике я наткнулся на труп матроса, лежавшего на палубе, уткнувшись лицом в лужу стусившейся крови, и вдруг этот, приподнимая голову, обратился ко мне с вопросом: "А скоро ли конец, ваше благородие, и потопляться-то будем?" Я привожу этот случай, так как вид его запечатлелся у меня на всю жизнь и много преследовал в сновидениях и ночных галлюцинациях. Кожи и мяса на его лице почти не было, на меня смотрел единственный уцелевший глаз, казавшийся необычайных размеров, вставленный в голый череп смерти. Другая часть была совершенно разворочена. Это было черное, нечеловеческое лицо. Невольно отпрянув в сторону, я решил успокоить его, сказав, что сейчас пришло за ним, и быстро спустился по поломанному трапу на верхнюю палубу, оттуда через люк в батарею 6-дюймовых



орудий, с намерением спуститься в следующую жилую палубу, но в этот момент почувствовал легкие содрогания корпуса судна и ясно ощутил, что крейсер быстро начинает валиться на левый борт, а дифферент сильно увеличивается на корму. Пробежав по батарейной палубе к корме, я через грот-люк выскочил на палубу, где с юта навстречу мне представилась картина бурлящей воды, поднимавшейся волной на верхнюю палубу, стоять на которой из-за сильного крена на левый борт, все быстрее увеличивающегося, было почти невозможно; я подполз к правому борту, где перешагнул через планшир борта, очутившись на наружном борту, поскользнулся и, усевшись на него, поехал, как на салазках с горки, но, дойдя до медной обшивки подводной части, уже обнаружившейся из воды, зацепился одеждой за какую-то медную заусеницу обшивки, и меня точно неведомая сильная рука прижала к корпусу судна, застелила зеленоватая масса воды, и я почувствовал, что державший меня крейсер увлекает в свою водную могилу. Через несколько мгновений перед глазами на миг я увидел таран крейсера, вставшего на попа на корму, и, перевернувшись на левый, он исчез под водой, а вдоль тихого, спокойного моря раздалось громкое, потрясающее «ура» плавающей на воде команды».

Все это будет через несколько лет. А пока на «Рюрик» объявлен благословенный «адмиральский час». Все разошлись по каютам добирать до «основного» сна законные полста минут. Мичман Колчак же направился в офицерский коридор левого борта, где в каюте под барбетом противоминного орудия квартировал мичман Матисен. В корреспонденции, которую доставляли ему с берега, частенько бывали свежие номера «Морского сборника» и «Известий Императорского Русского Географического Общества». Все, что касалось гидрологии морей, прочитывалось обоими мичманами с жадностью и жаждой новых сведений.

Море... Это только для несведущего человека оно лишь грандиозное скопище воды. Колчак еще в Корпусе был захвачен тем, что океан — это живая оболочка планеты, он так же разнообразен,



как земная суша. В нем струят свой бег глубинные реки и бушуют подводные гейзеры, он многослоен, как пирог, и каждый слой живет по своим гидрофизическим, гидробиологическим законам, таинственно связанным с движением Луны и других светил. В его чудовищной толще вздымаются огромные внутренние волны или же возникают вдруг мощные вертикальные токи — апвеллинг... Океан могуче дышит меж двух ледяных чаш Арктики и Антарктики. Так меж двух разнополярных пластин струятся токи.

Был и еще один замечательный товарищ, к которому Колчак относился хоть и несколько покровительственно, поскольку тот был выпуском младше, но с затаенным уважением — мичман Костя Случевский. Сын известного русского поэта Константина Случевского, Случевский-младший также писал стихи, и притом неплохие. Младшие офицеры «Рюрика» порой вставляли его строфы в свои любовные послания. Однако музу мичмана Случевского питала морская стихия. Его эпитаграммы на Шаблю и старшего офицера пользовались большим успехом, делая жизнь отважного пиита весьма рискованной.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Константин Константинович Случевский, мичман выпуска 1892 года, служил с Колчаком на «Рюрике» без малого четыре года — с 1895-го по 1898-й. В 1900 году перешел в Гвардейский экипаж на императорскую яхту «Полярная звезда». Погиб лейтенантом в Цусимском сражении на эскадренном броненосце «Император Александр III». Успел выпустить книгу стихов «С моря», которая хорошо была принята поэтической общественностью. На гибель флотского поэта Игорь Северянин откликнулся стихотворением:

Здесь лейтенант Случевский, в цвете лет,
Пел красоту природы прибалтийской,
Но послан в бой по воле злой царийской
У берегов японских пал поэт.

Александр Колчак назвал в честь друга мыс на острове своего имени.



После «адмиральского часа» была сыграна боевая тревога и начато общекорабельное артиллерийское учение. Мичман Колчак расписан помощником командира плутонга противоминных орудий правого борта. Командир батареи в береговом госпитале, и Колчаку приходится исполнять все его обязанности. Он обходит орудия плутонга, проверяет установку прицелов по стрелкам циферблатов, управляемых электрическим током из боевой рубки.

— Горыня! — подзывает мичман артиллерийского квартирмейстера. — Подать беседку со светящимся снарядом!

Горыня резво бросается к переговорной трубе и дует в амбюшур так, чтобы сигнальный свист услышали в артпогребе. Но погреб молчит.

— У погреби! У погреби! — зовет квартирмейстер к совети старшины перегрузочного отделения, известного лодыря, которому осталось служить до увольнения в запас всего три месяца. Офицеры в погреб, расположенный глубоко под ватерлинией, заглядывают редко. В этом укромном, хотя и небезопасном месте боцманмат Терещенко может позволить себе многое из того, за что любого матроса, попавшегося на глаза начальству, непременно поставят под винтовку («стрелять рябчиков»), а то и отправят в карцер: например, дрыхнуть во время учений или нюхать махорку (не курить ума, слава Богу, хватает) или читать про похождения графа Нулина.

Колчак стоит рядом, раздраженно поигрывая темляком сабли. Он сам подходит к латунному раструбу:

— В погреб! Старшина!

— Есть, вашблородь! — бодро доносится из недр корабля.

— Долго я буду ждать светящийся?

— Есть подать светящий!

И тут же взвыла лебедка, подающая беседку.

— Три раза повторить подачу! Десять секунд на каждую! Товсь — ноль!

Под конец учений к борту крейсера подвалила та самая шестерка с провизией, которую забыл вовремя отправить мич-



ман Колчак. Теперь перегружать с нее бочки, мешки, корзины, ящики — забота сменившего мичмана Колчака вахтенного начальника лейтенанта Петрова-Девятого. Это самый опытный вахтерцер на крейсере, любимец старшего офицера, который всегда ставит его в пример молодым мичманам вроде Колчака. Лейтенант правит вахту, как распорядитель бала, — виртуозно, с шиком. Правда, сейчас предстоит не самое престижное дело — надо поднять бочку с кислой капустой. Петров-Девятый приказывает завести пару дополнительных оттяжек, и бочка уверенно ползет вверх под мерный скрип талей. Но тут со шканцев раздается шепелявый голос:

— Лейтенант Петров, как вы поднимаете бочку?

— Стропом, господин капитан первого ранга!

— Кто-то из нас не знает, что такое строп.

— Никак нет, это строп!

— А я говорю — не строп!

У Шабли послеобеденное несварение желудка, он раздражен и крайне опасен. Однако лейтенант Петров-Девятый проявляет безрассудное упорство.

— И все-таки это строп, господин капитан 1-го ранга!

Перечить командиру? Да это почти бунт в глазах дунайского ветерана.

— Та-а-к! — угрожающе тянет Шабля и, отыскав взглядом старшего офицера, спешит к нему.

— Николай Александрович, — меняя тон на обиженный, просит командир. — Смените лейтенанта Петрова с вахты!

— Есть, — без особого энтузиазма отвечает староф и подыывает кивком головы невольного свидетеля инцидента мичмана Колчака. — Александр Васильевич, примите, пожалуйста, вахту на оставшиеся полчаса. Лейтенант, которого впервые за всю службу так нелепо снимают с вахты, взбешен. Он молча сдирает с себя шарф, кортик...

— Продолжайте поднимать провизию стропом! — делает он ударение на последнем слове.

Его бешенство передается командиру.



— Николай Александрович, — топает он ногой, — арестуйте лейтенанта Петрова на сутки! И приставьте к его каюте «пикадора».

— Мичман Колчак, чем вы будете поднимать боцки?

Колчак медлит с ответом — злополучная «шестерка» возвращается на его голову, как промахнувшийся бумеранг. Но кривить душой на миру?

— Стропом, господин капитан первого ранга.

Шабля вытаращивает глаза. Это явный заговор против него. Отправить под арест дерзкого мичмана? Но он уже сам чувствует, что переборщил с Петровым.

— Вот, Николай Александрович, — ищет он защиты у старшего офицера, — вот видите, как заразительно вольнодумство! Я не ожидал... Не ожидал-с!

Голос его слезливо дрожит, он резко разворачивается и скрывается в рубочной двери. Старший офицер бесстрастно отдает распоряжение:

— Александр Васильевич, продолжайте подъем провизии... Стропом! — неожиданно добавляет он.

Ужин в кают-компании против обыкновения проходил без шуток, подначек, смеха. За обоими концами стола — «барским» и «шкентелем» — обсуждали вполголоса последнюю выходку Шабли. Все сочувствовали без вины пострадавшему лейтенанту Петрову-Девятому. Но пострадал еще и мичман Матисен, которому вместо съезда на берег, где его поджидала некая дама, приехавшая на свидание из Питера, выпало теперь заступать в караул, поскольку при арестованном на корабле офицере начальником караула должен быть тоже офицер, а не унтер, как при обычном течении дел.

— Хочешь, я тебя подменю? — приходит на выручку приятелю мичман Колчак. У него нет пока знакомых дам, и он почти не сходит на берег, вникая во все нюансы корабельной службы. Договариваться о замене они идут к старшему офицеру вместе. Тот играет в вист со старшим штурманом и доктором. В ответ на просьбу мичмана Колчака он задумчиво роняет:



— А возле шестого орудия на палубе масляные пятна...

— Но комендоры подкладывают брезент при смазывании пушек, Николай Александрович, — осторожно вставляет Колчак.

— А что толку, когда обе стороны брезента вымазаны тавотом, — не отрывает глаз от карт староф.

На помощь мичману неожиданно приходит старший штурман:

— Комендоры обязаны мыть только чехлы пушек.

— Знаю, но палуба грязная... Не все ли равно, по какой причине...

Это надо понимать как отказ в благородной просьбе. Вирус вредности передался от Шабли старшему офицеру. Мичман Матисен идет заступать в караул, а мичман Колчак, взяв в штурманской рубке стопу лотий, располагается в своей каюте для удобного чтения.

...Как бездарно проходит время. Вот и еще один день уволосся за солнцем на запад... Он остро чувствовал счет своим дням, ибо они и в самом деле были сочтены, и сочтены коротко.

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Я не мог никогда согласиться со многими деталями постановки... дела у нас во флоте. Я не буду здесь разбирать причины этого, хотя главное основание всех недостатков и неудобств военно-морской службы я вижу в малой подготовке личного состава, ничтожной практике, истекающей из огромной материальной стоимости плавания современного судна и происходящей из этих двух оснований характера чего-то показного, чего-то такого, что не похоже на жизнь. На наших судах служат, но не живут, а мнение мое, что на судне надо жить, надо так обставить все дело, чтобы плавание на корабле было бы жизнью, а не одною службой, на которую каждый смотрит как на нечто преходящее, как на средство, а не как цель...»

Цель у него была — великая цель: пройти к Южному полюсу.

У него не было времени на рутинный ход строевой службы... Сбежать бы от нее! Но куда?



Взгляд мичмана падает на прикнопленную к переборке общую карту мира. Да хоть бы в Антарктиду! К пингвинам...

Этот вопрос — куда сбежать от прозябания? — он будет задавать себе не раз и не два... Куда деваться от таких командиров, как Шабля?

А хоть бы под пули британской пехоты, высадившейся на земле буров, как когда-то в Крыму высаживалась шотландская пехота — под барабанную дробь и визг волюнок...

Пройдет время и мичман Колчак станет нести вахту «без тумана», то есть без сучка и задоринки. Более того, сам начнет учить других — молодых вахтенных начальников.

Командир учебного клипера «Крейсер» капитан 1-го ранга (впоследствии контр-адмирал) Г. Цывинский был весьма доволен своим младшим штурманом мичманом Колчаком. За четыре года почти непрерывных плаваний Александр съел добрый пуд морской соли.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Один из вахтенных учителей был мичман А.В. Колчак. Это был необычайно способный и талантливый офицер, обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех морей, знал историю почти всех европейских флотов и морских сражений».

А тот отчаянно тосковал и тяготился набившей оскмину строевой службой — через день на ремень.

Где же выход?!

Глава четвертая К ЗЕМЛЕ САННИКОВА!

Об этой загадочной земле толковали в России и царь, и псарь. Ее миражные отроги маячили сквозь летние туманы и зимние бураны за краем известного людям света — с глухотоманных необитаемых островов Восточно-Сибирского моря.

Впервые увидел эту марь сибирский купец-промышленник, добытчик песка и мамонтовой кости Яков Санников аж в



1810 году. С той поры эта неведомая и недоступная земля лишила покоя многих людей, сильных духом и трезвых разумом.

Странное дело, мало ли в России земель, мало ли у нас больших и малых островов, островков, островищ? Но почему-то так не хватает ей именно этой призрачной Земли Санникова в непроходимых морях. Чем же так манили россиян заснеженные кручи в пропащей дали? Добро бы золотые жилы там по распадам змеились, как на Клондайке, или простирались бы лежбища тучного морского зверя, или хоть одна бухточка не замерзала в зиму, или... Но ничегошеньки, ровным счетом ничего та ускользающая земля не сулила. А в Москве и в Питере серьезные люди: не праздные мечтатели, не мальчишки-романтики, а все больше ученый народ — штурманы, геологи, гидрографы — ломали головы, как достичь заветных берегов.

Будто бы и в самом деле огромная — в шестую часть света — страна была бы не полна без этой пригрезившейся Санникову земли. И Государь-император Александр III, в шутку ли, всерьез, молвил на очередном выпуске Морского корпуса: «Кто откроет эту землю-невидимку, тому и принадлежать будет. Дерзайте, мичмана!»

И мичмана, став лейтенантами, дерзали... Лейтенанты Коломейцов и Матисен, лейтенант Колчак, лейтенант Брусилов, старший лейтенант Седов...

Досужая публика недоумевала — чего ради?.. Ее вопросы замечательно сформулировал известный географ Ф.Ф. Врангель (это в его честь назван огромный остров в Чукотском море, чудом не переименованный большевиками), а потом сам же на них и ответил:

«Разве нет задач более неотложных, более близких, требующих меньше затраты сил нравственных и физических, чем исследования безлюдных мертвых неприглядных областей вечного снега?

...Нужно ли оправдывать личные жертвы, приносимые людьми ради идеи: расширить круг человеческих знаний, стать властелином Земли... Все это выказывает готовность переносить



лишения, даже рисковать своей жизнью, служит порукою тому, что общество, воспитавшее в своей среде такой энтузиазм, еще юно, бодро, мужественно».

Все это так!

Но был один резон в экспедиции, в который не посвящали репортеров и широкую публику. Уголь!

Еще американец Де Лонг обнаружил на острове Беннетта залежи бурого угля. Барон Толль предполагал, что третичные угленосные пласты острова Новая Сибирь простираются до Беннетта и дальше — до Земли Санникова, ежели таковая существует.

Зачем же искать уголь так далеко? Ведь в России огромные запасы его и в Донецком бассейне, и даже под Тулой. Не вывозить же черное топливо из Арктики? Во что станет такой перевоз?

А вывозить-то и не надо. Главное, чтобы туда его не завозить! Главное, найти бы его там, в тех медвежьих углах. Тогда суда, идущие из Архангельска во Владивосток Северным морским путем, смогли бы пополнять запасы топлива как раз на середине великой трассы «из варяг в японцы», из Поморья в Приморье, с Крайнего Севера на Дальний Восток. Ведь плавание паровых судов во льдах — это прежде всего двойной расход топлива. Если бы устроить на острове Беннетта или на Земле Санникова угольную станцию, то и броненосцы смогли бы огибать Чукотку и попадать во Владивосток не вокруг Африки и Цусимским проливом, а кратчайшим, к тому же почти внутренним, российским путем.

Идея такой переброски судов, как военных, так и торговых, вынашивалась дальновиднейшим адмиралом Макаровым, и великий муж науки Дмитрий Иванович Менделеев предрекал важнейшую будущность Северного морского пути.

И вот первый серьезный шаг в эту сторону — Русская полярная экспедиция (РПЭ). Президент Императорской академии наук великий князь Константин Константинович, он же председатель Комиссии по подготовке экспедиции, докладывал государю о маршруте будущей экспедиции. А государь был молод. В свои тридцать два он бы и сам с превеликой охотой



отправился искать затерянные миры. Тем более после полукругосветного плавания в Японию на броненосном крейсере «Память «Азова»» считал себя в глубине души моряком и к флоту дышал нервно.

Земля Санникова досталась ему по наследству от отца. Александр III благоволил господам изыскателям. Их стараниями Россия прирастала без всяких войн и завоеваний. Главное, чтобы на этой обетованной, но еще не открытой земле не взвился первым иностранный флаг, о чем все время болел душой патриарх отечественной географии Петр Семенов-Тяньшанский: «Недалеко уже то время, когда честь исследования... Земли Санникова будет предвосхищена скандинавами или американцами, тогда как исследование этой земли есть прямая обязанность России». Ему вторил и великий князь Константин Константинович: «Экспедиция на Санникову Землю была бы теперь особенно своевременна...»

По Высочайшему повелению Императора Николая II министерство финансов выделило на полярную экспедицию 240 тысяч рублей, сумму по тому времени внушительную. Но денег никогда много не бывает, тем более что за покупку и переоборудование шхуны в Норвегии надо было уплатить 60 тысяч рублей. Однако предприятие барона Толля вызвало в России волну энтузиазма, и многие ведомства, учреждения и просто состоятельные люди помогали экспедиционерам всем, чем могли.

К барону Толлю просились десятки добровольцев со всех концов Российской империи. Его стол был завален рапортами флотских офицеров и прошениями студентов, чиновников, гражданских моряков. Попытал счастья и новопроизведенный лейтенант Колчак. Куда там... Барон вежливо выслушал его и сухо заметил, что офицерский штат на «Заре» уже набран, что двух лейтенантов для небольшой шхуны более чем достаточно, что Колчак еще весьма молод и успеет сходить не в одну экспедицию.

То был второй удар судьбы. Первый Александр испытал в мае, когда, вернувшись в Кронштадт из морей на крейсере «Крейсер»,



первым делом поспешил в штаб-квартиру вице-адмирала Макарова. Великое нетерпение подгоняло лейтенанта. Там в военной гавани стояли под парами готовые к отплытию на Шпицберген ледокол-красавец «Ермак» и военный транспорт «Бакан». На «Ермаке» уже развеивался вице-адмиралский флаг Макарова. Именно он должен был вести экспедицию в Арктику.

— Ваше высокопревосходительство, возьмите с собой!

Степан Осипович был насыпан о молодом офицере, который по своему почину стал вести гидрологические замеры в Желтом и Японском морях.

Поглаживая бороду, Макаров смотрел на Колчака почти что ласково. Он видел в этом лейтенанте с горящими глазами самого себя лет эдак двадцать назад... Разве он сам в том же чине и в том же возрасте, тяготясь стационарной службой в Константинополе, не начал вот так же добродушно измерять скорости верхнего и нижнего течений в Босфорском проливе?

— Дражайший Александр Васильевич, взял бы вас без сомнений. Но не в моей власти выдернуть вас сейчас с боевого корабля. Пока оформят все бумаги, мы уже за Нордкапом будем. Вы же знаете, как штабная улитка едет...

С тем и вернулся лейтенант в отцовский дом в Петровском переулке.

— На все воля Божья, Сашок! — утешал сына отец. — Да и наплавался ты вдосталь. Пора своей гаванью обзавестись.

Василий Иванович, уйдя сначала в отставку, а теперь и на пенсию, давно уже по земляческим каналам высмотрел сыну невесту. Это была статная, красивая, не в меру серьезная выпускница Смольного института благородных девиц Софья Омирова, дочь покойного председателя Казенной палаты Подольской губернии. Круглая сирота, она зарабатывала на жизнь домашней учительницей.

Александр, как и большинство молодых людей, не любил, когда родители активно вмешивались в личную жизнь.

— Сам-то ты не очень спешил! — заметил он, намекая, что Василий Иванович женился лишь в тридцать с лишним лет.



— Не надо повторять ошибки отцов... Тем не менее я свой долг перед пращурами выполнил. Явил миру продолжателя рода, и, похоже, неплохого продолжателя...

— Катя старше меня, она пусть первая продолжает.

— На сестру не кивай. С ней наша фамилия уйдет. А ты мне наследника подавай, чтоб Колчаки вовек не вывелись. Теперь ты за это отвечаешь. Служба службой, наука наукой, а пресекать род наш не имеешь права!

Знакомство, однако ж, состоялось.

Вопреки скептическим ожиданиям, София оказалась отнюдь не кисейной барышней. Ладная, спокойная, с прямым взглядом из-под высокого лба, она была начисто лишена манерности столичных девиц. Собственный заработок придавал ей ту уверенность в жизни, которую ценил в себе и сам Александр. Они на равных вели беседу, вольно или невольно экзаменуя друг друга на остроту ума, эрудицию, пристрастия... Колчак мысленно вывел своей собеседнице высший бал. София приятно удивляла начитанностью, здравостью суждений, выяснилось, что она в совершенстве владеет английским, французским, немецким и чуть хуже итальянским, польским языками, превосходно музицирует, безуспешно пробует свои силы в живописи акварелью и маслом.

Он тоже старался не ударить в грязь лицом, живо и с юмором, рассказывал ей о морях и странах, в которых довелось побывать, о забавных случаях из корабельной жизни. То был совершенно неведомый Софии мир, и она слушала бывалого морехода, широко раскрыв красивые глаза, что весьма подкупало рассказчика. Более того, она с неподдельным интересом расспрашивала его о том, что интересовало не всякого сослуживца. О Земле Санникова, о Южном полюсе, о пропавшей экспедиции лейтенанта Де Лонга...

Саше было семь лет, когда в Арктике разыгралась очередная трагедия, потрясшая читателей газет во всем мире. Лейтенант американского флота Джордж Де Лонг отправился к Северному полюсу на паровой яхте «Жаннета». Увы, в июне 1881 года пако-



вые льды раздавили хрупкий корпус суденышка, и смельчаки остались один на один с белым безмолвием высоких широт. Но прежде чем лейтенант Де Лонг и большая часть команды погибли от голода и стужи, отважный лейтенант успел назвать три новооткрытых острова в честь своей возлюбленной Генриетты, в честь несчастной яхты «Жаннета» и в честь издателя газеты «Нью-Йорк Геральд» Гордона Беннетта, снарядившего экспедицию на свои деньги. Так они и остались на карте русской Арктики, острова Де Лонга: Генриетты, Жаннеты и Беннетта.

— Если я когда-нибудь открою новый остров, я назову его вашим именем, — сказал Колчак на прощанье.

— Спасибо, — без тени улыбки ответила София. — Только не пропадайте во льдах, как Де Лонг.

...Он сдержал свое слово. Небольшой остров в Восточно-Сибирском море назван Колчаком именем невесты, как и мыс Софии на острове Беннетта.

Как-то, прощаясь, он ей сказал:

— Если бы я был капитаном экспедиционного судна, я непременно взял бы вас с собой.

Это было объяснением в любви.

Потом, спустя двенадцать лет, полярные командоры станут брать с собой невест: что Русанов — Жюльетту Жан, что Брусилов — Ерминию Жданко. И всякий раз это будет кончаться трагично.

Спустя некоторое время Колчак узнал о своей невесте, о ее предках не меньше, чем о своих.

Она родилась на Украине — в старинном городке Каменец-Подольске, в тех краях, где был пленен прадед ее будущего мужа — турецкий генерал Колчак-паша. Пленил пашу брат ее пращура по материнской линии, екатерининский вельможа, фельдмаршал Миних. Со стороны матери — Дарьи Федоровны Каменской — числился еще один воинственный предок — генерал-аншеф М.В. Берг, громивший войска Фридриха Великого в Семилетнюю войну. На баталиях генерала Максима Берга учился Александр Суворов.



По отцу же, Федору Васильевичу Омирову, предки были куда более мирные — из духовного сословия.

«Мой умный, добрый и строгий отец! — восклицала она на склоне лет. — Нас было у него двенадцать человек, я — однанадцатая».

В крови Софьи Федоровны боролись «лед и пламень»: лед духовного смирения, законопочитания и пламень высокой воинской удали.

С предложением руки и сердца Александр не спешил. Идти под венец — так уж только с ореолом героя. Как отец. Однако судьба не спешила выводить его на поле чести. К величайшему своему унынию, лейтенант Колчак ввиду нехватки офицеров был назначен вахтенным офицером на старый и потому учебный крейсер «Князь Пожарский». Подобный удар он пережил двумя годами раньше, когда попытался перевестись на канонерскую лодку «Кореец» (тот самый «Кореец», который разделил участь «Варяга» в бою при Чемульпо), уходившую к Командорским островам. Вместо возжеленной экспедиции в северную часть Тихого океана — назначение на осточертевшую должность вахтенного начальника на допотопный клипер «Крейсер», возвращавшийся в Кронштадт. И вот опять тот же кунштюк.

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Кроме желания плавать на севере Тихого океана у меня явился интерес к южным полярным странам, касающийся одной из самых малообследованных областей, заключающей в себе земли Императоров Александра I и Петра Великого, впервые посещенной Беллинсгаузеном и Лазаревым, но этот интерес пока мог быть только платоническим, так как, чтобы попасть туда, надо было снаряжать экспедицию, а для этого я не имел ни опыта, ни средств.

Проплавав четыре года на военных кораблях, из которых один был в то время первоклассным крейсером, а второй представлял собой уже не имеющий боевого значения парусный клипер, я вынес довольно скептическое отношение к плаванию на военных судах и много раз еще во время пребывания в Тихом океане подумывал о выходе из военного флота и службе на ком-



мерческих судах. Тем не менее я всегда был военным моряком и военно-морское дело ставил на первое место...

..Я попал во внутреннее плавание на "Князь Пожарский", что для меня было худшее, что только я мог представить в этом роде. На "Князе Пожарском" вахтенным начальником ходил лейтенант Стральман — мой приятель, с которым я был всегда в хороших отношениях. Я убедился по нескольким опытам, что в военной службе осуществить свои желания едва ли когда удастся. Я бросил свои занятия по гидрологии, и мои стремления пришли к форме искания просто-напросто, как говорилось в Тихом океане, "типов и ощущений", то есть к авантюризму, короче говоря. Борис Стральман также находился в таком состоянии, и, беседуя с ним во время плавания по портам Балтийского моря, я пришел к готовности оставить службу и отправиться в компании со Стральманом в Клондайк, не для искания золота, конечно, а просто чтобы найти обстановку и жизнь, отвечающую более нашим потребностям, чем та, в которой мы оба находились. Мы порешили осенью идти в Тихий океан и там выйти в запас и отправиться куда хотели.

По окончании плавания на "Князе Пожарском" я перешел на эскадренный броненосец "Полтава" и через несколько недель на его "Петропавловск", уходивший в Тихий океан.

Стральман куда-то уехал, и я более с ним не видался. Прекрасное новое боевое судно первое время вернуло меня к прежним занятиям, но скоро я убедился, что здесь то же самое, что и на всех других броненосцах и крейсерах. Здесь есть служба, но нет практики, нет возможности плавать и жить».

Итак, броненосец «Петропавловск» уносил мятущегося лейтенанта все дальше и дальше от полных стран. Посреди пути он и вовсе надолго застрял в афинском порту Пирее.

Пирей. Сентябрь 1899 года

Пирей — прескверный городишко. Во всяком случае таким он был в конце девятнадцатого века: полуамфитеатр унылой равноэтажной застройки с еще не выветрившимся налетом



турецкой провинции обнимал весьма просторную бухту. Русские корабли облюбовали этот далеко не самый благоустроенный порт лишь потому, что все остальные удобные и в стратегическом, и в стояночном отношении гавани уже давно были обжиты кораблями английского и французского флотов. Не было баз у российского флота на Средиземном море, был лишь этот стационарный пункт, где корабли могли подолгу стоять на якорях в виду берегов вполне дружественного греческого королевства, поскольку королева элинов Ольга, бывшая русская принцесса, душевно благоволила к морякам с неблизкой родины.

Осенью 1899 года на рейде Пирея встал на якорь новейший эскадренный броненосец «Петропавловск», шедший с Балтики на Дальний Восток. Вечный вахтенный начальник лейтенант Колчак, весьма удрученный неудачными попытками попасть в полярные экспедиции, пребывал в мрачайшем расположении духа. И строки его дневника вполне созвучны настроению лермонтовского героя.

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Я не знаю более скверного и противного места для меня, чем этот порт сквернейшей страны, какой я знаю, и где наши суда стоят неизвестно зачем очень долго...»

Его душа рвалась подальше от этой земли, туда, где кипели живые события, — в Южную Африку, в Трансвааль, в Оранжевую республику. Там шла война... Там «работают современные орудия с лиддитовыми и пироксилиновыми снарядами, где происходит на деле все то, что у нас на броненосце делается лишь примерно», — изливался он своему дневнику.

Но в Пирее, слава Богу, есть телеграф... И стук корабельного почтара в дверь каюты:

— Ваше благородие, вам телеграмма!

Колчак схватил бланк с греческими, почти русскими, литерами. Первая мысль — от Кати, что-то с отцом. После смерти Ольги Ильиничны он сильно сдал...

РУКОЮ КОЛЧАКА: «На Рождество, когда я сидел у себя в каюте и обдумывал вопрос о том, чтобы кончить службу и уйти в Южную Африку для занятий военным делом, мне принесли теле-



грамму, подписанную лейтенантом Матисеном, где мне предлагалось принять участие в Русской полярной экспедиции...»

Нет, то была не телеграмма, то была повестка судьбы. Свершилось! Там, на небесах, услышаны его молитвы! Вспышку подобной радости он испытал, когда было зачитано Высочайшее повеление о производстве в офицеры. Он ликовал так, как будто сам Жюль Верн прислал ему приглашение лететь из пушки на Луну.

Все к черту! Если не отпустят — немедленно рапорт о выходе в запас.

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Я немедленно ответил полным согласием на все условия и отправился к командиру, капитану 1-го ранга Гreve, поговорить о своем решении. Я прямо сказал ему, что решил выйти из военной службы, если она явится препятствием для поступления моего в состав экспедиции, и, конечно, Гreve, вполне сочувствуя моим желаниям, посоветовал мне немедленно подать в запас, так как иначе списание мое с “Петропавловска”, да еще ввиду перевода моего в Сибирский экипаж, затянется, и броненосец должен скоро уходить в Порт-Саид.

Я телеграфировал лейтенанту Матисену, которого считал за командира судна, что подаю в запас и еду, как могу скорее, в Петербург. Но выйти в запас мне не пришлось благодаря участию президента Академии наук великого князя Константина: высшее морское начальство телеграммой потребовало моего списания с “Петропавловска” и возвращения в Петербург. Все устроилось лучше, чем я ожидал. На первом пароходе Русского общества, простившись с броненосцем честь честью, я в первых числах января ушел из Пирея в Одессу...»

В Одессе перед поездом на Санкт-Петербург он заскочил к Посоховым, материнской родне. Дед Илья Андреевич видел внука не часто. А уж в морском облачении и вовсе впервые. Люб был казачьей душе внук при мундире и сабле.

— Хотя и не в нашу породу ты пошел, Сашка, но глаза у тебя посоховские, материнны глаза... Невестой-то не обзавелся?

— Есть на примете.

— Дай знать, когда свадьба. Все брошу и приеду.



ОРАКУЛ-2000.

Кто из них мог предположить, что свадьба будет за тысячи верст от Одессы да и Петербурга — в Иркутске, и что из всей родни приехать туда сможет лишь один неутомленный Василий Иванович? Как-никак его стараниями свадьбка сладилась.

Кто из них мог представить себе, что и деда Илью, потомственного дворянина, городского голову Одессы, большевики расстреляют в один год с внуком — Верховным Правителем России — в 1920-м?..

Санкт-Петербург. Январь 1900 года

2 января в газете «Московские новости» будет напечатано редакторское эссе: «С последним полуночным ударом часов 1900 года наступает новый век. На смену отжившего прошлого является новое XX столетие со всеми своими жгучими запросами настоящего и неизвестностями будущего... Кто знает, может быть именно отечеству нашему суждено стать той силой, в которой народы увидят оплот международной справедливости, равновесия и мира?

...Но если эта миссия возложена на нас Провидением, то для исполнения ее мы должны в новом веке еще старательнее вдумываться в смысл великих национальных основ своих и еще более свято хранить и возделывать их».

Неизвестно, попадались ли на глаза Колчаку эти строки, но суть их определила весь ход жизни этого человека.

Итак, по ходатайству Великого князя Константина Константиновича лейтенант Колчак был прикомандирован к Императорской академии наук. Правда, время производства в следующий чин — капитана 2-го ранга — резко отодвигалось¹ (в лейтенантах ему пришлось ходить восемь лет), но это его мало заботило. Его военная карьера еще наверстает упущенное небывалым скачком: за три года он из капитанов 1-го ранга станет вице-адмиралом.

¹ В 1900 году на русском флоте было только четыре офицерских звания: мичман, лейтенант, капитаны 2-го и 1-го рангов.



Перед бароном Толлем лейтенант Колчак предстал не без душевной робости. Что значили его любительские опыты по гидрографии в сравнении с научным багажом полярника, уже побывавшего там, где погиб лейтенант Де Лонг, а главное, своими глазами видевшего легендарную землю?

Да, в экспедицию 1886 года Эдуард Толль с северных утесов острова Котельный ясно видел на горизонте контуры четырех гор, координаты которых примерно определялись как $77^{\circ} 09'$ с. ш. и $140^{\circ} 23'$ в. д. Дальний берег простирался именно там, где указывал Яков Санников. Мог ли после этого барон Толль не верить в успех новой экспедиции, снаряженной специально, чтобы достичь тех заветных пределов?

Глава пятая

«ЗАРЯ» ПЛЕНИТЕЛЬНОГО... СЧАСТЬЯ?

Как ни ревновали россияне Арктику к норвежцам, все же именно норвежец — великий полярный путешественник Фритъоф Нансен — отнесся к русской экспедиции с большим участием. Он щедро делился с ее командором — бароном Толлем, давним своим приятелем, тем уникальным опытом, который почерпнул в ледовых плаваниях на «Фраме». Именно он при-смотрел для россиян подходящее судно — китобойный барк «Гаральд Харфагер». Плотнo сбитый овальный в сечении корпус понравился барону с первого взгляда, и барк после переделки под научное судно был перенаречен в «Зарю».

Именно Нансен напутствовал Толля добрым письмом: «Дорогой друг! Мне нет необходимости говорить Вам, что, за исключением Вашей превосходной жены и Вашей семьи, мало кто будет с таким интересом следить за Вами, как я».

Президент Императорской академии наук великий князь-Константин Константинович 10 марта 1900 года утвердил состав экспедиции, куда помимо Э.В. Толля были включены:



«капитан шхуны “Заря” Н.Н. Коломейцов — лейтенант флота; геодезист, метеоролог и фотограф Ф.А. Матисен — лейтенант флота; гидрограф, гидролог и гидрохимик А.В. Колчак — лейтенант флота; зоолог экспедиции А.А. Бялыницкий-Бируля — старший зоолог Зоологического музея С.-Петербургской Академии наук; астроном и магнитолог Ф.Г. Зееберг — доктор физики; врач-бактериолог и второй зоолог Г.Э. Вальтер — доктор медицины. В состав команды также вошли: боцман Н. Бегичев, старший механик Э. Огрин, матросы-рулевые С. Евстифеев, С. Толстов, А. Семашко (заменен впоследствии П. Стрижевским), И. Малыгин (заменен С. Расторгуевым), В. Железняков, Н. Безбородов, второй машинист Э. Червинский, старший кочегар И. Клаут, второй кочегар Г. Пузырев, третий Т. Носов, повар Ф. Яскевич».

Без этого похода не было бы Колчака, во всяком случае такого, каким он вошел в историю...

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Еще в Петербурге барон Толль рекомендовал мне повидаться с профессором Нансеном и воспользоваться его советами по снаряжению и работам по части гидрологии. Нансен был у нас на “Заре” короткое время, и я имел случай несколько раз повидаться с ним в его университетской лаборатории, где профессор с большой предупредительностью и любезностью сообщил и показал свою методику по определению удельных весов воды, изложенную в недавнем выпущенном труде...»

Нансена очень интересовала проблема «мертвой воды». «...Дело в том, — писал великий норвежец барону Толлю, — что за кораблем на тяжелом нижнем соленом слое воды образуется особая волна опресненной воды, которая затрудняет движение судна». Такое явление характерно только для Северного Ледовитого океана, где холодная пресная вода, выносимая великими сибирскими реками, смешивается с теплыми и солеными струями Гольфстрима. Вот эту «мертвую воду» и предстояло изучать гидрологу экспедиции лейтенанту Колчаку. Как в старой сказке, предстояло «добру молодцу идти за “мертвой водой”».



РУКОЮ КОЛЧАКА: «...На “Заре” я сколько мог следовал указаниям профессора Нансена, хотя обстоятельства, при которых мне пришлось работать, не всегда позволяли это делать. Очень интересны, по-моему, были показанные мне Нансеном определения удельного веса при помощи ареометра с переменным грузом и постоянным объемом, где влияние поверхностного натяжения, составляющего основную причину всех ошибок метода ареометров с переменным объемом, совершенно устраняется — я не знаю, получил ли этот новый способ практическое применение. В университете же я познакомился с доктором Хиортом, специалистом по океанографическим и зоологическим работам. Доктор Хиорт с особенной любезностью и вниманием показал мне приборы для газового анализа морской воды, получившего в последнее время такое важное значение. Прекрасные работы доктора Хиорта хорошо известны всем специалистам, и я не буду говорить о них; в этот год профессор Нансен и доктор Хиорт собирались уйти в S-ую часть Атлантического океана для зоогидрологических исследований на специальном судне... Недостаток времени не позволил мне посетить это судно, где меня особенно интересовала лаборатория; я не знаю, насколько удобно было работать над химическим анализом в постоянно взволнованной области океана.

...В Петербурге я поселился вместе с Ф.А. Матисеном и продолжал заниматься снаряжением своей части и работами с нашими инструментами в Павловской физической обсерватории при значительном участии и помощи начальника обсерватории В.А. Дубинского. Свое гидрологическое снаряжение я заказал частью в Англии, частью в Швеции, частью в России. Были заказаны глубоководные термометры, лоты, глубомер для 5000-метровой системы.

Я заказал огромное количество склянок и банок из особого жесткого и труднорастворимого стекла Ритману в Петербурге; кроме того, я все время ездил по всем инструментальным мастерским и заводам для дачи заказов всяких предметов по гидрологическому снаряжению. Барон Толль не стеснял суммами, и я



должен сказать, что снаряжение по гидрологии отвечало всем возможным работам до самых больших океанских глубин. К сожалению, многим не пришлось воспользоваться. Примерно 10 апреля была собрана вся команда, и я с Матисеном и нижними чинами по Финляндской железной дороге уехал через Гангсуд в Стокгольм и далее через Христианию в Ларвик, где на эллинге известного строителя “Фрама” Колина Арчера вооружалась под наблюдением командира Н.Н. Коломейцова “Заря”. Вооружив судно, мы должны были привести его в Петербург и в начале июня, приняв грузы, все снабжение и ученый состав, идти в Ледовитый океан».

Шел последний год XIX столетия — века, в котором самое крупное в мире географическое открытие совершили русские моряки. Беллинсгаузен с Лазаревым открыли в южном полушарии целый континент — Антарктиду. Лейтенант Колчак надеялся совершить нечто подобное в Северном полушарии. Уже было известно имя этого нового континента — Земля Санникова. Оставалось лишь нанести на карту ее координаты. Точнее, подтвердить те, что уже вывел барон Толль.

Ларвик. 1900 год

Ни к одному из своих кораблей, на которых Колчак служил доселе, не был он так придирчиво строг и затаенно нежен, как к этому деревянному парусному зверобою. Еще бы — на нем идти испытывать судьбу, добывать славу, рисковать жизнью...

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Одной из слабых сторон нашей экспедиции была крайняя сиюминутность ее, мы все время торопились как на пожар, в очень многих случаях приходилось поступать, даже не думая о выборе: скорее, скорее. Эта черта, насколько я знаю, погубила многие экспедиции...

По приезду в Ларвик мы были встречены Н.Н. Коломейцовым и поселились вначале на берегу, так как каюты еще не были готовы; команда поселилась на судне. “Заря” стояла в это время в плавучем доке, с первого же осмотра судно оставило очень симпатичное впечатление. Это был китобойный, или,



вернее, тюленебойный барк выработанного уже давно типа для плавания во льду, одного с “Бегай” и прочими судами последних экспедиций. Он был вооружен сначала барком, но ввиду малочисленной палубной команды в семь человек Коломейцов снял реи с грот-мачты и оставил прямые паруса только на фок-мачте, то есть вооружение “Зари” отвечало шхуне-барку или баркентине. Постройка судна внушала полное доверие к крепости его корпуса; это судно строилось на чисто эмпирических основаниях и обладало огромным запасом прочности: обшивка из сосны, дуба и наружная ледовая, чуть не однофунтовые в квадрате бимсы, необыкновенной толщины правильные брусья и ватервейсы и массивные сплошь забранные дейдвуды не оставляли желать лучшего. В средней части корпуса в нижнем трюме были поставлены через шпангоуты от концов флоттимберсов к бимсам — контрфорсы для усиления прочности корпуса против напора льда, и поставлен в двух палубах ряд пиллерсов. Кормовая рубка, бывшая жилым офицерским помещением, была переделана в лабораторию для научных занятий, а для помещения офицеров и членов экспедиции была построена рубка между фок- и грот-мачтой, на которой находились мостик и небольшая штурманская рубка. Оценивая критически переделку “Зари”, я считаю, что Н.Н. Коломейцов применил весь свой опыт и знание морского дела: новый прекрасный первый брашпиль, рулевой привод, установленный в рубке, — все вооружение судна было сделано практически и хорошо. Опыт трех кампаний во льду Полярного океана подтвердил это. Но, конечно, были и недостатки: на первом месте стояли помпы; “Гаральд” был снабжен двумя деревянными старыми шхун-помпами. Н.Н. особенно почему-то стоял за эти помпы и считал их совершенно достаточными и вполне удовлетворяющими своему назначению, на деле оказалось несколько иначе; второй недостаток состоял в старых канатах, новых такого размера в Кронштадтском порту не оказалось, а времени на заказ новых не было. Впрочем, эта часть на практике оказалась совершенно удовлетворительной, и мы впоследствии выдерживали огромный напор льда без всяких



случайностей и ни разу не потеряли канатов или якоря. Некоторые посещавшие наше судно моряки считали недостатком отсутствие у нас подъемного руля, но эта вещь, по-моему, не имеет особого значения, так как руль приходится убирать очень редко, да и заменить в случае его повреждения новым запасным нетрудно; гораздо важнее иметь складные новые рулевые петли, повреждение которых крайне неприятно — петли на “Заре” были старые и порядочно разработанные, но и с ними у нас не было недоразумений, стало быть, и толковать о них нечего. Впоследствии я пришел к убеждению, что для ледяного плавания надо иметь возможность брать якоря на палубу: при высоком льде все время приходится опасаться за них; впрочем, при плавании вблизи сибирского берега отмелость моря и риск постоянно выйти на банку противоречат этому положению, и каждый моряк, вероятно, предпочтет сорвать с рустов якорь и даже потерять его, нежели, не имея якоря, готового к отдаче, вылезти вблизи льда на банку. Проводка штуртрроса по планширю была сделана для того, чтобы иметь штуртррос на виду и оградить его от обледенения или загромождения каким-либо палубным грузом, но должен сказать, что завод выполнил эту часть довольно небрежно и грубо, шкивы были прямо топорной работы, и нам самим впоследствии приходилось подрубать их и исправлять, равно как бывали на практике случаи забивания соединений пруткового железа за небрежно расположенный палубный груз. Впрочем, весь привод выдержал в плавании в Ледовитом океане много очень суровых испытаний, и ни разу не было ни поломок, ни серьезных повреждений.

На “Заре”, как второй помощник, я исполнял обязанности ревизора, лейтенант Матисен — старшего офицера. Выработанный и привычный нам режим военного корабля вообще применялся у нас, насколько это было возможно. Работали мы все дружно и весело и по окончании конопатки судна и обжигания и тировки подводной части вышли из дока. В первых числах мая мы должны были идти из Ларвика в Христианию принять заказанный уголь и кое-какие предметы полярного снабжения.



У нас в первые же дни по выходу из дока была течь, обычная для деревянного судна, да еще после конопатки, когда последняя не успела разбухнуть и плотно сжаться несколько раздавшимися пазами обшивки; мы были совсем почти без груза и сидели около 13½ (футов. — Н.Ч.) ахтерштевнем».

Наконец все было готово к отплытию — сначала в Петербург, а потом на Север. Колчак весьма сдержан в своем дневнике. Но в каждой строчке бьется скрытое ликование, моряцкая гордость... Важна каждая деталь, любая мелочь, всякое обстоятельство этого воистину исторического плавания. Разделим же и мы эти тревоги и заботы 26-летнего лейтенанта.

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Мы вышли из Ларвика в Скагеррак и вошли в Зунд в Копенгаген. В Скагерраке и Каттегате мы встретили свежий ветер, противный конечно, и по пути под парусами зашли исправить небольшое повреждение в машине. В Копенгагене мы простояли несколько часов, приняли сети и рыболовный снаряд и ушли сейчас же по окончании приемок в Мемель, где также должны были принять запас снаряжения, одеял, белья, а также ковры и другие мелочи, заказанные в Германии. В Мемеле же мы должны встретить барона Толля и прийти с ним в Петербург. На переходе в Мемель мы несли паруса и убедились в прекрасных парусных качествах “Зари”. Несмотря на уменьшенную парусность, она отлично делала повороты, затруднение составляло крайне ограниченное число рабочих рук; впоследствии мы привыкли к этому, но вначале, имея семь человек на палубе, управляться было трудно. В Мемель мы пришли без всяких случайностей; простояв там два дня и, приняв барона Толля, пошли в Петербург. Погоды стояли тихие и большей частью ясные. Мы пришли на Кронштадтский рейд и стали на якорь близ форта “Меншиков”, после отдания обычных формальностей мы пошли каналом в Петербург и вечером стали на бочку у Николаевского моста. При нашей слабой машине, нехватке рабочих рук и отсутствии малых шлюпок нам стоило порядочной возни подать на бочку канат, один раз пришлось отдать якорь. Стоящая в нескольких саженях от нас



большая паровая яхта... под флагом Императорского яхт-клуба, по-видимому ограничилась одной критикой. Я упоминаю об этом только потому, что, плавая ранее за границей, я привык везде видеть более внимательное отношение со стороны стоящих судов к приходящим на рейд. На другой день по приходу мы перешли к набережной Васильевского острова и ошвартовались против 14-й линии».

Они стояли напротив зданий Морского корпуса, откуда вышли все три офицера «Зари». В этом было нечто ритуальное — начать свой дальний и опасный поход от стен alma mater. Сюда же приходила и София. Однако ее жених был начисто поглощен лихорадочной подготовкой к арктическому плаванию. Свидания были кратки и без особых сантиментов. Правда, экспедиционный фотограф лейтенант Матисен, понимая, какое значение в жизни своего приятеля обрела эта девушка, сделал несколько снимков Александра и Софии. София подарила ему в поход образок и английскую открытку с репродукцией картины прошлого века: мичман в треуголке и молодая леди в чепце, за спиной мичмана маячит парусный корабль, с которого он отпросился на часок. Леди потупила взгляд, потому что мичман только что сказал ей что-то очень важное и сокровенное...

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Начались дни погрузки и приемки всевозможных запасов и провизии. Шлюпки отправили в адмиралтейство для исправления; кроме того, Морское министерство дало нам один спасательный вельбот, одну четверку и одну двойку. Мы мало пользовались первыми двумя шлюпками даже во время плавания, зато двойка оказалась наиболее пригодной при нашей малочисленной команде; почти все разъезды, весь промер на рейдах мы делали на двойке. Кроме этих шлюпок мы имели еще два китобойных вельбота — эти, построенные из дуба, с очень толстой обшивкой, были в высшей степени пригодны для плавания во льду, и наша рабочая шлюпка была одним из этих вельботов; легкий и слабый вельбот военного образца с обшивкой кромка на кромку не годится для работы во льду, повредить его очень легко, а исправление из-за такой обшивки всегда будет



ненадежно, надо менять чуть не всю обшивную доску. Был также на “Заре” и паровой катер с котлом Фильда; первый год плавания мы пользовались им главным образом во время стоянки в норвежских портах и во время вынужденной стоянки в заливе Миддельфорда, где были блокированы льдом; подъем и спуск его требовал порядочной возни; кроме того, требовалось много угля, который для нас обходился очень дорого. Вообще для полярного плавания паровой катер, по-моему, лишняя роскошь при небольшом судне и малом числе рабочих рук; как показал опыт, нам надо было иметь три крепких небольших вельбота¹ (вельботы “Зари” были немного тяжелы и велики), из которых один — на случай оставления судна в открытом море, один — запасной и один — рабочий и две легкие шлюпки вроде бывшей у нас двойки на случай разъездов, мелких работ, промера и т.п. Паровой катер и четверка были для нас совершенно лишним грузом. Я уже говорил о нашем снабжении по части навигационной и гидрографической; я вообще должен сказать, что при снаряжении нашей экспедиции ни одно учреждение не оказало столько внимания и предупредительности, как Гидрографическое управление; с величайшей заботливостью оно снабдило нас всем, чего только мы могли пожелать, не отказывая ни в одной просьбе. Особенно признательны мы были в двух последних плаваниях за меркаторные сетки крупного масштаба (4,5 мили в дюйме) районов Ледовитого океана, где нам пришлось плавать; отсутствие карт, часто невозможность иметь обсерваций, постоянные перемены курсов льда и глубин придают особое значение счислению и прокладке при этих условиях. Благодаря этим сеткам мы все время могли вести прокладку, уточнять глубины и свои собственные съемки, и они принесли нам пользу, вычислять и особенно выстраивать точки сетки на “Заре” было положительно невозможно. В полярном море нет на тысячи миль ни одного промера и в тоже время глубины таковы, что рискуешь каждую минуту

¹ Для 20 человек, составлявших экспедицию, меньше вельботов было иметь нельзя.



сесть на банку да еще в виду движущегося льда... Да и вообще все тяжелое и суровое плавание, какое нам пришлось испытать, заставляет особенно дорожить всем, что хотя бы немного могло облегчить его трудности, и вот почему, вспоминая наше навигационное снабжение, вспоминаю, что ни разу за все время мы не испытывали увеличения трудностей плавания от недостатков или неимения каких-либо инструментов или приборов. Я так много говорю о них; каждый из членов экспедиции помимо одних работ готовил снабжение своей специальной части. Часть приборов была получена и принята в Петербурге, другую часть, состоящую из глубомера и всех приспособлений для океанского промера и некоторые другие инструменты должны были быть присланы в Берген. В Петербурге же мы тянули такелаж. Наконец все было готово».

Все, кроме одного очень важного обстоятельства, сыгравшего, быть может, роковую роль...

Эдуард Васильевич, геолог от Бога, разбирался не только в камнях, но и в людях. Все три лейтенанта, отобранные им для опасного многотрудного дела — Коломейцов, Матисен, Колчак, — как нельзя лучше отвечали суровому духу его предприятия. Лишь с Коломейцовым вышел сбой, но не профессиональный, а чисто психологический. Толль не учел того, что офицер, назначенный командиром корабля (не важно какого, хоть самоходной баржи), будет следовать Морскому уставу, по которому он, командир, в море — первый после Бога. Все остальное — команда, а экспедиция, будь это сам барон Толль со своими докторами наук — пассажиры. На берегу — воля ваша, но на палубе, на мостике, будьте любезны, господа, оставлять последнее слово за капитаном, за командиром.

Барон Толль видел же в «Заре» лишь транспортное средство, плавучую научную базу, не более того. Командир шхуны — разновидность извозчика, куда скажут, туда и повезет. Вот на этой почве с самого начала и начал вызревать роковой конфликт между научным руководителем экспедиции и командиром судна.



Толль почувствовал это с самого начала, едва возник, казалось бы, чисто теоретический вопрос — под каким флагом пойдет «Заря» в море: под гражданским триколором или под военным Андреевским?

РУКОЮ КОЛЧАКА: «...Военный флаг — вещь крайне неудобная для такого рода плавания, какое нам предстояло, и практика показала, что военный флаг крайне стеснителен по многим обстоятельствам: во-первых, уже потому, что связанные с ним военное положение и порядок трудно применимы при малочисленной команде, условиях зимовки и проч. Толль никак не мог согласиться на это уже потому, что тогда он фактически терял на судне всякую власть как не моряк и не могущий фактически командовать кораблем. Это было уже предвестником всего того, что имело быть в течение всей экспедиции, основная ошибка в организации которой состояла в том, что на судне и всем характере жизни, связанном с этим судном, главным распорядителем было лицо, не знающее морского дела...

...Накануне ухода нашего из Петербурга было заседание в Академии в присутствии Великого князя Константина Константиновича. На этом заседании были Толль, Коломейцов и я. Еще ранее Коломейцов настаивал на выяснении и точном определении прав и положения его как командира судна по отношению к начальнику экспедиции, я лично мало интересовался этими вопросами, считая их лишними и полагая, что все мы, связанные одними идеями и желаниями, можем обойтись без формальных бумаг и инструкций, да и, кроме того, у меня не было времени вникать и обдумывать вопросы, казавшиеся мне маловажными. Последствия, однако, показали, что эти вопросы имели большое значение и отразились на ходе всей экспедиции. На этом же заседании была выдана коротенькая инструкция, в сущности говоря, ровно ничего не поясняющая да еще могущая быть истолкована в различных смыслах; ни научной программы, ни научных инструкций у нас никаких не было. С одной стороны это казалось очень удобным, но на практике недостатки такой системы также обнаружились; инструкции и программы не нужны только тогда,



когда они совершенно ясно и в определенной форме выработаны руководителем предприятия — у нас этого не было. Основное противоречие, ясно осознанное мною только впоследствии, лежало в том, что начальником предприятия, носящего чисто морской характер, являлся человек совершенно не знакомый с управлением судна. Начальник полярного или арктического предприятия, конечно, должен иметь полную власть над всеми частями его и участниками; но власть тогда только власть, когда она существует реально; власть же юридическая в подобных делах бессмысленна и является на практике совершенной фикцией. Какую фактическую власть может иметь на корабле человек, не могущий ни определить, ни вести счисления, не могущий отдать якоря, дать ход машине, править рулем и не знающий всей той массы очень простых и, так сказать, органически привычных для моряка вещей? Конечно, раз судно плавает, фактически начальником его и всех, кто на нем находится, является командир, как лицо компетентное во всех вопросах, связанных с плаванием и жизнью корабля. Смешно читать, например, у Нансена или даже в отчетах Толля выражения: “Я снялся с якоря” или “Я изменил курс”, когда эти “я”, вероятно, не сумели бы выходить якоря и даже скомандовать рулевому, чтобы привести судно на желаемый румб. Англичане, как моряки, всегда прекрасно понимали эти вопросы, и последняя Антарктическая экспедиция на “Нет названия” ушла под начальством командира лейтенанта Скотта, германский “Нет названия” ушел так же, как и мы, под начальством Дригальского, но что из этого выйдет — покажут результаты. Мне приходилось слышать, что начальником ученого предприятия должен быть ученый, вообще человек с научной подготовкой; я полагаю, что начальником должен быть просто образованный человек, ясно и определенно сознающий задачи и цель предприятия, а будет ли он специалистом по геологии, не имеющей никакого отношения к ходу самого дела, — это не имеет значения; для начальника удобнее не иметь никакой специальности, а иметь побольше способностей управлять и руководить всем делом, входить в жизнь и внутренние мелочи



хозяйства, а не “экскурсировать” с “казенными” целями, часто преследуя в ущерб всему свои специальные или “научные задачи”. Вот подчиненный ему состав должен обладать научной подготовкой, а для того чтобы выполнять и руководить ходом морского предприятия, прежде всего надобно быть моряком; а затем — что значат “научные работы” в море? Хороший боцман сумеет поднять тяжелую драгу или трал на палубу лучше всякого ученого, не знающего, как и сколько положить плавов линия на барабан лебедки, как наложить стопор. И это научная, или ненаучная работа? Вот разбор трала или драги — дело другое, но оно и не имеет никакого отношения к судну, разве только к смачиванию и мытью палубы. Но перейду к делу.

Последнее заседание, в общем, ничего не прояснило... Мы прощались с Великим князем и членами комиссии и на следующий день должны были уйти в море или, вернее, в Кронштадт, где надо было принять уголь, хронометры и инструменты из Морской обсерватории и затем уже идти в Ревель, где барон Толль хотел нас оставить и приехать на “Зарю” в Бергене.

Все время перехода нашего в Петербург и во время нашей стоянки в Неве мы текли до 20 дюймов (по глубине трюма. — Н.Ч.) в вахту; знаменитые шхунпомпы, в которых был сделан привод к лебедке, по очереди чуть не каждый день требовали исправлений, вытаскивания клапанов осадки. Течь становилась все значительнее; занятые днем, мы не придавали этому особого значения, тем более что времени на исправление и изыскание причин течи и на устранение ее не было; раздражали нас проклятые помпы, но вода все-таки выкачивалась и не переходила из льяла и межбортовых каналов в нижний трюм, то есть не поднималась выше 28—30 (градусов).

В Кронштадте мы наполнили весь нижний трюм углем; твиндек был совершенно заполнен провизионным и всякими другими запасами, часть ящиков пришлось разместить на верхней палубе; кроме всего этого, нам предстояло принять на верхнюю палубу в Норвегии пять тонн брикетов, а, в Екатерининской гавани — груз рыбы и 60 собак. Однако впоследствии все разместилось.



Нельзя сказать, чтобы проводы “Зари” были особенно торжественны; нас провожало небольшое общество добрых и близких знакомых, и только. Вообще в Петербурге, не говоря уже про всю Россию, многие не знали про нашу экспедицию, но так как большинство “интеллигентного общества” едва ли знает о существовании Ново-Сибирских островов, а многие едва ли найдут на карте Таймыр или Новую Землю, то было бы странно претендовать на иное отношение.

Интересовалось нами, конечно, Морское общество, но и оно ограничивалось лишь немногими компетентными в морском деле представителями, такими, как адмирал Макаров, полковник А.Н. Крылов, капитан Цвингман...

Я забыл упомянуть об одном важном обстоятельстве, имевшем место в Петербурге. Первое плавание из Норвегии сразу выяснило недостатки и непригодность некоторых людей из команды и дало основание для удаления их и заменой другими. Перемена весьма важная, и уже одно это указывает на необходимость хотя бы короткого пробного плавания, где лучше всего выясняются на деле как достоинства судна, так и пригодность личного состава.

В Кронштадтском порту мы встретили полное содействие и гостеприимный прием адмирала С.О. Макарова, который в день выхода нашего судна из Кронштадта лично с супругой провожал нас до выхода за бочки Большого рейда».

Кто, кто, а старый морской волк прекрасно понимал, куда и на что, на какой риск и какие испытания уходит за тридевять полярных земель небольшое судно. Как бы он хотел, чтобы и его сын Вадим, пока что кадет Морского корпуса, походил на одного из этих отважных лейтенантов...

ОРАКУЛ-2000.

Спустя 19 лет в Перми, там, где Верховный правитель России добывал орудия для своей армии, к вагон-салону адмирала Колчака подошел морской офицер.

— Прошу доложить адмиралу, — попросил он дежурного адъютанта, — что лейтенант Макаров Вадим Степанович про-



сит его принять. Только доложите, пожалуйста, чин, фамилию и имя-отчество.

Озадаченный неожиданной просьбой, адъютант доложил. Он удивился еще больше, когда обычно хмурый адмирал просиял и велел немедленно провести к нему лейтенанта.

— Это сын погибшего адмирала Макарова! — пояснил он недоумевавшему адъютанту, и сам вышел навстречу невзрачному офицеру. Крепко обнял слегка растерявшегося лейтенанта.

— Очень рад, Вадим Степанович, что вы в нашем стане. Батюшка ваш, несомненно, одобрил бы ваш выбор... В Порт-Артуре он пожалел меня и назначил на крейсер. Я же, увы, ничем не могу облегчить вашу участь. Не хочу обижать вас предложением перейти в походный штаб. Ведь не пойдете же?

— Никак нет, Ваше превосход...

— Полноте! Где и кем вы у нас?

— Помощник флагманского артиллериста Камской флотилии.

— Ну, с Богом!

Третьего мая 1919 года Камская флотилия начала кампанию под флагом контр-адмирала М.И. Смирнова. Все двенадцать вооруженных пароходов подняли Андреевские флаги. На штабном теплоходе «Волга» отслужили молебен...

Спустя три недели под селом Святой Ключ флотилия приняла жестокий бой. Осколки и пули пощадили сына любимца Российского флота. Лейтенант Вадим Макаров кончил свои дни в Нью-Йорке в пятидесятые годы...

Вадим Макаров на всю оставшуюся жизнь сохранил любовь и уважение к своему военному вождю. Там, в нищете эмиграции, он чем сможет станет помогать вдове адмирала. Однажды он пришлет бедствующей вдове 50 долларов — все, что смог наскрести из своих доходов. В ее полунищенской жизни это было грандиозным событием.

«Глубокоуважаемый и дорогой Вадим Степанович! Получила через барона Бориса Эммануиловича Нольде чек на 50 долларов, т.е. 1888 франков, 5 сантимов; была поражена так, что обалдела



от изумления, и как неисправимая мечтательница дала волю своему воображению».

«Неисправимая мечтательница» всю жизнь хранила снимок Матисена, сделанный им у борта «Зари». А сын адмирала Макарова до последних дней хранил фотопортрет, подписанный ему Колчаком в Сибири.

А пока что над шхуной развевался вице-адмиральский флаг Макарова. И белобородый патриарх морских наук и флотовождения творил про себя тихую молитву в помощь идущим в неведомое.

— Даст Бог, господа, свидимся! — сказал он на прощанье. Они свиделись через три года, но, увы, не все...

РУКОЮ КОЛЧАКА: «На пути Н.Н. Отлобинский (флагманский штурман. — Н.Ч.) dokonчил уничтожение девиации наших компасов: наконец и он простился с нами и на катере отвалил от борта. К вечеру мы прошли мимо Голландского маяка, а к утру случилось повреждение питательного клапана котла, и пришлось прекратить пары и вступить под паруса; ветер был очень слабый, остовый, и мы только через сутки отдали якорь на Ревельском рейде, где стоял в это время артиллерийский отряд Барон Толль и В.И. Бианки, провожавшие нас до Ревеля, съехали с «Зари», и мы через несколько часов пошли далее. Один за другим появлялись и исчезали знакомые еще с первых кадетских плаваний мысы и маяки...

Мы вышли в Балтийское море и, имея все время спокойную погоду, подошли к Зунду и прошли Копенгаген, не останавливаясь. На другой день в Каттегате мы встретили свежий ветер и небольшое волнение; при слабой машине «Зари» мы еле продвигались вперед, паруса помогали мало; не желая терять времени, Н.Н. Коломейцов изменил курс и лег не на горизонт Скаттуденского маяка, а на Фридрихсгамн — небольшой датский порт на берегу Ютландии, за мысами которого мы и стали рано утром. Здесь мы запаслись свежей провизией, немного отдохнули, ветер стих и после полудня мы уже шли вдоль берега Ютландии. Под вечер, обогнув Скаген, вышли в Скагеррак и пошли к норвежскому берегу.



Режим у нас был следующий: стояли мы и команда на три вахты, причём Коломейцов стоял вахты с четырех до восьми утра и дня, а остальное время Матисен и я сменяли друг друга. Завтракали мы в 12, в три дня пили чай и в шесть вечера обедали. Стоянка на три вахты вообще нелегка, у нас на военных судах обыкновенно стоят на пять, при четырех уже жалуются на тяжесть вахтенной службы, но, простояв два арктических плавания на две вахты, я считаю, что при трех офицерах стоять вахты можно даже с командиром, так как через день представляется возможность спать и отдыхать целых восемь часов подряд.

Свободное от вахты время у меня уходило на всякие приспособления, разборку, укладку инструментов и другие подготовительные работы. Где можно, мы несли паруса, хотя погода мало благоприятствовала парусному плаванию, было большею частью тихо или маловетрие от противных курсам румбов. Мы держались, чтобы иметь больше свободы для парусов, вдали от берегов».

В «академической надстройке» на корме тесная гидрологическая лаборатория Колчака соседствовала с научным кабинетом зоолога Бялыницкого-Бирули. С этим обстоятельным и добродушным белорусом у них с первых же дней похода установились самые дружеские отношения. Бируля обещал даже назвать какой-нибудь новый вид морского рачка именем своего товарища — «колчакиус».

— Нет уж, увольте меня от такой чести! — отмахивался лейтенант от любезного предложения. — Назовите лучше в честь Толля — «толлиус» или в честь Матисена. А я меньше чем на остров не согласен.

Остров именем Колчака назвал сам барон Толль в знак признательности за неустанный и самоотверженный труд гидрографа и вахтенного офицера.

«Наш гидрограф Колчак, — отмечал он в своем дневнике, — прекрасный специалист, преданный интересам экспедиций... Научная работа выполнялась им с большой энергией, несмотря на трудность соединять обязанности морского офицера с деятельностью ученого».



На проводах «Зари» был и поэт Константин Случевский-старший: он был, пожалуй, первым из русских поэтов, писавших Север с натуры, ступив на его голые скалы:

И подумаешь, бросив на край этот взоры:
Здесь когда-то, в огнях допотопной земли,
Кто-то сыпал у моря высокие горы,
И лежат они так, как когда-то легли!

Случевский, поэт мистический, печальный, философический, подарил Толю томик своих стихов. Его поэзия как нельзя лучше отвечала духу, увы, последней для барона экспедиции.

Сколько раз, разглядывая утесы нового острова, вспоминал Эдуард Васильевич эти совершенно «ландшафтные» строки:

Неприветливы, черны громоздятся уступы...
То какой-то до века погасший костер,
То каких-то мечтаний великие трупы,
Чей-то каменный сон, наводнивший простор!

Книжечка ходила по рукам. Случевский был незримым участником плавания. Колчак, всегда равнодушный к образному слову, порой смотрел на льды и скалы сквозь призму поэта, и призма эта замечательно дополняла подозрные трубы и экспедиционные бинокли:

Из тяжких недр земли насильственно изъяты,
Над вечно бурною холодною волной,
Мурмана дальнего гранитные палаты
Тысячеверстною воздвиглися стеной...

— Такие строки мог написать только геолог! — восторгался Толя. — Право, он был прирожденным землеведом!
И читал в кают-компании за вечерним чаем на память:



И пробуравлены ледяными ветрами,
И вглубь расщеплены безмолвной жизнью льдов,
Они ютят в себе скромнейших из сынов
Твоих, о родина, богатая сынами.

— Это о ком это он? О поморах? — спрашивал Матисен.

— Да хоть о поморах, хоть о самоедах, о долганах, нганасанах... Лучше не скажешь — скромнейшие из сынов.

— Так оно так, да только шибко огненную воду любят, — приземлял разговор Коломейцов.

— Да вы послушайте, — восторгался обычно сдержанный барон, — как замечательно сказано!

И, заложив страничку пальцем, подносил книгу поближе к керосиновой лампе:

Здесь русский человек
Пред правдой лицеизренья
Того, что Божиим веленьем сведена
Граница родины с границами творенья...

— Вот они пред нами — границы творенья, по которым не ступала нога человека, — взмахивал рукой Толль, — и они же, все эти мысы, бухты, утесы — естественные границы России. Позволю себе заметить — самые свободные границы в мире...

— Поскольку здесь не ступала нога таможенника и жандарма, — продолжал мысль командора Бируля, к всеобщему веселью.

Александровск-на-Мурмане. 1900 год

Это старинное поморское селение, всего год как получившее статус города, должно было стать точкой старта их броска к Земле Санникова. Дальше будут только льды и тысячи верст никем не населенных берегов то горной, то заболоченной тундры, птичьих базары на скалах да лежбища тюленей, ледяные поля да дымящиеся в стужу полыньи...



РУКОЮ КОЛЧАКА: «Екатерининская гавань, получившая за год до нашего прибытия официальное значение военного порта и угольной станции, представляет из себя узкий фиорда, окруженный крутыми, скалистыми, большей частью сглаженными каменистыми берегами, поднимающимися с высоты... (гора Энгельгардта). Отсутствие растительности придает безжизненный вид каменистым холмам и склонам, среди которых в самой глубине бухты находится вновь построенный небольшой городок, состоящий из немногих домов местной администрации, церкви и около 10—15 частных построек. Это небольшое селение производило приятное впечатление прекрасными дорогами, чистотой и внешним видом новых построек. Быть может, это обуславливалось только новизной и недавним их существованием. Деревянная пристань у города, другая такая же, но меньших размеров, да две-три бочки на рейде представляли все удобства для стоянки судов. Стоянка в гавани имеет недостаток из-за неважного грунта; у пристаней приходится считаться с порядочным приливом. Приглубость берега несколько искупает узкость рейда, где современным первоклассным крейсерам стоять тесновато. Течения в глубине бухты не сильны и не представляют неудобств. От волнения бухта совершенно закрыта. В Екатерининской гавани имеется склад превосходного угля, часть его была в сараях, другая лежала прямо на воздухе; по качеству этот уголь был смешанный...

Население гавани, или, вернее, города, состояло из нескольких человек администрации и небольшого количества поселенцев, ссыльных, среди которых были и поляки. По свойствам это поселение, состоявшее из отбросов и всякой сволочи, не особенно гармонировало с новым портом. В части бухты расположены постройки научно-промысловой мурманской экспедиции (состоявшей тогда под начальством Книповича), пароход которой «Андрей Первозванный» мы застали стоящим у пристани экспедиции. Кроме него на рейде стоял небольшой казенный пароход «Печора», пробиравшийся на эту реку.

Придя на рейд, мы узнали, во-первых, что собаки наши уже прибыли в Екатерининскую гавань... Второе известие касалось



нашей шхуны, зафрахтованной в Архангельске и долженствующей доставить нам груз угля в Югорский Шар, в бухту Варнека. Оказалось, что шхуна при первой попытке встретила лед, пройдя Колгуев, получила повреждение и вернулась в Архангельск. Таким образом расчет на пополнение запасов угля в Югорском Шаре становился более чем сомнительным, и случай этот подтверждал известие, полученное в Трансё от промышленников, что в этом году Ледовитый океан по состоянию льда крайне неблагоприятен для плавания.

Сейчас же по приходу к нам приехал начальник мурманской экспедиции Книпович и помощник его Брейтфус. Книпович предложил желающим выйти на “Андрее Первозванном” в море для производства гидрологических и зоологических работ, что крайне приятно для нас и любезно со стороны Книповича. На другой день вечером Толль, Бируля и я ушли на “Андрее Первозванном” в море для производства гидрологических работ, “Андрей Первозванный” представляет из себя современный стальной траулер, построенный в Германии и прекрасно приспособленный для научных работ. Зоологические работы, кроме обычных тралов, драги планктонных сетей, производятся с помощью песерсоновского трала и, особенно, огромными буксируемыми траулерами на большом ходу до шести-семи узлов... Книпович был так любезен, что произвел все работы, как зоологические, так и гидрологические, причем последние не представляли для меня чего-либо нового ни по приборам, ни по методам наблюдения...

На “Андрее Первозванном” не исследовали воды, брались только пробы, а анализ на содержание хлора и даже ареометрический метод определения удельного веса проводился на берегу на станции. Мы работали в Мотовском заливе и в Ара-губе; было поймано немного трески, глубоководных окуней, скатов, камбал и проч.

Вообще “Андрей Первозванный” в смысле организации работ производит очень хорошее впечатление — все было налажено, делалось скоро, удобно и хорошо. За наше отсутствие



“Заря” ошвартовалась у пристани и хотела принимать уголь, но последний в складе, расположенном у пристани, оказался дурного качества, и Коломейцов решил перейти к другому складу у пристани, где стоял “Андрей Первозванный”.

При нашей малочисленной команде пришлось для ускорения работы нанять какую-то сволочь из местных обывателей, которых через несколько часов работы пришлось рассчитывать и доканчивать работу самим. Наполнив трюмы углем, мы получили осадку 18,5 футов. Течь усилилась, каждые два часа необходимо было откачивать воду. На палубе негде было повернуться, все было завалено рыбой — пришлось около 30 тонн оставить на берегу, так как ее решительно некуда было сунуть. Оставалось принять собак и идти дальше».

ОРАКУЛ-2000.

Пройдет всего тридцать лет и три года и Александровск-на-Мурмане, переименованный в Полярный, станет столицей Северного флота России, другой России — советской. Ничто — ни камень, ни крест не скажет о том, что отсюда в начале XX века стартовала отчаянная и героическая экспедиция на Землю Санникова. Отсчет времени здесь начнут вести не от Рождества Христова, а от штурма Зимнего. Гору Энгельгардта переименуют в гору Ленина, который севернее Гельсингфорса так и не побывал, на берегу чудом не переименованной Екатерининской гавани станет на двадцать лет памятник «создателю Северного флота» Сталину.

Но в этом узаконенном государством беспамятстве найдутся трое полярников — два брата Иванишкина, инженеры с местного судоремонтного завода, и рабочий Василий Суров, — которые в брежневскую пору отыщут на одном из маяков старый колокол с бывшего храма Александровска-на-Мурмане, того самого храма, в котором лейтенант Колчак просил всех своих небесных заступников о помощи в опасном предприятии, о даровании успеха и благополучном возвращении. Многопудовый колокол с превеликим трудом был перетащен в Полярный и поставлен на камень, на котором было выбито имя легендарной



к тому времени шхуны «Заря». Эта рискованная акция памяти была предпринята в 1978 году. В год столетия города колокол был поднят на колокольную возрожденную храма.

Иногда на якорных стоянках, в несчастную свободную минуту, обычно после вечернего чая, заводили в кают-компанию новомодную европейскую новинку — фонограф, который барон Толль привез из Ревеля. Со сменных тон-валиков звучали романсы, такие странные под северным сиянием и такие вдруг многозначительные. Лейтенант Колчак слушал их, опустив голову, так что отросшая черная борода вросла в грубую вязку норвежского свитера (бриться опасной бритвой в качку — опасно, а безопасное лезвие «жилетт» будет изобретено только в следующем, 1901 году). Ему казалось, как, впрочем, и каждому из его однопоходников, что каждое слово, летящее из раструба чудоаппарата, — про него, про ту, которая осталась ждать...

И много лет прошло
Томительных и скучных.
И вот в тиши ночной
Твой голос слышу вновь.
И вижу, как тогда,
Во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь,
Что ты одна — любовь...

Потом, оставшись в тесной каютке наедине с собой, крохотным откидным столиком и листком почтовой бумаги, он быстро, почти не выбирая слов, писал: «Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая, и так жива передо мной вся картина нашей встречи, так мучительно и больно, как будто это было вчера, на душе.

Сколько бессонных ночей я провел у себя в каюте, шагая из угла в угол, сколько дум, горьких, безотрадных... без Вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. Вы были для меня больше, чем сама жизнь, и продолжить ее без



Вас мне невозможно. Все мое лучшее я нес к Вашим ногам, как к божеству моему, все свои силы я отдал Вам.

Я писал Вам, что думаю сократить переписку, но, когда пришел обычный час, в котором я привык беседовать с Вами, я понял, что не писать Вам, не делиться своими думами — свыше моих сил. Переписка с Вами стала для меня вторым “я”, и я отказываюсь от своего намерения и буду снова писать Вам, к чему бы это меня ни привело. Ведь Вы понимаете меня, и Вам может быть понятна моя глубокая печаль».

Однако не всегда в кают-компании «Зари» царила безмятежная атмосфера доброго путевого товарищества, все чаще и чаще охлаждалась она льдом взаимного неприятия барона и командира, Толля и Коломейцова...

Глава шестая

«ТАМ, ЗА ДАЛЬЮ НЕПОГОДЫ, ЕСТЬ БЛАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ...»

Москва. Июнь 1990 года

На дворе еще большевистская власть со всеми своими лубянками, идеологическими отделами, институтами марксизма-ленинизма, а на Волхонке, в Доме науки и техники, вечер, посвященный землепроходцу Русского Севера Александру Колчаку, первой русской полярной экспедиции. Афишу с большим скандалом удалось разместить только в вестибюле. Тем не менее зал был полон: пришли моряки, историки, журналисты, географы... Вечер вела на свой страх и риск (она же его и организовала) поэт Тамара Пономарева. С ее легкой руки я и познакомился с профессиональным путешественником биологом Юрием Чайковским, который более чем кто-либо исследовал документы экспедиции Толля и пришел к нестандартным выводам.

Юрий Чайковский считает, что именно конфликт между бароном и лейтенантом Коломейцовым погубил самого Толля.



РУКОЮ ИЗЫСКАТЕЛЯ: «Ссоры с Коломейцовым внешне не было, и отослан он был вроде по необходимости — обеспечить для “Зари” угольные склады, но все догадывались, что дело глубже. Когда прощались, Коломейцов со всеми обнялся, только барон протянул ему руку. Потом Коломейцов с Расторгуевым вернулись обмороженные, не найдя дороги, все высыпали на лед встречать их, один барон Толль ушел мрачный в каюту. И снова отослал, другой дорогою. Списал на берег. А в каюте Коломейцова собак поселил. В результате “Заря” осталась без командира и без угля. Дело в том, что Толль поставил перед Коломейцовым в качестве обязательной задачу, которую до этого экспедиция вовсе не ставила, — в течение двух летних сезонов создать два угольных склада (на Диксоне, что у устья Енисея, и на Котельном). Коломейцов предлагал начать с Котельного, поскольку без этого “Заря” не могла вернуться с “земли Санникова” на Диксон, но Толль настоял на складировании угля сперва на Диксоне. Этим он избавил себя от встречи с Коломейцовым на Котельном и погубил экспедицию, ибо на два склада денег у Академии не нашлось. Во время плавания Матисен и Колчак валились с ног, чередуясь на вахте. “Оба офицера нуждаются в восстановлении своих сил”, — записал Толль в дневнике уже на четвертый день навигации, но попытки вернуть командира не сделал. А склад у Диксона так и пропал зря.

Матисену, тоже отличному моряку, спорить с начальником экспедиции было, видимо, не под силу. Лишь однажды проявил твердость — когда не смогли подойти к Беннетту и, еле вырвавшись из льдов, сумели войти в отличную бухту на Котельном. Шторм, снег, море того и гляди встанет, в трюме течь, помпы надо чистить, главную машину тоже, угля в обрез, оба офицера с ног валяются (да и команда), а барон Толль решил — снова идти на Беннетта. Увидел на берегу отличную просторную поварню и загорелся: разберем, перевезем на Беннетта и там зазимуем вчетвером. Идея безумная, туда и пеший едва ли прошел бы, а тут — много тяжелейших нарт, миль 15 по невесть какому льду. Вот тогда-то Матисен и положил начальнику на стол список неисправностей —



так и так, мол, выйти в море нельзя. Барон и тут уступил не сразу. Дал шесть дней на ремонт, отказался от перевозки поварни, зато загорелся новой (совсем уж сумасшедшей) идеей — идти на Беннетта с четырьмя нартами, в расчете на голодную зимовку. Хорошо, что море встало, и вопрос надолго отпал.

Академия предложила Толлю, в ответ на его просьбу о втором складе угля, сократить круг работ, Толль же предпочел просто бросить “Зарю”. лейтенант Матисен, которого Толль назначил командиром, писал: “Толль не хотел больше плавать на судне или просто хотел от него избавиться”. Этот крик души был извлечен биографом Толля П.В. Виттенбургом из академического архива, а в официальных отчетах, публиковавшихся регулярно в “Известиях” Академии, все вроде бы шло гладко. Ознакомившийся с ними увидит полную нелепость: пока судно движется, Матисен, метеоролог, ставший фактически начальником экспедиции, ни на миг не может покинуть мостик, поскольку другой офицер (Колчак) — впервые в Арктике, а ледовая обстановка сложнейшая. Почти всю научную работу ведет (между вахтами) лейтенант Колчак, ему помогают наиболее грамотные и умные матросы и ссыльный студент-медик (присланный из Якутска взамен умершего судового врача), а других научных сотрудников на научном судне не осталось. “Заря” идет неизведанными водами, вдалеке виден неизвестный остров, но ничего нельзя исследовать, ибо весь уголь приказано тратить на то, чтобы вновь и вновь искать во льду щели, быть может, ведущие к Беннетту. В любой день “Заря” может быть раздавлена льдами, так что Матисен приказал держать документы, еду, одежду и нарты наготове в палубной надстройке — спасатели готовы стать потерпевшими, а им-то помочь не сможет никто.

Что ж, избавиться от “Зари” Толлю удалось, но ведь от себя не избавишься».

Коршун с крыльями широкими, как охотничьи лыжи, кружил над таймырской тундрой. Он следил за двумя крохотными фигурками, которые отчаянно пробирались в глубь гиблой земли,



и веющая птица чувствовала, что эти живые пока существа, чуждые суровому здешнему миру, очень скоро могут стать неживыми. Еще раньше ослабевшими настолько, что легко станут его добычей. Существом, которых выслеживал коршун, были два человека, забредших туда, куда не ступала нога их соплеменников: высокий, идущий впереди — барон Толль, пониже и также подавшийся вперед — Колчак. Оба помогали отоцвавшим собакам тянуть сани с поклажей. Тридцатые сутки брели они по тундре в поисках продовольственного склада, который Толль устроил на одной из приметных сопкок специально, чтобы пополнить запасы еды на обратный путь — на возвращение к «Заре».

В эти изнурительные санные (большей частью — пешие) походы по материк барон Толль отправлялся для сбора геологических образцов, а также и для того, чтобы не оставаться на шхуне в гостях у ее капитана Коломейцова. В тундре, за сотни верст от ближайшего человеческого жилья, в шаткой брезентовой палатке он чувствовал себя так же покойно, как в своей ревельской квартире. Вскоре и его спутник понял, что тундра для человека с полным патронташем и коробкой спичек и в самом деле может стать если не домом, то вполне обитаемым пространством. Это только на взгляд из столичных окон таймырская глушь — могила без стенок. Выжить тут можно, особенно если с тобой рядом бывалый и отважный человек, вроде Эдуарда Васильевича. И даже забывчивость его прощительна — будь ты штурманом о семи пядей во лбу, а запомнить место в этих уныло схожих сопках среди одинаковых озерков и закрученных в неразличимые загогулины речушек весьма непросто, даже если ты и сложил на вершине сопки гурий — приметный знак. Гурий над ящиком с консервами они соорудили три недели назад из кривой рогатины, с насаженным на нее черепом оленя. И теперь до куриной слепоты высматривали в белой замяти нескончаемой пурги этот спасительный знак. При одной только мысли, что в консервных банках — щи, гречневая каша с топленым маслом, горох со свиной тушенкой, желудок стискивали голодные судороги.



За 41 день они прошли 500 верст, дошли до мыса Челюскин, и весь этот путь лейтенант вел маршрутную съемку, делал магнитные наблюдения.

Как-то целые сутки им пришлось провести в палатке — снежный буран бушевал так, что носа не высунешь. Они и не высывали. Лежали в спальных мешках, положив промерзшие сапоги под голову. Курили трубки, чтобы глушить голод и иллюзорно согреваться хотя бы табачным дымом, благо табака хватало. Ждали того часа, единственного за все сутки, когда можно будет разжечь примус и вскипятить чай, а в него бросить пригоршню сухарных крошек да сахарных осколочков, а потом хлебать эту сладковатую, а главное, горячую тюрю, чувствуя, как с каждой ложкой в тебя входит жизнь. Палатка, обросшая внутри махровым инеем, ходила ходуном под порывами ветра. Воздух, нагретый дыханием и пламенем примуса, выдувался мгновенно.

Изобретателю примуса следовало бы поставить памятник. Без его изобретения не состоялось бы на заре XX века походов к Южному да и Северному полюсам планеты.

Только голубой венчик экономно горящего бензина позволил полярным первопроходцам выживать в ледяных пустынях Арктики и Антарктики. Канистра с бензином позволяла запасаться тепловой энергией на переходы в тысячи верст.

Обычно не слишком словоохотливый Толль весь день был чрезвычайно говорлив. Он рассказывал даже о своей жене Эммелине, оставленной невесть на сколько в Ревеле, но которая все равно его дождется...

— А у вас есть невеста? — спрашивал он Колчака.

— Есть. Презамечательная девушка, — отвечал лейтенант. Отсюда, из мрачных пустынь Таймыра, София казалась по меньшей мере живой богиней.

— Это очень хорошо, что вас кто-то ждет... Раз ждет, значит, молится. Ведь наши жизни здесь порой на честном слове висят...



Там, под вой пурги и заполошный трепет брезента на ветру, Колчак слушал великолепные лекции по геологии, подобно тому, как его отец постигал науку о земных недрах в Горном институте. Даже в этом он шел по отцовским стопам.

Говорили о многом, чтобы забыть о промозглом холоде, донимавшем обоих. Но самое главное — и это остро припомнилось Колчаку спустя двенадцать лет — Толль утверждал, что, судя по простиранию геологических структур, севернее мыса Челюскин должны быть большие острова. Так оно потом и оказалось!

Тогда, в 1901-м, они с Толлем были совсем рядом от этой неоткрытой земли. Всего два суточных перехода отделяло их от того, к чему они так отчаянно стремились. Ведь ширина пролива, отделявшего ближайший остров этой земли от материка, составляла всего 28 миль. Пешком можно была по льду добраться, не говоря про собачьи упряжки. А они поутру свернули палатку, уложили поклажу на сани и двинулись совсем в другую сторону, туда, куда манил их призрак пригрезившейся Санникову и Толлю неведомой земли¹.

Колчак с трудом тащил ноги: давал знать голод, почти все время они шли на урезанном вдвое пайке. Заветный знак продовольственного склада, олений череп на рогатине, все чаще представлял ему в образе Костявой с косой. Глубокий снег и встречный ветер уносил последние силы. Каждый уже тихо прощался про себя с земной юдолью. А склада с припрятанными продуктами все не было и не было...

ОРАКУЛ-2000.

Продовольственный склад барона Толля на Таймыре был найден лишь спустя семьдесят лет экспедицией Дмитрия Шпаро, организованной в семидесятые годы редакцией газеты «Комсомольская правда». Шпаро доставил прекрасно сохранившиеся банки с консервированными щуками и мясом в Москву. Некото-

¹ Сегодня считают, что Земля Санникова представляла собой скопление песка и пакового льда, которое к началу XX века было разнесено подводными течениями.



рые открыли и попробовали — вполне съедобно. Вечная мерзлота сохранила продукты не хуже любого холодильника. И автору этих строк довелось попробовать кашу из запасов барона Толля. Судьбы вещей и даже продуктов не менее причудливы, чем судьбы их владельцев.

Они возвращались на «Зарю», как на остров спасения. При этом Толль не без удивления отмечал, что его спутник, пожалуй, даже более бодр и энергичен, чем он сам, бывалый и закаленный полярник. Кому суждено сгинуть в полынье, тот не умрет от голода.

По ночам, прежде чем забраться в палатку, Колчак творил ежевечернюю молитву, как наставляли его дома и в Корпусе. Он крестился прямо на звездное небо, и каждое слово его молитвы отзывалось всполохом полярного сияния: «В руце Твои, Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой...»

Это был самый прекрасный храм во всем мире — с куполом, разверстым во всю Вселенную. Казалось, быть ближе к Богу уже невозможно, что Он сам смотрит на тебя глазами звезд, что Он непременно приведет тебя к спасению — к борту обледеневшей заснеженной шхуны, чьи мачты вздымались над белым безмолвием, как три поклонных креста...

Этот отчаянный переход превосходно описан в научной книге Валерия Синюкова «Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики»:

«Страшный шторм бушевал целую неделю. По утрам приходилось откапывать полуживых собак, нарты, палатку, собачьи хвосты вмерзали в лед.

Нередко нарты тащили лишь пять собак, остальные бежали рядом. Пришлось Дайку и Крошку освободить от ужасных страданий выстрелом из ружья. А до «Зари» оставалось еще 200 км. В лучшем случае их можно было пройти за девять дней. Хватит ли сил у людей и собак?

22 мая Толль записал, что питания для собак осталось на три дня, а для полярников — на 5—6 дней. Э.В. Толль по своей фанатичности чем-то напоминал Седова, который ушел к Северному



полкосу явно без каких-либо шансов вернуться. В критических ситуациях бывает, что полярники переоценивают свои возможности, не считаясь со здравым смыслом. Однако А.В. Колчак никогда не терял голову, его рассудительность и вдумчивость не раз помогали Толлю принять правильное решение. Например, Толль намеревался пройти вдоль побережья, чтобы уточнить и исправить данные топографической съемки, полученные ранее. Колчак убедил его, что для измученных людей такая работа непосильна. Постоянная сырость в палатке, влажные спальные мешки, вечно мокрые ноги — все эти тяготы совсем измотали людей.

“Сегодня съели последний сухарь, — пишет Толль 28 мая, — осталось немного крошек, которые бережем в качестве приправы к супу... Мы оба обессилели, питаюсь в штормовом лагере одной четвертью рациона. Чувствую себя особенно плохо — болит голова и наступила апатия, а также потерялся голос. Гидрограф (Колчак. — В.С.) бодрее и сохранил достаточно энергии, чтобы дойти сюда, в то время как я готов был сделать привал в любом месте”.

Собаки гибли одна за другой от голода. Колчак особенно любил собаку по кличке Печать, он предложил не пристреливать ее, а ослабевшую и полуживую довести на нартах до “Зари”. На нартах уже лежала Леска, привязанная сверху, чтобы не свалилась в пути. Колчак и Толль впряглись в лямки и потащили нарты вместе с несколькими собаками в упряжке, не желавшими двигаться, когда им не помогали. Полярники сами еле переступали, нестерпимо болели руки, ноги, все тело.

В эти тяжелые дни ни Колчак, ни Толль не были уверены, что им удастся добраться до шхуны. Ах, если бы встретился медведь или олень, тогда все были бы спасены. Вот о чем они больше всего мечтали! Движение с каждым днем становилось все медленнее. Рацион собак сократился в 3—4 раза. Собаки, везущие нарты (их было шесть), получали по целой рыбе, остальные четыре, идущие рядом, по половине.

30 мая в четверг экспедиция достигла мыса Миддендорфа и направилась к Таймырскому проливу. Собаки узнавали свой



старый след, приободрились. Но тут полярники из-за тумана прошли мимо своего продовольственного склада, который остался позади в пяти километрах. А до “Зари” было еще 35 км. Решили не возвращаться, а двигаться к шхуне. Люди уже более суток ничего не ели. Все, что у них осталось, отдавали собакам.

31 мая в пятницу Толль и Колчак все-таки дотянули до “Зари”. Последние 10 км были особенно трудными. Вместо еды для подкрепления сил выкуривали по трубке. И лишь когда увидели матчи шхуны, поняли, что спасены, что дома и живы!»

Да, они живыми вернулись на «Зарю», которая показалась им райским оазисом посреди ледяного ада. Долго отсыпались в тепле, отогревались чаем с мадерой (из личных запасов барона), потом засели за научные отчеты. Все пережитое осталось между скупых и точных строк. Перо барона Толля каллиграфически выводило:

«Наша экспедиция продолжалась всего 41 день, из которых 9 пошли на стоянки во время сильной пурги, а 4 — на безуспешную работу по раскопкам депо. В течение остальных 28 дней мы совершили около 500 верст.

Лейтенантом Колчаком была проведена маршрутная съемка, опиравшаяся на 9 астрономических пунктов. В первое время нашего пути им же производились на каждой стоянке магнитные наблюдения, но на десятый день, ввиду необходимости облегчить нарты, пришлось оставить инклинатор, который мы закопали вместе с некоторыми излишними вещами в снежный откос на берегу моря.

...Спрашивается, каковы будут результаты всех пережитых трудностей и невероятных лишений? Пока произведена только съемка побережья на небольшом протяжении к северо-востоку, причем установлено, что Таймырская бухта ни в коем случае не фиордообразная. Далее, брошен беглый взгляд в глубь полуострова, на скрытый туманами пустынный ландшафт. О геологии этих мест не удалось составить себе ясного представления. И это небольшое стоило нам полных лишений более 40 дней тяжелейшей работы и жизни нескольких собак!



Вчера после долгого времени я увидел маленькую стайку из пяти-шести пуночек, пролетавшую в двух километрах отсюда в глубь страны. В остальном все мертво.

Гидрограф Колчак составлял тем временем наброски будущей «Карты Таймырского пролива с частью Берега Лейтенанта Харитона Лаптева».

В благодарность за совместно пережитые тяготы и риск Толль назвал его именем один из открытых ими островов у берегов Таймыра. Остров Колчак находится между 68—70 градусами восточной долготы. Лейтенант, весьма польщенный такой наградой, сам нанес его на карту. Самую северную оконечность его он нарек мысом Случевского...

Сейчас острова Колчака на картах нет. Есть остров Расторгуева, переименованный в 1939 году ВСНХ СССР в угоду времени и его временщикам. Все попытки научной и военно-морской общественности докричаться, дозвониться, донести до президента СССР, а потом и президентов России мысль о справедливости возвращения острову в Таймырском заливе имени Колчака остаются без ответа.

Колчак и на второй зимовке времени даром не терял. Шхуна стояла недалеко от берега, и он покидал ее при каждом удобном случае, как астронавты покидают свою небесную станцию. Втроем, вдвоем, а то и в одиночку отправлялся он изучать огромный остров Котельный. Он пересек его весь, перебрался на соседнюю Землю Бунге, открыл новый остров, который назвали островом Стрижева.

В эту вторую зимовку лейтенант ощутил себя заправским полярником: он научился управлять собаками, свежевать убитого оленя, бить гусей влет, спать в снегу...

Он никогда не думал, что езда на собаках требует знаний не менее изощренных, чем езда на автомобилях или хождение под парусом. Кто мог подумать, что хорошая упряжка с двумя седоками может преодолеть до 250 километров в сутки? Полозья нарт для лучшего скольжения можно намораживать, а чтобы лед лучше держался, надо полозья предварительно покрывать



жидкой кашицей из торфа, глины или оленьего навоза при помощи заячьей лапки.

Даже было странно, что столько людей в родном Санкт-Петербурге живут и не подозревают о том, что при движении по морскому льду с солью собакам на лапы надевают чулки из выделанной оленьей кожи с отдельно вшитой подошвой. Надо следить, чтобы они не сжирали чулки. В сильные морозы собакам на паховую область надевают меховые набрюшники.

При ночевке на плотном снегу каждой собаке надо вырывать отдельную ямку, чтобы пес мог укрыться от ветра. Нарты бывают колымские и чукотские. Собак погоняют длинной палкой с наконечником — хореем, а тормозят короткой толстой палкой — остолом или торилом.

При цуговой упряжке в пути надо время от времени менять местами собак, так как самая тяжелая работа для них — сзади, в «корню», а передовые утомляются больше всего при глубоком снеге. Самые лучшие в мире каюры — якуты, чукчи и русские северяне. Вожак понимает их с голоса.

Вожак идет в паре со второй после него по качеству собакой под вожак; вожак выбирает дорогу, заставляет весь потяг преодолевать препятствия, удерживать других собак от погони за пробегающим зайцем.

На ночь собак привязывают к длинной цепи короткими, в аршин, цепочками; ремни перегрызут. Кормят только вечером, раз в сутки. Суточная норма сухого корма (крупы, галеты, пеммикан) — до килограмма, а мороженого мяса — до двух килограммов. Упряжка из десяти собак за двадцать дней пути съедает вес груза, который могут тянуть. Во время пережидания пурги — норма та же. Упряжка не может идти против ветра, дующего со скоростью 7—8 метров в секунду.

Весьма и весьма расширил он и свои теоретические познания. Барон Толль сумел превратить шхуну в своего рода плавучий университет, где регулярно проводил научные беседы с командой «Зари». Выступали перед матросами и Колчак с докладами по своей тематике, зоолог Бируля, магнитолог Зееберг... По вечерам



в кают-компаниях разгорались диспуты по самым разным предметам: от философии до военно-морской стратегии...

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Поначалу лейтенант-гидрограф, — Бялыницкий-Бируля имел в виду Колчака, — придиричивый к матросам, с собаками был и вовсе строг, а дикого зверя и птиц рассматривал лишь через прорезь своего винчестера. В поездках с Толлем он впервые полюбил лающую и скулящую братию и под конец даже сам уговаривал Толля не убивать больных собак, класть их на нары — авось отлежатся. А в уса­тых моржей прямо-таки влюбился и на мушку не брал».

Больше всех из команды сдружился Колчак с боцманом шхуны Никифором Бегичевым.

Глава седьмая

«ПРИЗРАЧНО ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ БУШУЮЩЕМ...»

Со дня выхода «Зари» из Екатерининской гавани прошло почти два года...

Краткая хронология многомесячного похода «Зари» уложится в несколько строк: в первое экспедиционное лето шхуне удалось пересечь Карское море, зайти ненадолго на Диксон и выйти к берегам Таймыра, где пришлось стать на зимовку в бухте Колин-Арчера близ острова Норденшельда в Таймырской губе. Зимовка растянулась на 11 месяцев. Только 30 августа 1901 года «Заря» сумела вырваться из ледового плена и пересекла море Лаптевых, дойдя до острова Котельный. Если представить, что к Земле Санникова, в высокие широты, ведет некая лестница, то остров Котельный будет первой, начальной ее ступенькой. Следующая ступень — остров Фадеевский, затем — остров Новая Сибирь, и, наконец, стартовая площадка к Земле Санникова — остров Беннетта. Отсюда ее и увидел в синей дымке барон Толль в первую свою экспедицию, здесь же, на северной кромке острова, кончалась и карта северных владений Российской империи. Но выйти на эту финишную прямую (остров Беннетта — Земля Сан-



никова) было совсем непросто. А в тот год и вовсе невозможно из-за сплоченных льдов, наглухо преградивших путь «Заре».

Вторую зимовку во льдах — унылую, безрассветную и бесконечную, как вой пурги в обледеневших снастях — экспедиция Толля провела в лагуне Нерпалах на западном берегу острова Котельный. Барон с нетерпением ждал лета, их третьего арктического лета, когда можно будет совершить решающий бросок к заветной цели. Для себя он решил: не возвращаться домой, не открыв Земли Санникова. Он записал это в своем дневнике как рыцарскую клятву: «Только бы мне достигнуть цели!.. Как туго натянутые струны напряжены мои нервы...»

Нервы были напряжены у всех: вторая арктическая зимовка — это очень трудно. Голод витаминный, световой, информационный сказывался на каждом — люди сделались сонливы и раздражительны. Тем не менее, как и во время первой зимовки, жизнь на «Заре», во многом благодаря лейтенанту Коломейцову, была подчинена твердому корабельному распорядку. Барон Толль попытался подогнать течение корабельной жизни под график научных исследований. Их и без того непростые отношения обострились еще больше. Колчак оказался между двух огней. С одной стороны, он принимал правоту Коломейцова как командира корабля, с другой — прекрасно сознавал, что строевой уклад жизни на судне — не самоцель, шхуна пришла в эти края ради дела науки. И истинный командор экспедиции — барон Толль. Может быть, поэтому, лейтенант Коломейцов с горечью отмечал в своем дневнике, что Колчак «на всякую работу, не имеющую прямого отношения к судну, смотрит, как на неизбежное зло, и не только не желает содействовать ей, но даже относится к ней с какой-то враждебностью». Зато Толлю его второй магнитолог и гидрограф нравился все больше и больше: «Колчак не только лучший офицер, но он также любовно предан своей гидрологии... Научная работа выполнялась им с большой энергией, несмотря на трудность соединить обязанности морского офицера с деятельностью ученого...



...Во время обеда ведется обычно интересная застольная беседа, в которой принимает участие главным образом гидрограф, человек очень начитанный... Беседую и забавляюсь горячим спором между Матисеном и Колчаком: они неизменно придерживаются противоположных мнений, но благодаря добродушию Матисена остаются в дружбе, несмотря на частое раздражение гидрографа».

Лейтенант Матисен держался того же мнения о бароне Толле, что и командир шхуны, разве что не высказывал его вслух, но поверял лишь дневнику:

«Толль не раз говорил... что он всецело придерживается высказанного А.Ф. Миддендорфом взгляда на экспедиционное судно как на временное жилище и склад продовольствия, которое должно вести экспедицию по возможности дальше к северу и в случае надобности должно быть оставлено... Начальник экспедиции не имеет права покидать судно и личный состав экспедиции. Пример Нансена не может служить оправданием для такого поступка, так как, несмотря на исключительно счастливое окончание экспедиции, он в принципе заслуживает порицания».

К концу мая 1902 года барон Толль понял, что ждать «у моря погоды» больше нельзя. Запасы угля на шхуне оставляли желать лучшего, а льды не только не собирались расступаться перед форштевнем «Зари», но и сплывались все плотнее, все непроходимее. На пути стояли гигантские стамухи — ледяные баррикады, взгроможденные силой океана и арктических штормов... Изрядно потертая льдами шхуна не могла подобраться не то что к Земле Санникова, но даже к острову Беннетта.

И что же? Возвращаться ни с чем? Говорить в свое оправдание банальное — «льды не позволили пройти»? Признать, что отпущенные Академией наук огромные средства (в кредит!) истрачены впустую? Предстать в глазах коллег, в глазах Эмме-лины и двух дочерей прожектором-неудачником? Это после грома фанфар, под которые отправлялась экспедиция, после всех заверений и обещаний под звон банкетных бокалов...



О нет! Барон поставил на белую карту Арктики воистину все — и свое доброе имя, и свою жизнь. Он решил идти к Земле Санникова, не дожидаясь, когда это позволят льды и погода. Именно по тем же мотивам старший лейтенант Георгий Седов, спустя десять лет, ринется в самоубийственный бросок к Северному полюсу. Долг чести!..

В спутники барон Толль выбрал себе астронома Фридриха Зееберга и двух сынов здешней тундры; эвенка Николая Протодяконова, по прозвищу Омук, и якута Василия Горохова, по прозвищу Чичак. Оба охотника не раз летоовали на арктических островах, добывая мамонтовую кость, соболей и рыбу. Бывало, и с медведем сходились один на один. Одного боялись — открытой воды. Однако плавать не умели...

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Толль допускал, что вода без края и конца может их пугать, а потому готов отпустить сопровождающих, и дальнейшее путешествие намеревался осуществить вдвоем с астрономом Ф.Г. Зеебергом. Толль считал, что залогом успеха любого предприятия должно быть добровольное участие, и если по каким-либо причинам человек высказывает нервозность и раздражение, лучше с ним расстаться, — отмечал в своем дневнике врач экспедиции Николай Катин-Ярцев. — ...Вечером барон Э.В. Толль, астроном Ф.Г. Зееберг, каюры Протодяконов и Горохов покинули лагерь “Зари” и на трех нартах, из которых одну рассчитывали бросить на Новой Сибири, ушли в неизвестность...»

Лейтенант Колчак провожал своего учителя без лишних слов. Он прекрасно понимал *куда* уходит Толль, как понимал и *зачем* он уходит.

Спокойное, почти сдержанное прощание барона с теми, кто оставался на «Заре», стало еще одним уроком мужества для молодого офицера. Много лет спустя адмирал Колчак столь же спокойно и столь же мужественно отправится в свой последний путь на берег реки Ушаковки...

Перед уходом Толль, отдав все необходимые распоряжения остающимся, оставил в своей каюте с полдюжины бутылок



шампанского, чудом сохраненного за два года пути и зимовок. Именно этим радостным напитком собирался он отметить открытие легендарной земли. Увы, вино это открыли на помин его души...

Однако тогда, летом 1902-го, на «Заре» ждали их возвращения или же готовились идти за ними на остров Бенетта, если позволят льды...

Колчак с мичманских времен берегся от такого офицерского греха, как панибратство с нижними чинами. Не делал он исключения и для боцмана Бегичева, несмотря на его особое положение как главного смотрителя и хозяина корабля. Хмурый немногословный волжанин, чья флотская служба началась в один год с офицерской службой Колчака (они были ровесниками), мало-помалу расположил к себе строгого лейтенанта. Однако, как часто бывает, прежде чем подружиться, надо хорошо поссориться. Стычка между лейтенантом-гидрографом и боцманом произошла во время второй зимовки у острова Котельный. Видимо, сказывалась общая усталость затянувшегося плавания.

Биограф Бегичева, известный полярник и литератор Никита Болотников, пишет: «Как-то Бегичев и матросы обкладывали снегом борт судна. Из кают-компания вышел Колчак и позвал вахтенного Железникова, которого раньше послал привезти несколько бревен в домик для магнитных наблюдений. “...Зовет меня, — описывает Бегичев этот инцидент, — и говорит: «Где у тебя вахтенный?» Я говорю: «Вы его куда-то сами послали». Он меня обругал, я очень озлился на несправедливость и обругал его... Раз офицер Его Величества так ругается, то мне, наверное, совсем можно. Он сказал: «Я на тебя донесу морскому министру», а я сказал: «Хотя бы и императору, я никого не боюсь». Он крикнул: «Я тебя застрелю!» Я схватил железную лопату и бросился к нему. Но он тут же ушел в каюту”.

После этой ссоры Бегичев решил оставить “Зарю”. Боцман понимал, что еще одна подобная стычка, и он, несмотря на свое подчиненное положение, не простит обиды. Заметив Колчака, возвращавшегося с магнитных полей, Бегичев подошел к нему



и заявил о своем желании списаться с судна. Решительный тон Бегичева подействовал. Гидрограф понял, что боцман не шутит, добьется своего, и постарался замять инцидент».

Да, Колчак извинился перед боцманом. Могли ли они оба представить себе в пылу ссоры, что очень скоро не просто сдружатся — сроднятся настолько, что горячий лейтенант попросит Бегичева быть свидетелем на его свадьбе? Более того, отправятся вместе на фронт в Порт-Артур...

В советские времена Никифору Бегичеву, конечно же, пытались припомнить дружбу с Колчаком. Может, потому он и не вылезал из своих северов, кочуя из одной экспедиции в другую. Однако слабину дал «железный боцман», пытаясь облегчить свою участь.

Как ни кололо глаз партийным властям сподвижничество Бегичева с Колчаком, а памятник железному боцману все-таки поставили. Далеко от Большой земли, на острове Диксон.

Итак, последним распоряжением барона Толля, ставшим по воле судьбы и его завещанием, было — увезти «Зарю» в устье Лены (запасы топлива на шхуне кончались), доставить в Петербург собранные материалы и коллекции и готовить новую экспедицию.

Матисен и Колчак выполнили последнюю волю командора. В декабре 1902 года лейтенант Колчак наконец выбрался из сибирских буранов. В 1903 году Колчак организовал экспедицию по спасению барона Толля.

Экспедиция, состоящая из 7 человек с 10 нартами и вельботом, с всего лишь трехмесячным запасом продовольствия, минимумом снаряжения, совершила, казалось бы, невозможное. Добравшись до моря и дождавшись его частичного вскрытия, Колчак и его товарищи то под парусами, то работая веслами, то впрягаясь в лямки и перетаскивая вельбот с тяжелым грузом через массы льда, добрались через несколько недель (4 августа) до острова Беннетта. Начальник экспедиции в полной мере со всеми делил напряженный сверх меры физический труд. Нередко приходилось добираться с вельбота до берега по ледяной воде вплавь.



К исходу двенадцатых суток изнурительной гребли в крайне опасном плавании утлого суденышка в полярных океанских водах подул южный попутный ветер, совпавший со встречей, казалось, с очень надежной большой льдиной. Погрузились на нее. Ветер крепчал и гнал ее на север, к цели. Все были довольны, что «едут на казенный счет», представилась возможность отдохнуть. Поставили палатку, все устроились в ней, легли и уснули как убитые. Не спалось почему-то лишь боцману Н.А. Бегичеву. Только было он стал засыпать, как почувствовал нечто тревожное, заставившее его вскочить на ноги.

РУКОЮ ОЧЕВИДИЦА. «Только что я стал засыпать, — вспоминал он, — сильным порывом ветра ударила о льдину волна и окатила всю палатку. Я выскочил и увидел, что льдину у нас переломило пополам по самый вельбот. Другую половину льдины унесло, и вельбот катится в воду, Я стал всех будить, а сам держу вельбот, не пускаю его упасть в воду. Все быстро вскочили и вытащили вельбот подальше на лед. Льдина стала маленькой, саженьей 70 в квадрате, но толстая: от поверхности воды будет аршина полтора. Ветер усилился. Временами волна захлестывает далеко на льдину. Решили остаться переждать погоду. Палатку и вельбот перетащили на середину, и вельбот привязали вокруг палатки. Один конец я взял к себе в палатку, для того, чтобы если льдину еще переломит и вельбот станет погружаться в воду, то мы услышим и быстро проснемся. Все устроили и заснули как убитые».

В память Колчака также врезалось это событие, чуть было не стоившее жизни им всем.

Шестого августа 1903 года вельбот под командованием лейтенанта Колчака достиг Земли Беннетта — безжизненной скалистой суши, придавленной льдами. Она считалась неприступной с моря, эта навечно вымерзшая земля. Мыс, на котором высадились отважная семерка, Колчак назвал Преображенским, ибо 6 августа было днем Преображения Господня.

На средневековых картах эти места, совершенно неизвестные географам, обозначались одним словом — «Tartaria». Отсюда



и выражение — провалиться в тартары. Колчак провалился в тартары в буквальном смысле..

Этот заветный остров открылся Колчаку так.

РУКОЮ КОЛЧАКА: «Наконец на вторые сутки на прояснившемся туманном горизонте вырисовывались черные отвесно спускающиеся в море скалы острова Беннетта, испещренные полосами и пятнами снеговых залежей; постепенно поднимающийся туман открыл нам весь южный берег острова... Под берегом плавала масса мощных льдин, возвышавшихся над водой до 20-ти — 25-ти футов; множество кайр и чистиков со стайками плавунчиков лежали кругом, с необыкновенным равнодушием к вельботу... кое-где на льдинах чернели лежащие тюлени».

«Ветер стих, мы убрали паруса, — писал Колчак, — и на веслах стали пробираться между льдинами. Без особых затруднений мы подошли под самые отвесно поднимающиеся на несколько сот футов скалы, у основания которых на глубине 8—9-ти сажен через необыкновенно прозрачную воду виднелось дно, усеянное крупными обломками и валунами. Неподалеку мы нашли в устье долины со склонами, покрытыми россыпями, узкое песчаное побережье, где высадились, разгрузились и вытащили на берег вельбот».

Ничто не выдавало здесь следов Толля. Надо было идти в глубь этой гибельной суши. По счастью, наметанный глаз экспедиционера заметил гурий — рукотворную горку камней, придавливавших медвежью шкуру. На следующий день они наткнулись на обломок весла, торчавшего из груды камней, а в камнях увидели бутылку, из которой вытряхнули листок с запиской Толля и планом острова, где была помечена хижина. Шли к ней торопясь, спрямляя порой путь через лед бухты. Прихваченный летним солнцем ледяной покров разошелся под сапогами Колчака, и тот ухнул в полынью с головой. Его вытащил боцман Бегичев. Возвращаться в палатку лейтенант наотрез отказался. Промокшую одежду сушил на себе, согреваясь скорым шагом по крутизне берега... Наконец увидели хижину, сложенную из плавника и камней, крытую медвежьими шкурами. Подошли



с замиранием сердца, ожидая увидеть скелеты, обгрызенные леммингами и песцами. Нашли же — пустоту, забитую лежа-лым снегом. Разгребли, чем могли, и извлекали ящик с образцами пород, ненужные в дороге вещи, последнее письмо Толля — не жене — президенту Академии наук. И от письма, и от этой унылой хижины веяло таким самоотречением во имя суровой земледведческой науки, что у Колчака и его спутников невольно повлажнели глаза.

Барон сообщал в письме, что, израсходовав продовольствие, он принял отчаянное решение возвратиться пешком на Новосибирские острова к главному складу, где хранилась провизия. Последняя запись была помечена концом ноября 1902 года. Оставалось только догадываться, что могла сделать с полутолод-ными людьми полярная ночь, вкупе с сорокаградусной стужей.

Однако надо было знать точно: добрался ли Толль до Новосибирских островов? И Колчак повторил свой немислимый путь в обратном направлении.

Склад провизии, к которому пробивался барон, оказался никем не тронутым. Спасатели сняли шапки и перекрестились. Прими, Господи, отважные души!

Выждав на острове Котельном, когда замерзнет море, Колчак в октябре перешел по льду на материк в Устьянск, не потеряв ни одного из своих верных помощников.

Так закончились обе полярные экспедиции, на которые лейтенант Колчак положил без малого четыре года лучшей поры своей жизни.

За свою подвижническую научную деятельность Александру Колчаку была вручена весьма необычная в мирное время для молодого офицера награда — орден Св. Владимира IV степени. Академия наук и Императорское Географическое общество удостоили его Большой золотой медали, которой до Колчака были награждены всего лишь два исследователя.

Казалось, жизнь его определилась раз и навсегда — гидрографический факультет Морской академии, а там новые экспедиции, новые открытия, новые труды и новые награды...



Однако карьере моряка-ученого не суждено было стать...

Николай Николаевич Коломейцов остался верен себе и флотскому Уставу. После неудачного для него плавания на «Заре» он, как и Колчак, как и Матисен, как и боцман Бегичев, отправился на Русско-японскую войну. В Цусимском сражении командовал миноносцем «Буйный», именно ему выпала отчаянная миссия снимать тяжело раненого флагмана Рождественского вместе со штабом с эскадренного броненосца «Суворов»...

Старый холостяк Коломейцов женился аж в 42 года на Нине Дмитриевне Набоковой, родной тетке Владимира Набокова, ставшего известным писателем.

Контр-адмиральский чин он получил раньше, чем Колчак, — в 1913 году. Однако бывший его соратник и вахтенный офицер все же обогнал его в чинах, получив на год раньше второго орла на адмиральские погоны. Коломейцов стал вице-адмиралом всего за две недели до Октябрьского переворота.

Он четко шел по строевой линии: после «Зари» командовал ледоколом «Ермак», в Цусиму ушел командиром миноносца «Буйный», потом служил старшим офицером на линкоре «Андрей Первозванный»... Был привлечен Колчаком к строительству парохода ледокольного типа «Таймыр».

Перед Первой мировой войной командовал линкором «Слава».

После 17-го был арестован большевиками и заключен в Петропавловскую крепость. В конце 1918 года бежал в Финляндию по льду Финского залива, благо имелся полярный опыт. У белых на Черном море возглавлял группу ледоколов.

Эмигрировал во Францию, где в 1944 году трагически закончил свой жизненный путь. Тем не менее Николай Николаевич намного пережил своих товарищей по «Заре». Если бы не американский грузовик, который сбил 77-летнего старика в только что освобожденном от немцев Париже, возможно, он разменял бы и девятый десяток. Его похоронили на Сент-Женевьев де Буа.

Лишь ему одному из офицеров «Зари» довелось лечь под могильным крестом. Другим же — барону Толлю, астроному



Зеебергу, лейтенантам Матисену, Колчаку — эпитафией стала строчка из песни «Варяг»: «Не скажет ни камень, ни крест, где леги во славу мы русского флага...»

Несмотря на «белогвардейско-эмигрантское прошлое», имя Коломейцова многократно увековечено на карте: тут и остров в архипелаге Норденшельда, и бухта в море Лаптевых, и река на Таймыре, и гора на острове Расторгуева (Колчака), и проливчик в шхерах Минина. И даже гидрографическое судно названо в его честь — «Николай Коломейцов».

ОРАКУЛ-2000.

В конце XX века, который начался для русской Арктики под посвист ветра в снастях «Зари» и шорох санных полозьев экспедиции Толля, в эти же места по полярным льдам ушли в высокие широты лыжники под водительством офицера Российской армии, подполковника Владимира Чукова. Они шли все к той же цели, под той же Прикол-звездой, что манила и светила всем русским северопроходцам.

В отличие от других лыжных экстремалов Чуков шел со своей группой без какой-либо поддержки с воздуха, в режиме полной автономности, как шли по здешним льдам Толль с Колчаком, как шел Колчак с Бегичевым, уповая только на свои силы и «Господи помилуй!».

«Воин должен быть почти святым», — утверждал Прудон. Это и про Чукова тоже...

Он и его парни шли к Северному полюсу, теряя товарищей, шли по самой кромке жизни, как по кромке льда, и делали это вовсе не для того, чтобы установить очередной рекорд для Книги Гиннеса. Чуков, с заиндевелой бородой и бровями, чем-то похожий одновременно и на барона Толля, и на лейтенанта Колчака, признался однажды:

— Полюс для меня святое место. Именно там, в истязательном паломничестве к нему, и происходит очищение души. Ведь все великие души были воспитаны на страдании.

Странное дело: прошло столько лет, и каких лет! Какими только походами-экспедициями они не прогремели, а в конце



XX столетия вдруг снова заговорили о той почти безвестной на фоне потрясающих свершений века, ничего толком не открывшей экспедиции на шхуне «Заря». Вдруг стали выходить книги одна за другой, посвященные барону Толлю, лейтенанту Колчаку, киноленты, видеофильмы... Вдруг стало почему-то важным узнать и осознать каждую деталь, каждую подробность той отчаянной экспедиции, завершившейся трагической гибелью своего командора и его сподвижника. Может быть, потому, что она была самой первой попыткой века познать свое время и свое пространство, открыть не столько новые земли в морях, сколько новые вершины в человеческих душах? И на этой незримой карте рядом с пиками Толля и Зееберга встали пики Колчака и Бегичева.

Но сейчас стал ясен провидческий смысл того похода. То была экспедиция стратегического назначения. Она проводилась скорее в интересах Военно-морского флота, нежели в интересах Академии наук. Да, они искали Землю Санникова, но они искали и выходы каменного угля, для того чтобы кораблям, переходящим с запада на восток, из Мурманска и Архангельска на Камчатку и во Владивосток, было чем заправлять свои бункеры на середине пути. Правда, к тому времени, когда такие походы стали проводиться, кораблям уже требовался не уголь, а жидкое топливо. Но гидрограф Колчак и его сотоварищи весьма основательно изучали льды Арктики — их движение, толщину, природу образования, плотность... Изучали столь скрупулезно, будто наперед знали, что именно льды, ледяной панцирь Северного океана станут последним щитом России, ее последним бастионом. Почему последним и почему щитом?

Да потому что последним рубежом обороны от наседающего Атлантического блока, последним прибежищем подводных ракетодомов России, ее подводных атомных крейсеров с баллистическими ракетами в шахтах стали паковые льды, под которыми они сохраняют свою, как говорят военные люди, «боевую устойчивость», то есть неуязвимость. Сквозь толщу паковых льдов не проникают «щупальца» поисковых электронно-лазерных систем. Не проложены там и кабели для донных гидрофонов-



случаей. А российские подводники освоили подледное пространство настолько, что могут всплывать практически в любой его точке.

«Начиная с 1991 года, — утверждают военные аналитики, — внимание командования ВМС США и НАТО к Арктике, как наиболее возможному району боевых действий атомных подводных лодок, резко возрастает... При определенных вариантах развития военно-политической обстановке в мире Арктика может стать наиболее вероятным океанским театром военных действий и даже основополагающим центром и причиной полномасштабной войны».

Мы оставили наивыгоднейшие плацдармы в Европе. Мы рассекретили ракетные установки железнодорожного базирования. Утратили скрытность почти всех наземных шахтных установок.

И только потому, что Россия все еще сохраняла возможность ответного ракетного удара из-под арктических льдов, с ней так и не посмели разговаривать на языке «стелсов» и «томагавков». Ледяным щитом прикрылась Россия на исходе кровавого века, и на том щите оставлены имена тех, кто пришел сюда на «Заре» в 1901 году.

ОДИССЕЯ КАПИТАНА КОНДОРА

А в море бывает хуже...
*Самоутешение моряков
на берегу*

Глава первая

СЕМЬ «ЧЕРТОВЫХ ДЮЖИН»

Полярный. Екатерининская гавань.

20 февраля 1942 года

Бритье — процесс жизнеутверждающий, даже когда смерть заглядывает через плечо в твое зеркальце. В осколке кухонного зеркала, перед которым капитан-лейтенант Кондратьев намыливал щеки, отражалась в раме окна Екатерининская гавань, а в ней черная, как эшафот, рубка подводной лодки «М-91». Это была его «малютка» с везучим, как полагали все, тактическим номером в семь «чертовых дюжин»: $7 \times 13 = 91$. Теперь капитан-лейтенанту Кондратьеву предстояло испытать на себе это дивизионное поверье. Сегодня в ночь он уходил в свой первый самостоятельный командирский поход — без «дядьки», без «вывозного», без старшего на борту. Уходил он на свободную охоту в Тана-фиорда, и потому сердце его колотилось под темно-синим флотским кителем азартно и тревожно, слегка замирая при мыслях о глубинах в «пять трамвайных остановок», о минных полях, выставленных немцами при входах во все большие фиорды, о патрульных «Аррадо», которые не давали покоя подлодкам даже



в районах зарядки аккумуляторных батарей, о... Кондратьев гнал эти тоскливые мысли нарочито бодрыми командами, которые он подавал самому себе:

— Выбрить правую щеку! Есть выбрить правую щеку! Бреется правая щека... Намылить подбородок! Есть намылить подбородок! Отставить!

Командир 91-й отшвырнул бритву: кто же бреется перед выходом в море?! Он нарушил старый подводничий обычай, и теперь, ох, несдобровать в Тана-фиорде! Да еще этот осколок разбитого зеркала на кухне. Давно надо было выбросить! Да еще выход в пятницу... Все сходилось одно к одному.

На лодку Кондратьев прибыл за четверть часа до подъема флага. Экипаж «малютки» из шестнадцати человек уже стоял на заснеженном пирсе в двухшереножном строю. Помощник, он же штурман, двадцатилетний лейтенант Ладощка, срывающимся тенорком доложил о готовности к подъему флага. Кондратьев обвел взглядом своих людей так, будто видел их впервые. Правый фланг открывал круглолицый инженер-механик Квасов. Он был вторым офицером на лодке после помощника. Горький пьяница, но великолепный дизелист, инженер-капитан-лейтенант был снят из флагманских механиков «малюточного» дивизиона и назначен на лодку обычным «дедом». В море с таким мехом — горя не знать... Рядом с ним — боцман главстаршина Ухналев, донской казак, человек ершистый, горластый, однако знающий толк в непростом боцманском деле. По совместительству — корабельный фельдшер, поскольку учился в далекой юности на зоотехника. Во всяком случае одна операция удавалась ему мастерски: боцман выводил Квасова из запоя в любое время дня и суток, вливая механику в глотку зверский коктейль из спирта, разведенного соляром.

По левое плечо боцмана — командир отделения рулевых-сигнальщиков старший матрос Саша Гай, гитарист, гармонист, балабола, душа любой компании, любимец полярников-зенитчиков, телефонисток и медсестер. На мостике Гаю цены нет: один



держит зорким взглядом весь круг морского горизонта. Чайка тишком не пролетит.

Далее — матрос Шкерия, кок-торпедист. Лучший кулинар среди торпедистов и лучший торпедист среди кулинаров. У каждого подводника на «малютке» по две специальности: радиотелеграфист, он же и гидроакустик, а штурманский электрик несет вахту не только у гирокомпаса, но и у гребного электромотора... Мал подводный кораблик, да опасен. Не зря говорят: «Не так страшен черт, как его “малютки”». По лабиринтам норвежских шхер только на них и лазать.

— Команде вниз! Корабль к бою и походу изготовить!

В один миг вся подводная братия исчезла в верхнем рубочном люке. Командир последним влез в стальной колодезь входной шахты. Подводная лодка, даже когда она стоит у причала, уже линия фронта. Люк задраил — и ты в траншее. Вышел в море — и ты уже в бою, даром что со стихией. А уж противника встретил, тут уж над тобой тройная смерть нависла: от коварства всегда жизнеопасной лодочной машинерии, от разгула морской стихии и от глубинных бомб надводного врага.

Кондратьев вдохнул привычный лодочный воздух, насыщенный запахами соляра, краски, резины, хлеба и дешевого матросского одеколona. Переоделся из шинели в ватник. Как поет балабола Гай под гитару: «Маленькой лодочке холодно зимой». В «малютках» не предусмотрено отопление, и экипаж согревается на походе надышанным воздухом, да теплом от работающих механизмов.

В штурманской выгородке лейтенант Ладошка переносил на карту последние данные разведки о минных заграждениях немцев на подходах к Варангеру. Залив Тана-фиора, куда предстояло проникнуть «М-91», уходил в глубь побережья миль на сорок. В гавани Таны всегда отставались немецкие транспорты и эсминцы. Вглядываясь в изобаты глубин, Кондратьев пытался представить себе, где и как по склонам подводного каньона



лежат три погибшие там «малютки». Кто их, что их погубило — никто никогда не скажет. Очертания Тана-фиорда походили на распахнутую трехлопастную пасть каменного монстра. В ней предстояло провести по меньшей мере неделю... Эх, не надо было браться перед походом!

За час до полуночи над Екатерининской гаванью разыгралось северное сияние. Зеленовато-призрачные всполохи перебежали от горы Вестник до горы Энгельгардта. Поди прочти в них что-нибудь...

«Малютка» Кондратьева уходила в море глухой ночью. По обычаю — на счастье — «чалки» с причальных палов сбросил сам командир дивизиона.

— С Богом! — напутствовал он, хотя не верил ни в черта, ни в Бога.

— Малый вперед! — крикнул Кондратьев в амбюшур переговорной трубы, и «аркашка» — коломенский дизелек — забубнил свою походную песнь. Красные гранитные скалы в белых снежных языках нехотя расступались по бортам субмарины, открывая хорошо подсвеченный луной горизонт. Сколько раз Кондратьев видел эту грань моря и неба, но на сей раз это был его горизонт. Он, и только он, капитан-лейтенант Иван Кондратьев, отвечал сегодня за все, что ожидает его корабль, его людей.

Едва вышли из Кольского и обогнули мыс Цыпнаволоок, как крутая волна зимнего шторма ударила «малютку» по скулам. Впору было погружаться, но тогда, израсходовав энергозапас аккумуляторных батарей, надо было вместо боевой позиции уходить подальше от берега, чтобы бить зарядку по полной схеме. Кондратьев вместе с сигнальщиком Гаем перемогали шторм на мостике до последней надежды. И только тогда, когда Квасов доложил, что из аккумуляторных баков выплескивается электролит, командир отдал долгожданный приказ: «К погружению!» На траверзе погашенного Вайдагубского маяка «М-91» ушла под белые гребни волн. Но и на рабочей глубине в сорок метров «малютку» покачивало весьма ощутимо. Оставив на



командирской вахте штурмана, Кондратьев пошел по отсекам. В аккумуляторной яме оба электрика отмывали от кислоты трюм ветошью, смоченной в содовом растворе. Мотористы блаженно почивали, привалившись спинами к горячему дизелю. Их вахта кончилась. Квасов в аварийном свитере под расстегнутым кителем озабоченно поглядывал на ампер-часы.

— Ну что, мех, схарчим батарею до позиции? Или дотянем?

— На пару часов хватит. А там уж лучше подзарядиться.

— Да уж лучше быть здоровым и богатым...

Кондратьев заглянул в дверцу радиорубки, где гидроакустик Хмара напряженно вслушивался в шумы штормового моря. Он сидел в ватнике, накинутом поверх бушлата, и прижимал наушники ладонями, разбирая лишь ему одному слышимые звуки. Капельки пота выступили на висках. Кондратьев и без доклада понял — цель!

— Ну?

Хмара помедлил еще с минуту, наконец удостоверился.

— По пеленгу сорок — цель! Предполагаю — эсминец.

— Боевая тревога! Торпедная атака!

Глава вторая

ПО СУХУ, АКИ ПО МОРЮ

Всплыв под перископ, Кондратьев, кроме верхушек волн, ничего не заметил. Шторм, хоть и послабел, но нечего было и думать атаковать эсминец из-под воды. Всплыли под рубку, и только тогда, при свете бессолнечной полярной зари, востроглазый Гай с трудом заметил мачты эсминца, то возникающие, то исчезающие в провалах дальних волн. Завидная добыча уходила на запад. А «М-91», несостоявшаяся добыча эсминца, обогнув полуостров Варангер, взяла курс на чистый зюйд — на вход в Тана-фиорд. Входили темной ночью в надводном положении, прижимаясь сначала к западному берегу, потом к восточному.



В четыре часа утра, завидев быстро идущий торпедный катер, погрузились и пошли на перископной глубине. А в четыре двенадцать резиновый наглазник перископа с силой ударил Кондратьева в лицо, да так, что он на секунду потерял сознание, почти не расслышав глухого взрыва под кормой «малютки». Лодку тряхнуло так, что нос выбросило из-под воды, и всех, кто стоял в отсеках, швырнуло на кормовые переборки. Погас свет, и палуба в кромешной тьме вдруг стала уходить на корму, дыбясь, как сходя в отлив. «Вот и конец...» — подумал Кондратьев, но из горла вырвались совсем другие слова:

— Продуть среднюю!

Освободившись от балласта, «малютка» всплыла. Подорванная корма тянула вниз. Однако Квасов успел дать противодействие в отсек, и лодка пока что держалась на плаву. Мина! Это Кондратьев понял сразу. Подтянули за минреп рулем глубины и... вот она, расплата за бритые перед походом.

Боцман с аварийным фонарем ввалился в центральный пост, за ним, облитый чем-то густым и липким, — инженер-механик.

— Товарищу командир, дать ход не сможем. Срубило гребной винт. Вода в корму поступает интенсивно. Пробоину не заделать.

— Сколько продержимся на плаву?

— С полчаса, не больше.

Кондратьев с трудом выбрался на мостик. Лунная дорожка убегала от борта к враждебному берегу. До заснеженных скал было не больше двух кабельтовых. Но как преодолеть эти триста метров, когда лодка превратилась, по сути дела, в бездвижный понтон? Есть надувной трехместный «тузик» для высадки диверсионных групп. Да что толку — семь ходок за полчаса не успеть... Вот тебе и семь «чертовых дюжин»! Более бесславного конца для своего корабля Кондратьев и представить не мог.

На мостик выбрались Квасов, боцман и лейтенант Ладошка. Стали держать общий совет. Смекали быстро. Работали еще быстрее — жить хотелось всем. Одним духом вынесли наверх



баллон со сжатым воздухом, спустили на воду и пристроили к нему резиновую шлюпку. В «тузик» сел боцман с бухтой прочного линия, открыл вентиль и баллон, словно ракета, помчал Ухналева к берегу, разматывая закрепленный на «малютке» трос. То был не трос, а нить Фортуны... Еехватило до ближайшей скалы. А там боцман сумел набросить петлю на торчащий из воды «чертов палец» и дал знак на лодку. Электрики подали питание на шпиль, и якорная лебедка, наматывая линь, стала подтягивать субмарину к берегу. На все про все ушло четверть часа. Успели не только высадиться на скалы, но и перекидать часть продуктов. Потом «малютка» вздыбилась, задрала нос и свечой ушла в черную воду фиорда. Моряки сдернули пилотки и шапки...

Уже светало, и надо было уходить в глубь полуострова как можно быстрее. Проваливаясь в снег то по колено, то по пояс, подводники волокли свои пожитки, как погорельцы с пепелища. Не ощутимый в ажиотаже высадки морозец вдруг дал знать себя довольно зло. Кондратьев почувствовал, как больно заныли пальцы в забитых снегом сапогах. Под козырьком большого валуна, похожего на постамент Медного Всадника, остановились перевести дух. Первым делом посчитали оружие: три офицерских пистолета, четыре финки и три гранаты. Немного на семнадцать человек. Но все же отбиться от небольшого патруля можно... Из провизии успели спасти дюжину банок тушенки, десять — сгущенного молока, пять плиток шоколада, коробку сухарей, жестянку с галетами, канистру спирта, шесть пачек «Беломора». Но самое важное — лейтенант Ладошка прихватил брезентовую кису с секретными документами и карту норвежского побережья. Нашли свое место, наметили путь. Им ничего не оставалось, как пересечь полуостров Варангер, выйти на западный берег одноименного фиорда, а там, захватив рыбацкую лайбу, пройти миль двадцать до полуострова Рыбачий, на котором держали оборону советские войска. Легко сказать — пересечь. По самым скромным прикидкам путь к морю занимал не меньше ста километров. И это по непролазной горной тундре, без лыж, без меховой одежды, в арктические морозы... Дойдут, наверное, не



все... Кондратьев оглядел сгрудившихся вокруг него людей. Почти все были в ватниках, двое мотористов — в суконных бушлатах. Эти долго не продержатся, первые кандидаты к праотцам... Уже зубами стучат.

— Налейте им для согрева!

Квасов, хранитель драгоценной канистры, скупотливо отлил им по полкружки спирта. Остальным плеснул на донышке — для поднятия поникшего духа.

— Шабаш! — командовал Кондратьев. — Малый вперед!

И вереница черных людей двинулась по белому снегу на рдеющий восток.

Глава третья

МОЛОЧКО ИЗ-ПОД БЕШЕНОЙ МЕДВЕДИЦЫ

Капитан-лейтенант Кондратьев шагал во главе походной вереницы. В черном лодочном ватнике, в сохшейся от морской воды флотской ушанке, заросший щетиной, он походил скорее на беглого зэка, чем на обладателя блестящего военно-морского звания. За ним тянулась цепочка ему подобных путников. Шли молча, ступая след в след, оскользаясь на обмерзших камнях, проваливаясь в снежных наметах... Командир вел экипаж по распадкам и лощинам, опасаясь забираться на видные места, хотя по плоским вершинам сопков идти было бы значительно легче. Компас снять не успели, и Кондратьев держал на восток, доверяясь лишь штурманскому чутью да Полярной звезде, которая время от времени посвечивала за левым плечом. Должно быть, со стороны он походил на библейского вождя, выводящего свой народ из жестокой белой пустыни. Но видеть со стороны их могли разве что полярные совы да дикие олени, благоразумно державшиеся подальше, чем их могла достать пистолетная пуля. Сглаженные взгорбья лапландской тундры возникали по сторонам и спереди с удручающей неизменно-стью лунного ландшафта. Зато в эдакой глухомани можно было



почти не опасаться засад, патрулей, армейских постов. Пока что самым страшным врагом оставался мороз. Он донимал моряков все сильнее...

Первую ночь перебивались тем, что жгли постранично кодовые книги и прочие секреты, струдившись над крошечным комельком так, что и проблеска пламени не вырвалось наружу. На этом же огне разогрели и четыре банки тушенки, из расчета одна на четверых. Каждому досталось по сухарю, политому горячим говяжьим жиром с волоконцами консервированного мяса, да еще по ложке сгущенного молока, распущенного в спирте. Престранный напиток тут же прозвали «молочком из-под бешеной медведицы». Худо-бедно, но ночь перемогали, тесно прижавшись друг к другу спинами. Но к утру открылись первые обморожения. Кок-торпедист предстал перед боцманом-врачевателем с ушами и носом белее кокского колпака, натянутого под ушанку. Ухналев долго растирал лицо кавказца снегом и спиртом, но без особого успеха.

Вторую ночь перетолклись под навесом огромного скособоченного валуна, соорудив чахлый костерик из остатков секретных бумаг, добытого из-под снега мха и прутьиков скудного кустарника. Тесные стылые отсеки родной «малютки» казались отсюда райскими кущами.

— Штурман, карту!

Скрюченными от холода пальцами лейтенант Ладощка расправил на расстеленной кисе путевую карту. Кондратьев молча шевелил вздувшимися от мороза губами. По самым грубым прикидкам выходило, что за два дня они преодолели не больше тридцати километров.

Ужин мало чем отличался от вчерашней трапезы. Разве что «молочко из-под бешеной медведицы» заели двумя дольками шоколада. Но и эта добавка не спасла мотористов в бушлатах. Оба так и остались сидеть на снегу, задубев от мороза насмерть. Их уложили под валуном, завалив от песцов камнями.



В путь двинулись в угрюмом молчании. Теперь их было, пятнадцать. Но кто мог сказать, сколько вмерзнет в снег на следующей ночевке? Февральский мороз закрепчал так, что при резком вдохе спалились ноздри.

Кондратьев обернулся, и сердце его сжалось: экипаж подводной лодки, лишившись прочного корпуса, был столь же беззащитен на суше, как рептилия, оставшаяся без панциря. Он был головой этой черной змеи, которая послушно влачила за ним свое пока живое тело.

К полудню они пересекли, наконец, единственную в здешних местах дорогу, помеченную на карте. То был рубеж жизни, к которому стремился капитан-лейтенант все это время. Узенькая шоссейка бежала от Таны в глубине фиорда к городку Берлевог, что находился в самой северной точке полуострова. В придорожных валунах Кондратьев укрыл моряков, рассказав, кому что делать, когда из-за поворота появится машина. Колонну им не одолеть, но одиночный грузовик или легковушка были вожделенной добычей. И они стали ждать, веря в свое военное счастье, в свое спасение.

Ждать пришлось долго, до позднего вечера. Сигнальщик Гай первым заметил тусклые огоньки приглашенных фар, которые двигались со стороны Берлевога.

— Оружие к бою! — прохрипел Кондратьев, вытащив из-за пазухи отогретый пистолет. Ладошка и Квасов последовали его примеру. Боцман, Гай и Хмара достали гранаты и финки. Крытый брезентом грузовик приближался, подвывая мотором на кручах. Едва он поравнялся с засадой, как на кабину обрушился залп пистолетных выстрелов. Машина ткнулась носом в придорожный сугроб, но распахнулась правая дверца, кто-то в черном выскочил в снег и полоснул из-под колес грузовика автоматной очередью. Старшина 2-й статьи Хмара, выглянувший из-за валуна, вскрикнул и рухнул Кондратьеву под ноги. Вторая очередь вспорола наст в полуметре от командира. Боцман и инженер-механик палили из пистолетов по колесам, не причиняя, впрочем, автоматчику никакого вреда. И тогда Гай



швырнул под машину гранату. Грузовик подбросило и завалило набок. Вспыхнул бензобак.

— Полундра!

Главстаршина Ухналев первым выскочил на дорогу и первым наткнулся на труп горного егеря, придавленного подножкой. Автомат переключался в его руки. За спинкой шоферского сиденья нашли пристегнутый карабин. Но самое главное обнаружили в кузове — ящики с мороженой треской. Их немедленно разбили, и некоторые ловчаки стали совать рыбины в пламя горящего бензина. Однако поджарить добычу никому не удалось. Кондратьев приказал немедленно уходить в тундру, пока не нагрянули немцы. Набрав кто сколько смог трески, двинулись в сопки. Убитого Хмару несли на куске автомобильного брезента. В нем же и схоронили его, отойдя от дороги километра на полтора.

Шли почти всю ночь, пока не забрезжила заря. Ушли от места боя километров на десять. Кондратьев полагал, что их могут обнаружить с самолета, и потому долго искал место поукромнее. Сопки здесь громоздились так, будто их расколол, размолол, искорежил взрыв неимоверной силы. Стесанные наполовину валуны походили на гигантские жернова, на плиты великанских надгробий, на руины разметанной крепости... Их мрачная красота заворожала даже смертельно усталых людей. Забравшись в этот лабиринт подальше, Кондратьев скомандовал привал, и обессиленные моряки повалились кто где стоял. Однако двуужильный боцман прошел еще метров двести и наткнулся на два гранитных обломка, накрытых рухнувшей скалой. Под этой массивной кровлей и разбили бивак. Первым делом вытоптали пятачок для костра. Квасов успел прихватить из грузовика банку солидола. Обмазав маслом куски брезента, он поджег их, и как ни чадило такое топливо, все же удалось поджарить на нем несколько рыбин, и ужин впервые вышел на славу.

По расчетам штурмана, они прошли половину пути до восточного побережья Варангера. И, засыпая, привалившись к спине лейтенанта, Кондратьев успел подумать, что с таким запасом



продовольствия экипаж непременно доберется до цели, если... Но сон поглотил все сомнения.

Снился ему родной Питер. Будто вместо Невского проспекта — канал вровень с тротуарами. А по каналу-проспекту идет малым ходом новенькая, только что с верфи, крейсерская подводная лодка. На мостике — он, капитан-лейтенант Кондратьев, в белом кителе и белой фуражке. И все прохожие любят его кораблем. Но почему-то на Дворцовой площади вместо Александрийского столпа московский памятник Минину и Пожарскому. Как же так? А где же колонна с Ангелом?

«Штурман, место!.. Почему Минин и Пожарский?»

«Пожар в минной цистерне!» — орет снизу штурман. И он, командир, похолодев от ужаса, кричит в переговорную трубу: «Аварийная тревога! Пожар в минной цистерне!»

— Тревога! Пожар! В минной... — с этим криком он и проснулся. Подводники недовольно зашевелились, но никто не поднялся. Кондратьев выбрался из кучи-малы, растер лицо снегом, зачерпнул еще раз и остолбенел — на плите, лежавшей поверх скальных опор, проступали выдолбленные знаки: стрела, змейка, крест... Кто, в какие века жил в этих распадах, что тут пометил, закодировал?

Впрочем, были дела поважнее. Кондратьев забрался на вершину сопки, чтобы засечь направление на восток. Засек, и вдруг почувствовал, что смотрит на рдеющий горизонт не один. Обернулся и попал глазами в пустые глазницы огромного каменного черепа, мертво взиравшего на мертвый край.

Глава четвертая

«ЗОВ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Камень-черепа был выветрен самой природой и отчасти подправлен рукой человека. Он стоял на валуне, как бюст вождя в фойе Дома офицеров флота. Кондратьев с трудом выдерживал взгляд



из его провальных глазниц и быстро заскользил, зашагал вниз. То, что он увидел на оставленном биваке, повергло его сначала в полное недоумение, а потом в отчаяние, переходящее в ужас. Сначала он подумал, что экипаж выстроился на физзарядку: моряки ходили друг за другом по кругу, делая одни и те же взмахи руками. Они боксировали невидимого противника, выбрасывая кулаки в воздух. Тон задавал инженер-механик Квасов. Он шел во главе разорванного кольца, и моряки в точности повторяли каждое его движение.

— Отставить зарядку! — крикнул Кондратьев, но никто не отозвался на его команду. Его как будто не слышали. Более того, его самого потянуло примкнуть к этой странной процессии, ходившей вокруг каменного столба, похожего на большой отколовшийся кристалл-шестигранник.

— Экипаж — ко мне! — еще раз гаркнул капитан-лейтенант, но не смог никого вырвать из этого заколдованного круга. Тогда он выхватил пистолет и пальнул в воздух. Только это и возымело эффект: Квасов дернулся, точно очнулся от наваждения, перестал размахивать руками. Круг распался, все разбрелись по сторонам, пряча глаза.

— Вы что, мухоморов объелись? — спросил Кондратьев Лadoшку и боцмана, которые смущенно топтались перед ним.

— Да уж какие зимой мухоморы, — откликнулся сигнальщик Коробов, мужичок из кольских поморов. — Уходить надо отсюда побыстрее. Нечистое место...

Но трогаться в путь командир не спешил: над сопками, в той стороне, откуда они пришли и где осталась подбитая машина, кружил самолет-разведчик.

— Нас ищут! — заметил механик, и все как один поспешили под укрытие каменной кровли. Пустили папиросу по кругу и стали коротать время, пережидая светлую часть дня. На всякий случай выставили наблюдателя.

— Так что с вами приключилось? — спросил Кондратьев, обращаясь сразу ко всем.

— Мерячили мы... — нехотя ответил Коробов.



— Что, что? — не понял командир. Но тут вмешался корабельный эрудит лейтенант Ладошка:

— Это форма массового психоза. Встречается только на Крайнем Севере. В науке ее называют «арктической истерией», или «зовом Полярной звезды».

— А я думал, вы перебрали «молочка из-под бешеной медведицы», — усмехнулся Кондратьев. У него в голове не совмещались понятия «истерия» и «экипаж подводной лодки».

— У нас в деревне, когда небесный огонь, сияние, значит, разыграется, и мужики и бабы меряют, — пояснял свою мысль сигнальщик Коробов. — Сначала со смеху помереть можно, а потом жуть берет. Батюшка святой водой кропил — отходили. А тут вот механик наш стал руками махать — и все за ним. Не уймешься.

Самолет над тундрой появлялся за день дважды: с востока и с юга. Сидели до полной темени, благо мороз пошел на убыль, жевали строганину из мороженой трески, противную, без соли, заедали ее сухарями. Потом собрали пожитки и двинулись на ориентир, засеченный утром Кондратьевым.

На пятые сутки трансварантерского перехода они увидели море. Оно открылось неожиданно, из-за очередной сопки, и все четырнадцать намерзшихся, наголодавшихся, натерпевшихся человек подумали разом об одном и том же: спасены! Все самое страшное — позади. А море — оно свое, родное. Пять часов ходу под парусом — и вот он, Рыбачий, родимая наша земля. Вот только найти бы тот парус...

Кондратьев повел экипаж вдоль береговой черты на север, подальше от немецкой военно-морской базы Варде. Шли с предельной осторожностью: на побережье можно было напороться и на норвежских рыбаков, и на немецкие посты. Оружие держали наготове. В голове колонны шагали сигнальщики, которые, как в море, вели наблюдение по секторам.

Старшина 2-й статьи Гай первым подал знак «Стой!». Замерли. Кондратьев выглянул вместе с впередсмотрящими из-за валуна и прищурил левый глаз, будто увидел в перископе цель.



На скалистом мыске стоял домик, сложенный из дикого камня. Вместо крыши над ним возвышалась огражденная площадка с прожектором, тремя антеннами и турелью ручного пулемета. Это был пост СНИС — службы наблюдения и связи. В полумиле от мыска виднелся причал рыбацкой деревушки, а возле него торчали мачты двух карбасов, а может, мотоботов. Кондратьев боялся поверить в этот мираж. Фортуна преподнесла им то, о чем они мечтали все эти немилосердные дни и ночи. Но надо было еще овладеть ее дарами. Вариант лобового штурма отпадал сразу. Расчет поста успел бы сообщить по радиии о нападении...

За большим мамонтоподобным валуном Кондратьев собрал своих бойцов на общий совет...

Обер-фельдфебель Трабер с большим удивлением воззрился на странную процессию, приближавшуюся к домику поста. Четыре рыбака, несмотря на мороз, шли в одних тельняшках и ташили за углы брезента лежащее в нем тело.

— Вилли, узнай, что у них там случилось! — крикнул он солдату, который тоже с большим любопытством смотрел на рыбаков. Вместе с Вилли отправился и третий наблюдатель, прихватив на всякий случай автомат. Четвертый обозревал море с высоты прожекторного мостика.

Как только Вилли с напарником подошли шагов на двадцать, «рыбаки» выхватили пистолеты и уложили обоих тремя выстрелами. Тот, что лежал на брезенте, скатился в снег и пустил автоматную очередь по обер-фельдфебелю. Трабер рухнул. Но дозорный успел развернуть ручной пулемет и стал бить по хорошо видимым на снегу полосатым фигуркам. Двое упали, но остальные трое бежали вперед, ведя огонь на ходу. Никто из стрелявших — ни Кондратьев, ни Квасов, ни боцман Ухналев — не мог поручиться, что это именно его пуля оборвала пулеметную очередь. Бой закончился в пять минут, и теперь никто и ничто не могло помешать им выйти в море...

Из домика берегового поста забрали ручной пулемет, перевязочные пакеты, одеяла, шинели, ящик с консервами,



журналы наблюдений, пакет эрзац-кофе и шесть тушек копченого палтуса. Все это быстро перетаскали в деревянный одномачтовый бот «Тор». Но прежде чем отвалить от берега, боцман с Гаем успели еще раз наведаться в домик — разбить прожектор, а главное — рацию, обрезать провода полевого телефона. Тем временем инженер-механику Квасову и его мотористам удалось запустить и наладить движок. В мотобот перенесли тела убитого сигнальщика Коробова и тяжелораненого торпедиста.

Когда мотор застучал и бот отвалил от деревянного причальчика, Кондратьев глазам своим не поверил: мир снова обрел привычную форму морского, отбитого, как край гранитной плиты, горизонта. Он был чист, просторен и необъятен, как свобода анархиста.

Ликовали все, дурачились. Обнимались... И даже когда через полчаса заглох мотор — кончилось топливо, то и это не испортило настроения. Быстро подняли обляпанный рыбьей чешуей парус, легли в бакштаг, держа по корме гористый берег Варангера, а по курсу — чистый ост, как полагались на свое штурманское чутье Кондратьев и Ладощка. Нактоуз — хранилище компаса, увы, был пуст.

Кондратьев тут же распределил вахты — сигнальные и рулевые. Ручной пулемет установили на крытом баке, а под палубу, где хранились сети, уложили убитого Коробова.

В полдень Кондратьев распорядился:

— Команде обедать!

Вскрыли немецкие консервы и нарезали на двенадцать кусков одну из плоских полурыбин палтуса. Полупрозрачная от жира мякоть таяла во рту, почти сразу сообщая телу тепло и энергию. Кондратьев решил, что если уцелеет на войне, то до конца жизни будет питаться только одним палтусом.

Вскоре норд-вест засвежел, развело волну, и гребни стали заплескивать через борт. Дожевывая рыбу на ходу, моряки принялись вычерпывать воду чем ни попадя. Они готовы были вычерпать все море, лишь бы добраться до скал Рыбачьего.



«Растаял в далеком тумане Рыбачий, — напевал про себя Кондратьев, — родимая наша земля...»

Пел он недолго.

— Слева семьдесят две цели! — крикнул сигнальщик, и все обернулись разом. Еще не различая силуэтов кораблей, Кондратьев скорее почувал, чем понял: цели скоростные... Два торпедных катера шли на перехват мотобота. Через минуту-другую все разглядели белопенные усы под скулами мчащихся во весь опор катеров.

— Пулемет на корму! — крикнул капитан-лейтенант. — Оружие к бою!

Шнельботы стремительно приближались. Кондратьев не питал никаких иллюзий: это развязка...

Бой был недолог. Во всяком случае для Кондратьева. Страшный удар в голову свалил его на дно мотобота.

Глава пятая

ГЛОТОК СВОБОДЫ ИЗ КРУЖКИ ПИВА

г. Варде. 8 марта 1942 года

Тьма в глазах сменилась ослепительной белизной бинтов, наволочки, пододеяльника, потолка, а в темном провале памяти забрезжила первая и единственная пока мысль: «Где я?.. Где ребята?»

Кондратьев с трудом пошевелился и тут же услышал почти правильную русскую речь:

— Как чувствуете себя, герр Кондор?

Он не сразу понял, что вопрос обращен именно к нему. Но почему Кондор?

— Как вас зовут?

Кондратьев усмехнулся. Одна кокетливая девушка в Полярном на подобный вопрос ответила ему так: «Меня не зовут, я прихожу сама!» Он повторил ее ответ, чем весьма озадачил спрашивающего.



— Назовите номер подводной лодки, которой вы командовали.

— Не помню...

В это было легко поверить. Голова капитан-лейтенанта, стянутая многослойным чепцом, походила на наверхшие снежной бабы. Он услышал короткий разговор на немецком. Из двух полуразбренных фраз он понял, что врач против продолжения допроса. И тяжелораненого оставили в покое, если можно назвать покоем ту душевную смуту, в которую погрузился Кондратьев, окончательно осознав, что он находится в плену.

Во всем был виноват пулеметчик торпедного катера: взял бы он на сотую долю градуса правее, и крупнокалиберная пуля разнесла бы череп командира вдребезг, а так удар пришелся по касательной, содрал с головы клочок кожи и причинив тяжелую контузию. Однако дней через пять Кондратьев вполне пришел в чувство, и начались регулярные допросы.

Из бесед с офицером морской разведки он сумел сделать два очень важных для себя вывода: немцы весьма ценят его статус командира подводной лодки и почему-то считают его фольксдойче, русским немцем. Но почему? Никаких документов при нем не было, если не считать командирской «лодочки» над правым карманом кителя. Да даже если бы он, Иван Митрофанович, умудрился захватить с собой метрические книги, то и тогда бы никто не смог отыскать в них среди его ярославско-орловских предков ни одного иноземца. Корень его «германского» происхождения оказался до смешного простым. Кондратьев вспомнил, что его зимняя командирская шапка с кожаным верхом была подписана изнутри химическим карандашом: «кап.-л-т Кондр». Это пустяковое обстоятельство и сыграло вдруг свою весьма полезную роль. Начальство военно-морской базы Варде отнеслось к раненому пленнику довольно великодушно, поместив его в офицерское отделение лазарета. И хотя Кондратьев не ответил толком ни на один заданный ему вопрос, иголки под ногти, вопреки ожиданиям, никто ему не загонял. Переводчик-старик из бывших российских финнов спросил его однажды:



— Не было ли у вас в роду господина Иоахима фон Кондора, владельца большой пивоварни в Николайштадте?

Кондратьев покачал головой:

— Я свою родословную дальше деда не помню.

— Понятно, понятно, — сочувственно закивал переводчик. — Вы, наверное, еще не знаете, что решено отправить вас в Германию? Сопровождать вас будет некто корветтен-капитан Хохберг.

Кондратьев пропустил новость мимо ушей.

— Скажите, — спросил он, — что стало с моим экипажем?

— О, они почти все погибли, кроме двоих, не считая вас...

На ужин «капитану Кондору» принесли несколько картофелин в мундире и кусочек копченого палтуса. Он вдруг вспомнил, как всего лишь несколько дней ликовали они все на мотоботе, празднуя победу под такой вот рыбец. И вот — почти никого... Есть он не смог. Зарылся лицом в подушку и разрыдался без слез.

Утром ему сделали последнюю перевязку, заменив стягивающий чепец на облегченную «чалму», и выдали темно-синий немецкий бушлат с воротником из искусственного меха. Потом в изолятор заглянул румяный с мороза толстяк с погонами корветтен-капитана на зимней шинели и коротко бросил:

— Komm zu mir!

Тяжелый транспортный самолет взмыл в звонкое от мороза небо Арктики. Пассажирский отсек не отапливался, и корветтен-капитан то и дело прикладывался к плоской фляжке, обшитой черной перчаточной кожей. От принятого ли шнапса, от прекрасной ли перспективы побывать на родине со столь необременительным заданием, как сопровождение пленного, Хохберг пребывал в благодушном настроении и даже предложил к концу полета глотнуть и изрядно продрогшему герру Кондору. Кондратьев отказался. Больше всего ему хотелось, чтобы в воздухе появились сейчас краснозвездные истребители. Но на редкость безоблачное скандинавское небо было удручающе пустынным.



В Хельсинки самолет приземлился на финском военном аэродроме. Черный «хорьх» отвез пленника и конвоира в порт. Дальнейший путь предстояло проделать по морю.

Глядя на большой грузопассажирский транспорт, выкрашенный в защитный цвет, Кондратьев прикинул, что двух торпед его злосчастной «малютки», всажённых под вторую трубу, вполне хватило бы, чтобы отправить эту «коломбину» на дно морское. Но не было весной сорок второго ни одной советской подлодки за пределами Финского залива...

Их разместили в тесной двухместной каютке в носу с неоткрываемым иллюминатором типа «бычий глаз». Словоохотливый Хохберг сообщил, что транспорт идет в Кенигсберг, и тут же стал рассказывать бесконечную историю о своей веселой жизни в этом славном городе, ничуть не заботясь, понимает ли его невольный слушатель. Иссякнув, корветтен-капитан запер каюту на ключ и отправился искать знакомых, и, видимо, нашел их, потому что вернулся только под утро в добром подпитии. Плюхнувшись на койку, он снова продолжил историю о похождениях молодости в столице Пруссии, но, оборвав рассказ на полуслове, тоненько захрапел. Тем временем транспорт уже входил в Куришгафский залив, и Кондратьев, припав к «бычьему глазу», смотрел, как по бортам проплывают непривычно низкие после северных морей песчаные берега в густой сосновой опушке.

Пройдя канал, пароход пришвартовался в торговой гавани против Крысиного острова. Крутоверхие черепичные кровли и острые шпили башен яснее ясного говорили о неотвратимом переломе жизни, и сердце Кондратьева тихо заныло. Чужбина...

Кенигсберг. 12 марта 1942 года

Хохберг блаженно похрапывал, оставив ключ в дверях каюты. Его не разбудил ни топот швартовщиков над головой, ни свистки команда, ни пронзительный вой судовой сирены... Пока он дрых, можно было вполне подышать свежим воздухом на верхней



палубе. Набросив бушлат на плечи, Кондратьев отпер дверь и поднялся по трапу на твиндек. Его поразило то, что вокруг совершенно не было снега, а деревья стояли такими же зелеными, какими в Питере или Ярославле они бывают только в позднем мае. Про Полярный и говорить нечего, там еще всю куражились метели... Как замороженный, капитан-лейтенант двинулся навстречу зелени — размять бы в пальцах клейкий листок, ожить душой после ледяной пустыни Варангера.

Смешавшись с потоком раненых, прибывших на долечивание в Германию, Кондратьев беспрепятственно сошел на причальную стенку. Повязка на голове и немецкий бушлат на плечах ничем не отличали его в общей толпе. Сорвав тополиную веточку и вдоволь насладившись забытыми запахами, Кондратьев зашагал дальше, к выходу из порта. Он не помышлял ни о каком побеге, прекрасно понимая, что его могут остановить в любую минуту, что скрыться в чужом огромном городе без друзей и знакомых невозможно. Тем не менее жандарм в портовых воротах пропустил раненого моряка без тени сомнений. Могло ли прийти охраннику в голову, что герой фатерланда, беспечно помахивающий тополиной веточкой, на самом деле — командир советской подводной лодки?

Так или иначе, но Кондратьев стоял посреди людной припортовой площади, не зная, куда податься. Любой прохожий мог заговорить с ним и, не получив ответа на родном языке, поднять тревогу. И все же страха не было, чувство безоглядной свободы уже захлестнуло его и понесло напропалую. Легко одетые женщины попадались ему навстречу. Почти все они казались Кондратьеву красавицами, хотя он вовсе и не был записным сердцеедом.

У пивного кабачка «Ханзагоф» он замедлил шаг. Озорная мысль пришла в голову: зайти, взять пиво, и пусть расплачивается Хохберг. Кто знает, может, глоток ледяного пива будет последней радостью перед новыми испытаниями?

Кельнер-старик без лишних слов поставил высокую кружку на столик, облюбованный моряком с повязкой на голове. Кон-



Кондратьев потягивал ледяной напиток, вспоминая забытый вкус нежного хмеля. Трудно было поверить, что это не сон, а явь. Скажи ему кто-нибудь в заснеженном Полярном, что не пройдет и трех недель, как он, командир «М-91», окажется в цветущей столице Восточной Пруссии и будет в полнейшем одиночестве потягивать превосходное пиво из литровой фаянсовой кружки, он бы немедленно сдал провокатора в особый отдел или просто съездил бы ему по «физиологии». Но вот судьба совершила поворот оверкиль, и остается лишь радоваться недолгой передышке. Впрочем... а если и дальше будет так же везти, может, удастся выбраться за город, а там...

Блаженство длилось полчаса. В окно пивной Кондратьев увидел корветтен-капитана Хохберга, который наверняка расспрашивал жандарма о своем пропавшем подопечном. За спиной у офицера маячили двое верзил с автоматами. Охранник показал на пивную «Ханзагоф», и преследователи ринулись к дверям кабачка.

Глава шестая

ОПЕРАЦИЯ «ЩУПАК»

Кондратьев сам вышел навстречу преследователям, приветственно помахивая им пивной кружкой. Удивить — победить. Хохберг ожидал чего угодно, но только не такого возвращения сбежавшего пленника. Бурная радость затмила его гнев. Старик-кельнер, ошеломленный арестом своего клиента, поднес корветтен-капитану беловерхую кружку пива за свой счет. Кажется, все были довольны. Но ровно через полчаса после приключения в «Ханзагофе» за спиной Кондратьева захлопнулась железная дверь военной тюрьмы. Небо в оконце камеры-одиночки было классически расчерчено толстой решеткой на четыре квадрата. Постелив бушлат на голые нары, Кондратьев попытался уснуть. Но его поднял надзиратель. Спать до отбоя нельзя.

На первом же допросе офицер с непонятными погонами объявил ему, что все иностранные подводники преследуются



в Третьем рейхе по тем же законам, что и шпионы. Поэтому уже сегодня он, капитан Кондор, может быть отправлен на виселицу. Только честные ответы на все вопросы могут спасти его от петли.

— Итак, назовите номер вашей подводной лодки.

— «М-123», — не задумываясь назвал первые пришедшие в голову цифры Кондратьев.

— Фамилия комиссара?

— На «малютках» политруки по штату не положены. Обязанности комиссара исполнял я по совместительству.

— О, в таком случае вы дважды висельник. Вы немец?

— Нет. Русский.

— Почему у вас немецкая фамилия?

— Мой дедушка владел пивоваренной фабрикой в Николайштадте.

— О, это замечательно! У моего отца пивное производство в Бремене... Сколько лодок в вашем дивизионе?

— Сейчас на одну меньше.

— Забавно... Я обещаю вам, что на вашей виселице будет одной петлей меньше. Ну а если вы покажете на допросах более точные знания своего флота, возможно, мне удастся добиться смягчения экзекуции, и вас просто расстреляют!

Однако после пяти дней допросов и ответов в том же духе Кондратьева не повесили и не расстреляли. Поздней ночью его посадили в закрытую наглухо полицейскую машину и долго везли по очень хорошей дороге. По приезде выяснилось, что его доставили в берлинскую тюрьму Моабит. Здесь за дело взялись профессионалы. Били с хорошим знанием анатомии. Мучили бессонницей. Вкалывали расслабляющие волю препараты, но добились немногого. На последнем допросе Кондратьеву объявили, что его переводят в камеру смертников. Неделю он ждал исполнения приговора, видя в том проявление высшей справедливости судьбы. Потерял корабль, не уберег экипаж — все это достойно высшей меры наказания. Какая разница, кто пустит пулю в затылок, свой палач или чужой? Главное — за



дело, главное, чтоб расстреляли, а не вздернули. Должны же сделать снисхождение как командиру военного корабля, а не пиратского судна?

И снисхождение сделали...

В мае 1942 года судьба «капитана Кондора» заложила еще один крутой галс: командира «семи чертовых дюжин» отправили во Францию, в спецлагерь для пленных подводников под Парижем, где содержались морские офицеры британского, французского, голландского и прочих флотов, воевавших с Германией из-под воды. Немцы называли лагерь для подводников «Аальбехалтер» — «садок для утрей», французы калькировали это название на свой лад — «Вивье пур ле ангий», англичане — «Фишпонд оф григс». Садок так садок, главное, чтобы он не обернулся раскаленной сковородой...

Кондратьев, как советский подводник, представлял здесь особо редкостный экземпляр. Недолго думая, его поместили в барак, в котором обитали два поляка, три серба и несколько голландцев, захваченные в плен не в морях, но в портах, где базировались их субмарины. Поговорить было о чем, тем более что после застенков Моабита офицерский лагерь «Вивье пур ле ангий» в прибрежном сосняке показался чуть ли не курортом. Кормили, правда, более чем скудно. Но братья-славяне делились с русским коллегой всем, что приходило в посылках Красного Креста. На работы не водили. Время от времени вызывали на допросы. Тягучие, ничем не занятые дни коротали в основном тем, что мастерили из сосновых брусков субмарины, на которых когда-то ходили в моря и которые теперь либо были захвачены немцами, либо лежали на дне морском. Взялся было и Кондратьев вырезать обводы своей «малютки», но когда узнал, что начальник лагеря собирает коллекцию таких моделей, забросил работу подальше. Стал изучать польский язык, поражаясь общности многих слов и понятности старославянских корней.

Потом переключился на английский, не проявляя к немецкому, как к языку врага, ни малейшего интереса. Польскому его



учил инженер-механик с подводной лодки «Жбик» «поручник маринарки» Ян Смоляк. За сутки до начала войны ему вырезали грыжу в гдыньском морском госпитале. «Жбик» ушел в Швецию и там интернировался, а Смоляк прямо из госпитальной палаты угодил в лагерный барак. Его страшно угнетало то, что он не сделал по врагу ни одного выстрела. И то, что у его соседа по нарам значилось на боевом счету два потопленных немецких транспорта, вызывало у механика искреннее уважение к пану Кондору.

За каких-то два месяца Кондратьев настолько сблизился с поручиком Смоляком, что оба стали всерьез обсуждать планы побега. Здесь, во Франции, они имели шансы на успех. Куда бы беглецы ни двинулись, французы охотно помогли бы им и скрыться, и перебраться либо на юг, подальше от нацистов, либо на север, через Ла-Манш к англичанам. Вот тут, собственно, и крылся корень их разногласий: Смоляк считал, что пробираться надо в Англию, там сохранились остатки польского флота, и им гарантировано место если не на подводных лодках, то уж на эсминцах во всяком случае. Кондратьев не мыслил себе службы ни на каком ином флоте, кроме советского, и потому предлагал двигаться на юг Франции, свободный от немцев, а оттуда на Мальту, где советский консул помог бы вернуться на Родину. Не сойдясь в стратегии побега, они деятельно разрабатывали его тактику. Главное — выбраться за колючую проволоку, а там обстоятельства сами подскажут, куда держать путь. Кондратьеву очень понравилось выражение Яна — «дать щупака». В переводе с польского это значило что-то вроде «ускользнуть как щука». Слово «щупак» стало их паролем.

Лагерь в три ряда огораживала колючая проволока, причем по среднему кольцу ночью пропускался ток высокого напряжения. Идея подкопа отпала сразу, как только им пришлось копнуть грунт за баракom: под слоем песка на глубине штыка начиналась скала. Тогда стали ломать голову, как обесточить лагерь, а вместе с ним и проволочное ограждение. Эту проблему Смоляк изучал как профессиональный электромеханик.



Однако вскоре выяснилось, что питание на проволоку подавалось из внешнего, совершенно недостижимого источника. Тогда они обратили взоры на небо. Время от времени над лагерем пролетали английские самолеты. Они бомбили прибрежные объекты, в основном бетонные укрытия для подводных лодок. Вот если бы навести их как-то на лагерь, который по ночам строжайше затемнился... После нескольких жесточайших бомбежек охрана «Аальбекалтер» стала вырубать даже прожекторы на караульных вышках. Смоляк вспомнил, как в сентябре 39-го пятая колонна в Польше подавала сигналы немецким самолетам, подвешивая ночью фонари в печных трубах. Осмотрели трубу своего барака. Прямая, без колен и изгибов, она как нельзя лучше годилась для избранной цели. Вместо фонаря решили жечь факел из сосновой смолы-живицы. И жгли, на удивление своим соседям. Однако то ли яркость сигнала была слабовата, то ли перед английскими пилотами стояли более важные задачи, но ни один бомбардировщик на лагерь не навелся. Слава богу, что эксперимент сошел с рук участникам акции. Их никто не выдал, и свет из трубы, кроме ночных птиц, никто не заметил.

Кондратьев давно обратил внимание на грузовик, который привозил по утрам хлеб из города. Разглядывая как-то двигатель под поднятым капотом (шофер копался под машиной), он решил втиснуться в пространство между мотором и его кожухом. Ян сказал, что это невозможно. Мальчишка, может быть, туда и забьется, но взрослый человек не поместится там ни в коем разе. Тогда Кондратьев привел его на лагерные задворки, где ржавел старый «матфорда», влез под капот и стал приспособливать руки, ноги, туловище и голову в промежутках, в просветах между моторными агрегатами. В конце концов он нашел такую раскоряченную позу, что Смоляк сумел закрыть капот.

— Ну и сколько ты там сможешь продержаться? — скептически вопрошал соратник. — Ты же изжаришься после часа работы двигателя. И потом, кто тебя оттуда выпустит?

— Шофер и выпустит. Он же француз.

— А я как же?



— Если у меня все получится, ты сделаешь этот фокус на другое утро. Шофер будет знать, где меня найти. Рискованно, но другого пути я не вижу. Главное — выбраться за пределы лагеря и «дать цупака».

Автофургон не приезжал почему-то целых три дня подряд. Может, сломался? — тоскливо гадал Кондратьев. Он уже натренировался ящерицей вползать под капот старого «мат-форда».

Хлеб привезли в субботу 31 августа. Моросил дождь. Убедившись, что шофер, пожилой француз, скрылся в дверях столовой, Кондратьев решительно распахнул капот и в мгновение ока распростерся на неостывшем еще двигателе. Смоляк с большим усилием прижал его капотом и накинуд стяжки. Прошли томительнейшие полчаса, прежде чем грузовик выехал за ворота, перехлестнутые крест-накрест колючей проволокой.

Глава седьмая И ЦУКУ БРОСИЛИ В МОРЕ

Это было классическое невезение... Не успел автофургон отъехать и на километр от лагеря, как шофер почуял неладное с тормозной педалью — она не отжималась до конца, так как шарнир ее тяги упирался в колено беглеца. Водитель остановил машину, откинул створку жалюзи и испуганно вскрикнул. На крик выскочил из кабины плечистый лейтенант-охранник, ехавший на воскресенье отдохнуть в Париже. Не растерявшись, он мгновенно захлопнул капот и велел поворачивать обратно.

Потом вся охрана во главе с комендантом изумленно взирала на то, как Кондратьев выбирался из распахнутого мотора.

На вечерней поверке комендант зачитал приказ:

— За попытку к бегству капитан Кондор будет отправлен в лагерь смерти Дахау!

Карцера в «садке утрей» не было, и Кондратьева оставили до понедельника в своем бараке. Он написал Смоляку свой питер-



ский адрес и взял слово, что Ян сообщит после войны матери все, что случилось с ее сыном.

В воскресенье лагерь выстроили по большому сбору. На правом фланге стояли англичане, рядом — французские подводники, затем шла короткая шеренга голландцев, сербов и поляков. Из штабного домика на плац вышел в почтительном сопровождении коменданта чернявый офицер в незнакомой военно-морской форме. Судя по нарукавным нашивкам, он был в чине капитана 2-го ранга.

— Итальянец, — отметил стоявший за спиной Кондратьева Смоляк.

Два переводчика толмачили обращение необычного визитера на английский и французский. Итальянец приглашал добровольцев для испытания глубоководной водолазной техники. Он обещал прекрасные условия жизни на берегу Средиземного моря с ежедневной пинтой доброго ломбардского. Однако желающих «поработать и отдохнуть на Ривьере» не находилось. Англичане с плохо скрытым превосходством поглядывали на представителя итальянского флота, французы же оживленно переговаривались между собой... И тогда капитан-лейтенант Кондратьев сделал шаг вперед — навстречу новой судьбе. Он опасался только одного — что ему откажут за склонность к побегам. Но комендант, похоже, был не прочь избавиться от «редкостного экземпляра» в своем тихом «садке», и благосклонно кивнул. Вслед за капитаном Кондором вышел и поручик Ян Смоляк. Итальянец приветственно помахал им рукой.

Это был шеф подводных диверсантов Италии князь Валерио Боргезе.

Кампо Бьянко. Октябрь 1942 года

Итальянец почти не обманул. Средиземное море обернулось глухим горным озером, «прекрасную жизнь» в каменном бунгало за колючей проволокой скрашивали миска грубых макарон с томатно-перечной приправой да кружка дешевого сухого вина. А в остальном итальянская неволя мало чем отличалась



от неволи немецкой. Разве что время бежало быстрее — его убивала работа.

Когда испытателей привели в небольшой элинг на берегу озера, у обоих вытянулись лица. Такого они еще не видели: на кильблоках стояла маленькая подводная лодка, меньше кондратьевской «малютки» раза в три. Корма и нос сверхмалой субмарины были закрыты брезентом, но диверсионно-разведывательное назначение этого потаенного суденышка ясно было, как выразился Смоляк, «просто з мосту».

Их новый хозяин, он же инструктор, лейтенант Лионелли, смуглый, как желудь, и юркий, как ртуть, отдраил входной люк и показал жестом — влезайте!

— Прего! ¹

Кондратьев не без опаски пролез в тесное окружье и с трудом уместился на маленьком креслице перед пультом с приборами. Следом за ним протиснулся Смоляк и уселся спиной к спине, лицом в корму. Им обоим показалось, что они в танке: тесно, темно, масляно... Опытным глазом Кондратьев сразу же отыскал глубиномер. Предельная риска на его шкале заканчивалась сорока метрами. Рядом находилась катушка гирокомпаса, чуть ниже дифференциметр и креномер...

Лионелли что-то крикнул и задраил крышку люка. Слабо затеплился плафон аварийного освещения.

— Что мы должны делать? — спросил Смоляк.

— Изучать матчасть, — не очень уверенно заявил Кондратьев, пытаясь вникнуть в смысл итальянских слов на шильдиках приборов. Он уже догадался о назначении нескольких вентилей и рычагов. Это была его родная стихия, и он с головой ушел в хитросплетения кабельных трасс и трубопроводов.

Прошел час, а может быть и больше, оба подводника пожаловались друг другу на духоту, попробовали открыть люк, но он был прочно задраен сверху.

¹ Прошу (*итал.*).



— Забыли про нас, пся крев! — выругался Ян. Но Кондратьев предположил худшее, и не ошибся. На них отработывался некий эксперимент по изучению газового состава воздуха внутри сверхмалой субмарины. Время от времени пшикал раздаточный клапан, впуская в центральный пост дозу неизвестного газа. Дышалось то очень сухо, то очень душно, порой мутилось сознание и перед глазами начинали мельтешить пестрые петушиные хвосты...

Первым затих на своем сиденье Смоляк. Кондратьев повернулся к нему, чтобы растолкать, но тут же и сам рухнул без чувств...

Укол в вену и кислородная маска вернули к жизни и одного, и другого. Они лежали рядом на раскладных брезентовых койках, молча созерцая суету врачей вокруг их бранных тел.

— Дали мы с тобой щупака, — грустно усмехнулся Кондратьев, — и попал тот щупак в хорошую уху!

— Надо бечь! — без лишних слов встрепенулся Смоляк, когда их оставили наконец в покое. И они снова принялись изобретать различные способы бегства. Самым надежным путем казалось озеро: пробраться ночью к воде и уйти, как шуки, в самом деле. Но едва им удалось погрузить в него ладони, как стало ясно, что в ледяной горной воде долго не продержишься...

Тем временем опыты продолжались и с каждым разом становились все противнее и опаснее. Правда, кормить стали лучше: в рационе появились сыр, маслины, виноград и даже шоколад. Ясно было, что людям Боргезе не хотелось терять хороших подопытных кроликов.

На зиму их отвезли в глухом железном автофургоне в неизвестном направлении. Как выяснилось потом, в Специю.

Специя. Январь — апрель 1943 года

О Специи Кондратьев знал, что это главная база итальянского военно-морского флота. Жаль, что окинуть ее глазом ни разу не удалось. Пленников-испытателей поместили в башню старой приморской крепости. Из узких оконцев камеры открывался небольшой сектор в открытое море



— За такой вид из окна в здешних отелях берут двойную плату, — невесело пошутил Смоляк, вглядываясь в туманную синеву весеннего моря. Столь пронзительной чистой лазури капитан-лейтенант Кондратьев не видел еще за всю свою жизнь...

С середины февраля их перестали мучить экспериментами по подводной физиологии. Про «лабораторных кроликов» забыли до самого апреля. Военные дела у итальянцев шли из рук вон плохо, это было ясно даже сидящим в отрезанной от мира башне: над главной базой то и дело были сирены воздушной тревоги, лица охранников мрачнели день ото дня... Но в первых числах апреля Кондратьева и Смоляка вывезли в одну из безлюдных пригородных бухт, где, как они поняли, предстояли серьезные испытания сверхмалой подводной лодки. Между собой они называли ее «шупаком».

В тот день их накормили особенно сытно, и оба испытателя невольно насторожились: ох, не к добру эти апельсины, макрель и спагетти! Не внушало особой радости и чисто морское на сей раз предприятие — провести субмарину под водой от вежи до вежи, отстоящей одна от другой на полмили. Не внушал доверия и стальной трос, которым их «шупак» был прихвачен за проушину на рубке, как волк на аркане. Неподалеку покачивались на якоре два малых «охотника» и рейдовый тралящик.

Прежде чем забраться в лодку, Смоляк перекрестился. Он был католиком и часто молился в башне на железное перекрестье в ее оконце... Кондратьев влез за ним следом и тоже по-своему попрощался с безмятежно голубым небом, которое враз исчезло под литой стальной крышкой рубочного люка.

Глава восьмая

ЖИВЫЕ, МЕРТВЫЕ И ТЕ, КТО В МОРЕ

Утвердившись покрепче в тесном кожаном креслице, Кондратьев принял балласт в цистерну, и «шупак» скрылся с поверхности моря. Инженер-механик дал малый ход, и лодка двинулась заданным курсом.



— Что они задумали? — спросил из-за спины Смоляк.

Ответом ему был чудовищный взрыв. Он грянул справа по борту, и от резкого сотрясения лопнул не только плафон боевого освещения, но и треснули стекла на приборах панели. Кондратьев почувствовал, как из ушей потекла горячая жидкость. Потрогал — кровь...

— Жив? — спросил его Ян. Кондратьев не ответил, он резко положил руль на борт, уходя от нового возможного взрыва влево. Судя по всему, на сей раз им предстояло испытать на себе воздействие гидравлических ударов от глубинных бомб. Видимо, это был последний эксперимент в прямом и переносном смысле... Бомбы сбрасывали с катеров, и Кондратьев уходил от них своим коронным противоохотничьим маневром: резким отворотом в сторону с последующим отрывом от преследователя на контркурсе. Но не прошел он и кабельтова, как почувствовал резкий рывок за кормой. Трос-поводок не позволил далеко уйти... Однако второй взрыв рванул не так близко и потому отозвался не так больно, как первый... Кондратьев оглянулся: в тусклом свете аварийной лампочки кровь на лице Смоляка казалась чернее мазута...

— Если выживем, — прохрипел Ян, — я обязательно приглашу тебя в Гдыню... На пиво, которое делает мой дед...

Их доконал третий взрыв, ударивший с кормы. Неуправляемый «шупак» лег на грунт...

Ночью начался шторм... «Охотники» и тральщик, выставив буи в точке погружения карликовой субмарины, ушли под прикрытие мола. Взъяренные волны вставали над ним белой стеной.

Кондратьев очнулся оттого, что кто-то могучий и ленивый неспешно покачивал его стальную колыбель. Он долго не мог понять, открыты его глаза или нет: тьма железного гроба казалась осязаемо вязкой.

«Может я ослеп?» — ожгла его черная мысль. «Ослеп и, кажется, оглох...» — утвердился он в страшной догадке. Может он вообще уже покойник? И голос тоже неподвластен ему?



— Ян... — прохрипел он. Смоляк не ответил. Зато он услышал — одним ухом, но все же услышал! — как скрежещут камешки под днищем субмарины. Их «щупак» лежал на грунте, должно быть, не очень глубоко, если его покачивало в такт расходившимся наверху волнам.

Только тут Кондратьев понял, что он, скорченный как кузнецик, лежит между рулевой тумбой и командирским креслицем и что он не ослеп, потому что видит светящуюся стрелку глубиномера и даже может прочесть цифру, против которой она застыла, — «25». Потом он услышал протяжный стон за спинкой кресла. Значит, и Ян жив!

Отыскал взглядом циферблат судовых часов: половина третьего... Дня или ночи?

Судя по тому, с каким трудом дышалось, они провели в задренной лодке не меньше семи часов. Кондратьев провел рукой по лицу и стер капли холодного пота вместе с загустевшей кровью. Ему стоило немалых сил, чтобы забраться в командирское кресло и отыскать рычаг продувания цистерны. С протяжным трубным звуком субмарина стала всплывать и вскоре попала в руки «пьяных регбистов» — шторм швырял карликовую лодку и вверх, и вниз, и вправо, и влево... Едва Кондратьев приоткрыл рубочный люк, как мощный заплеск окатил его с головы до ног. Холодный душ слегка освежил, а те четыре глотка свежего воздуха, которые он успел вдохнуть, придали силы. Задраив люк, он перебрался в моторный отсек, где и обнаружил лежащего подле дизеля Яна. Как смог, привел его в чувство, усадил в кресло механика.

Шторм не унимался. Расклинившись руками и ногами, они молча перемогали свирепую болтанку.

— Что мы имеем, — рассуждал вслух Кондратьев. — Мы имеем полную свободу... Трос, по всей вероятности, перебило взрывом. Но с рассветом нас обнаружат и выловят.

— Если стихнет шторм и не будут летать англичане, — уточнил Смоляк.

— Ты сможешь дать ход?



— Соляра хватит минут на двадцать... Батарея разряжена процентов на семьдесят. Сжатого воздуха в баллонах от силы на два всплытия.

— Негусто... Давай попробуем провентилировать лодку!

— Страшно открыть захлопку. Наберем воды...

Перед рассветом шторм слегка приутих. Кондратьев даже смог открыть люк рубки и обозреть светлеющие горизонты. Их изрядно отнесло от берега. Плотная дымка морской синевы размывала силуэты гор. Вокруг ни огня, ни проблеска... Если их и искали, то только в той бухте, где проводились испытания. Однако праздновать свободу было рано. Любой корабль в Тирренском море мог быть только итальянским. Кто бы ни заметил рубку подводной лодки, немедленно откроет огонь или пойдет на таран. Решили переждать светлое время суток на грунте. По счастью, их утлый челн был оснащен эхолотом, который все время показывал запредельную для них глубину под килем в сто с лишним метров.

Смоляк запустил дизель, и они пошли вдоль берега в поисках отмели. Здешний бог морей — Нептун — смилоствовался и послал им превосходное подводное плато на 30-метровой глубине. Сразу же погрузились и легли, судя по скрежету под килем, на крупную гальку. Можно было отлеживаться, сколько позволит кислород, не опасаясь присоса к грунту. Ян наладил лампочку-переноску, и они облазили все закоулки своей карликовой субмарины в надежде отыскать что-нибудь съестное или глоток пресной воды. Увы, никто не готовил их кораблик к сколь-нибудь длительному плаванью. Скорее всего, итальянцы обрекли эту сверхмалую подлодку на экспериментальное заклание и потому не снабдили ее никакими запасами — даже топлива.

В носовом, размером с большую бочку, отсеке для диверсантов они обнаружили две укороченные койки, улеглись на них, поджав ноги. Чем меньше двигаешься, тем меньше потребляешь кислорода, «тлена», как называл Ян этот эликсир жизни по-польски. Они лежали и, чтобы убить время, спрашивали друг



друга, как будут те или иные слова на их родном языке. Выяснилось, что такие основополагающие понятия, как хлеб, мать, вода, огонь, небо, изначально родные им обоим. Но вот дошли до бытовых вещей и тут оба озадачились. То, что для Кондратьева было «кораблем», для Смоляка звучало как «окрент». Русский «кипяток» для поляка был «укропом», «червяк» — «рыбаком», «гайка» — «мутеркой». Но больше всего Кондратьева поразило, что наша безобидная «чашка» обозначала для товарища по заключениюм «череп».

— Это что ж выходит, — изумлялся он, — по-вашему, мы пьем из черепов? А вы из чего пьете?

— А мы из филежанок.

Это был самый необычный в мире симпозиум по сравнительной лингвистике: два полуотглохших, полуживых от измота человека, которым угрожала ежеминутная гибель, лежали на дне Тирренского моря в отсеке карликовой субмарины и по-детски удивлялись новым словам для привычных понятий.

Под вечер, выдыхав почти весь кислород, пока в висках не застучали металлические молоточки, они всплыли на поверхность и осмотрелись. Море было пустынно, но впереди, на лунной дорожке, темнел не замеченный вчера в туманных сумерках силуэт гористого островка, похожего на шапку кардинала. До него было не больше трех миль.

— Дотянем? — спросил Кондратьев.

— Если Матка Боска поможе...

Конечно, и на острове их кораблик могли встретить залпом какой-нибудь зенитной батареи. Но высаживаться на материке было еще опаснее. Да и не дойти им на том скудном запасе соляра, который еще поплескивался на дне топливной цистерны.

— Какой сегодня день? — поинтересовался Смоляк из распахнутого моторного отсека. По старой штурманской привычке Кондратьев вел отсчет времени, расчертив себе на спичечном коробке календарик.



— Тридцатое апреля.

— О, так сегодня же Вальпургиева ночь!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ведьминская ночь. Главный шабаш года. Видишь, какая луна? Вот дизель и не запускается.

Течение уносило лодку мимо острова.

— Переходи на электродвижение!

— Не дотянем. Аккумуляторы разряжены до воды...

— Парус бы соорудить...

Они вытащили из носового отсека брезентовые койки и привязали их к поднятому перископу, как к мачте. Жалкое подобие парусной оснастки тем не менее поймало ветерок. Но он лишь отжимал лодку от берега, ни на метр не приближая к вожделенному островку. Смоляк вовсю шуровал в моторном отсеке, пустив в цилиндры дизеля последние атмосферы сжатого воздуха. Движок вдруг фыркнул раз, другой и бойко застучал. Кондратьев, еще не веря счастью, лег на курс к островку. «Кардинальская шапка» заметно приближалась. Уже были видны рыбацкие хижины над обрывом скалы. Их черепичные кровли тускло рябили в лунном свете так же, как и всплески взветренного моря, — но тут дизель заглох и, похоже, навсегда. Соляр кончился... Кондратьев снова стал привязывать к перископу койки. В этот раз ветер оказался попутным. Медленно, но верно, а главное, бесшумно гнал он железный челн на прибрежные камни.

— Может, так доплывем? — предложил Ян.

— Течение сильное, унесет... Попробуй все же врубить электромотор.

Едва Смоляк замкнул цепь, как «щупак» дернулся и пошел быстрее. На издыхающих аккумуляторах они подошли к скалистой круче и двинулись вдоль отвесной скалы, в поисках места, куда бы можно было высадиться. Каменная стена выходила из моря вертикальными складками, но за очередным мысом вдруг открылся темный зев высокого грота. Кондратьев направил лодку под его неровные своды.



Глава девятая

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Подводный «карлик» всплыл в морскую пещеру на последних оборотах винта и тут же заскреб килем о грунт. Для пущей надежности Кондратьев заполнил балластную цистерну, и теперь можно было не беспокоиться, что «шупак» стронется с места и волны вынесут его в море.

— Если мы добудем на острове паливо, — сказал Смоляк, — у нас будет шанс уйти к англичанам на Мальту.

Кондратьев промолчал. После норвежского бота он не загадывал так далеко. Да и в голове бились мысли не о соляре, а о глотке пресной воды, которая смыла бы соль в пересохшей гортани.

Задрав входной люк, они спрыгнули в теплую воду и выбрались из грота по пристеночным камням.

Ночная темень уползала на запад. Светало быстро и ясно. Беглецы поднимались по крутой каменистой тропе, готовые к любой неожиданности. Но когда из-за полуразрушенной каменной ограды раздался раскатистый, в три колена, вопль петуха, Кондратьев замер как вкопанный, и впервые за много месяцев губы его растянулись в улыбке.

— Когут! — радостно подтвердил услышанное Ян.

Остров был явно обитаемым, и крик петуха обещал по меньшей мере глоток чистой холодной воды. Оба осторожно заглянули за ограду, грубо сложенную из дикого камня. Сквозь колючие заросли они увидели бетонированный дворик с пятью абрикосовыми деревьями в круглых прорубях, за ними белостенную хибару под односкатной черепичной кровлей. Но самое главное, к чему сразу приковались их глаза, была вода, поблескивавшая в поилке для кур и индюшек.

Из домика вышла черноволосая женщина с миской зерна и стала разбрасывать корм птицам.

— Франческа! — окликнула ее старуха, выглянувшая из окна, и произнесла непонятную фразу.



— Франя! — блаженно улыбаясь, повторил имя женщины Смоляк. Он так и окликнул ее из-за ограды:

— Бон жиорно, Франя!

Женщина вздрогнула и едва не просыпала корм. Тот скромный запас итальянских слов, которым они обзавелись в Кампо Бьянко и Специи, едва позволил объяснить перепуганным рыбацкам, что они моряки и что их «мотоскафо» — корабль — сыграл «буль-буль».

— Тедеско? (Немцы?) — настороженно спросила старуха.

— Нон. Руссо, — ответил Кондратьев, перелезая через ограду.

— Руссо? — вопросительно глянула на мать Франческа.

— Мессина, — пояснила ей та.

— А-а!.. — просияла рыбацка, и Кондратьев понял, что и она тоже слышала, как русские моряки спасали жителей Мессины в сильнейшее землетрясение. Он даже вспомнил год — 1908-й. Рыбачки вынесли им кувшин холодной родниковой воды, а потом накормили баклажанами, запеченными на углях вместе с кальмарами. И по кружке домашнего красного вина поставили на садовый стол, грубо сколоченный из старых корабельных досок.

Пришла соседка — загорелая до черноты рыбацка средних лет, протянула Кондратьеву загорелую от неженской работы ладонь, назвалась Терезой и так стрельнула очами, что у того сладко заныло сердце... Вскоре за столом под сенью виноградника собралась вся рыбацкая деревушка: явились еще две старухи, убитенный сединой падрино (дедушка — *итал.*), прибежала девочка с двумя голоштаннкими мальцами. Из общей весьма оживленной и не очень вразумительной беседы выяснилось самое важное: никаких военных на острове нет. Еще нечаянные гости узнали: мужья молодых рыбацек взяты в армию и вот уже третий год нет от них никаких вестей. Остались от них лишь девочка у Терезы да двое малышей у Франчески.

Как ни устали Кондратьев со Смоляком, но после столь радушного приема взялись налаживать хозяйство, давно забыв-



шее умелую силу мужских рук. Первым делом друзья придали устойчивость колченомому столу. Потом приладили жерди для просушки сетей. Смоляк полез на крышу поправить черепицу, сбитую недавним штормом, а Тереза увела Кондратьева на свой двор чинить сломавшийся колодезный насос. Ужинали все вместе, но заночевали каждый у своей хозяйки.

Остров Ризо. Лето 1943 года

И началась райская жизнь посреди военного ада... По утрам Тереза будила Кондратьева, все еще не отоспавшегося за годы хронического недосыпа, жарким поцелуем и множеством непонятных ласковых слов. Сбежав по мощеной тропе к морю и бросившись с размаху в лазурно-прозрачную воду, сквозь которую играли-пересверкивали белые в зеленой бахrome камни, он резвился, как дельфин. Потом поднимался к накрытому в винограднике столу, где его поджидал прямо-таки библейский завтрак: испеченная на угольях пшеничная лепешка, кусок овечьего сыра и пригоршня маслин. Запив еду кружкой молодого вина, Кондратьев принимался за неизбывные хозяйские дела... За полмесяца блаженной жизни он отремонтировал Терезе прадедовскую механическую крупорушку, подмуровал овчарню, залатал у рыбацкого бота пробитое днище, нарубил запас дровишек из крепкого, как железо, прокаленного солнцем суходрева...

В полуденное пекло деревушка погружалась в сон сиесты. Кондратьев и Смоляк проводили ее в прохладе каменного дворика Франчески — под сенью виноградных листьев. Потягивая вино, наполовину разбавленное родниковой водой, они строили планы на ближайшее будущее — как покинуть остров и где искать встречи с союзниками. Ни одна из здешних лодок не годилась для сколь-нибудь серьезного плавания. Остров Ризо оборачивался для них хоть и спасительным, но тупиком.

От хорошей жизни и избытка времени их обоих потянуло на политику. Смоляк допытывался:

— Почему Сталин не спас Польшу, когда Гитлер напал на нас? Дали бы немцам обший отпор и война бы заглохла.



— Но согласились бы генералы твоего правительства, — резонно возражал Кондратьев, — воевать вместе с тем самым Буденным, которого они едва остановили на Висле?

— Может быть, и не согласились, если бы это был именно Буденный. Но зачем Советы нанесли Польше удар в спину, когда она билась с Гитлером?

— Наши войска вошли в Польшу, когда ее уже покинуло собственное правительство. Немцы почти беспрепятственно ринулись на восток... Тебе было бы легче, если бы Гудериан двинул на нас свои танки не из-под Бреста, а из-под Минска? Ведь граница проходила именно там. И Москвы бы они достигли тогда не в октябре, а где-нибудь в августе или еще раньше. Вот тогда бы война с Гитлером заглохла в его пользу раз и навсегда. И мы бы не пили с тобой это вино на этом прекрасном острове.

— Проклятый остров! Хлопцы воюют, а мы прохлаждаемся...

— А как же Франия?

— О, Франия! Это награда за наше пакутство.

— За что?

— За наши мучения... Если бы не Гитлер, я бы, пожалуй, остался здесь навсегда. Может, вернусь после войны, если жив буду.

— Чтобы сюда вернуться, надо сначала отсюда выбраться... — задумчиво вздыхал Кондратьев, обросший медно-рыжей бородой.

Еще на третий день после их счастливой высадки на Ризо к рыбацему причальнику подвалил военный катер с пятью карабинерами. Смоляк вовремя заметил его с крыши дома Франчески, и та спрятала его вместе с Кондратьевым в погребке под сыроварней. Ни одна душа в деревушке не выдала присутствия на острове чужаков. Катер с карабинерами отвалил ни с чем. Больше на Ризо никто не навевывался. Порой казалось, что война навсегда обошла стороной этот клочок суши. И, глядя в безмятежную синь Средиземного моря, трудно было поверить,



что где-то в его глубинах шныряют подводные лодки, а за горизонтами по-прежнему вершится дьявольская охота на караваны судов, идущих в конвоях, что на самых южных — африканских — его берегах гремят ожесточенные бои.

Никакие вести с Большой земли сюда не попадали. Правда, раз в десять дней к острову подходил катер, чтобы забрать улов макрели. Старик-шкипер оставлял взамен рыбы соль, муку, осветительный керосин и кое-какие новости. На всех фронтах дела у дуче обстояли весьма туго. Англичане с американцами высадились на Сицилии.

Тереза чувствовала, что душа ее морем данного мужа рвется прочь с острова. По ночам она осыпала Кондратьева жаркими поцелуями, и в потоке сбивчивых непонятных слов ясно угадывалось одно: останься!

В последнее воскресенье августа звезды на Ризо сияли по-особому ярко. Голова Терезы покоилась на плече Кондратьева, и они смотрели на падающие звезды сквозь резные листья виноградника, в котором постелили себе постель. Таким капитан Кондор навсегда запомнил последнее ложе с солоноубой рыбачкой Терезой...

Глава десятая

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУНИССКИЙ!

В первом часу ночи прибежала Франческа, чем-то насмерть перепуганная. Из-за ее плеча выглядывал встревоженный Ян.

— Мотоскафо! Мотоскафо! — беспрестанно повторяла Франя, показывая в сторону грота, где был спрятан «щупак». Кондратьев решил, что подводную лодку, несмотря на принятый балласт, каким-то образом вынесло в море.

— Она говорит, что там неизвестные люди! — пояснил Смоляк. — Не итальянцы!



— Немцы?

— Не похоже. Надо посмотреть.

Вооружившись топорами, они двинулись по серпантину, ведущему к гроту. Через сотню шагов оба затаились: в туях и камнях заброшенного кладбища мелькнула человеческая фигура, за ней другая, третья... Если это немцы, то чего им прятаться на острове союзников?

— Дезертиры? — предположил Смоляк.

Вместо ответа Кондратьев показал ему вниз — под обрыв. Там поплясывала на мелкой волне надувная шляпка с мощным подвесным мотором. В ней сидел человек в явно британской каске, обтянутой маскировочной сеткой. На остров пожаловали английские командос. Вскоре в этом не осталось никаких сомнений: из зарослей можжевельника донеслось негромкое, но очень искреннее: «Годдэм!»

Но как выйти навстречу долгожданым союзникам? Неловко окликнешь и пулю схлопочешь.

— Давай споем! — предложил Смоляк.

— С ума сошел!

Но Ян затянул уже песню, которую частенько пели англичане в «садке для угрей»: Go to long to Tirperegry... Она прозвучала как пароль. Изумленные командос долго не могли понять, каким образом эти русские оказались на итальянском острове. Чтобы окончательно развеять их сомнения, моряки отвели их в грот и показали притопленную сверхмалую подлодку. Только тут разговор пошел на полном доверии. Более того, Кондратьев стал требовать, чтобы разведчики взяли их с собой, поскольку они располагают важными сведениями о диверсионно-штурмовых средствах итальянского флота. Особенно уговаривать не пришлось. Лейтенант Томпсон, командир группы, без лишних слов кивнул на шляпку. Они едва поместились в ней впятером, но мощный мотор довольно резво помчал их на юг, в точку randevу с кораблем-носителем.

— Эх, проститься не успели! — вздохнул Смоляк, глядя на удаляющийся остров. Кондратьев молча с ним согласился. Чего



доброе, Тереза с Франей запишут их в покойники да помянуть начнут... Но тут их мысли резко изменили ход: прямо по курсу в двух кабельтовых всплыла подводная лодка. Шлюпка подвалила к кормовым рулям глубины и мягко ткнулась носом в мокрый черный борт. В считанные минуты вся группа перебралась в рубку и скрылась в стальном колодце входной шахты. Кондратьев с нескрываемым удовольствием вдыхал запахи резины, соляра, селедки, краски и еще чего-то неистребимо лодочного... Полугостей-полу пленников быстро определили на жительство в тесной двухместной каютке, запретив хождение по отсеку. Кондратьев не обиделся. Он и сам бы так поступил, попади к нему на корабль столь подозрительные типы, как они с Яном. Оставалось лежать и гадать, куда идет лодка — на Мальту? В Гибралтар? В Алжир? Так и не угадали. На третьи сутки похода английская субмарина пришвартовалась в тунисском порту Бизерта. Об этом они узнали только в кабинете какого-то чина британской разведки. И содержали, и допрашивали их порознь. Но так как ни Кондратьев, ни Смоляк ничего не скрывали, а более чем охотно рассказывали весьма интересные для спецслужб вещи, то хозяин кабинета — пожилой майор с серебряной щеточкой усов — весьма подобрел к своим подопечным и даже предложил однажды за чашечкой кофе с коньяком перейти на службу в британский флот в качестве инструкторов подводно-диверсионного дела.

— Я готов принять ваше предложение, — дипломатично ответил Кондратьев, — если на то будет согласие моего командования.

— Но здесь у нас нет связи с вашим командованием! И я предлагаю вам воевать с Гитлером в общих рядах. Ведь вы же не собираетесь отсиживаться в Африке, пока мы не разобьем Германию? Кончится война, и мы поможем вам вернуться на родину. Слово офицера Ее Величества!

— Я прошу вас помочь мне вернуться сейчас!

— Это невозможно: до ближайшей советской границы отсюда тысячи миль. Я предлагаю вам достойный любого офи-



цера выход: сражаться с общим противником в союзнических рядах. Будьте реалистом, мистер Кондор! Иначе нам придется интернировать вас до конца войны!

— Я подумаю... — уходил от прямого ответа Кондратьев. — Я подумаю...

Даром что не добавлял: «над третьим вариантом вашей альтернативы». И думал ночи напролет, как выбраться из этой новой ловушки.

Бизерта. Октябрь 1943 года

Убедившись, что русские моряки выдали всю информацию об итальянских сверхмалых лодках, какой владели, майор Шеклтон потерял к своим подопечным всякий интерес. Да и итальянцы теперь повернули оружие против бывших союзников. Тем обиднее было сидеть взаперти сутками напролет. Правда, им позволялось выходить во дворик, огороженный со всех сторон высокими глинобитными стенами, ослепительно выбеленными известью. Здесь под старым перекрученным оливковым деревом они часами резались со Смоляком в нарды или помогали английским солдатам менять на джипах пробитые скаты. Кормили их вместе с охранниками из комендантского взвода. На ночь запирали в тесной безоконной каморке, где с трудом уместались две походные раскладные койки. Дни менялись один за другим, пустые и одинаковые, как стреляные гильзы.

— Может и в самом деле перейдем к ним на службу? — предлагал Смоляк.

— Тебе проще, — усмехался Кондратьев. — У тебя правительство в Лондоне. А у меня в Москве. Не поймут меня, брат... Мне еще эту «автономку» припомнят... Надо к своим пробиваться!

Однажды в воротах их белой темницы застрял огромный армейский грузовик. Все принялись его дружно выкатывать. Как всегда, помогали и русские. Никто не обратил внимания, что сначала один из них, а потом другой подлез под машину, чтобы толкать ее со стороны улицы. И так же никем не замеченные в общей суете оба добровольных помощника вдруг исчезли в



пестром потоке восточной толпы. Выбравшись на самую окраину Бизерты, беглецы заглянули в тихую кофейню перевести дух.

— Интересно, чем тут расплачиваются, — спросил Смоляк, жадно втягивая аромат жареных кофейных зерен. — Динарами или фунтами?

— Тебе не один черт, когда у нас и гроша ломаного нет? — вполголоса ответил Кондратьев.

— Простите, — по-русски откликнулся старичок, сидевший за столиком в углу. — Но мне было бы приятно угостить соотечественников!

— Вы кто? — подсел к нему обрадованные моряки. Старичок заказал две чашечки кофе с двумя стаканами холодной воды и только после этого представился:

— Лейтенант российского императорского флота Максимов Дмитрий Анатольевич. — А вы, господа?

— Мы не господа, — насутился Кондратьев. — Мы товарищи.

— Ну это как сказать! — встрепнулся Ян. — Что до меня, так я пан Смоляк, поручник маринарки.

Знакомство, однако, состоялось.

— И давно вы здесь? — хмуро спросил Кондратьев.

— С одна тысяча девятьсот двадцатого года, — четко доложил шестидесятилетний лейтенант. — Как ушли из Севастополя всей эскадрой, так и несу здесь стационарную службу. В порту сторожем на блокшиве работаю. А вас каким ветром, позвольте спросить, занесло?

Даже в самом кратком пересказе одиссея «капитана Кондора», как представился старику Кондратьев, производила впечатление. И Дмитрий Анатольевич поспешил пригласить друзей по скитаниям к себе.

— Чем меньше вы будете мозолить глаза аборигенам и «томми», тем дольше вы сохраните свою свободу.

Уговаривать особо не пришлось. Максимов провел их задворками туземных кварталов к своему дому, такому же плоскокрышему и белому, как и все остальные. Жена хозяйина, немолодая



берберка, постелила гостям на втором этаже и собрала нехитрый ужин из тыквенной каши и зеленого чая.

Утром Дмитрий Анатольевич принес из порта новость: в Сирию уходит пароход с большим некомплектком команды.

— В кочегары пойдете? — спрашивал Максимов. — Доберетесь до Сирии, а там до Ирана рукой подать. В Тегеране Красная Армия стоит.

— В Сирии польский корпус генерала Андерса! — оживился Смоляк. — Надо идти! А что за пароход?

— Да грек какой-то... Немецкие трофеи в Тартус везет.

— Как же нас без документов возьмут? — поинтересовался Кондратьев.

— Уголек шуровать и без паспорта можно. Платить не будут, а за харчи довезут... Эх, мне бы годков десять скинуть, с вами бы пошел. Вы уж за меня Севастополю поклонитесь!

...Старый угольный пароход «Минерва» под полосатым греческим флагом стоял в торговой гавани и принимал ящики с продовольственными запасами разбитой армии генерала Роммеля. Грузили коробки с галетами, бочки с пальмовым маслом, палатки, кипы солдатских одеял... Все это предназначалось для французских и польских частей, дислоцированных в Сирии и Палестине.

Ведомые портовым сторожем, Кондратьев и Смоляк вступили на разбитый трап «Минервы». Вступили на тропу новых приключений, которыми они уже были сыты по горло.

Глава одиннадцатая

«ОН ШЕЛ НА ОДЕССУ, А ВЫШЕЛ К ХЕРСОНУ»

Капитан «Минервы» — седой небритый грек в измятой фуражке — встретил кандидатов в кочегары весьма безразлично. Максимов долго объяснял ему что-то по-французски, потом махнул рукой, засмеялся и сказал:



— Он говорит, что это его последний рейс, и ему все равно, кто будет швырять уголь в топку котлов, хоть сам дьявол. Лишь бы машина получала пар. Велел идти к механику, тот покажет койки в кубрике и места в кочегарке.

Механик, жуликоватый тип неизвестного рода-племени, записал их имена в судовую роль; поскольку он же выполнял и обязанности чифа — старпома, свел новичков в кубрик — темную ржавую железную коробку без иллюминаторов, показал свободные койки, потом на ломаном английском языке объяснил порядок вахт и время приема пищи. Все это время Максимов, как добрый родитель, пристраивающий своих чад к делу, был рядом. Они распрощались с ним на причальной стенке, крепко обнявшись и пообещав, что если доберутся до Севастополя, то отдадут городу земной поклон от лейтенанта-черноморца Максимова.

Утром «Минерва» снялась со швартовых и без гудков, по военному времени, вышла из порта в беспокойное осеннее море. Ничего этого Кондратьев со Смоляком не видели. Они швыряли «кардиф» в огненные топки котлов огромными совковыми лопатами. С непривычки оба быстро выбились из сил. Их утрюмомолчаливые напарники — не то голландцы, не то датчане, кочегарили тоже весьма неумело. Держались они особняком и ни в какое общение не вступали. Сил Кондратьеву придавала только одна мысль, что с каждой новой лопатой угля, с каждым новым оборотом винта судно все дальше и дальше уходит на восток, а значит, родина все ближе и ближе. Другое дело, что из Сирии до Тегерана путь тоже предстоял непростой и неблизкий. Но все же там счет шел на сотни километров, а не на тысячи миль. Каскад превратностей судьбы научил его вере в добрый исход любого заключения. Не зря же англичане в «садке для угрей», старые морские волки, частенько повторяли себе в утешение: «А в море бывает хуже...» В том, что это так, Кондратьев убедился на третью ночь их рейса, когда старый пароход, прижимаясь к ливийским берегам, обходил все еще занятый немцами Крит.



Заступив в полночь на вахту к котлам, они с Яном не застали на месте своих утрюмых напарников.

— Заспались! — решил «кочегар Кондор» и полез наверх, чтобы поторопить нерадивых коллег. Но едва он выбрался на палубу, как услышал выстрелы в ходовой рубке. Потом распахнулась дверь и по трапу правого крыла скатился кочегар-«голландец» с «люгером» в руке:

— Ауф! Аллее ауф! — кричал он, тыча стволом пистолета в распахнутый люк кочегарки. Кондратьев нырнул в зев судовой преисподней. Тяжелая железная крышка опустилась за ним с лязгом.

Ясно было, что власть на «Минерве» захватили немцы из разбитого Африканского корпуса. На судно они проникли так же просто, как и они со Смоляком. И капитан, похоже, поплатился головой за свою беспечность. Война, она и в Африке война...

Они сидели у закрытых топок, рассуждая, как быть. Можно было выбраться на палубу через горловину угольного бункера. Но что делать дальше против вооруженных головорезов? Они наверняка повернут пароход к Криту. А там никто с командой-сбродом церемониться не станет...

Давление в котлах резко упало, и вскоре в распахнутый люк свесилась голова бывшего «голландца». Он кричал и угрожал. Пришлось взяться за лопаты. Через полчаса сверху выпихнули на решетки механика-чифа. Он был легко ранен в плечо. Кондратьев перевязал рану обрывком полотенца, которым они вытирали пот. Но ничего другого под рукой не оказалось.

— У них нет штурмана, — на скверном английском сообщил механик. — Они хотят идти на Крит, но не знают ни нашего места, ни нужного курса. Они убили капитана. А кроме него, никто на судне в штурманском деле не волокет...

— Я штурман, — признался Кондратьев.

— Тогда отведи их на Крит, иначе они погубят пароход и нас заодно.

— О'кей! Иди и скажи им, что штурман есть.



Смоляк недоуменно посмотрел на своего боевого товарища. Не шутит ли он?! Но перепачканное угольной пылью лицо капитана Кондора было непроницаемым.

Чиф-механик ушел объясняться с немцами. Это не заняло много времени, и новоявленный судоводитель был немедленно извлечен из недр кочегарки и поставлен к прокладочному столу. Главарь группы захвата ткнул стволом пистолета в очертания острова Крит, строго погрозил пальцем и сделал весьма выразительное «пуф-пуф»!

— Яволь! — кивнул Кондратьев и вытащил из ящика секстант. Первым делом он определил место, благо звезды на небе и астрономические справочники в капитанской каюте оказались в порядке. Самая грубая прикидка показала, что «Минерва» дрейфует в двухстах милях от юго-западной оконечности Крита. Кондратьев перенес точку определения на двести миль западнее и показал ее немцам. Они все столпились над картой. Но, видимо, среди них не было ни одного моряка. Они приняли на веру и координаты судна, и дату прихода его в ближайший критский порт. В конце концов, их новый штурман отвечал за все это головой. Тот ткнул карандашом в календарь и выбросил два пальца — двое суток займет путь.

Кондратьев сам встал к штурвалу. А по углам ходовой рубки расположились двое надсмотрщиков-конвоиров. Они не спускали с него глаз и даже еду приносили ему к штурвалу. На что он рассчитывал? Смешно сказать — на то, что на острове Кипр, куда он вел пароход, не написано, как на карте, что это остров Кипр. А острова в Средиземном море на один манер — горы, покрытые лесом. И если завернуть в какую-нибудь малую гавань, где нет никаких войск, то номер может сойти с рук. Что на Крите греки, что на Кипре. Но на Кипре в Фамагусте — английский гарнизон... Однако номер с рук не сошел...

К исходу вторых суток на горизонте вздыбились гористые очертания большого острова. Немцы резко оживились, забеспокоились. Старший, к которому его подручные обращались —



Рихард, долго рассматривал надвигающийся берег в бинокль, но не обнаружил ничего подозрительного. Вечернее море благостно заштило. Кондратьев отыскал на карте небольшую рыбацкую гавань и вел «Минерву» именно туда. В великолепном расположении духа он напевал себе под нос: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, в засаду попался отряд...» И все было бы хорошо, если бы слева по борту не вывернул из-за мыса дозорный английский тральщик. То, что это англичанин, Рихард определил в мгновение ока, вооруженное биноклем. Он бросился к карте, но что ему мог сказать лист разноцветной бумаги? Тем более что курс парохода был четко прочерчен к главной гавани Крита. Тем временем сигнальщик с тральщика сделал запрос, и, не получив ответа, корабль повернул прямо на «Минерву». В рубку ворвались и все остальные захватчики. Они метались по ней, как волки в западне. И когда стало ясно, что англичане все же высадутся на пароход — их комендоры уже дали предупредительный выстрел из носового орудия, — Рихард с яростными ругательствами подскочил к Кондратьеву, молча сжимавшему рукоятку штурвала. Он наставил на него «люгер».

«Вот так погибал Сусанин...» — мелькнула мысль, последняя перед опаляющей вспышкой выстрела...

Фамагуста. Ноябрь — декабрь 1943 года

Кто сказал, что снаряды не попадают дважды в одну и ту же воронку? Пуля из «люгера» попала в то же самое место, в какое Кондратьев был ранен год назад, — стесала над правым виском клочок кожи с волосами. Рана сама по себе безопасная, но повторная контузия надолго уложила капитан-лейтенанта в госпитальную палату. Когда он обрел наконец дар слуха и речи, врач-англичанин сообщил ему, что немцы, захватившие «Минерву», отправлены в лагерь, а сам пароход уже с новым капитаном благополучно отбыл и, надо полагать, уже давно прибыл в порт назначения Тартус. Еще он поздравил своего пациента с тем, что английское командование представило его к боевой награде. Но и эта новость не обрадовала капитана



Кондора. Грустно было сознавать, что жизнь навсегда разлучила его с верным спутником. Они не успели с Яном даже обменяться адресами.

А в Фамагусте цвели олеандры, и в городе уже сняли боевое затемнение по ночам. Кондратьев бродил по припортовым улочкам и ждал оказии в Сирию или Палестину. Только под самый Новый год ему нашли место на танкере, который шел в Латакию.

Через двое суток Родина приблизилась еще на триста миль...

В комендатуре сирийского порта справка, выданная капитану Кондору главным врачом морского госпиталя Фамагусты, не произвела никакого эффекта.

— У меня нет возможности отправить вас в Тегеран, — отрезал британский подполковник с нашивкой за Дюнкерк. — Поступайте в польскую армию. Они берут добровольцев.

И хотя соблазн перестать испытывать судьбу был велик, к тому же у генерала Андерса наверняка можно было отыскать и Смоляка, Кондратьев решил пробиваться к своим во что бы то ни стало.

Глава двенадцатая

«АГА КОНДРАТОРИ ДАЛ ПРИКАЗ...»

Латакия. Январь 1944 года

Грузы по ленд-лизу шли в СССР не только северным путем, не только с Дальнего Востока, но и с юга, через Иран. Их доставляли из портов Восточного Средиземноморья на грузовиках шоферы-ассирийцы, которые нередко становились жертвами диверсантских засад на пустынных дорогах. Ничего этого Кондратьев не знал, когда, изнуренный жарой и полной неопределенностью судьбы, забрел в дешевую кофейню на окраине города. Четыре старика в белых одеяниях курили кальян, передавая чубук по



кругу, с удивлением взирали на странного инглези, который рискнул заглянуть в это не самое безопасное место в Латакии, где каждый день бесследно пропадали неосторожные европейцы.

Хозяин кофейни оказался армянином, знавшим русский язык, и старцы с интересом прислушивались к их оживленной беседе. Потом они вдруг запели протяжную гортанную песнь. Кондратьеву показалось сначала, что он ослышался — белобородые аксакалы несколько раз повторили в песне его фамилию!

— О чем они поют? — спросил он кофевара. Тот прислушался.

— Это ассирийцы. Они поют про русского полковника Кондратьева, который во времена Первой мировой был военным советником у их патриарха Мар-Шимуна. Это национальный герой ассирийцев.

— Первый раз слышу... Но ведь я тоже Кондратьев! Вот совпадение!

Теперь он явственно слышал, как старики выпевали его фамилию:

Ага Кондратори, айванд диза...

Армянин остановил их пение и перевел то, что сказал ему этот бог весть каким ветром занесенный русский.

Ассирийцы не сразу в это поверили, пришлось показать справку из английского госпиталя. Тогда, посоветовавшись между собой, они предложили чубук кальяна русскому гостю, и шустрый парнишка, раздувавший угли и подававший кофе, куда-то исчез. Вскоре в кофейню стали набиваться местные ассирийцы, чтобы посмотреть на «сына полковника Кондратори». Напрасно Кондратьев уверял, что в его рабоче-пролетарском роду не было никаких полковников, что отец его — прессовщик с «Красного выборжца». Но армянин этого не переводил. Ему было просто некогда — намечалось застолье, и немалое. Появился зурнач и барабанщик. Песня об отважном полковнике Кондратьеве звилась с новой силой.



— Кто он такой? — недоумевал его однофамилец. — Почему они его так славят?

К концу нечаянного празднества узнал он вот что: ассирийцы, исповедовавшие христианство (несторианство), веками жили среди мусульман Ирака, Ирана, Турции. С началом боевых действий на турецком фронте в Первую мировую войну они с воодушевлением встречали русских солдат-единоверцев. Духовный и светский вождь этого древнейшего народа патриарх Мар-Шимун получил от российского императора военную поддержку для восстановления в Междуречье ассирийского государства. Полковник Генерального штаба Кондратьев лично водил в бой ассирийских горцев. О его отваге слагали легенды. После Октябрьского переворота полковник Кондратьев, как бывший царский офицер, не стал регистрироваться в органах ВЧК и оказался на нелегальном положении. Ассирийцы Кубани укрывали его в своих домах. В больших городах ассирийцы занимались чисткой обуви, и бывшему полковнику Генерального штаба приходилось иногда работать под чистильщика сапог. Благо это искусство он освоил еще в юнкерском училище. В Воронеже, скрываясь от чекистов, он драил на вокзале ботинки пассажирам. Однако его выдали двоюродная сестра, и ассирийского «Чапаева» расстреляли. Весть о гибели Ага Кондратори (господина Кондратьева) распространилась по всем ассирийским селениям — от кубанских плавней до сирийского нагорья.

— Вот почему для тебя, — заключил хозяин кофейни, — они сделают все, что попросишь.

И «сын полковника Кондратори», капитан-лейтенант Кондратьев, попросил своих нечаянных покровителей, чтобы они помогли ему добраться до Тегерана.

— Поедешь завтра с караваном грузовиков, — сказал ему старейшина. — Сядешь в кабину к Юхану... Юхан, поди сюда!

Кондратьев протянул ладонь белозубому чернявому парню в линялой солдатской рубахе.

Утром они двинулись в путь вместе...



УЖИН БЕЛОГОЛОВЫХ

(вместо эпилога)

Гданьск. Август 1992 года

На билет до Варшавы капитан-лейтенанту в отставке Ивану Кондратьеву скинулись и ветераны по Союзу подводников, и соседи по коммунальной квартире. Всем бы таких соседей, как в доме № 6 по Артиллерийской улице Санкт-Петербурга.. Все знали, что через сорок с лишним лет старый моряк разыскал своего боевого товарища Яна Смоляка.

На подземном варшавском вокзале Кондратьева с его легоньким чемоданчиком встретил сын Яна — Вацлав, который отвез отцовского друга в Гданьск на своем «полонезе». По дороге рассказал, что родился он в Италии, куда отец приехал сразу же после войны. Мать, Франческа Паолини, умерла, когда мальчику было пять лет, и осиротевшая семья Смоляков вместе с приемной дочерью вернулась в Польшу.

— Отец до самой пенсии работал на Гданьской верфи. Теперь ловит рыбу в Висле, варит домашнее пиво и рутает Валенсу, Горбачева и Клинтона одним чохом, — засмеялся Вацлав, сверкнув улыбкой Франчески.

Он отвез обоих стариков в морской рестораник, завешанный рыбацкими сетями, старинными штурвалами, корабельными фонарями, и оставил наедине. Официант принес по большой кружке пива и блюдо с копченым угрем.

— Помнишь «садок для угрей»? — усмехнулся Кондратьев.

— А как ты под капот «матфорда» залез?

— А как мы лежали на фунте под Специей и ты учил меня польским словам?

— Расскажи лучше, как ты до Тегерана добрался.

— Без особых приключений, — отхлебнул Кондратьев из высокой кружки. — В Тегеране полно было наших войск... Там, конечно, вытаращили на меня глаза и отправили в Баку, в тамошний «Смерш». Следовательно попался добрый, интеллигентный, в



пенсне, как у Берии. «Я, говорил, верю вам только до Кенигсберга, а дальше — сплошной Жюль Верн... Лучше напишите коротко, но честно, как и где вас завербовала английская разведка». Я ему и так, и эдак. А он: «Вы же сами написали, что передали английской разведке сведения об итальянских сверхмалых подлодках. Одно это уже на “измену Родине” тянет». Я ему: «Да если б я хотел изменить Родине, разве б я сюда вернулся?» «Ну, эти сказочки про ностальгию вы для внуков оставьте! Сколько вам заплатили за ваше возвращение и с каким заданием вернулись?»

Ну что тут скажешь?! Вот такой разговор... И загремел я в Восточный Казахстан на ртутные рудники... Ну, про это лучше не вспоминать.

Официант зажжет свечу на столе, и шаткое пламя слегка позолотило серебряные головы.

- Семья есть? — спросил Ян.
- Нет. Не получилось.
- А Тереза по тебе тосковала...
- Значит, не судьба.
- Как живешь?
- А! В море бывало хуже...

ЛЕДОКОЛ «КРАСИН»: «SOS!»

Единственный в мире плавающий, не плавучий, а именно плавающий, то есть самоходный морской музей стоит в Санкт-Петербурге у набережной Васильевского острова против Горного музея. Это ледокол «Красин», бывший поначалу «Святогором». Названный в честь былинного богатыря, этот 83-летний корабль прожил воистину исполинскую жизнь, наполненную неустанной битвой с арктическими льдами, отмеченную трудовыми, боевыми, научными подвигами. По своей исторической ценности он значит для российского флота, да и для страны в целом, не меньше, чем крейсер «Аврора».

Принимая во внимание это, а также глас российской ответственности, подкрепленный ходатайством Министерства культуры РФ, согласованным с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и мэрией Санкт-Петербурга, правительство России в нелегком 1992 году приняло постановление «О включении в список исторических памятников ледокола “Красин”». Так ледокол получил своего рода охранную грамоту как памятник государственного значения. Получить-то получил, но капитан «Красина» Лев Бурак по-прежнему бьет тревогу. Его последнее письмо президенту Владимиру Путину напоминает сигнал «SOS!» с борта тонущего корабля. В чем дело?

Мы встретились со старейшим капитаном дальнего плавания Львом Юлиевичем Бураком в ходовой рубке ледокола. Вот что он рассказал:

— У «Красина» всегда было немало врагов: это и арктические льды, и английские интервенты, которым удалось на несколько лет захватить наше судно, и фашистские бомбардировщики...



Но самыми опасными оказались наши отечественные металло-сдатчики вкупе с чиновниками-мздоимцами. Не буду говорить, сколько трудов стоило отстоять ледокол от всех попыток отправить его на разделку. Скажу только, что, когда в Кронштадте он попал в лихие руки, нашему экипажу вместе с питерскими омовцами пришлось в прямом смысле слова брать родной пароход на бордаж и уводить его в Питер. За это меня подкараулили в подъезде дома и попытались убить. История в духе пиратских романов. Но после травмы черепа я выжил и снова вступил на «тропу войны». (Л. Бураку во время покушения было 74 года. — Н.Ч.)

Возникла новая опасность: одна из германских фирм предложила если не купить, то взять исторический ледокол в аренду, для того чтобы зарабатывать на уникальном судне туристские дивиденды. Речь шла о таких сроках, что можно было уже распрощаться с «Красиным» навсегда. Разумеется, кому-то из высокопоставленных городских чиновников, могущих решить эту проблему, был обещан немалый «гонорар». Вот за нас и взялись...

— Но у вас же статус памятника государственного значения! Вы же под охраной государства!

— Бог дал, Бог и взял.. Обойти нашу «охранную грамоту» очень легко. Для этого надо собрать пакет документов, доказывающих, что старый ледокол обветшал настолько, что его опасно держать на плаву, содержать-де его весьма затратно для городской казны и поэтому лучше всего сдать в аренду богатым немцам, которые своими средствами решат все технические проблемы. Однако поступить именно так чиновникам мешают документы Морского регистра и Акт обследования ледокола «Красин» экспертами Бюро независимых сюрвейеров. Эти документы разрешают нам не только находиться на плаву, но и совершать дальние плавания в любом районе Мирового океана. Что нужно сделать, чтобы лишить нас такой возможности, чтобы привести пароход в глыбу обветшавшего металла? Правильно — лишить его экипажа, который пока что, несмотря на мизерную



зарплату, содержит судно в полной технической исправности. Именно это и задумано под благовидным юридическим предложением. Нас передают Музею Арктики в качестве филиала. А для этого необходимо, чтобы мы расстались со своим статусом «государственное предприятие». Тогда по закону мы все — от капитана до трюмного машиниста — подлежим обязательному увольнению. Музей же набирает штат для своего филиала по своему усмотрению и по своим невеликим возможностям. Уйдут уникальные специалисты: паросиловики, электрики, трюмные... Группа же экскурсоводов и билетеров не сможет содержать на плаву огромное и сложное судно. Оно, конечно же, захиреет, и тогда через год-другой назначат техническое переосвидетельствование и составят тот самый акт, по которому «Красину» «дешевле» всего находиться в германском порту, а не в Санкт-Петербургской гавани. А этого никак нельзя допускать не только из патриотических чувств, но и из экономических соображений.

Вот перед вами выкладки, смотрите: денег нам на содержание ледокола не давали до 1994 года. Мы пережили безденежье. И сегодня годовые средства на поддержание «Красина» в исправном состоянии составляют всего лишь 0,004 % от затратной части горбюджета. А ведь ушло более 10 миллионов рублей на последний ремонт ледокола, в результате чего «Красин» получил документы Морского регистра судоходства на право плавания. Зачем же выбрасывать эти миллионы на ветер, дарить их некой германской фирме, которая будет эксплуатировать корабль в своих интересах?

Ведь мы же сами можем зарабатывать немалые деньги в пользу того же городского бюджета, на балансе которого находимся.

— Каким образом? За счет экскурсантов?

— Не только, хотя на посещаемость нашего музея жаловаться не приходится. Ведь «Красин» — единственное сохранившееся действующее историческое судно в России.

— И «Аврора»...



— Но «Аврора» обезножена и насмерть прикована к стенке, она не может ходить в моря. А мы еще можем. И вот тут-то открываются немалые возможности не только для самофинансирования, но и для подпитки государственной казны. Он многое еще может, наш единственный в мире музей-ледокол. Может развести пары, сняться со швартовых и прийти в Стокгольм, Копенгаген, Таллин, Киль или Лондон, доставив туда, кроме музейной экспозиции, рассказывающей о морской славе России, выставку конкурентноспособных российских товаров, производители которых смогут оплатить такой рейс как рекламную акцию. Может принять в свои каюты туристов и совершить круизный рейс в стиле морского «ретро». Район плавания у «Красина» по сертификатам Морского регистра неограниченный. Старинный ледокол будут рады видеть и в Италии, где история спасения экспедиции Умберто Нобиле памятна до сих пор, и в Исландии, откуда выходили конвои, в проводке которых участвовал «Красин», и в Норвегии, где также помнят участие российского ледокола в поисках пропавшей экспедиции национального героя этой северной страны Руаля Амундсена, и в Англии, на чьих верфях (по чертежам адмирала Макарова) был построен этот морской старожил...

Наконец, на борту ледокола можно разместить экологическую лабораторию — места хватит — а с ее помощью вести мониторинг качества воды Балтийского и Северного морей. И это не досужий проект, а насущная необходимость, если вспомнить, сколько пароходов, груженных высокотоксичным химическим оружием, было затоплено после войны в водах Балтики. Экологическая информация, которую бы мы добывали, несомненно, была бы востребована правительствами всех прибалтийских стран.

Многое еще может старый ледокол, если отнестись к нему по-хозяйски. Мы не просим денег. Мы просим об одном — оставьте экипаж «Красина» на борту ледокола. Не списывайте на берег уникальных специалистов. Не мешайте нам работать. Не отдавайте нас в иноземную аренду. «Красин» еще послужит родному Санкт-Петербургу. Чиновники приходят и уходят, а



исторические корабли должны оставаться на плаву. Как в той же Англии...

Старый капитан замолчал. А я вспомнил гавань Портсмута. Посреди густой рощи яхтенных мачт вздымались могучие стены флагманского корабля адмирала Нельсона «Виктори», а поодаль чернел клепаный железный корпус броненосного пароходофрегата «Вэриор». Еще дальше — подводная лодка «Элианс»; в крытом доке стояли останки поднятого со дна морского старинного парусника «Мэри Роуз»...

Есть ли еще в мире подобная гавань исторических кораблей? Англичанам это надо — морская нация. А нам не надо? Россия — не морская нация?

А кому принадлежит честь величайших географических открытий двух последних веков — Антарктиды в XIX и Северной Земли в XX? Русским морякам. Кто проложил и освоил великий морской путь из Атлантики на восток в самом непроходимом, Ледовитом, океане планеты? Опять же мы, россияне. В какой стране был создан самый могучий подводный флот в мире? В нашей. Кто освоил самые недоступные акватории гидрокосмоса — под ледяным панцирем Арктики? Мы... Так неужели мы не заслужили право иметь свои морские реликвии, неужели нам не для кого их хранить?

Народ желает моряками быть. И становится ими, несмотря на бедственное положение флота, как военного, так и торгового, промыслового, научного.

Назову только трех лично мне известных подвижников морского юношества — капитана 1-го ранга Евгения Введенского, директора Московского объединенного Морского корпуса имени героев Севастополя, попечителя Петербургского кадетского корпуса капитана дальнего плавания Александра Комшина, адмирала Анатолия Кузмина, наставника Московского клуба юных моряков. Надо видеть этих мальчишек и девчонок в выпрошенных у добрых дядей и подогнанных мамиными руками форменках. Надо видеть их седоглавых капитанов, которые из ничего создают пособия по морской практике.



Тут все зиждется на голом (в финансовом смысле) энтузиазме взрослых, на отчаянной детской вере в свои грядущие дальние походы, на общем порыве за грань морского окоема... А пока что по картинкам да плакатам изучают палубы, рубки, снасти... И вот им подарен настоящий — и какой! — корабль: ледокол «Красин», живой учебник истории, воплощенный в металле, в мачтах, якорях. Приходи, взбегай по трапам, трогай, верти, нажимай — постигай. Именно им, нынешним «безлошадным» юнгам, морякам России XXI века, и нужен этот ледокол в первый черед.

Было все за кормой «Святогора»-«Красина»: и ледяные поля, и огненные рейсы войны, и океанские штормы... Но не зря говорят: самое сложное — это достойно прожить старость. Старость ледоколу выпала преотчаянная. Паковые льды было легче колоть, чем ныне пробивать бумажные торосы.

Более полувека этот корабль был первопроходцем и спасателем. Кто же его спасет теперь?

Письмо капитана ледокола «Красин» президенту России:

Учитывая важность объекта, обращаюсь к Вашему авторитету за помощью.

Речь идет о ледоколе «Красин», вошедшем во все энциклопедии, именем которого названы пять мест на картах земного шара, о котором выпущены кинофильмы, почтовые марки, золотая монета ЦБ РФ, написано более 60 книг, награжденном орденом Трудового Красного Знамени — судне, имеющем мировую известность.

За последние годы на его ремонт израсходовано более 10 млн. рублей. В результате «Красин» получил документы Морского регистра судоходства на право плавания, на нем организован и активно посещается музей, ведется патриотическая и военно-патриотическая работа с молодежью, а также культурно-просветительская работа, начиная с круглого стола Академии военно-исторических наук до участия в международных туристических выставках.



«Красин» готов представлять интересы и морскую славу России в портах Европы.

Все это делается не при содействии и поддержке должностных лиц, которые по распоряжению мэра Санкт-Петербурга № 743-р от 30.07.1992 г. обязаны были это делать, а, к сожалению, вопреки им.

«Красин» — единственное сохранившееся действующее историческое судно России. Все остальные — «Ермак», «Малыгин», «Сибиряков», «Г. Седов». «Ф. Литке», крейсер «Киров» (эпоха в военном кораблестроении) — разрезаны на металл, гибнет в Ораниенбауме единственная в мире антимагнитная шхуна «Заря»... Остался один «Красин».

Вызывает недоумение травля в выступлениях и документах, проводимая в период работ по восстановлению «Красина» и продолжающаяся в настоящее время, подковерные игры и многочисленные активные попытки избавиться от «Красина» со стороны отдельных вице-губернаторов Санкт-Петербурга.

Сначала «Красин» требовали передать уже обанкротившемуся Балтийскому морскому пароходству, затем, фальсифицируя факты, пытались «сдать на эксплуатацию» в Германию, сейчас готовятся практически ликвидировать музей и ограничить его рамками неплавающего учебного судна с ликвидацией существующего статуса и увольнением состава узких специалистов-паровиков, знающих судно. Это в то время, когда цели и планы «Красина» вышли на фактическую реализацию и налицо — впечатляющие успехи. Все это делается за спиной красинцев, которые изучили судно и знают, как с наименьшими затратами добиться больших результатов.

Во всех этих «проектах» просвечивают личные интересы отдельных руководителей.

При этом перед «Красиным» финансовая проблема не стоит: имеется адресное финансирование. «Красин» включен в Закон-бюджет Санкт-Петербурга на 2000 год (с оплатой по ЕТС), и у нас разработан план перехода на самофинансирование в 2001 году. Начат интенсивный поиск партнеров для плавания.



Десятый год я стою на «военной тропе», отстаивая памятник истории государственного значения. В настоящее время угроза настолько сильна, что вынужден обратиться к Вам.

Судьба «Красина» волнует не только ветеранов Полярных конвоев Великой Отечественной войны, в которых он принимал участие, не только военных и гражданских моряков, судостроителей, речников, рыбаков, портовиков. Нам пишут со всех бассейнов. Судьба «Красина» волнует петербуржцев, людей самых разных специальностей.

На докладные записки в правительство Санкт-Петербурга я не получаю ответов.

Судьба всемирно известного спасателя экспедиции Нобиле, судна, предотвратившего катастрофу на море, равную гибели «Титаника» (на борту спасенного «Красиным» пассажирского парохода «Монте-Сервантес» находилось 1855 человек), участника Полярных конвоев, первопроходца, — под серьезной угрозой.

Мы просим только дать нам возможность продолжать работать и не считать собственность Санкт-Петербурга — ледокол-музей «Красин» — посторонним для Петербурга.

Во время ближайшего посещения Санкт-Петербурга просим Вас, несмотря на всю Вашу занятость, изыскать возможность посетить морскую славу России и убедиться лично, что во всем вышесказанном каждое слово — правда, и помощь нужна срочно.

С уважением,

Капитан-директор ледокола-музея «Красин», ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда

А. Бурак.

Р.С. Пока писались эти строки, капитана «Красина» Льва Юльевича Бурака не стало.

Кто теперь защитит легендарный ледокол?

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАПИТАНА

Вместо послесловия

Он вернулся из небытия белого безмолвия первым. Спустя восемьдесят восемь лет после того, как его шхуну видели в последний раз с берегов Новой Земли...

Я держу в своих руках его пожелтевший череп, набитый сухим таймырским мхом. Это вы, капитан Кучин?

Есть только один человек, которому череп ответит на этот вопрос...

Три экспедиции ушли во льды Северного океана в 1912-м, и командоры всех трех сгинули безвестно: что старший лейтенант Георгий Седов на «Святом великомученике Фоке», что лейтенант Георгий Брусилов на «Святой Анне», что геолог Владимир Русанов с капитаном Александром Кучиным на «Геркулесе»... Норвежские и российские спасатели искали их по горячим следам — не нашли. Следы пропавших экспедиций искали в тридцатые годы и находили: то обломки судов, то меченые столбы, то чьи-то истлевшие останки. Искали полярных первопроходцев и в недавние времена — экспедиции Дмитрия Шпаро. Ищут и поныне.

И вот сенсационная новость: группа орловских энтузиастов во главе с Валерием Сальниковым обнаружила близ горы Минина, что на Таймырском полуострове, человеческий череп и несколько костей. Поначалу решили, что это Владимир Русанов. Привезли останки в Москву, в республиканский центр судебной медицины. Но авторитетный специалист доктор медицинских наук Виктор Звягин не подтвердил этой догадки. Тогда в чем же сенсация?



В КАЮТ-КОМПАНИИ ПРОПАВШИХ КАПИТАНОВ

Еду на Красную Пресню, где в глубине старого двора находится здание судебно-медицинского экспертного центра.

В кабинет Виктора Николаевича Звягина вхожу не впервые и всякий раз вздрагиваю при виде полок, уставленных черепами. А хозяин как ни в чем не бывало заваривает чаек... Никогда в жизни не приходилось пить чай в столь странной компании: с навесной полки на нас взирали пустые глазницы адмирала Ушакова и Витуса Беринга, северных первопроходцев XVIII века Василия и Татьяны Прончищевых, боцмана шхуны «Заря» Никифора Бегичева и череп моряка, только что доставленный с Таймыра.

Сразу оговорюсь, черепа Ушакова, Беринга и Прончищевых представлены здесь в виде гипсовых слепков, сделанных Звягиным с исторических подлинников. Виктор Николаевич восстанавливал прижизненный облик всех этих людей по методике, разработанной профессором Герасимовым. Участник многих поисковых экспедиций, он не понаслышке знает, что такое Арктика.

— Виктор Николаевич, почему вы так жестоко разочаровали орловских поисковиков?

— Во-первых, потому, что череп принадлежит явно молодому человеку, погибшему в возрасте до двадцати пяти лет, тогда как Русанову было 37. Во-вторых, не думаю, что я разочаровал их жестоко, поскольку найти останки капитана «Геркулеса» — это тоже событие.

— Так, значит, это череп Александра Кучина?

— Полагаю, что да, хотя для однозначного ответа необходимо провести экспертизу на молекулярно-генетическом уровне. К сожалению, для этого нужны деньги — около двух тысяч долларов, а наш Центр «лишними» средствами не располагает.

КТО ВЫ, КАПИТАН КУЧИН?

Когда всматриваешься в фотопортрет Александра Кучина, невольно вспоминается жюльверновский герой — пятнадцатилетний капитан. Капитан Кучин был ненамного его старше.



Но сколько же успел в свои двадцать пять этот поморский паренек! Успел сходить со знаменитым Руалем Амундсеном в антарктические воды, составить русско-норвежский словарь, написать несколько литературных произведений, стать дипломированным капитаном и возглавить научно-исследовательское судно «Геркулес»...

Незадолго до ухода в роковой поход Александр Кучин объявил о своей помолвке с дочерью известного в Норвегии литературного критика Поульсона — Аслауг. Аслауг ждала своего нареченного всю жизнь, а умерла она относительно недавно...

Осенью 1912 года, обследовав архипелаг Шпицберген, «Геркулес» неожиданно для всех направился по Великому морскому пути и в 1913 году исчез вблизи берегов Таймыра. План Русанова — пройти на небольшой парусно-моторной шхуне с двигателем всего в 16 лошадиных сил вдоль берегов Сибири — многим казался безумным. Но Русанов свято верил в свою гипотезу — поскольку теплое течение Гольфстрима проходит много севернее сибирских берегов, то именно там, считал он, и надо искать чистую ото льдов воду, по которой можно беспрепятственно пройти на Дальний Восток. Этой верой Русанов сумел увлечь и капитана Кучина, и всех остальных немногочисленных участников предприятия — их было восемь, включая и невесту Русанова парижанку Жюльетту-Жан Сессин. Восемь живых душ и шестнадцать лошадиных сил против тысячи верст самого сурового на планете океана... Безумие? Но если бы гипотеза о «теплом проходе» севернее прибрежных льдов оправдалась, «Геркулес» смог бы свершить этот подвиг, достойный своего мифического тезки.

«Располагая маленьким “Геркулесом”, непригодным для плавания в тяжелых полярных льдах и неприспособленным для зимовки, В.А. Русанов, очевидно, не надеялся на сочувствие задуманному им столь ответственному и трудному плаванию. А между тем, являясь горячим поборником Северо-восточного прохода, он, несомненно, всей душой стремился к его исследованию и не хотел упускать представившейся возможности



осуществить свою заветную мечту. Поэтому, тая про себя план далекого похода на восток, он решил открыть его только в самый последний момент, когда уже никто не мог помешать ему в его намерении. Весьма возможно, что в данном случае он решил действовать по примеру Амундсена, который точно так же, ни с кем не делясь своими истинными планами, потом круто изменил их, направившись вместо Северного полюса к Южному». Так попытался объяснить «безумие» Русанова человек, который хорошо знал его лично — Павел Башмаков.

Следы стоянок русановцев были обнаружены еще в двадцатые годы в так называемых шхерах Минина. Но самая последняя неведома никому и поныне. Почему же останки капитана Кучина, если это Кучин, находились особняком, в стороне от лагеря?

Профессор Звягин отвечает на этот вопрос, держа в руках безмолвный череп:

— Судя по сохранившимся зубам, этот человек был болен парадонтозом. Более того, сильно застудив лицо, он заболел гайморитом, на лицевых костях хорошо видны следы этого недуга...

Звягин показывает небольшие проточки, ведущие в черепную коробку.

— Незалеченный гайморит мог вызвать воспаление мозговых оболочек — лептоменингит. При подобном заболевании человек становится крайне раздражительным, способным на непредсказуемые поступки, он избегает общества...

— То есть вы хотите сказать, что капитан Кучин, заболев лептоменингитом, мог отбиться от своих спутников, уйти в тундру и там погибнуть?

— Мог бы... Но повторю еще раз, для того чтобы сказать со стопроцентной вероятностью, что это останки Кучина, необходима специальная экспертиза. Благо живы его ближайшие родственники.

Невольно вспоминаются страницы каверинского романа «Два капитана». Его герои все же нашли последний след капитана



Татаринова и его «Святой Марии». Неужели только в книгах возможны такие открытия?

Звоню в Орел руководителю экспедиции Валерию Сальникову.

— Валерий Яковлевич, как вы совершили свою находку?

— Череп и кости нашли у подножия горы Минина. Именно в этом районе была обнаружена в свое время одна из стоянок русановцев. Неподалеку нашли чайную ложечку из так называемого польского серебра, жестянку из-под табака или пороха... Все эти предметы сейчас исследуют специалисты.

У нас в Орле открыт музей Владимира Русанова. Надеемся пополнить его экспозицию нашими находками. Но главное сейчас — это молекулярно-генетическая экспертиза. Ищем необходимые средства. Если кто-то смог бы помочь идентифицировать личность полярника, я, думаю, этот человек вписал бы и свое имя в историю российской Арктики.

Как хотелось бы, чтобы из всех пропавших во льдах капитанов вернулся домой хотя бы один.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Борис Вилькицкий среди первооткрывателей XX века занимает первое место. Статьи, которые он написал в эмиграции, впервые публикуются в настоящем издании. Основные особенности авторской орфографии сохранены:

Борис Вилькицкий

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Северный Ледовитый океан, омывающий берега Российской Империи на огромном протяжении, привлекал к себе внимание предприимчивых и смелых людей с давних пор.

Одних соблазняли богатства самого океана и его островов, другие прокладывали торговые пути, соединяющие Россию с Западной Европой, или искали великий северный путь в Индию и в Тихий океан; некоторые, как наши казаки, стремились к неведомым землям; наконец, многие шли обследовать границы русского государства и природу прилежащего моря или стремились к другим научным целям.

История не дает сведений, когда начались плаванья у наших северных берегов, но устанавливает, что русские люди намного опередили в этом иностранцев.

Первые известия, дошедшие до нас о пользовании северным путем, говорят о плавании Григория Истома, посла великого князя Иоанна III, в 1496 году из Белого моря в Данию. За ним этим путем ходил Василий Власий, и подобное же плавание, но в обратном направлении, в 1501 году совершил другой посол — Юрий Траханиот.



Затем в XVI столетии сначала англичане, а после них голландцы ходили к нашим берегам, рассчитывая найти северо-восточный путь в Индию и Китай. Первым из англичан был Гюг Виллоуби, ходивший в 1553 году с экспедицией из трех кораблей. Он зазимовал с двумя судами на Мурмане, где и погиб со всей командой, а третий корабль, под командой Ченслера, вместо Индии попал в Белое море, к месту нынешнего Архангельска. Ченслер был приглашен в Москву, где пользовался большим почетом при дворе Иоанна Грозного, и, вернувшись в Англию, дал толчок для образования особой торговой компании, получившей большие привилегии от английского и русского правительств для установления торговли с Россией северным путем. Ченслер через три года повторил этот поход, но на обратном пути разбился и погиб у берегов Шотландии.

Последователи его доходили до Новой Земли, где открывали уже давно установившиеся русские звероловные промыслы и слышали про то, что русские моряки плавают с товарами в Енисей, Таз и Обь.

Так, Стефан Бурро в 1556 году у берегов Вайгача встретил холмогорца Лошака, который ему дал необходимые указания для плавания в Обь, но из-за бурь и льдов Бурро не пошел этим путем, а вернулся в Англию.

Путь, которым в истекшем году прошел Нансен, был тогда уже хорошо известен русским людям, но скоро, по соображениям политическим, был заброшен. В 1620 году было запрещено, «чтобы немцы дорог не узнали», ходить морем в знаменитый город Мангазею. Этот город был основан в 1601 году воеводой князем Кольцовым-Мосальским на берегу реки Таза, на месте, где уже установился товарообмен с инородцами. После того бывали еще плавания в Енисей, но вскоре и они были забыты, а во второй половине XVII века из-за притеснений воевод и лихоимства стражи надолго прекратились плавания русских промышленников даже к Новой Земле.

Что касается англичан, то они из-за частых неудач еще в XVI веке прекратили свои попытки установить торговлю с



Россией и искать путь в Индию, а место их заняли голландцы. В 1594 году плавал к русским берегам с четырьмя кораблями Виллем Барентс, имя которого носит море между Мурманом и Новой Землей. Два корабля его дошли до севера Новой Земли, а два прошли мимо Вайгача в Карское море. На самом севере Новой Земли они также наткнулись на следы русских промышленников, видели там дома, обломки судов и гробы.

Плавания голландцев продолжались до конца XVII столетия, когда мысль отыскания пути в Индию была оставлена, и эти воды продолжали посещаться лишь китобоями.

Одновременно с русскими промышленниками и иностранцами большую энергию в разных пунктах нашего побережья проявили казаки. В начале века они плавали из Енисея на север и достигли реки Пясины, спускаясь по Лене, добирались до ее устья, ходили оттуда морем в обе стороны до Оленека и Яны, дошли до устья Колымы, узнали о существовании островов на севере и наконец под предводительством Дежнева в 1650 году обогнули северо-восточную часть Старого Света и из Колымы пришли в Анадырь.

На своих утлых кочах собственной постройки, не зная наук кораблевождения, они спускались по рекам, отваживались на переходы морем, открывали новые места, воевали со встречавшимися инородцами, приводили их к покорности, собирали ясак и двигались все дальше и дальше. Ни гибель судов, ни потери в битвах и борьбе со стихиями не останавливали их стремлений. С научной стороны эти плавания давали весьма мало, так как люди эти не обладали необходимыми познаниями, чтобы наносить открываемые ими земли на карту и составлять их описание.

Как относились к этим богатырям их современники, достаточно ясно из того, что, несмотря на открытие Берингова пролива Дежневым и на его переход из Ледовитого океана в Тихий, через 75 лет после этого понадобилось снаряжение особой экспедиции, чтобы разведать, соединяется ли Америка с Азией. Донесения Дежнева застряли в архивах Сибири, а сказания об



его плавании не ушли дальше Якутска, хотя после этого он сам дважды ездил в Москву.

В XVIII столетии началось обследование северных границ России и Ледовитого океана экспедициями, снаряжавшимися государством в разное время.

Первая экспедиция была отправлена Петром Великим в 1725 году, по просьбе Парижской Академии Наук, членом которой состоял Император. В собственноручной инструкции, написанной Государем за три недели до кончины, предлагалось Берингу отправиться сухим путем, «на Камчатке или в другом там месте сделать один или два бота с палубами», на которых плыть «возле земли, которая идет на nord» и «для того искать, где она сошлась с Америкою: и чтоб доехать до какого города Европейских владений»...

С большими трудностями экспедиция достигла Охотска. В 1728 году она на построенном боту «Святой Гавриил» доходила до пролива, впоследствии названного именем Беринга, но Америки не видела и на следующий год безуспешно пыталась открыть землю, идя на восток из Усть-Камчатска. Через два года Беринг вернулся в Петербург и подал Императрице Анне Иоанновне докладную записку о продолжении исследований.

В 1732 году воспоследовал указ Императрицы о снаряжении второй экспедиции, которая при ближайшем участии только что образованной Академии Наук разрослась в колоссальное предприятие. Личный состав состоял почти из 600 человек. Работы начались в 1734 году с нескольких мест сразу и продолжались девять лет.

Одна партия шла из Архангельска до Оби, другая из Оби в Енисей, третья из Лены на Таймыр, четвертая из Лены к Берингову проливу и, наконец, две партии отправились Беринговым морем открывать берег Америки и Охотским — Японии.

Трудности плавания в те времена были велики. Приходилось на месте строить и снабжать корабли, для чего перевозить на огромные расстояния все необходимое. Такие парусные суда были плохих мореходных качеств, лавировать против ветра



часто вовсе не могли. Льды очень затрудняли плавание, так как суда большего размера, чем казацкие кочи, не могли на них свободно втаскиваться и не могли, как современные паровые, искать путь между льдинами. Опасность зимовки была весьма велика. Консервов, кроме сухарей и солонины, тогда не знали, и цинга уносила много жертв. На северо-востоке Азии дело еще усложнялось встречами с воинственными и непокорными инородцами.

Подвигалась работа при таких условиях чрезвычайно медленно. Адмиралтейств-Коллегия, уже слышавшая о лихих походах казаков, все время приказывала поспешить с походом, посылала выговор за выговором. Два лейтенанта были разжалованы за «леностные и глупые поступки» в матросы, сам Беринг был лишен прибавочного жалования, но результаты работ все не удовлетворяли правительство, и кабинет Императрицы предлагал Сенату и Адмиралтейств-Коллегии: «рассмотреть о Комчатской экспедиции», как называлось все это великое предприятие, «возможно ль оную в действо привести, дабы оттого хотя бы впредь напрасных казне Ее Императорского Величества убытков не было». В 1735 году умер от цинги лейтенант Лассиниус, начальник четвертого отряда, и большинство его офицеров и команды. В следующем году погиб от той же болезни начальник третьего отряда, лейтенант Прончищев, а через несколько дней, сопутствовавшая ему молодая жена. Но Адмиралтейств-Коллегия продолжала настаивать на выполнении всех работ, попрекала начальников казаками, плававшими на судах «погибельных», «не зная навигации», и приказывала продолжать работы «с наипрежнейшим старанием не токмо еще в одно, в другое, в третье лето, но буде какая невозможность в третье лето во окончание привести не допустить то и в четвертое».

То суровое время могущества герцога курляндского Бирона не знало пощады, и, несмотря на все невзгоды, в результате девятилетних трудов этой экспедиции был нанесен на карту северный берег России, на огромном расстоянии от Белого моря до реки Колымы.



Затем в царствование Императрицы Екатерины Великой были снаряжены еще две экспедиции. Первая в 1765 и 1766 г. ходила под начальством Чичагова искать путь в Индию на основании плана, разработанного Ломоносовым. Эти плавания не увенчались успехом, так как Ломоносов ошибся, предполагая существование чистой от льда воды в очень больших широтах.

После этого, узнав о плавании знаменитого Кука в 1778 году в Берингов пролив, Великая Императрица приказала пригласить кого-либо из участников его плавания на русскую службу и снарядить экспедицию для изучения северо-восточных окраин Сибири. Был принят на службу Биллингс, ходивший с Куком в должности юнга, и ему была поручена экспедиция, вышедшая в 1787 году на двух судах из Колымы на восток, под командой его и капитана Сарычева. Встретив лед по пути, они вернулись и решили попробовать идти с юга, но в 1791 году, не дойдя до Берингова пролива, стали продолжать работы сухим путем.

Екатерина Великая двигала своих слуг на подвиги другими мерами. В это гуманное время в инструкции Ее Биллингсу писалось: «Ее же Императорское Величество, следуя обыкновенному при всех общепользующих высокократерных своих начинаниях, побуждению милости и щедрот, сверх столь важной побудительной причины, к большому оказанию вашей всевозможной расторопности и усердия в службе, Всемилостивейше жалует вас в Капитан-Поручики флота»... затем Государыня велела всем членам экспедиции производить двойное жалованье, а «по прибытии вашем со всею командою в город Иркутск... Высоким Ее именем объявить через вас всем обер и унтер-офицерам... повышение в следующие им чины» и «Вам же Всемилостивейше повелевает Ее Императорское Величество Высочайшим Ее именем объявить самого себя флота капитаном второго ранга по исполнению предписанного»... а «когда окончив предписанное... возвратитесь в Охотск... и сядете на суда... тогда Высочайшим Ее Величества именем паки имеете объявить всем под начальством вашим находящимся новые чины... а по прибытии на мыс или кап Святого Ильи, можете объявить самому себе чин флота



капитана первого ранга». Затем разрешалось утверждать в должности всех тех, кто заступит место других «волею ли Божию или по другому какому случаю умерших». После этого писалось о милостях Императрицы к семьям, которые бы остались после померших в экспедиции; им по смерти назначалось половинное жалование погибшего. Всем сибирским властям предписывалось оказывать полное содействие. Но, несмотря на такие меры, результаты экспедиции свелись лишь к изучению края по сухому пути и даже повторить плавание Кука им не удалось, так как льды мешали их слабым судам пройти Берингов пролив и с той, и с другой стороны.

Наряду с правительственными экспедициями в царствование Великой Екатерины ценные сведения о наших северных берегах доставляли предприимчивые русские купцы и промышленники. Купец Шалауров объехал в 1761—1762 годах северный берег на большом протяжении и положил его на карту, а затем в 70-х годах купец Ляхов последовательно открыл три острова Ново-Сибирского архипелага. Эти острова, а также открытые в ту же эпоху Медвежьи обследовались специально посылавшимися геодезистами. Один из них, геодезии-сержант Андреев, указывал в 1763 году, что на севере от Медвежьих островов, по словам чукчей, существует Большая земля, но она не была обнаружена позднейшими экспедициями. До сих пор там никто не мог пройти, встречая постоянное скопление льдов. После Ляхова еще купец Санников открыл в начале XIX столетия острова: Столбовой, Фаддеевский, Новую Сибирь, и доносил о землях, которые он видел издалека, к северу от этих островов. Позднее одна из этих земель была открыта де-Лонгом, это остров Беннетта, а существование второй — земли Санникова — не подтвердилось.

Для более точной описи открытых островов в царствование Императора Александра I посылались отдельные партии, а в 20-х годах прошлого века предпринимались новые экспедиции, находившиеся под начальством лейтенантов, впоследствии адмиралов, Анжу и барона Врангеля. Работы их велись главным образом на севаках по льду. Между прочим, Врангель делал попытки



достигнуть острова, о существовании которого ему говорили чукчи, впоследствии открытого американцами и названного по его имени островом Врангеля.

В эти же годы был ряд плаваний капитана Литке к Новой Земле и на Мурман для описи их, а на востоке начали ходить в Берингов пролив наши клипера для наблюдения за иностранными судами, занимающимися хищнической торговлей. Затем в западной части производились работы разных лиц, посылавшихся то для описи определенного района, то для отыскания забытого пути в Обь и Енисей. Между ними особенно примечательны работы двадцатых и тридцатых годов поручика Пахтусова, прошедшего там несколько лет, и в шестидесятых годах плавания Крузенштерна.

Во второй половине прошлого века началась энергичная деятельность купца Сидорова, благодаря стараниям которого появился целый ряд плаваний в Карское море. Норвежские китобои заходили в это море вокруг Новой Земли, один из них, Иогансен, в 1878 году дошел до Таймырского берега и на обратном пути открыл остров Уединения, ближайший из известных с запада к земле Императора Николая II. Благодаря поддержке наших купцов: Сидорова, Сибирякова и других, — начался ряд плаваний англичанина Виггинса к устьям Оби и Енисея, воскресивший путь в Мангазею. Туда же ходил Норденшельд, собравший много данных о природе Карского моря. После этого в 1878 году Норденшельд на средства шведского короля Оскара II, русского купца Сибирякова и норвежского Диксона, разделивших поровну расходы, снарядил свою знаменитую экспедицию на «Веге», которая, впервые перезимовав у Колочинской губы, прошла из Атлантического океана в Тихий, обогнув Азию с севера.

В 1879 году вышел навстречу Норденшельду американец де-Лонт на яхте «Жаннета». У острова Врангеля он попал во льды, из которых уже не мог вывести своего судна. Два года его яхту постоянно несло к северу, по дороге он открыл острова Генриетту и Жаннету, а у третьего острова, названного Беннеттом, яхта



была раздавлена льдами. Люди с огромными трудностями на трех шлюпках достигли устья Лены. Там одна треть команды, и в том числе сам де-Лонг, умерли с голоду, другая пропала без вести на шлюпке во время шторма, а третья, с механиком Мельвилем, впоследствии адмиралом американского флота, благополучно достигла населенных мест.

Опуская менее значительные работы и плавания, следует еще упомянуть о сыгравшем важную роль в изучении Ледовитого океана плавании Нансена на «Фраме». Пройдя в 1893 г. мыс Челюскин, Нансен вошел во льды у Ново-Сибирских островов. Отсюда начался его знаменитый дрейф со льдами к северу, при котором он рассчитывал дойти до полюса.

В 1901 г. была отправлена Императорской Академией Наук экспедиция барона Толля на яхте «Заря», имевшая целью обследовать остров Беннетта и землю Санникова. Перезимовав один раз у Таймыра, второй — на Ново-Сибирских островах, весной 1902 г. барон Толль покинул «Зарю». Сопутствуемый астрономом Зеебергом и двумя якутами, барон Толль пошел с четырьмя байдарками на остров Беннетта и благополучно достиг его в начале лета. «Заре» барон Толль отдал распоряжение снять его с наступлением осени, но яхта тщетно старалась подойти к острову с разных сторон, льды ее не подпускали близко. Когда запасы угля остались едва достаточные для того, чтобы достигнуть берега, яхта пошла в устье Лены, где и стоит по сие время. Оттуда люди благополучно прибыли в Якутск, а барон Толль, не дождавшись выручки, решил отправиться обратно тем же способом, как пришел, и погиб со своими спутниками в полярной пучине. Эти грустные вести привез лейтенант Колчак, который в 1903 г. совершил лихой поход на вельботе от устьев Лены на остров Беннетта и обратно в поисках своего начальника, но нашел лишь две его записки и собранные коллекции.

Последние годы прошлого века ознаменовались началом подробного гидрографического обследования Ледовитого океана. Возобновившиеся плавания в Обь и Енисей требовали лучших карт и лоций. И вот в 1893 г. был послан лейтенант Жданко, ныне



начальник Главного Гидрографического Управления, определить ряд астрономических пунктов для согласования съемок разных мест, а с 1894 г., под начальством подполковника Вилькицкого, началось систематическое обследование устьев рек Енисея и Оби, а затем Карского моря и прилегающей части Баренцева. Через восемь лет начальствование этой экспедицией перешло к капитану 2-го ранга Варнеку, а еще через год — к полковнику Дриженко, который в чине генерал-лейтенанта и по сие время работает в Баренцевом море.

В настоящее время в результате этих работ путь в Обь и Енисей достаточно изучен и даже оборудован станциями беспроводного телеграфа. Безопасность плавания, при надлежащем распределении его, блестяще доказана походом целой флотилии Министерства путей сообщения, прошедшей из Германии в Енисей еще в 1905 г. и состоявшей из 22-х судов, большею частью речных пароходов с баржами на буксире.

В последние годы, наряду с оживлением нашей восточной Сибири, понадобилась более точная съемка ее северных берегов и подробное изучение прилегающего моря.

Для выполнения части этой задачи в 1909 г. была послана экспедиция геолога Толмачева, которая со съемкой объехала по сухому пути берег от Берингова пролива до реки Колымы, а затем была учреждена гидрографическая экспедиция, ходившая три последних года летом из Владивостока в Ледовитый океан и постепенно продвигавшаяся с работами к западу. В 1911 г. эта экспедиция, состоявшая из двух транспортов — «Таймыр» и «Вайгач», сделала промер и описала берега от Берингова пролива до реки Колымы, в следующем году — промер от Колымы до Таймырского полуострова, а в последнем году дошла с работами до мыса Челюскина. Подойдя у этого мыса к сплошному ледяному полю, экспедиция, пытаясь его обогнуть и пройти на запад, совсем близко от берегов Сибири открыла большую группу островов, которые получили название «Земли Императора Николая II» и острова «Цесаревича Алексея».



В настоящее время в Ледовитом океане, как известно, находятся три экспедиции, а именно: старшего лейтенанта Седова, отправившаяся с Новой Земли на Землю Франца-Иосифа, имея дальнейшей целью достижение Северного полюса, коммерческая экспедиция лейтенанта Брусилова, ушедшая с товарами из Петербурга северным путем в Лену, и, наконец, научно-промысловая Русанова, которая, по последним сведениям, пошла вокруг Новой Земли на восток. Вести об этих мореплавателях тревожные: есть основания предполагать, что все они, вследствие недостаточного оборудования, находятся в настоящее время в бедственном положении.

В текущем году еще должна была начать свои работы на нашем русском Крайнем Севере германская экспедиция Шредер-Странца, имевшая ближайшей целью подробное научное обследование части Енисейской губернии и прилежащего пространства океана. Но гибель ее начальника и большей части личного состава во время пробной зимовки на Шпицбергене неожиданно расстроила его планы.

За последние годы интерес к нашему северу оживает как в России, так и за границей. Уже несколько лет из Владивостока совершаются правильные рейсы парохода Добровольного флота в Колыму; возобновились плаванья иностранных судов в Енисей, в текущем году пойдет пароход и в Лену; нарождаются новые промыслы, расширяется торговля с инородцами...

Лучшее знакомство с природой и развитие технических средств позволяют забыть о былых постоянных неудачах походов за Полярный круг. Достижение отдаленнейших пунктов побережья, требовавшее раньше ряда зимовок, теперь, при надлежащем оборудовании и некотором счастье, возможно в один или два месяца. Полярные зимовки и цинга уже почти не страшны.

Суровый край оживает и собирается принять участие в развитии богатства и могущества великой империи. Сокровища его велики и разнообразны...



Но много еще труда придется положить для их всестороннего использования. Много там мест ожидают своей очереди для подробного научного обследования, а есть и такие, где совсем еще не бывал человек.

Богатое и широкое поле действия открыто русским ученым, морякам и промышленникам. Интересная и благодарная работа ждет средств и смелых людей.

(«Армия и флот», № 8, 1913 г.)

ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ И ОТКРЫТИЯ ЭКСПЕДИЦИИ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

(Открытие земли императора Николая II)

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана состоит из двух транспортов — ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», по 1 500 тонн водоизмещения. Команду каждого корабля составляют семь офицеров, врач и 39 матросов военного флота. Транспорты построены специально для плавания в Ледовитом океане и, насколько возможно, приспособлены для борьбы со льдами. Они снабжены разборными санями для пешеходных экскурсий, лыжами и теплым платьем, принимают большие запасы угля, дающие возможность пройти при спокойном море 12 000 миль, берут консервов на 16 месяцев на случай неожиданной зимовки, и имеют кое-какое специальное снабжение, которое возможно взять при ограниченности места и необходимости предусмотреть всякие случайности.

Эта экспедиция имеет целью исследование глубин моря, подробное изучение его жизни, опись и составление карт малоизвестных берегов, изучение климата и распределения льдов и, наконец, собирание коллекций и разные наблюдения по всем отраслям естественных наук.

В 1913 году экспедиция под командой генерал-майора Сергеева покинула Владивосток 26 июня. Зайдя на несколько часов в Петропавловск-на-Камчатке для закупки свежей провизии, она пошла в залив Провидения, расположенный недалеко от



Берингова пролива. В одной из бухт этого залива, называемой бухтой Эмма, в селении, состоящем из двух деревянных домов, находится резиденция начальника нашей северо-восточной окраины, т.е. Чукотского уезда. Здесь экспедицию поджидал транспорт «Аргун», чтобы в последний раз снабдить запасом угля, воды и свежим мясом.

Придя в бухту Эмма, суда приступили к погрузкам и через несколько дней были готовы идти в Ледовитый океан. Но внезапная серьезная болезнь начальника экспедиции заставила следовать в ближайший пункт, откуда можно было дать знать начальству о случившемся и получить указания, что делать.

Суда пошли к селению Ново-Мариинску, расположенному в устьях реки Анадырь, где есть беспроволочный телеграф. Анадырский залив был еще забит льдами и корабли пробирались с большим трудом.

Здесь экспедиции пришлось стоять около недели, дожидаясь дальнейшей судьбы.

В эти дни случился ход кеты, одной из пород красной рыбы, которая в определенные дни приходит издалека с моря и устремляется огромными массами в устья рек, чтобы метать икру и погибнуть за продолжение рода. Команда экспедиции неводом в несколько часов наловила больше 200 штук рыбы, фунтов по 15 каждая. Позже этот запас довольно долго скрашивал консервный стол офицеров и команды.

10 июля было получено приказание генерал-майору Сергееву сдать экспедицию старшему из командиров, а именно мне, пишущему эти строки, а самому возвращаться во Владивосток. Ледоколы снялись с якоря, нашли транспорт «Аргун» в Анадырском лимане, приняли от него еще немного угля и воды, передали больного и в ту же ночь пошли в море.

Транспорты разделились. «Вайгач» пошел на север, имея в виду обогнуть остров Врангеля, «Таймыр» повернул к западу вдоль берега.

Ледовитый океан принял мореплавателей ласково, ветер был слабый, светило солнце, льдов не было видно, и только киты,



выплывающие то там, то здесь, разрушали иллюзию теплого моря. Но уже на следующий день ветер засвежел, размахи качки дошли до 400 на борт, а вечером того же дня транспорты вошли в редкий лед. Океан поспешил показать свой суровый характер. Неожиданно «Таймыр» увидел стоящий у льдины норвежский пароход, промышляющий моржей и уже успевший их набить около 700 штук. «Таймыр» передал ему почту, дал поправку хронометра, снабдил свежей кетой, пойманной в Анадыре, и пошел дальше.

Лед все сгущался, оба транспорта шли с трудом, и уже через день «Вайгач» донес, что повернул обратно, не дойдя до Врангеля вследствие непроходимых льдов.

Затем «Таймыр» пробился на чистую воду у Чаунской губы, очень похожей по форме и величине на Рижский залив. Эту губу, не имевшую на карте ни одной глубины, решено было обследовать. Когда вошли в нее, льды исчезли, опять светило и грело солнце, и только совершенно светлые ночи и непривычно унылая природа берега настойчиво напоминали о севере.

Выйдя из губы, опять вошли в лед. «Вайгач» в это время уже ушел вперед, пробившись в чистую воду у мыса Биллингса. У этого мыса два года тому назад был поставлен железный знак близ Чукотского селения, но, при подходе «Вайгача», на его месте оказался шест, а чукчи махали флагом и стреляли из ружей. Оказалось, что знак повален ветром, чукчи же, не имея сил поставить его вновь, установили шест и при приближении судов стреляли и махали, чтобы указать это место. Затем у них оказалось оставленное несколько лет тому назад письмо одному русскому промышленнику, которое они с большой добросовестностью старались передать по назначению и отдали на «Вайгач». Отблагодарив их за такую преданность, «Вайгач» пошел дальше. В следующую ночь он повстречался с пароходом добровольного флота «Ставрополем», шедшим в Колыму, который добрался до тех же мест и был затерт льдами. «Вайгач» пробовал его освободить, но лед больше уплотнялся, попытку пришлось бросить, оставить «Ставрополь» ждать более благоприятного ветра.



Так ледоколы пробирались передними и задними ходами к Медвежьим островам, иногда становились на якорь, ожидая помощи ветра и пользуясь этим временем для приема пресной воды из больших льдин с озерками талого снега. Озерки попадались таких размеров, что с одной льдины можно было принять больше 10 000 ведер.

3 августа суда соединились, стали на якорь в открытом море, милях в пятидесяти от берега, и, обсудив дальнейшие действия, опять разошлись. «Вайгач» пошел вдоль берега к Лене, а «Таймыр» на север в обход Ново-Сибирских островов. Было назначено место встречи у Таймырского берега и условлено, что делать, если один из кораблей на randevу не придет.

Огибая редкие полосы льда с запада и считая себя милях в 30 от острова Новой Сибири, «Таймыр» попал на глубину в 19 футов, сидя носом столько же. Изменив курс, получил увеличение глубины, затем опять 19 футов, повернул в другую сторону, пришел опять на малые глубины, искал выход по другим направлениям, но всюду притыкался к мелям. Весь следующий день делал промер со шлюпок, чтобы найти выход. Берега не было видно; в нескольких милях только стояла огромная стамуха¹, может быть, та же самая, которую в 1903 году видел Колчак.

Через день ветер засвежел и с севера понесло массу льдов. Продолжать промер шлюпками было нельзя. «Таймыру» пришлось сняться с якоря и идти самому искать путь, ежеминутно рискуя сесть на мель. По временам ставили вешки, которые помогали возвращаться с опасных мест на большую глубину и искать прохода по другому направлению. Целый день «Таймыр» томился в безуспешных поисках и только к вечеру нашел проход на север и увидел берег Новой Сибири. Глубины стали больше, началась сильная качка, а льды перестали показываться.

Рано утром 7 августа транспорт почувствовал себя опять в свободном море. Вскоре на горизонте показались неясные очертания не то огромной стамухи, не то неведомого острова. Взяли

¹ Стамуха — нагромождение льдов, стоящее на мели.



курс прямо на него и прибавили ходу. Глубина увеличивалась по мере подхода к острову, названному ныне именем генерала Вилькицкого, и у самого берега, где «Таймыр» стал на якорь, достигла 17 сажен. Большой белый медведь показался на вершине, разглядывая непрошенных гостей. Много моржей плавало вокруг корабля; еще больше их лежало на берегу, оглашая воздух страшным ревом. Огромное количество чаек летало вокруг. Недалеко от берега спал, свернувшись клубком, другой белый медведь небольших размеров, по-видимому, молодой. Сейчас же была снаряжена охотничья партия убить его и нескольких моржей. Вельбот пошел делать промер бухты. С корабля производились наблюдения солнца для определения широты и долготы. После обеда была снаряжена экспедиция на вершину горы для водружения флага, а доктор Старокадомский пошел отдельно собирать коллекции. Взойти наверх было трудно, лицом к лицу несколько раз встречались с медведями, но, к счастью, они пугались не меньше наших охотников. Безоружному доктору, за которым с тревогой наблюдали с корабля, удалось спокойно уйти с площадки на вершине острова, где вместе с ним гуляли три медведя; а партии, которая водружала флаг, пришлось убить из самообороны трех других и бросить их; летние шкуры не представляли большого интереса, тащить же их на корабль было чрезвычайно трудно по такой дороге. Захватили только череп для Академии Наук.

Достигнув вершины острова, старший офицер «Таймыра» старший лейтенант Нилендер водрузил там на огромной бамбучине национальный флаг, частью врыв его в скалу, частью завалив камнями. В прорез мачты была вложена записка о дне открытия и присоединения острова к владениям Его Императорского Величества.

В 7 часов вечера «Таймыр» пошел делать опись острова, через час уже обошел его кругом и направился к острову Беннетта.

При совершенно чистом ото льда море, 9 августа, в 3 часа ночи, справа по носу с корабля увидели высокий берег загадочного Беннетта. Трагическая участь американского лейтенанта



де-Лонга и его команды, открывших этот остров, гибель барона Толля и спутников, исследовавших его, воспоминания о лихом походе Колчака на вельботе на поиски своего начальника переносили участников экспедиции в какой-то сказочный мир. Неожиданно было видеть остров свободный ото льда, хотелось сойти на берег, чтобы найти и взять коллекции барона Толля, которые он оставил, ища спасения от голодной смерти в невероятно рискованном походе пешком через движущиеся льды, в бесконечную полярную ночь. Но из-за двух дней, потерянных на мелях у Новой Сибири, «Таймыр» уже опаздывал на место встречи с «Вайгачем» и не мог уделить нужное время для отыскания коллекций. «Таймыр» заглянул на остров с севера, со стороны, с которой его еще никто не видел, и пошел дальше. Погода была туманная, шел снег.

После полудня этого дня, 9 августа, погода разъяснилась, горизонт стал совершенно чистым, видимость большая. Смотрели, не покажется ли загадочная земля Санникова, которая в течение 100 лет изображалась к северу от острова Котельного.

Появление на картах Ледовитого океана этой земли относится к тому времени, когда отважные, предприимчивые русские люди в поисках новых мест промысла пушнины и мамонтовых клыков уходили постепенно на север, открывали один за другим острова Ново-Сибирского архипелага, проводили на них по многу лет и, теснимые конкуренцией, стремились все дальше и дальше.

Первые казенные экспедиции, описывавшие наш север, не доходили до этих земель, и лишь при Императоре Александре I особая экспедиция обследовала один за другим острова, открытые русскими купцами, и нанесла их на карту. Остались еще два неисследованных острова, о которых говорил Санников, прошедший много лет подряд в этих местах и открывший последовательно Столбовой, Фаддеевский и Новую Сибирь. С разных мест в 1805 и 1806 годах далеко на север он видел еще очертания гор, но не мог добраться до них ни сам, ни с экспедицией чиновника Геденштрома, в которой участвовал. Также не увенчались



успехом попытки Анжу в двадцатых годах прошлого столетия достигнуть их.

В 1881 году де-Лонг открыл вторую из этих земель, названную островом Беннетта, а в 1885 г. барон Толль, ходивший на Котельный с доктором Бунге, подтвердил указания Санникова о другой земле, и лишь после плавания Нансена на «Фраме» и того же Толля на «Заре» в начале нашего века стали серьезно сомневаться в существовании ее и перестали наносить на карты. В этом году «Таймыр» проходил как раз по тому месту, где изображалась первая земля Санникова, но никаких признаков ее не видел. Пожалуй, теперь можно бесспорно установить ошибку Санникова и Толля. Вероятно, они приняли за землю куполообразные облака, которые часто представляются похожими на далекие горы.

10 августа, через двое суток похода от Беннетта, транспорту открылись по курсу возвышенности Таймырского полуострова.

Через несколько времени он получил телеграмму «Вайгача», затем увидел за горизонтом его типичные мачты и наконец и весь контур транспорта, который держал свои позывные. В седьмом часу вечера оба стали на якорь в бухте у западного берега острова Преображения.

За время раздельного похода «Вайгачу», хотя и не посчастливилось открыть остров, но его плавание не обошлось без приключений. Описывая бухту Нордвик, «Вайгач» обнаружил очень неровные глубины; с 10—11 сажень они сразу падали до 19—20 футов. Во избежание посадки на камни, транспорт делал шлюпочный промер и дальше следовал по найденному фарватеру; но за время одной из стоянок на якоре вдруг стал медленно крениться, так как вода при отливе ушла на 5 футов. Переждав ночь, с наступлением полной воды «Вайгач» снялся и, обогнув остров Бегичева с востока и севера, подошел к Преображению.

На острове бегали олени, а у берега лежал белый медведь. Оба корабля снарядили охотничьи партии и убили двух медведей и одного оленя. Другого оленя охотники загнали в воду, и он поплыл



в открытое море, но был достигнут и заарканен со шлюпки. Таким образом, раздобылись опять свежим мясом. Первый медведь, убитый на острове генерала Вилькицкого, уже несколько раз шел на приготовление котлет команде для ужина, и с каждым днем число скептиков, не желающих есть медвежатину, уменьшалось.

На вершине острова был найден кем-то когда-то оставленный чугунный крест. Он упал и лежал на земле, сравнявшись с ее поверхностью. Его осмотрели, очистили и поставили на том же месте.

На следующий день корабли приступили к описи восточного берега Таймыра. «Вайгач», между прочим, пошел обследовать большую бухту в широте около 750 с половиной, нанесенную пунктиром лейтенантом Харитоном Лаптевым в царствование Императрицы Анны Иоанновны. О нем известно, что 14 августа 1740 г. недалеко от этого места его дубель-шлюп «Якутск» был раздавлен льдами и команда принуждена была идти пешком по льду на берег, спасая, сколько возможно, провизию и все необходимое. Против места крушения его кораблика были обнаружены следы одной поварни, при входе в залив — второй и в глубине его — третьей. Две поварни были тщательно осмотрены экспедицией, но никаких указаний на то, кто были их обитатели, найти не удалось. Поварни — это маленькие избушки с печкой, сложенной из камней. Строятся они обыкновенно по одному типу из плавника, т.е. леса, выброшенного морем, которого здесь достаточно, и служат для приготовления пищи и отдыха посетителей этих мест. Лаптев пробыл здесь больше месяца и частью осмотрел эту бухту, но где ее вершина, за дальностью не изведal. Вероятно, поварни построены его командой.

Бухта оказалась очень извилистой, глубоко вдавшейся в берег. «Вайгач» прошел 15 миль, но не видел ее конца; затем, поворачивая вдоль изгиба берега, неожиданно сел на мель. Попытки сняться собственной силой не увенчались успехом. Тогда вызванный по телеграфу «Таймыр» вернулся к «Вайгачу», за ночь перекачал от него пресную воду и с утренней полной водой стащил с мели.



При завороте берега к западу стали встречаться сначала редкие льды, а затем большие скопления их и, наконец, значительные ледяные поля, припаянные к берегу. На льду часто видели гуляющих белых медведей. Когда корабль подходил, медведь доверчиво шел навстречу до расстояния верного ружейного выстрела, после чего, сраженный пулей, погружался на корабль.

17 августа начали описать залива Фаддея.

Относительно этого глубоко вдавшегося в материк залива существует легенда, что это пролив, выходящий на западную сторону Челюскина. Он еще не был никем описан, а потому представлял особый интерес. К сожалению, дойдя до глубин, при которых «Таймыр» часто притыкался к мели, он еще не видел конца залива, а туман, дождь, снег и льды очень затрудняли работу.

19 августа оба ледокола, окончивши каждый съемку своего участка, встретились в сорока милях от Челюскина. Около берега был сплошной лед, море же было довольно чисто. Обсудив дальнейшие работы, пошли дальше. Был поднят сигнал: «Рандеву мыс Челюскин».

Участникам экспедиции, избалованным отсутствием льда в тех районах, где все предыдущие мореплаватели встречали большие скопления его, казалось, что в нескольких десятках миль уже нельзя ждать большой перемены и что через неделю или две транспорты будут стоять в спокойной гавани Мурмана. Но в тот же вечер оба ледокола подошли к сплошному ледяному полю и, ища прохода, повернули вдоль его кромки. «Вайгач» шел на север, предполагая обогнуть поле, «Таймыр» спускался на юг, рассчитывая найти проход между льдом и берегом. Скоро корабли встретились и соединенно пошли к мысу Челюскину. Там, у этого мыса, где находили проход у самого берега все посетившие эти воды корабли, а именно «Вега», «Фрам» и «Заря», теперь стояло припаянное к земле сплошное поле мощного льда, простиравшееся далеко к северу и таким образом неожиданно загородившее дорогу. Корабли стали на ледяные якоря, лед показывал непривычную глубину в 100 сажен. Неожиданное препят-



ствие, завершившее такой благоприятный поход, повергло всех в раздумье. Идти на север казалось и бесполезным, и опасным. Литература указывала, что очень близко к Челюскину спускается граница полярного пака, того хаоса огромных ледяных гор, бесконечных полей и мощных нагромождений, который заполняет всю центральную часть Ледовитого океана. Этим полярным паком была раздавлена «Жаннета», когда в 1879 г. вошла во льды, из которых два года не могла выбраться. В этом же паке три года носился несокрушимый «Фрам», обеспеченный провизией на долгое время. Но непреодолимое желание состава экспедиции пройти в Европу побудило по крайней мере убедиться в полной невозможности этого прохода, и транспорты утром 20 августа пошли на север вдоль самой кромки ледяного поля.

В три часа дня стали разбирать на горизонте какие-то крупные образования и, подойдя ближе, неожиданно обнаружили, что это полоса земли. Пошли ее описывать, «Вайгач» южный берег, а «Таймыр» восточный и северный. Оказалось, что это остров. К южному и северному берегам было припаяно бесконечное поле льда, препятствовавшее проследить остров до конца. Удалось проложить на карту береговую черту на протяжении 46 верст. Южный берег этого острова, названный именем цесаревича Алексея, возвышается футов на 30—40 над водой, северный же отлог спускается к морю, образуя несколько длинных песчаных кос. Остров состоит из песка и плотного ила, сверху покрыт слабой тундрной растительностью, в которой были найдены низшие насекомые. На нем были замечены белые медведи, песцы, моржи и чайки. Окончив съемку, пошли дальше на север, вдоль кромки ледяного поля. Льды попадались чаще, то мелкий разбитый, то полосы сплоченного. Глубины, упавшие у острова до 10 сажен, опять возросли до 90. В эту ночь экспедиции начали встречаться ледяные горы, высотой в пять-шесть сажен над водой, следовательно, глубиной сажен 50. Дул штормовой ветер от зюйд-веста, который услужливо относил плавающие льды от сплошного ледяного поля и таким образом расчищал дорогу.



На следующий день, рано утром, из-за поднявшихся туч показались мощные горы неведомой земли. Открытие ее вознаграждало экспедицию за неудачу, окончательно разбивая надежды пройти в Европу. Льды становились все теснее, перемена ветра грозила загородить льдами путь к отступлению, а земля тянулась все дальше и дальше. «Таймыр» шел с описью ее берега, а «Вайгач» стал на якорь для получения астрономического пункта. Вот уже казалось, что дошли до северного предела земли и нашли узкий проход между мощными ледяными полями, одним, припаянным к берегу, а другим, плавающим. Снова воскресала надежда на проход в Европу, как вдруг опять показались горы и земля потянулась дальше к северу. В 11 часов утра 22 августа, сделав опись всего доступного берега, «Таймыр» соединился с «Вайгачем», который, не дождавшись солнца, пересек большой залив новооткрытой земли Императора Николая II напрямик и стал на ледяные якоря у ледяного припая близ берега.

Это был международный день исследования высоких слоев атмосферы, поэтому «Таймыр» подымал змеи с метеорографом; командир «Вайгача» старший лейтенант Новопашенный получил астрономический пункт, который отметил установкой столба. Затем была установлена мачта, и в 6 часов пополудни 22 августа я объявил собравшимся экипажам кораблей о присоединении земель к владениям Его Императорского Величества, поздравив команду с открытием. После этого при кликах ура на мачте был поднят национальный флаг. В этот день команда получила по чарке, которой не получает обычно в Ледовитом океане, и был сделан улучшенный ужин.

Земля Императора Николая II представляет собой с северо-восточной стороны гористую возвышенность не ниже 1000 футов со сползающими в некоторых местах ледниками; кое-где вдоль гор тянется низменная прибрежная полоса в несколько верст ширины. Посреди земли море вдается в берег. Быть может, это пролив, разделяющий ее на два больших острова.

Вечером пошли дальше. Ночью вошли в густой разбитый лед. В этом месте берег земли круто завернул на запад и скрылся из



виду. Положить на карту удалось береговую черту новооткрытой земли на протяжении около 370 верст. Через час вошли в тупик. Сплошное ледяное поле было со всех сторон, лишь за кормой оставался узкий канал. Небо по горизонту всюду было бело, только на северо-западе виднелось сероватое пятно, обозначающее отражение на облаках небольшой полыньи или еще нового острова за горизонтом. Лед был слишком мощный, чтобы пробовать его ломать, а широта и время года такие, что не давали надежды дожидаться чистого пути в ближайшие дни. Экспедиция повернула обратно.

24 августа вернулись к Челюскину и стали на якорь. Границы ледяного покрова заметно не изменились, барометр стоял высоко и еще медленно подымался. Простояли так весь следующий день, наблюдая течения, делая другие обычные наблюдения и выжидая помощи ветра. В следующую ночь суда стало заносить льдами и они пошли к острову Цесаревича Алексея, укрыться под берегом. Простояв там сутки, «Таймыр» опять пошел к Челюскину посмотреть, что сделал свежий ветер. Став на ледяные якоря у припая, как можно ближе к Челюскину, «Таймыр» отправил пешую партию осмотреть, насколько далеко тянется ледяное поле на запад. Партия состояла из доктора Старокадомского, лейтенанта Лаврова и пяти нижних чинов, с двумя санями, нагруженными провизией, палаткой и другим необходимым. Они благополучно прошли по льду к берегу, поздно вечером вышли к знаку, установленному в 1901 году экспедицией барона Толля, там разбили палатку и остались на ночь. Упомянутый знак был сложен командой «Зари» из плитняка на предполагавшемся Толлем самом северном пункте Азии, но по последующим вычислениям астронома Зееберга оказавшемся на две мили восточнее мыса Челюскина. Рано утром следующего дня партия пошла опять на запад, имея в виду дальше обследовать состояние льда. На действительном месте Челюскина она сложила новый знак и выбила соответствующую надпись. Все видимое пространство моря было покрыто сплошным льдом, небо было у горизонта белое, и только на северо-запад виднелось слабое пятно синевы, показывающее



небольшую полынью, а вернее, отражение поверхности новооткрытой земли, свободной от снежного покрова. Получив такие неутешительные сведения, партия захватила свои сани у знака «Зари» и вечером вернулась на корабль.

Оставшиеся на транспорте занимались бурением льда для определения его толщины и вели обычные наблюдения. Лед оказался толщиной от 3 до 5 футов.

Тут часто к кораблю подходили белые медведи. К этому времени команда приспособилась на них охотиться, что было довольно просто. Оказалось, что медведи быстро убегают от человека, замечая какие-либо агрессивные его намерения, достаточно побежать к нему, чтобы обратить в бегство. Охота же заключается в том, что два или три человека, завидя медведя, осторожно идут на сближение, пока он не станет настораживаться. Как только он обратит внимание на охотников, они ложатся на лед и ждут приближения жертвы. Медведь, не зная людей, принимает черные пятна на льду за тюленей и начинает осторожно подкрадываться, воображая, что его никто не замечает. Тут самообладание охотников должно подпустить его как можно ближе, чтобы убить на месте, так как подраненный зверь убегает со скоростью доброго коня и старается спастись морем. Плавающего медведя тоже трудно догнать и убивать бесполезно, так как, вероятнее всего, он потонет. К концу стоянки у Челюскина число убитых медведей перевалило за двадцать и мяса их хватило на полтора месяца.

29 августа пришел к «Таймыру» «Вайгач», которого стало заносить льдами у острова. На следующий день было решено испробовать последнее средство для прохода на запад, а именно: колоть лед, работая рядом обоими кораблями. По запасам угля, для обеспечения обратного пути, выходило, что надо проходить в сутки миль 10, чтобы заглянуть дальше, чем могла видеть береговая партия, и не поплатиться за это необходимостью зимовать без топлива.

В 4 часа дня начали работу; рядом ударяли в лед оба корабля и отламывали куски, которые уносились западным ветром в море,



но дело подвигалось медленно. На следующий день ветер стих и начал задуть с другой стороны. Весь обломанный лед уже оставался тут же и делал невозможной дальнейшую работу, так как нельзя было отходить задним ходом, чтобы опять с разбега ударить в лед. Оказалось, что транспорты прошли всего миль пять. Тогда повернули обратно и через полчаса миновали канал, который пробивали сутки. Потеряв последнюю надежду на проход в Европу, имея в виду позднее время, начало морозов, ограниченность остатков угля и необходимость чистить котлы, решили возвращаться во Владивосток.

Выйдя из канала, корабли пошли к островам де-Лонга. Первые два дня пришлось постепенно спускаться к югу, обходя встречаемые льды, но с вечера 2 сентября море стало чистым. Ветер все свежел, качка дошла градусов до 40 на борт. Скорость хода вследствие противного ветра уменьшилась до 4 узлов. Земли Санникова опять не видели, а проходили еще севернее, чем раньше. При этих условиях с рассветом 5 сентября показался остров Беннетта, и корабли поспешили укрыться под его северным берегом. Было решено, в видах сбережения угля, переждать противный ветер. В этот день на «Таймыре» лопнула труба холодильника, в котлы проникла соленая вода, образовалась накипь, но пока о чистке котлов нельзя было и думать.

Не теряя времени, руководствуясь указаниями Колчака о том, где он видел коллекции, собранные бароном Толлем, послали их отыскивать партию, состоявшую из трех офицеров, доктора Старокадомского и 16 нижних чинов. На корабле же изготовили крест с доской и установили его на возвышенности полуострова имени баронессы Толль в память самоотверженного ее мужа и его спутников, заплативших жизнью за исследование острова.

Партия вернулась на следующий день.

Коллекции были найдены на месте, где их оставил Колчак, взяв несколько образцов, не имея возможности захватить всего на вельбот. Состояли они из окаменелостей и отпечатков растений, образцов каменного угля, двух кусков мамонтова клыка, всего весом свыше семи пудов. Помещены они были в одной



корзине и четырех ящиках из плавника, частью разбитых прибоем. Колчак видел на каждом предмете этикетку с номером, а у барона Толля был, вероятно, подробный их каталог. Но этикетки теперь были смыты набегавшими в течение десяти лет волнами, а каталог погиб вместе с его составителем в полярной пучине. У избышки, также разрушенной ветром и прибоем, были найдены некоторые предметы снаряжения, а именно: искусственный горизонт, ложка, берданка, костяная пила, остатки шкур, ящиков, веревок. Замок от заржавленной казенной берданки, оставленной казаком, был вынут и взят с собой, вероятно, для сдачи.

Ветер стих только на четвертый день. 9 сентября перед рассветом «Таймыр» снялся с якоря, прошел описью остров и, соединившись с «Вайгачем», пошел дальше.

На следующий день наблюдались слева на горизонте возвышенности острова Жаннеты, а справа долго и хорошо был виден, открытый месяц тому назад, островок генерала Вилькицкого. Вечером транспорты вошли сначала в молодой блинчатый лед, затем в новообразовавшийся сплошной и наконец подошли к сплоченной массе старого льда. Пришлось сворачивать к югу. Мороз ночью дошел до 140 по Реомюру.

Самый тонкий лед затруднял плавание, так как в нем часто попадались отдельные мощные льдины, скрытые от наблюдателя снежной пеленой. Корабль неожиданно ударялся в ледяную глыбу и останавливался, приходилось поворачивать обратно. Так шли двое суток, то блинчатым льдом, то салом, то пробиваясь между старых торосистых льдин, постепенно забираясь все южнее и южнее, а временами и западнее.

12 сентября вышли на чистую воду и решили застопорить машину для зоологической и гидрологической станции, чего не могли себе позволить последние дни, торопясь выбраться из опасного района. При выборе трала на «Таймыре» запутавшимся платьем был втянут между барабанами лебедки стоявший на оттяжке кочегар Беляк, получивший смертельные увечья. Несчастный скончался через полтора часа. Неожиданная



потеря человека при условиях повседневной работы, к которой все уже хорошо привыкли, была для корабля тяжелым ударом. Покойный был скромным, хорошим работником, пользовался общей любовью команды и офицеров.

13-го опять вошли в сало и разбитый лед, спаянный сплошным молодым. Опять спускались к югу. Эти дни похода были тяжелы. Ввиду наступивших морозов и образования льда, который крепчал с каждым днем, экспедиция не смела тратить времени на остановки, приходилось идти круглые сутки. В темные ночи трудно было что-нибудь видеть, все время можно было с полного хода удариться в большую льдину, смотреть надо было всюю.

Последние ночи участников экспедиции развлекали частые северные сияния, большею частью имеющие вид зеленоватой волнующейся завесы, а также дугообразные.

Утром 16-го подошли к Колочинской губе, где решили остановиться, чтобы похоронить погибшего Беляка. Место для могилы было выбрано на конце косы, отделяющей губу от океана, около имеющегося там астрономического пункта генерал-лейтенанта Жданко. На могиле поставили большой крест, который на будущее время облегчал бы вход в бухту, чтобы таким образом могила Беляка не была забыта. Во время печальной церемонии похорон на конец косы приехали на двух собачьих нартах чукчи и с любопытством смотрели на странные суда, которые ничего у них не покупают и сами не продают. Им объяснили, что под крестом лежит один из людей «менгетанге», т.е. русский, один из слуг «Тыркирыма», т.е. Солнечного Владыки, как они называют Государя Императора, и что они должны беречь могилу. Чукчи слушали с благоговением слова о Тыркирыме и знаками объяснили, что за могилой будут смотреть. Одарив их чаем, сахаром, спичками и табаком, корабли пошли в глубь бухты производить ее опись. На косе обратили на себя внимание многочисленные следы обуви культурных людей и остатки летних селений чукчей. Надо полагать, что тут один из летних рынков американской хищнической торговли. К тому



же чукчи понимали некоторые английские слова, ничего не зная по-русски. Обследованием Колючинской губы закончились работы экспедиции в Ледовитом океане.

Производя опись, «Таймыр» приступил к чистке одного котла, ввиду обнаруженной накипи. Было решено идти до Дежнева под другим, но, по выходе из губы, свежавший ветер и сильные течения не позволили машине выгребать, нашедшая же пурга закрыла вход в бухту. Пришлось отдать якорь в открытом море, дойдя до достаточных глубин, и ждать сутки, пока не будет готов второй котел. Размахи качки во время отлива из бухты, когда течение ставило транспорт боком к ветру, доходили до 49 градусов на борт, что на якоре явление довольно необычное. С тревогой наблюдали за якорями, так как если бы они не выдержали напора ветра, то корабль был бы моментально прибит к берегу, но хорошие якоря и крепкие канаты держали превосходно.

На следующий день соединились с показавшимся из бухты «Вайгачем» и пошли к выходу из Ледовитого океана, а вечером 22 сентября прошли мыс Дежнева. Ветер было стих, но под утро стал опять свежеть. В 11 часов утра размахи качки дошли до 55 градусов на борт; пришлось привести против волны и ждать окончания шторма в море. До бухты Провидения оставалось миль 40. Волна, благодаря мелководью, была очень крутая.

Около полночи «Таймыр» перестал слушаться руля. Оказалось, что лопнула рулевая цепь, корабль медленно ставило боком к ветру, и размахи качки все увеличивались, дойдя до 59 градусов на борт. Еще бы немного, и корабль должен был опрокинуться, но, вот, с большим трудом удалось перейти на ручное управление рулем и вновь привести к ветру. Ход, несмотря на полное число оборотов машины, был всего около узла. В третьем часу ночи скрылись огни «Вайгача», который штормовал поблизости. С рассветом таймырцы напрасно всматривались в горизонт, «Вайгача» не было видно.

Вечером зыбь стала стихать, хотя ветер дул с прежней силой, — это показывало близость берега, и скоро «Таймыр» стал



на якорь, прикрытый от волн принадлежащим американцам островом Святого Лаврентия. В установленные часы «Таймыр» вызывал «Вайгача» по телеграфу, но ответа не было. Это не на шутку тревожило личный состав.

Только на следующий день около полдня получили телеграмму, что он тоже добрался до берега Святого Лаврентия. Оказалось, что штормом у «Вайгача» был сорван телеграф. Благодаря последним штормам, морозам, засорению котлов и накипи соли в них, расход угля очень увеличился и оставшиеся запасы не давали надежды дойти до Петропавловска. Тогда решили идти в Америку, в селение Сан-Майкель, пытаться там получить уголь и чистить котлы.

Сан-Майкель, или Михайловский редут, как он назывался раньше, был основан в 1833 году русским лейтенантом Михаилом Тебеньковым и служил одним из оплотов русского владычества на Аляске и станцией Русско-Американской Компании. В настоящее время это конечный пункт речного пароходства по реке Юкону, через него идет сообщение большого золотоносного района с Америкой и Канадой. Здесь стоит одна рота войск Соединенных Штатов, есть школа иезуитов, католическая церковь, две больницы, а посреди селения за оградой остался кусок русской территории, на котором стоит православный храм и два пустующих домика: один для священника, другой для псаломщика. Новая православная церковь построена в 1883 году на средства прихода, состоящего из 200 человек, перешедших в американское подданство, потомков русских людей и эскимосов.

Гарнизон и население встретило экспедицию чрезвычайно радушно. Офицерам и всей команде устраивались поочередно приемы, развлекали, чем могли. Благодаря случаю удалось купить необходимое количество угля у парохода, который должен был его выгрузить в Ном, но не мог это сделать, так как набережные этого города были разрушены последними штормами. Перед своим уходом экспедиция получила в подарок одно из старых русских орудий, которые стоят в бывших русских фортах и сохраняются как исторические памятники.



Приняв уголь, почистив котлы, перебрав механизмы, исправив мелкие повреждения и поломки, происшедшие во время шторма, экспедиция, напутствуемая лучшими пожеланиями американцев, 6 октября вышла в Петропавловск, куда и прибыла благополучно, переждав в море еще один шторм.

Здесь обратили опять все силы на переборку механизмов и чистку котлов, погрузили уголь и воду и пошли дальше. Несмотря на скверную осеннюю погоду, экспедиция счастливо пришла 12 ноября во Владивосток.

Развевающиеся на мачтах сигналы командующего флотилией и командира порта приветствовали корабли со сделанными открытиями и благополучным возвращением. Полученные вслед за сим письма и телеграммы начальствующих лиц, родных, знакомых и разных обществ принесли много радости участникам экспедиции, показав общий интерес и внимание к порученному им делу. Наконец, приказы по Морскому ведомству, один с повелением Его Императорского Величества именовать открытые экспедицией острова «Землей Императора Николая II» и «островом Цесаревича Алексея», а другой с изъявлением особой признательности Государя Императора начальнику, монаршего благоволения офицерам и Царского «спасибо» нижним чинам, щедро вознаградили личный состав экспедиции за пережитые тяжелые дни лишения.

(«Армия и флот», № 10, 1914 г.)

ПИОНЕР СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Светлой памяти А.М. Сибирякова

Мы уже поделились с читателями печальной вестью о смерти Александра Михайловича Сибирякова, скончавшегося в Ницце в бедности и в одиночестве. Прах его, как сообщает лондонский «Ивнинг Стандарт», провожали до места вечного упокоения консул Швеции, два шведа соседа и квартирная хозяйка.

Обстановка похорон показывает, до какой степени была забыта окружающими деятельность этого замечательного чело-



века, проявившего полвека тому назад необычный дар предвидения в развитии экономической жизни его родной Сибири и огромную жертвенность и энергию в борьбе за осуществление этого развития.

Как видно из приведенной нами заметки («Возрождение», № 3084), этого забытого русского старика поддерживало в последние годы шведское правительство... Швеция имела серьезные основания проявлять свою благодарность А.М. Сибирякову, однако заслуги его перед Россией, и в частности перед Сибирью, гораздо более значительны.

Александр Михайлович являлся одним из провидцев-пионеров Северного морского пути в Сибирь, он много лет самоотверженно старался возобновить забытые бывшие походы русских торговых судов в область Мангазеи, возродить путь, хорошо известный нашим предкам в шестнадцатом веке, морской путь через Карское море, процветавший при царе Борисе и запрещенный повелением царя Михаила Федоровича в 1620 году.

Неукротимый энтузиазм, проявленный Сибиряковым в достижении своей цели, в борьбе с суровой природой и неудачами, при равнодушии правительства и скептическом отношении общественных кругов, был оценен много позже и получил историческое значение. В течение ряда лет, начиная с 1877 года, Сибиряков, не щадя ни своей энергии, ни материальных средств, покупал и снаряжал пароходы с товарами для плавания через неведомое тогда Карское море к устью Енисея.

Он один из первых понял экономическое значение этого пути. Жизнь Сибири развивалась по естественным путям сообщения, бассейнам великих сибирских рек. Этот обширный и богатый край тогда еще совсем не знал железных дорог; да и много позже большая часть сибирского сырья не выдерживала дорогих железнодорожных фрахтов на далекие расстояния; таким образом, выход продуктам Сибири на мировые рынки был закрыт, а это задерживало и дальнейшее развитие жизни края. Надо было искать и организовывать более дешевые водные пути, но реки давали выход только к суровым полярным морям.



А.М. Сибиряков верил, что плавания, которые были возможны для парусных и гребных судов шестнадцатого века, еще легче осуществимы для пароходов конца девятнадцатого столетия. Но опасности и трудности были велики. Опыт далеких предков был утрачен. Мореплаватели, рискнувшие проникнуть в Карское море, были предоставлены самим себе. Карты, составленные по съемкам времён Анны Иоанновны, страдали большой неточностью и неполнотой. Ни климат, ни природа льдов, преграждавших то там, то здесь путь кораблям, не были изучены. Руководств для плавания не существовало, как не было ни лоцманов, ни маяков, ни туманных сигналов, ни других ограждений подводных опасностей, ни пристаней, ни портов для перегрузки товаров.

Ученые и правительственные круги того времени относились скептически к героическим попыткам воскресить забытый путь. В этих кругах широко разделялось отрицательное отношение к северному пути адмирала графа Литке, председателя Российского Географического Общества, который в чине капитан-лейтенанта совершил ряд плаваний к Новой Земле в последние годы царствования Александра I. Из этих плаваний Литке вынес самое неблагоприятное мнение о доступности Карского моря и проходимости его льдов.

Единственным поощрением, оказанным правительством, было предоставление порто-франко для заграничных товаров, ввозимых в Сибирь через Карское море; но уже в 1879 году общее порто-франко было отменено, и в дальнейшем освобождалось от пошлины только некоторые товары, вносимые в постоянно меняющиеся списки.

До Сибирякова пропаганду Северного морского пути вел и словом и делом другой самоотверженный сибирский деятель, Михаил Константинович Сидоров, а после него выступал и отстаивал интересы этого пути енисейский городской голова и член Государственной Думы, ныне здравствующий Степан Васильевич Востротин. Имена этих трех просвещенных деятелей Севера да не будут забыты.



М.К. Сидоров начал будить интерес к делу в 1860 году; ему сначала удалось привлечь к посещению Карского моря норвежских морских промышленников, затем английские торговые суда и, наконец, знаменитого впоследствии Норденшельда.

Александр Михайлович использовал самый первый опыт Норденшельда и уже в 1877 году снарядил свой пароход «Фразер» к устью Енисея, а в следующем году он особенно широко развернул свою пропаганду, явившись одним из арматоров прославившейся экспедиции Норденшельда на «Веге» и разделив с Оскаром II, королем Швеции и Норвегии, и норвежским коммерсантом О. Диксоном расходы по снаряжению этой экспедиции.

В эти дни Сибиряков провел в жизнь один очень смелый по тому времени план. Он приобрел маленький пароход для плавания по реке Лене, назвал его «Лена» и поручил Норденшельду взять его с собой в поход в качестве второго корабля экспедиции, отправив его по назначению при достижении восточно-сибирских вод.

«Лена», обогнув вместе с «Вегой» северную оконечность Азии, прошла милях в двадцати от открытой впоследствии Земли Николая II, рассталась с Норденшельдом у устья реки Лены и прибыла вверх по реке в Якутск. Этот сибирский пароходик больше 50 лет служил верой и правдой на той же реке и ее притоках, нередко выходил в Ледовитый океан и погиб только в прошлом году в составе одной из советских экспедиций.

Плавание «Веги», впервые совершившей поход вокруг Азии и Европы через Ледовитый, Тихий, Индийский и Атлантический океаны, прославило на весь мир имя Норденшельда и шведский флаг его корабля. Этим шведы обязаны щедрым арматорам экспедиции, то есть нашему соотечественнику Сибирякову наравне с королем Оскаром II и норвежцем Диксоном. В этом и заключается заслуга Сибирякова перед Швецией, хотя и тут основным побуждением его являлась любовь к родной стране, заботы об исследовании ее северного побережья и об экономическом ее развитии.



Что касается походов судов Сибирякова к устью Енисея, то они протекали с переменным счастьем. Первые годы успеха сменялись годами неудач, при которых Александр Михайлович терпел крупные убытки. Иногда его корабли возвращались в порты отправления, не успев за короткий срок навигации найти проход через льды; иногда случались поломки машин. К 1880 году два его корабля, «Оскар Диксон» и «Нордланд», при плавании в тумане и во льдах, приняли за Енисейский залив тупик Гыданской губы, принуждены были зазимовать и погибли в следующем году, пытаясь продолжать плавание.

Неудачи не влияли на энергию Сибирякова; еще несколько лет он снаряжал и посылал корабли в Енисей. Но наступил ряд исключительно неблагоприятных лет с непроходимыми льдами. Убытки по операциям были велики. Последнее плавание парохода, принадлежащего Сибирякову, состоялось в 1884 году, когда этот пароход, называвшийся «Норденшельд», принужден был вернуться с полпути из-за аварии в машине. После этого, если и не истощились энергия и энтузиазм доблестного сибиряка, то пришли к концу его материальные средства, только тогда его кипучей деятельности пришел конец.

Проходили годы. Дело, которому самоотверженно служил Александр Михайлович, не заглохло; неосуществимое для двух-трех дальновидных деятелей, располагавших ограниченными средствами, оно продолжало жить, развиваться и захватывать умы людей. На смену павшим в борьбе появились другие русские моряки, ученые, государственные и общественные деятели и иностранцы, продолжавшие проведение в жизнь и организацию Северного морского пути.

Накапливался коллективный опыт, подвигалось вперед изучение условий плавания, возрастало понемногу содействие государства, развивалась техника. Мечта Сибирякова стала осуществившимся фактом, и эксплуатация Северного морского пути оказалась даже по плечу советскому правительству.

Уже в годы советского лихолетья закончено оборудование пути постоянными наблюдательными станциями, расставлен-



ными в важнейших пунктах далекого Севера и круглый год ведущих метеорологические наблюдения и изучение льдов. Разведка с аэропланов дополняет сведения, собираемые станциями. Мощные ледоколы, приобретенные царским правительством во время войны, проводят торговые суда и оказывают им помощь.

Один из этих ледоколов, названный в честь покойного Александра Михайловича именем «Сибиряков», сохранивший свое название и при советской власти, еще в прошлом году прославил это имя, повторив поход «Веги» из Атлантического океана в Тихий, но сделав это без зимовки, в одно лето, и даже обогнув с севера Землю Николая II, пройдя в широту в восемьдесят один с половиной градус.

Будем надеяться, что сведения о развитии дела, которому служил А.М. Сибиряков, были ему отрадой и утешением в году одиночества и что доблестный старец отошел в лучший мир, веря, что оживший древний русский путь еще шире развернется, еще лучше будет служить экономическому развитию Сибири, когда наконец наступит начало возрождения нашей многострадальной страны.

(«Возрождение». Париж, 21.11.1934 г.)

ЗЕМЛЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

Двадцать лет тому назад, в конце августа 1913 г., два небольших корабля «Таймыр» и «Вайгач», составлявшие гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана, заканчивали программу своих работ в полярных водах Восточной Сибири и шли с промером глубин и описью вдоль восточного берега Таймырского полуострова.

Выйдя из Владивостока и войдя через Берингов пролив в Ледовитый океан, корабли уже почти месяц бороздили его редко посещаемые воды.

Негостеприимный и суровый океан поторопился показать морякам свою грозную мощь. Непроходимые льды и тайные мели вначале то и дело появлялись на их пути. Работая и днем, и



в светлые, как день, ночи, но часто в густейшем тумане, корабли выбирались из опасных и непроходимых районов и, получив свободу действий, снова устремлялись в разные стороны, в непреклонном желании как можно шире охватить район обследования, как можно глубже проникнуть в тайны этого, так мало известного человеку, мрачного моря.

Наконец, судьба как будто смиростивилась над моряками. Обстановка последних дней побуждала забыть, что корабли продолжают находиться в полярных водах. Уже почти две недели, как больше не показывались полярные льды, хотя корабли широко раскинули разведку. «Вайгач» подошел к Таймырскому полуострову, следуя вдоль берега, а «Таймыр» прошел вдали от всякой суши вокруг островов Новой Сибири, под семьдесят седьмой параллелью, где до него никогда не ходило ни одно судно.

Подходя к побережью Таймыра, в район, где те же корабли годом раньше едва бродили во льду, они теперь застали теплые летние дни и совершенно чистое море.

Предстояло проложить на карте восточный берег полуострова, а затем, огибая мыс Челюскин, следовать в Архангельск.

Эти места значились на карте по работам лейтенантов Прончищева и Лаптева, произведенных два века тому назад, в царствование Анны Иоанновны. Точность съемки была очень невелика. Общее положение берега было обозначено с ошибкой в долготе в восемь градусов. Но в те времена еще не существовало ни хронометров, ни радиотелеграфа, дающих нам возможность легко вычислять долготу по светилам, а общие условия работ много отличались от современных. Люди собирались сюда через необъятные пространства Сибири и ее тундры, их утлые суда, строившиеся на месте, гибли, раздавленные льдами, а личный состав, проводивший здесь по несколько лет кряду, вымирал от цинги.

Экипаж «Таймыра» и «Вайгача», радуясь неожиданной доступности этого района, спешил положить на карту и берег моря, и глубоко вдающиеся в берега бухты, и многочисленные



острова, сделать промер глубин, определить опорные астрономические пункты и собрать коллекции по различным отраслям естественной истории для изучения жизни края.

Тундряной берег тянулся длинной серо-желтой полосой; поодаль виднелись отроги гор. Несмотря на теплые дни, страна казалась мертвой. Короткий летний сезон, когда тундра живет полной жизнью, уже кончился. Утки, гуси и другие представители пернатого царства вырастили своих птенцов и уже улетели в далекие теплые края. Изредка виднелись группы диких оленей, попадались свежие следы белого песка и полярного волка, около судов кружились вездесущие чайки, и нередко затерявшийся тюлень показывал свою красивую голову с большими грустными глазами.

Редко-редко попадались следы давнего пребывания неведомого человека. Это были полуразвалившиеся срубы, построенные из плавника, т.е. леса, вынесенного сибирскими реками и выброшенного морем на берег. Были ли они срублены участниками Великой Северной Экспедиции два века назад, или промышленниками инородцами, доходившими в прежние далекие времена до северного берега Таймыра, осталось загадкой.

Продвигались с работой все ближе к северной оконечности европейского материка, заветному мысу Челюскина. Крепла надежда перевалить за него и завершить плавание переходом из Тихого океана в европейские воды.

Наконец, «Таймыр» и «Вайгач» встретились километрах в семидесяти от этого мыса, снова распределили между собою работу и разошлись, назначив следующим рандеву мыс Челюскин. Но в ночь на второе сентября, идя встречными курсами вдоль кромки необъятного ледяного поля, корабли неожиданно увидели друг друга. Выяснилось, что это поле тянется от самого материка куда-то на северо-восток.

Пытливые взоры не видели пределов поля ни на западе, ни на севере, небо по которому обычно можно судить о далеких полярных, то есть свободных ото льда пространствах, дающих на нем характерные темные отблики, было безнадежно и однообразно бело.



Прохода на западе не было. Надо было постараться обойти неожиданное препятствие. Казалось необъяснимым, как это огромное ледяное поле могло противостоять до конца лета и таянию, и штормам, и приливно-отливным течениям. Близость земли с севера не предполагали, так как глубины моря, не превосходящие нигде у северных берегов восточной Сибири 30—40 метров, здесь резко увеличились, доходя до 200 метров.

Обсудив обстановку, пошли на северо-восток вдоль кромки льда, надеясь обогнуть его с севера.

Скоро стали разбирать впереди желтоватые пятна земли, полузанесенной снегом. Подойдя ближе, увидели остров, названный именем Цесаревича Алексея. Невзломанный лед оказался примерзшим к этому острову, как и к материку. Часть южного и восточный берег острова были свободными ото льда. Опять было появилась надежда обогнуть этот остров, найти путь на запад; но не надолго. Пройдя вдоль его берега километров 30, увидели, что от северной его части снова тянется невзломанный лед на северо-запад.

Ночью шли вдоль кромки этого льда. Со стороны моря показался разбитый лед, но задувший западный ветер отжимал его от невзломанного поля, образуя полыньи и каналы.

Вместе со льдами появились вновь белые медведи, позволявшие пополнить запасы свежего мяса. Чаше стали попадаться тюлени. Кое-где лежали на льду огромные меланхоличные моржи. Иногда стаи белух, небольших белых китов с детенышами серого цвета, неожиданно появлялись из-под льда и быстро проносились мимо кораблей.

Стали встречаться айсберги — ледяные горы глетчерного происхождения. Высота этих плавучих островов над водой была 20—30 метров, так что в глубину они достигали 150 метров и больше.

От теплых дней, встреченных у таймырского берега, не оставалось и воспоминаний. Холодные брызги волн обдавали палубу и мостик, ночи становились все длиннее и темнее, льды хоть и пропускали вперед, но с переменной ветра грозили зажать



и полонить корабли. Небо было пасмурное. Но сознание того, что корабли проникали в область, неведомую до того человеку, воодушевляло моряков и манило все дальше на север.

Вдруг на рассвете, в пятом часу утра, 3 сентября, на горизонте впереди по курсу полоса темного тумана стала медленно, как театральная занавесь, подниматься, и на образовавшейся узкой полосе неба, к неописуемому восторгу мореплавателей, появились величественные очертания гор неведомой земли.

Продолжая идти вдоль кромки ледяного поля, подошли к юго-восточной оконечности этой земли, получившей название Земли Николая II. Не взломанный лед, вдоль кромки которого корабли прошли от материка больше 100 километров, и здесь упирался в южный берег земли, переходя в береговой ледяной припай

В одну сторону высокий берег тянулся на юго-запад, скрываясь за горизонтом. Пространство к югу от него было все также безнадежно бело, ни каналов во льду, ни полыней, ни трещин. В другую сторону берег уходил в северо-западном направлении. Темные горы высотой до тысячи метров подступали своими отрогами к морю, оставляя кое-где узкую низменную береговую полосу, незаметно сливающуюся с ледяным покровом бухт, образуемых извилинами береговой черты.

К востоку от этого берега был виден мощный ломаный лед, находящийся в хаотическом движении, то открывающий кое-где полыньи, то снова сжимающийся над ними. Лишь над берегом, под влиянием все еще дующего ветра западных румбов, оставался свободный проход, манивший дальше на север, в неведомую мрачную безжизненную страну.

Надежда на проход в Европу упала. Корабли уже находились севернее 78-й параллели и, по-видимому, подошли вплотную к границе полярного пака, к многолетним льдам, находящимся в вечном движении. Летний период таяния, когда солнце здесь греет и днем и ночью в течение четырех-пяти месяцев, кончился. Уже начал выпадать снег, покрывающий в это время года белой пеленой и землю, и лед, и полыньи, скрывая от задержавшихся на



севере моряков всякую возможность ориентироваться и искать проход среди более слабых льдов,

Надо было, не теряя времени, положить на карту открытую землю, исследовать ее насколько возможно, а затем возвращаться домой. «Таймыр» пошел описывать берег, а «Вайгачу» было поручено определить опорные астрономические пункты.

Пройдя вдоль земли около ста километров, увидели пролив километров в сорок шириной, но суживающийся в глубине. Этот пролив, названный позднейшими исследователями именем географа профессора Шокальского, был также покрыт сплошным, не взломанным льдом; по другую же его сторону опять был виден высокий берег второго, наибольшего из островов Земли Николая II. Пересекли этот пролив, идя вдоль кромки льда, и пошли дальше, продолжая прокладывать на карте берег и глубины моря.

Дойдя до широты в 80 градусов, нашли удобное место для высадки у одного из мысов и пристали, как к набережной, к ледяному припаю. «Вайгач» здесь догнал «Таймыра» и стал рядом с ним на ледяные якоря.

Небо прояснилось, и П.А. Новопащенко, доблестному командиру «Вайгача», посчастливилось сделать астрономические наблюдения. Отметили столбом пункт, широту и долготу коего он определил, а рядом со столбом водрузили флагшток. Команды кораблей были выстроены во фронт у флагштока, и Б.А. Вилькицкий, начальник экспедиции и командир «Таймыра», прочел приказ по экспедиции о присоединении открытой земли ко владениям российского императора. После того, при кликах «ура», был поднят трехцветный русский национальный флаг.

По случаю торжества, кроме беф-а-ля-строганов из медвежьего мяса, команде были выданы к ужину лучшие консервы, сласти и чарка. Это последнее было исключением, так как полагавшаяся на военном флоте ежедневная чарка водки не выдавалась натурую на судах экспедиции при плавании за Полярным кругом, по установившейся традиции офицеры также за Полярным кругом не пили вина, но в этот день было допущено исключение.



За время стоянки у берега были пополнены, как всегда, естественно-исторические коллекции. Кроме того, на воздушных змеях подымали метеорографы, так как этот день являлся одним из заранее намеченных международных дней исследования высоких слоев атмосферы.

Вечером пошли дальше, продолжая съемку и промер. Общее направление берега приблизилось к направлению меридиана. Земля становилась все более низменной. Канал вдоль берега постепенно суживался. Стали чаще показываться айсберги.

Наконец, в четыре часа ночи корабли оказались перед непроходимым льдом. Низкий берег, занесенный снегом, скрылся из вида, завернув к западу и сравнявшись с ледяным покровом моря.

Корабли уже оставили за собою параллель 81 градуса и, по-видимому, достигли северной оконечности новооткрытой ими земли. Идти дальше было нельзя. Ветер, давший возможность описать побережье земли на протяжении около 400 километров, стал заходить к северу. Выжидая дальнейшие перемены его, корабли подвергались бы риску замерзнуть во льду, быть унесенными в дрейф без достаточных запасов провизии и топлива и днем позже или раньше могли быть раздавлены льдами.

Надо было «спасать паспорта». Корабли повернули обратно и едва успели прорваться к берегу материка; льды сжимались все больше.

Обстановка в проливе между материком и островом Цесаревича Алексея оставалась той же. Разведка, посланная пешком по льду, дошла до самого мыса Челюскина. Оттуда, с высот берега, была видна все та же белая поверхность льда, уходящего за горизонт. В северо-западном направлении, на небе, виднелись слабые сероватые блики, но они являлись, вероятно, отражением не покрытой снегом земли, а не свободного ото льда моря.

Возвращаться во Владивосток очень не хотелось; путь до Архангельска был раза в три короче, чем во Владивосток. Пробовали пробить канал во льду, работая обоими кораблями, но скоро выяснилась бесполезность этой попытки: лед был слиш-



ком прочен для слабых машин кораблей. Пришлось прекратить непроизводительную трату времени и драгоценного угля.

Повернули на восток, обратно к Берингову проливу. После и захватывающих, и тяжелых переживаний «Таймыр» и «Вайгач» добрались до Аляски.

Там, в устье реки Юкона, в городке Сан-Майкель, бывшем русском Михайловском редуте, основанном в 1833 году лейтенантом Тебенковым, им посчастливилось скупить уголь со случайно запоздавшего парохода. Из Сан-Майкеля были посланы первые телеграммы, вкратце сообщавшие начальству об открытии Земли Николая II и острова Цесаревича Алексея и об общих результатах работ. Вместе с этим, сначала американские, а затем и европейские газеты стали помещать частью верные, частью совершенно фантастические сведения, полученные из телеграмм корреспондента, случайно оказавшегося в этом городке.

Затем, сделав трудный штормовой переход, суда экспедиции миновали Берингово море, самое негостеприимное. в осенние месяцы, подгрузились углем в Петропавловске-на-Камчатке и, сопровождаемые почти непрерывными штормами, пришли в конце ноября в бухту Золотой Рог, рейд Владивостока.

Открытие в 1913 году Земли Николая II было неожиданно и весьма необычайно для двадцатого века. Трудно было допустить мысль, что километрах в пятидесяти от побережья России и так близко от пути кораблей, обогнувших мыс Челюскина, скрывается до наших дней архипелаг больших островов.

Недоверие проскальзывало в обществе и после того, как весть об этом открытии получила широкое распространение. Участникам экспедиции не раз приходилось выслушивать нелепые вопросы скептиков о том, имеются ли доказательства существования этой земли, не было ли принято почему-либо за твердую землю скопление льдов и т.п.

Возвышенности Земли Николая II должны быть видимы с материкового берега в ясные весенние дни. В начале лета, когда поверхность земли очищается от снега, а море покрыто недвижным льдом, на небе появляются характерные отблики,



являющиеся отражением более темной поверхности земли. Эти отблики, как и отблики полыней, бывают видны с очень больших расстояний и хорошо распознаются людьми, посещавшими полярные края. Они также могли бы указать на существование земли.

Нам известно, что лет двести тому назад отдельные охотники-якуты доходили до мыса Челюскина; они могли бы знать о существовании Земли Николая II.

Среди инородцев и сибиряков, ходивших на промыслы на далекий север, жило несколько преданий о существовании земель, неизвестных цивилизованному миру, земель, которые когда-то либо были усмотрены издалека, либо посещались человеком в отдаленном прошлом.

Одно из таких преданий о Земле Санникова было опровергнуто, когда «Таймыр» и «Вайгач» в 1913 и 1914 годах троекратно пересекали ту часть моря, где на картах на северо-запад от Ново-Сибирских островов обозначался пунктиром большой остров.

Другая увлекательная легенда, о земле геодезии — сержанта Андреева или иначе земле «Тигикен», обитаемой народом, называемым «хряхаи», живет и по наше время. Эта легенда о земле, находящейся на северо-востоке от устья Колымы и на запад от острова Врангеля, занимала умы около столетия тому назад; на разгадку ее в конце царствования Александра I было безрезультатно затрачено много усилий; после этого она была как будто забыта и отчасти опровергнута, а затем неожиданно снова ожила в результате плаваний «Таймыра» и «Вайгача». По дошедшим из советской России отрывочным сведениям, в последние годы предполагалось выяснить вопрос существования этой земли при помощи аэропланов.

Что же касается Земли Николая II, то о ней до нас не дошло никаких преданий. Вероятно, уж очень редко инородцы посещали северную часть Таймырского полуострова и уж очень давно перестали туда ходить.

Тем не менее, в 1878 году Норденшельд, находясь на «Веге» около мыса Челюскина, обратил внимание на гусей, летевших с



севера, и высказал предположение о существовании земли где-то в том направлении. В 1882 году датская экспедиция Ховгарда, бывшего спутника Норденшельда, предполагала, между прочим, обследовать этот вопрос, но не дошла до места работ. Ее корабль, оказывая помощь голландской экспедиции, затертой льдами в южной части Карского моря, был затерт в свою очередь и лишь в следующем году был вынесен, окруженный льдом, обратно в Баренцево море, тогда как голландский корабль погиб, будучи раздавлен льдами.

В 1894 году Нансен и Свердруп на «Фраме» прошли тем же путем, что Норденшельд к югу от Земли Николая II. В 1902 году совершила тот же путь русская экспедиция барона Толля на «Заре»: старшим офицером «Зари» был доблестный Колчак, впоследствии верховный правитель. Ни одна из этих экспедиций не обнаружила земли: это объясняется тем, что на границе льдов обычно держатся туманы. В 1895 году «Фрам» дрейфовал во льдах, к северу от берега этой земли, в расстоянии от двухсот до двухсот пятидесяти километров. В этих местах «Фрам» обнаружил неожиданные для Ледовитого океана огромные глубины, до четырех тысяч метров. После этого, в связи с постепенным увеличением глубин около самого мыса Челюскин, было забыто и упомянутое выше предположение Норденшельда, основанное на перелете гусей.

Как бы то ни было, но географы, ничтоже сумняшеся, закрашивали на картах синей краской пространство, занятое Землей Николая II, и лишь гораздо дальше, у полюса, оставляли белое место, обозначавшее неисследованную область нашей планеты.

Имеет ли это открытие земли, сделанное двадцать лет тому назад, какое-либо практическое значение? Мы не слышали до сего времени о каких-либо горных богатствах островов этого архипелага. По широте своего расположения, по размерам и по природе Земля Николая II очень сходна с архипелагом Шпицбергена, где в наше время представители четырех стран добывают каменный уголь. Но район Земли Николая II значительно менее



доступен, чем Шпицберген, и климат здесь холоднее. Уголь или руды, если бы и были там обнаружены, едва ли бы имели большое значение, по крайней мере в наше время.

Значение открытия — не в этой области, а главным образом в изучении условий плавания у наших северных берегов.

Земля эта, как и лабиринты архипелага Норденшельда, находящегося к юго-западу от ее южной оконечности, к сожалению, — серьезное препятствие для плавания у самой северной части материка. Пролив, оставляемый землей вдоль северной части Таймырского полуострова, получивший название пролива Бориса Вилькицкого, имеет ширину всего от 60 до 70 километров. Таким образом, южный берег земли является значительным препятствием к тому, чтобы начавший таять и взломанный лед уносился ветром на широкий простор океана. Бывают годы, когда этот пролив совершенно непроходим и когда, как мы видели выше, не взломанный лед в нем остается все время.

Кроме того, простираясь к северу больше чем на четыреста километров, Земля Николая II оттораживает от океана Карское море с северо-востока и мешает рассеянию льдов этого моря.

При изучении режима льдов Карского моря уже давно обращено внимание на то, что это море представляет как бы мешок все с тем же льдом местного происхождения. Льды полярного пака в него не заходят, и местные льды лишь медленно и частично выносятся на север. Мысль о существовании мощного барьера в северо-восточной части моря как будто напрашивалась сама собой, но данных для определенных выводов было недостаточно. Отсутствие полярных льдов в средней части моря относилось на счет действия огромного количества приносимой Обью и Енисеем теплой воды, расплавляющей лед и отодвигающей границы полярного пака. Лед же восточной части моря, задерживаемый Землей Николая II, считался уже опушкой, южной границей пака, занимающего область вокруг Северного полюса.

С открытием земли стали яснее законы распределения льдов и течений, стало легче учитывать зависимость их от ветров. Вообще, неблагоприятное влияние Земли Николая II на усло-



вия плавания не умаляет практического значения ее открытия. Чтобы бороться с препятствиями — надо их знать. Как мы увидим, результаты этого знания уже в достаточной мере сказались хотя бы на приемах плавания в полярных водах.

В конце прошлого века, после 250-летнего перерыва, возродились плавания кораблей Карским морем к устьям Оби и Енисея. Практика этих плаваний выработала правило придерживаться берега материка и выжидать берегового ветра в случае встречи непроходимых льдов. Такой ветер, отжимая лед от берега, образует канал и дает возможность следовать дальше. Этот прием вызывал потерю времени и часто угрожал, при противном ветре и нажиме льдов, раздавить корабли или выбросить их на прибрежные мели. Не имея представления о проходимости льдов дальше к северу, суда не решались туда проникать.

Те же приемы плавания были применены и к первым походам в полярных водах Восточной Сибири. Так, под берегом, пробирались на восток и Норденшельд, и Нансен, и барон Толль.

В 1913 году «Таймыр» рискнул искать свободный проход на широком просторе океана, рассчитывая, что там лед больше разрежается ветром и приливно-отливными течениями и что вследствие этого он там скорее тает. Результат этой попытки увенчался успехом, превзошедшим ожидания, о чем уже было сказано выше. Применяя этот прием в дальнейшем, удалось установить, что сплошные льды полярного пака занимают в летнее время значительно меньшую зону, чем до того предполагалось, но что границы их очень изменчивы и разнятся из года в год. Для более широкого применения этого приема искания прохода на просторе океана стало необходимым знать, где есть вероятность найти такой простор и где, наоборот, простираются земли, непроходимые барьеры для дрейфа и рассеяния льдов. В этом отношении открытие Земли Николая II и знание ее протяжения имеет большое значение для плавания в ее районе.

Применение указанного принципа широкого простора получает все более широкое развитие. Нам известно, что за последние годы корабли часто пересекают западную часть Карского моря



в центральной ее части, проходя проливом Маточкин Шар, наиболее северным из проливов Новой Земли; иногда корабли обгибают Новую Землю с севера, оставляя к югу самую трудную часть моря с ее льдами.

В прошлом, 1932 году, ледокол «Сибиряков» нашел проход даже к северу от Земли Николая II.

Со времени открытия земли прошло двадцать лет. За это время весь архипелаг полностью нанесен на карту.

В 1914 году «Таймыр» и «Вайгач», пробиваясь из Владивостока в Архангельск, застряли во льду к югу от Земли Николая II, где и зазимовали. Им удалось описать южный берег земли.

В 1918 году Амундсен высаживался на ней, проходя на своей шхуне «Моод».

В 1928 году итальянский генерал Нобиле, сделав свой первый за этот год полярный рейд на дирижабле по направлению к Земле Николая II, заявил, что этой земли не существует. Доблестный Амундсен успел удостоверить несерьезность этого заявления и таким образом очистить репутацию русских исследователей. Вскоре после этого Амундсен погиб при героической попытке разыскать дирижабль Нобиле, потерпевший крушение при своем втором рейде.

В 1931 году цеппелин с Эккенером и Самойловичем пролетел над этой землей и сделал ее фотографическую съемку.

В 1930 году на одном из островков архипелага этой земли, называющемся именем красного генерала Сергея Каменева, устроена радиостанция и зимовье для исследователей. Этот островок находится к западу от самого большого, центрального острова земли. Участники зимовавшей там партии, Ушаков и Урванцев, совершили ряд экскурсий, делая топографическую съемку и ведя обследование земли в отношении геологическом, зоологическом и ботаническом. (Выдержки из их дневника приводились в двух номерах «Возрождения» в декабре 1932 года.)

В прошлом году зимовщики были сменены новой партией, находящейся под начальством специалистки по биологии Рябцовой. На южном мысу центрального острова, при входе в про-



лив Шокальского, построен еще один дом и оставлены запасы провизии и топлива.

На мысе Челюскин, ближайшем к земле пункте материка, в 1932 году также построена радиостанция и оборудовано зимовье для другой партии исследователей.

В настоящее время очертания земли не известны полностью в разных ее частях.

Лежит эта земля между параллелями 77 градусов 50 минут и 81 градус 26 минут северной широты и меридианами 89 градусов 30 минут и 107 градусов 50 минут восточной долготы. Главный массив земли составляют три больших острова, расположенных в общем направлении на норд-норд-вест от мыса Челюскин. Средний из этих трех островов является самым большим.

Вблизи западных и южных берегов упомянутых трех островов имеется ряд малых островов, общим числом более двадцати. Остров Цесаревича Алексея, открытый в 1913 году, является одним из самых крупных из этого числа.

Общая поверхность земли этого архипелага определяется в тридцать шесть тысяч семьсот двенадцать квадратных километров. То есть, скажем для сравнения, что он значительно больше Бельгии, немного больше Голландии, но меньше Швейцарии или Дании.

Центральный и южный из трех больших островов имеют возвышенность до 700 метров высотой. Значительная часть поверхности больших островов покрыта глетчером, так, например, южный остров, наиболее богатый в отношении фауны и флоры, покрыт глетчером на 30 процентов. Ледники сползают в воду; сползшие части отламываются от глетчера и образуют большое число айсбергов. Больше 100 айсбергов сидят на мели у северо-восточных берегов, много их дрейфует у берегов земли и в проливах Шокальского и Вилькицкого.

Пролив Шокальского, отделяющий два южных острова друг от друга, несмотря на свою небольшую ширину от 20 до 60 километров, имеет глубины до 300 метров. Часть берегов изрезана фиордами, вдающимися кое-где глубоко внутрь земли.



На островах водится много белых медведей, песцов и оленей, а у берегов встречается много морского зверя — моржей и тюленей. В глубоких проливах и бухтах проносятся стаи белух в несколько сот голов. Летом на островах много птиц.

За последние годы отрывочные сведения о Земле Николая II часто встречались в советских газетах и проникали в наши зарубежные издания и иностранную печать. Но мало кто из читателей отдавал себе отчет, что земля, о которой упоминали газеты, и есть Земля Николая II.

Советская власть, аннексировавшая полярный архипелаг Франца-Иосифа, примирилась с его названием, именем долголетнего и испытанного врага России. Но в то же время она вычеркнула на картах Ледовитого океана имена умученных ею Государя и молодого Цесаревича.

Земля Николая II называется теперь в советской России Северной землей, или Нордланд, а остров Цесаревича Алексея — Малым островом, или Малым Таймыром. Эти названия нейтральны, бесцветны и способны вызвать путаницу с другими похожими наименованиями.

Вместе с этим на новой карте земли, рядом с именами русских ученых, моряков и полярных исследователей, мы находим целый букет «современных» политических названий.

Рядом с проливами Шокальского, Бориса Вилькицкого, фиордом Матусевича, мысами Неупокоева, Анучина, Берга, островами Исаченко, Самойловича, Шмидта, Визе и Воронина мы находим остров Большевик, Октябрьская Революция, Комсомолец (три главных острова земли, открытых в 1913 году, считая последовательно с юга к северу); меньшие острова — Пионер, Сергея Каменева, бухту Сталина, мысы Свердлова, Уншлихта, Молотова, Клим Ворошилова, пролив Красной Армии и т.п.

Очень многим из нас, эмигрантов, и из советских подневольных граждан было бы тяжело видеть имена царственных мучеников, начертанными в сочетании с приведенными выше названиями. Поэтому оно и к лучшему, что эти земли, будем верить, временно переименованы.



Пройдут годы, забудутся ужасы революции и Гражданской войны, отойдут в историю и годы советского рабства; исчезнут одиозные народу имена, рассеянные по всему необъятному простору России, как уже исчезли улицы и заводы имени Троцкого; вернется Ленинграду имя великого Петра, как и другим городам их исторические названия, обретут вновь и эти земли имена покойных Государя и Цесаревича, имена, принадлежащие им по праву истории.

Как мы видели, на исследование этого полярного архипелага обращено большое внимание за последние годы. Да и в других областях северной России советское правительство развило широкую деятельность. Это не удивительно.

С прогрессом техники последних лет очень облегчилась доступность полярных областей. Разведка льдов с аэропланов дает возможность кораблям выбирать наиболее выгодные пути. Радиопеленгаторы, установленные на берегу и на судах, позволяют морякам определять свое место и разыскивать другие суда и в темноте осенних северных ночей, и при плавании во льдах в густых туманах. Ледоколы, приобретенные во время войны для обслуживания Белого моря, оставшиеся в распоряжении советской власти, справляются со льдами, непроходимыми для торговых судов, и оказывают содействие этим последним.

Не изменился, надо думать, ни энтузиазм русских исследователей, ни их готовность служить на далеких окраинах. Вероятнее даже обратное.

Работа в полярных областях, требовавшая в былое время некоторого авантюризма и, пожалуй, героизма, теперь может иметь своим побуждением чувство самосохранения и стремления к душевному покою.

Каким великим соблазном для советских граждан, для молодых ученых в особенности, должна являться возможность уйти подальше от Москвы, от произвола партийных деспотов, от «уклонов» и «перегибов», от морального и физического прозябания, уйти хотя бы в царство льдов и полярной ночи, но с пайком, одеждой и топливом, обеспеченными на год или на несколько лет!



Насколько проще и благороднее война с суровой природой, чем неравная унижительная борьба с произволом чекистов, голодом, доносом и озлоблением угнетенных братьев!

В 1932 году начались международные исследования полярных областей. Какие горизонты открылись для рекламы советской власти, ее достижений, ее попечений о науке и прогрессе! Какие возможности для контакта с учеными кругами и правительствами за границы!

Советская Россия размахом своего участия в плане международных исследований оставила далеко позади любую другую державу. Необходимые суда, аэропланы, всякое другое снабжение отпускалось щедрой рукой. По всему побережью за полярным кругом строились станции, отпускались средства, о которых раньше нельзя было и мечтать. Необычное развитие деятельности в противовес слухам о голоде, провале пяталетов, об истощении золотого запаса, о принудительном труде!

Никогда до сих пор такое количество судов не бороздило полярные воды России, никогда не существовало столько наблюдательных станций, не летало в этой области столько аэропланов. Другой вопрос, как все это организовано, при каких условиях протекает работа. Пока что еще много ледоколов осталось от царской власти, нет недостатка и в людях.

Трудно предвидеть, долго ли продлится такая кипучая деятельность, сколько лет еще будут отпускаться средства на расходы, в сущности, малопроизводительные; долго ли еще обнищавшая страна будет себе позволять роскошь столь широких исследований и шумливых рекордов. Решение этого вопроса лежит, вероятно, в политической, а не в экономической области.

Давнишняя наша беда состоит в том, что исследование северного побережья России всегда страдало спорадичностью, отсутствием длительной преемственности в работе, распылением испытанных кадров, растратой накопленного с великим трудом опыта. Неизвестно и теперь, во что выльются через несколько лет «планетарные» проекты.



Но надо радоваться такому неожиданному оживлению в изучении наших полярных вод.

Надо учесть разруху железнодорожного транспорта, утрату Россией Балтийского моря, все более нарастающую угрозу потери дальневосточного Приморья и остатков влияния России на Тихом океане. В таких условиях северные морские пути получают первостепенное значение.

Эти пути, дающие доступ к неисчерпанным богатствам Сибири через устья Оби, Енисея, Лены и Колымы, будут призваны к широкому развитию, когда пробьет час возрождения истощенной страны.

Знание условий плавания по Ледовитому океану, сеть разведочных гидрометеорологических станций и кадры опытных полярных мореплавателей, пилотов и исследователей понадобятся России, как никогда раньше.

(«Возрождение». Париж, № 3136, 3140)

КОГДА, КАК И КОМУ Я СЛУЖИЛ ПОД БОЛЬШЕВИКАМИ

Октябрь 1917 года. Режим керенщины, душивший все попытки оздоровления страны, боявшийся только врагов справа и попустительствовавший левым, бесславно погибает при взятии Зимнего дворца.

Детище революции — союз государственных чиновников объявляет генеральную забастовку, выбрасывая своих членов на улицу и давая этим возможность новой власти большевиков сминивать к себе на службу, по своему выбору и с заднего крыльца, людей наиболее гибких и приспособляющихся.

Административный гражданский аппарат разрушен, но война продолжается, и только мученики-офицеры остаются на своих местах в военном и морском министерствах, на флоте и кое-где на фронте, в более или менее сохранившихся частях развалившейся армии. Положение офицеров, нестерпимое при Керенском, мало в чем меняется. На флоте офицеры продолжают делать отчаянные



попытки к сохранению боеспособности кораблей, поддерживать, при павшей дисциплине, остатки престижа командования, проводить необходимые оперативные задачи по обороне.

В это время я служил в Ревеле, в службе связи Балтийского флота, учреждении, поставленном на огромную высоту доблестным адмиралом Непениным, безнаказанно убитым при Керенском на посту командующего Балтийским флотом.

Секретнейшая работа службы связи по выяснению операций германского флота парализуется окончательно, так как новой власти все «секретное» особенно подозрительно.

На флоте офицерство и лучшая часть матросов группируются вокруг некоторых начальников, оставшихся популярными в силу своей энергии, честности и патриотизма, но и этим начальникам не видно во всероссийском хаосе никакой силы, на которую можно бы опереться для борьбы со все шире разливающимся злом. Неприятельские армии почти беспрепятственно продвигаются по русской земле.

Германские самолеты уже летали над городом Ревелем, их циклисты проникли на улицы, когда мне удастся с начальником службы связи и остатками личного состава уйти на одном из транспортов в Гельсингфорс, где находился штаб флота.

Там, капитан 2-го ранга Щастный, оказавшийся во главе флота, предпринимает героические усилия, чтобы спасти эскадру от захвата немцами и увести ее через тяжелые льды в Кронштадт и Петроград. Служба связи больше никому не нужна, и меня отпускают на все четыре стороны.

Германские войска высаживаются в западной Финляндии и с белыми финнами продвигаются к Гельсингфорсу, освобождая страну от красных финнов и от всего русского. За два дня до занятия Гельсингфорса, одновременно с выходом Щастного с флотом в его трудный поход, и я направился в Петроград искать себе применения.

Популярность Щастного растет и вызывает опасения Троцкого. Щастного, обвинив в контрреволюции, арестовывают и после пародии суда расстреливают.



На боевом флоте мне делать больше нечего, его песня спета. Надо осмотреться, переждать, найти временную работу подальше от всякой политики. Такая работа предугазана мне судьбой. Два года назад, вернувшись из Ледовитого океана, я считал долгом приостановить дальнейшие исследования северных морей и земель, чтобы принять участие в продолжавшейся войне, и перешел со всеми своими офицерами в боевой, действующий флот. Команды кораблей, в виде исключительной награды, получили тогда же разрешение выбрать службу, кто какую хочет. Кто демобилизовался и ушел работать на заводы, кто после полярных льдов попросил перевода в теплое Черное море, кто связал свою службу со мной и перешел на эскадренный миноносец «Летун», командование которым я тогда принял в Балтийском море. Научные архивы трехлетних работ были тогда собраны, сданы на хранение, ждали своей разработки, без коей трехлетние труды экспедиции оставались бы почти без научных результатов, — и я отправился в Главное Гидрографическое управление морского ведомства. Оказалось, что там, как и в других технических управлениях морского ведомства, мало что изменилось за время революции.

Во главе Главного Гидрографического управления стоял генерал-лейтенант Бялокоз, которого я знал еще будучи мальчиком. Большая часть служащих оставалась на местах. Только к начальнику управления был приставлен комиссар, минный унтер-офицер флота Аверичкин, довольно разумный и приличный парень. Кроме того, действовал комитет служащих, занимавшийся главным образом продовольственными вопросами. В то время большая часть комиссаров советской власти в военных и технических учреждениях еще не была коммунистами, а назначалась каким-то одним, большевикам известным, порядком.

В Главном Гидрографическом Управлении меня встретили радушно. Начальник Управления убеждал, что Россия не погибнет, что невозможный, утопичный политический режим или сам провалится, уступив место другому, или же будет опрокинут здоровыми силами страны, что долг каждого, в ожидании просветления, стараться сохранить для страны все культурные



ценности, кто какие может. Он предложил мне составить и представить ему нужную мне смету, подобрать необходимых сотрудников и сразу приниматься за работу. Таким образом, я вернулся, под советской властью, к кабинетным, научным работам, касающимся исследований экспедиции, которой я в свое время руководил.

В это время, весной 1918 года, никаких определенных белых фронтов в России еще не существовало. Власть советов разливалась по необъятным просторам России; из зажатых большевиками газет многого узнать было нельзя, транспорт действовал плохо, Брест-Литовский мир еще не был заключен, неприятельские армии продвигались и на Украине, и вдоль Балтийского моря. Жена моя и малые дети находились на Украине, куда я их отправил еще во время керенщины из голодного Петрограда; связаться с ними сейчас не было возможности.

Так прошло некоторое время. Я стал работать в тиши кабинета, стараясь одновременно разузнавая обстановку, разобраться в том, что происходит в остальной России...

Вскоре Е.А. Бялокоз позвал меня и стал говорить, что надо отложить научные работы и приниматься за более срочные и насущные дела, что в северной части России, отрезанной от Украины, надвигается великий голод, что надо думать о том, как спасти население. В Сибири, как и всегда, был переизбыток всяких продуктов, подвоз их по редкой железнодорожной сети в эту эпоху развала транспорта был невозможен.

Генерал говорил мне, что надо организовать этот подвоз Северным Морским путем и что кроме меня сделать это некому.

К тому времени мне удалось выяснить, что распространение советской власти по российской земле идет с перебоями. Ходили слухи об очагах сопротивления, особенно на окраинах; стало известно, что на Мурмане находятся значительные морские силы союзников и что там установился какой-то компромиссный режим, что влияние союзников распространяется и на Архангельск; на Украине образовывались эфемерные правительства Петлюры, Виниченко, действовали разбойные банды Махно, и



наконец образовалось правительство гетмана Скоропадского; казаки еще управлялись своими атаманами.

Что произошло в Сибири — не было толком известно. Учитывая, что в Сибири отсутствует «почти» пролетариат, что население более хозяйственно и в общей массе более зажиточно и более энергично, что большие просторы должны помочь борьбе со всяким врагом, облегчая организацию сил, я и тогда думал и теперь считаю, что оздоровление России должно прийти оттуда.

Тактическими союзниками русского народа мне, как впоследствии и большинству белых вождей, представлялись силы союзников России Первой великой войны, в интересах коих было бы свержение советской власти.

Я вполне сознавал первостепенную важность для экономической жизни Сибири Северного Морского пути, над исследованием и оборудованием коего работал до меня мой отец, и по совести полагаю, что в ту пору, по знаниям и опыту в этом вопросе, у меня соперников не было. Авторитет мой в этой отрасли признавался и начальством, и населением, и советской властью. Это должно было значительно облегчить дело в невероятно сложной и трудной обстановке того времени. Организация такой экспедиции сулила мне возможность перекинуться на север, где большевики сидели не твердо, и связаться с Сибирью.

В силу всего этого я согласился взяться за это дело, при условии, что мне будут предоставлены большие полномочия, решив искать связей и с Сибирью, и с союзниками, и принялся за дело.

Непосредственным начальником генерала Бялокоза тогда был зловецкий Троцкий. Лично встречаться с ним мне не пришлось, но я получил право забирать с развалившегося фронта и от флота все полезное делу имущество, корабли, баржи, шлюпки, моторы, радиостанции, грузовики, продовольствие и все прочее снабжение. Нужные мне офицеры потекли ко мне сами. Я их принимал на службу и командировал по всем направлениям для собирания имущества. Самым трудным было провести сметы для получения необходимых кредитов.



Одного из своих офицеров, гидрографа полковника Юркевича, я командировал в Москву. Он добился свидания с Лениным и привез мне ассигновку в миллион рублей.

В это время союзные посольства находились в Вологде. В Петрограде же, в Английском посольстве оставался представителем посла храбрый мальтиец, капитан 1-го ранга Кромби, георгиевский кавалер, командовавший до того флотилией английских подводных лодок в Балтийском море. Капитана 1-го ранга Кромби я хорошо знал по предыдущей своей службе. (Впоследствии, когда я уже находился в Архангельске, он был растерзан на лестнице посольства большевиками.)

Тайно и от начальства и от подчиненных я вступил в связь с Кромби, узнал от него, что союзные силы предполагают оккупировать Архангельск, и заручился его содействием.

Как-то случайно в английском посольстве я столкнулся со своим другом капитаном 2-го ранга Т.Е. Чаплиным, который, как потом оказалось, вел там свою линию и подготовлял военный переворот в Архангельске. Тогда мы друг другу не проговорились о своей работе и лишь впоследствии, в Архангельске, согласовали свои силы.

Время высадки союзников в Архангельске мне не было известно заранее. Поэтому я получал от Кромби для каждого отправляемого мною в Архангельск эшелона специальный пропуск, на случай, если фронт возникнет, когда эшелон будет в пути. Пропуск передавался мною офицеру — начальнику эшелона — и по прибытии в Архангельск уничтожался.

Вместе с этим, счастливый случай помог мне связаться и с сибирскими организациями, враждебными советской власти. Как-то, проходя по Невскому, я обратил внимание на дом, занятый каким-то таинственным союзом сибиряков-областников. Войдя, я увидел зал с развешенными по стенам газетами союза, более или менее невинного, с точки зрения большевиков, содержания.

Просматривая эти газеты, я вдруг обратил внимание на грязного и небритого солдата с университетским значком на шинели, всматривавшегося в меня, а затем радостно обратившегося ко мне. Это был доблестный В.Н. Пепеляев, член Государственной Думы,



который позднее был министром у адмирала Колчака и был большевиками расстрелян вместе с адмиралом.

С Пепеляевым мы познакомились и сблизились в первые, кошмарные дни революции 1917 года, проведенные нами в Кронштадте. Он был назначен туда комиссаром от Государственной Думы, взявшей на себя власть и выделившей из своего состава Временное правительство; я же командовал «Летуном», подорвавшимся на неприятельской mine и находившимся в Кронштадте в ремонте. Главные начальники были перебиты чернью, большинство офицеров заключены в тюрьмы, я был одним из немногих, оставшихся на свободе благодаря преданности команды «Летуна».

Прибыв в Кронштадт, охваченный анархией, Пепеляев, несмотря на свою исключительную смелость, энергию и честность, не мог найти почвы под ногами и навести какой-либо порядок. Продолжались самосуды и избиения офицеров. Мне пришлось долго его убеждать предпринять некоторые шаги, которые, по-моему, могли ему помочь справиться с анархией, наконец он согласился, просил меня поехать в Петроград и вести от его имени переговоры с министрами и членами Думы. Я приложил все силы к этому, говорил с Гучковым и Керенским, с некоторыми членами Думы, но с одной стороны оказалось, что безвольный Гучков шел по течению, а самовлюбленный Керенский не хотел ничего понять, желая все организовать в расчете на свою популярность и на митинговое красноречие свое и своих помощников; с другой стороны и время было упущено. Керенский, вопреки моим предупреждениям, послал в Кронштадт прокурора Переверзева, которому в тот же день проломили череп. Очень скоро после этого, получив предупреждение, что на мою жизнь готовятся покушения, мне пришлось бежать из Кронштадта, а затем и В.Н. Пепеляев выбрался из этого ада.

Встретившись снова с Пепеляевым в помещении союза сибиряков-областников, я объяснил ему, чем я занят и какие связи ишу. Он ответил, что я здесь нашел, что мне нужно, что он сам в тот же день вечером должен ехать на юг навстречу чехословацким батальонам, чтобы направить их на север, но что он сведет меня с людьми, которым я могу вполне довериться и которые мне могут



помочь. Проведя меня коридорами и подвалами дома, он познакомил меня с неким Лебедевым, официально редактором их газеты, а затем провел к И.А. Молодых, который также оказался впоследствии министром в правительстве Колчака. Обсудив втроем положение, мы распространились с Пепеляевым, как оказалось, навсегда, а затем и я ушел, уговорившись с Молодых поддерживать связь и взаимное осведомление. При этом я узнал, что в Сибири большевики далеко не утвердились и что там готовится сопротивление.

За время моего пребывания в Петрограде, услышав о моей деятельности и полномочиях, ко мне приходили разные знавшие меня офицеры с просьбой помочь им выбраться из Петрограда. Взявши с них честное слово, что они не связаны ни с какой другой контрреволюционной организацией, чтобы раньше времени не скомпрометировать свою собственную, я давал им фиктивные командировки кому куда, откуда они рассчитывали пробираться кто за границу, кто к казакам, кто... я и не знаю куда.

К тому времени был подписан печальной памяти Брест-Литовский мир. По одному из условий этого мира все технические виды оружия, весьма разросшиеся за четыре года войны, должны были быть сведены к масштабам начала 1914 года. Это грозило почти полным уничтожением технической части авиации с ее великолепными кадрами. Группа военных летчиков с гигантов самолетов типа «Илья Муромец», в то время крупнейших анионов в мире, обратилась ко мне с просьбой найти им гражданское применение во вверенной мне области. (Это были самолеты, созданные известным русским конструктором И.И. Сикорским, работающим в настоящее время в США.) Переведя эту группу офицеров с их аппаратами на обслуживание Северного Морского пути, можно было рассчитывать спасти для будущего хотя бы ячейку из анионов и кадров. И для них я разработал проект авиастанций в Ледовитом океане для транспорта и наблюдения за людьми.

За это же время я съездил в Архангельск, чтобы закрепить за своей экспедицией нужные мне корабли, в первую очередь «Таймыр» и «Вайгач», с которыми я работал в 1913, 1914 и 1915 годах и которые привел из Владивостока.



Командующим флотилией в Архангельске состоял честный и прямой адмирал Н.Э. Викорст. На мою просьбу о кораблях он мне ответил, что на это власти у него нет, что на следующий день собирается матросский съезд, что мне придется сделать доклад этому съезду, и что если съезд вынесет благоприятную резолюцию, то в остальном он мне поможет. Таким образом, оказалось, что центральные органы советской власти были в Архангельске бессильны. Пришлось выступить на съезде, говорить о голоде в Европейской России, о богатствах Сибири, о трудностях транспорта, о необходимости спасать население и о том, что мне нужны корабли. Своим выступлением я обеспечил экспедиции и «Таймыр», и «Вайгач», и старый, сданный к порту «Бакан», и кое-какие мелкие суда.

Для обрисовки настроений того времени, пожалуй, интересно отметить, как после моего выступления со мной захотели поговорить с глазу на глаз два комиссара. Один из них, Кротов, был комиссаром военного порта, а другой, Макаревич, комиссаром оперативной части штаба флотилии. Оба они меня упрашивали взять их на экспедицию. На мой недоуменный ответ, что столь высоких должностей у меня для них нет, они мне объяснили, что именно от этих высоких должностей, в которых ничего не понимают, и хотят уйти. Я взял Кротова боцманом на «Таймыр», а Макаревича — машинистом. Оба они оказались дисциплинированными и полезными унтер-офицерами и хорошими людьми. После белого переворота мне едва удалось их спасти, когда было приказано арестовать всех коммунистов, а также и бывших комиссаров.

Недели через две-три, после того как В.Н. Пепеляев отправился перехватывать чехословацкие батальоны, действительно выяснилось, что эти батальоны заняли переходы через Урал и образовали фронт, отделивший Сибирь от Европейской России.

Было радостно узнать, что Сибирь отрезана от большевиков, но вместе с тем для меня возникли опасения, что Троцкий сообразит, ведь из враждебной Сибири не удастся получить продовольствия ни сухим путем, ни морем, и что не сегодня-завтра мою экспедицию могут расформировать. О высадке же союзников в Архангельске узнать ничего более определенного не удавалось. Надо было пре-



крапшать дальнейшее собрание имущества, срочно рвать с Петроградом и спастись в Архангельск до того, как большевикам станет очевидна бессульность моей экспедиции с их точки зрения.

Я пошел еще раз в подвал к И.А. Молодых, обменяться с ним мнениями. Он разделял мою оценку обстановки и сказал, что и сам не сегодня-завтра покидает Петроград, чтобы пробираться в Сибирь. Он заверил меня, что хорошо знает Урал, имеет там нужные связи и сумеет пробраться и через красный, и через чехословацкий, белый фронты. Я объяснил ему, что если союзники запоздают, то большевики, конечно, не выпустят меня в море с достаточным запасом топлива и продовольствия, чтобы я не мог увести корабли в Сибирь, к белым или за границу. Он согласился передать по назначению мою просьбу, которую мне пришлось мелко написать на бумажке от папиросной гильзы, в следующей редакции: «Выйду в начале августа с Таймыром и Вайгачем к устью Енисея, без угля и провизии».

И.А. Молодых свернул эту бумажку в трубочку, засунул ее в гильзу другой папиросы, и мы с ним расстались.

Как оказалось впоследствии, Сибирское правительство, как только образовалось, ассигновало на основании этой бумажки 160 000 рублей, снарядило пароход с баржей на буксире, нагрузив их различными продуктами, купленными на ассигнованные деньги, и я, прийдя в устье Енисея, получил эти грузы, хотя надобности в зимовке и не представилось, так как советский режим в Архангельске пал. То было время солидарности и доверия друг к другу людей, враждебных большевизму, время, когда можно было действовать, не натываясь на каждом шагу на доносчиков, провокаторов и агентов ГПУ.

Во избежание слишком бдительного надзора за мною местных большевиков в Архангельске, мне еще нужно было до отъезда из Петрограда провести назначение ко мне центральной властью подходящего комиссара. В Петрограде мне была обеспечена скрепа всех моих бумаг подписью Аверичкина, комиссара Главного Гидрографического Управления, о котором я упоминал выше; но в Архангельске было бы иначе.



В числе моих бывших соплавателей по «Таймыру» был радиотелеграфист унтер-офицер Шунько, славный, преданный мне малоросс, которого по расформировании экспедиции я устроил радистом на береговую станцию Морского Генерального штаба в Петрограде. В это время он совмещал должность радиотелеграфиста станции, насчитывавшей человек 6 личного состава, с должностью комиссара этой же станции. Шунько с радостью согласился идти со мной снова в Ледовитый океан, но мне едва удалось его убедить, что он мне нужен как комиссар, а не как радиотелеграфист.

Просить о назначении к себе кого-либо комиссаром по своему выбору, конечно, было невозможно. Но и в этом мне посчастливилось провести назначение Шунько так, как будто в его выборе я участия не принимал. Останавливаться здесь более подробно на этом случае, хотя и обрисовывающем условия работы в обстановке того времени, пожалуй, не стоит, чтобы не удлинять изложения.

Наконец, насколько помню, в начале июля 1918 года я отправился с одним из своих эшелонов, на специальном поезде из товарных вагонов, из Петрограда в Архангельск, взяв от Кромии пропуск английского посольства, утверждавший, что руководимая мною экспедиция «полезна делу Его Величества, Короля Великобритании», и предлагавший всем союзным властям оказывать мне содействие. Из ассигнованного мне миллионного аванса, я взял с собой 800 000 рублей, секретно разделив их между несколькими офицерами, поручив им обдумать и доложить мне, кто куда спрячет деньги для перевозки, и запретив им говорить об этом даже друг другу.

Недалеко от Архангельска поезд был остановлен и обыскан красногвардейским пикетом; ни денег, ни английского пропуска пикет не обнаружил. Начальником пикета был некий Чайников, по виду типичный красногвардеец, увешенный пулеметными лентами, и только после переворота в Архангельске я узнал, что этот Чайников был тогда одновременно и агент английской Интеллидженс Сервис.



В Архангельске атмосфера сгущалась со дня на день. По-видимому, большевики чувствовали, что готовится переворот. Шансы на успешное проведение моего дела падали. Местные коммунисты придирались к тому, что команда была мною подобрана в индивидуальном порядке, а не на бирже труда, как полагалось; требовали представления рекомендаций на каждого человека от коммунистических организаций и грозили всех арестовать, если я рекомендаций не представлю.

Мой следующий поезд-эшелон, погрузка коего заканчивалась, когда я уехал, задержался, вопреки моему приказанию, на два лишних дня и был остановлен в пути. По-видимому, угроза захвата Архангельска союзниками становилась все очевиднее и советской власти.

От ЧК приезжал на гастроли зверь-еврей Кедров-Цедербаум и наводил ужас, производя аресты и высылки. Офицеры подвергались безнаказанным нападениям и убийствам на улицах города. Демагоги, выслуживавшиеся перед красной властью, разжигали на митингах толпу, требуя крови и уничтожения «буржуев».

Капитан 2-го ранга Чаплин, руководивший подготовлением переворота, находился в Архангельске под именем английского полковника Томсона.

За эти дни, в доме бельгийского консула Ф.Ф. Ландмана, я познакомился и подружился с доблестным бельгийцем, комендантом Никозом, проводшим войну в Царской Ставке. Через Никоза я сблизился с французским лейтенантом, графом де Люберсаком, состоявшим на службе в союзной контрразведке.

1 августа 1918 года в Архангельске были получены сведения о приближении судов союзников с десантом. В Соломбале (военный порт Архангельска) собрался огромный митинг рабочих и краснофлотцев (вооруженных рабочих-коммунистов), снова раздавались речи о необходимости уничтожения офицеров и «буржуев», но охватившая большевиков паника была велика. И мы, и население провели ночь, полную тревожных ожиданий, но под утро узнали, что большевистские верхи и красногвардейцы, захватив наличность казначейства



и разграбив кое-какие склады, бежали ночью на специальных поездах на юг.

Утром 2 августа Чаплин был объявлен командующим вооруженными силами, катер с офицерами обходил суда с приказанием поднять андреевские флаги. Вместе с андреевским флагом я поднял на мачте свой брейд-вымпел командующего отрядом судов и другой брейд-вымпел — старшего на рейде.

Так 2 августа 1918 года совершился в Архангельске белый переворот и закончился мой первый этап службы под большевиками.

Для охарактеризования условий жизни и работ в обстановке того времени, может быть, следует упомянуть о следующих фронтах.

Прибывший ко мне с докладом мой петроградский заместитель, капитан 2-го ранга барон Косинский не рассчитывал, что будет отрезан от Петрограда, с которым его связывали сложные заботы о семье. Этот достойный офицер, которого я знал еще в осажденном Порт-Артуре, не был посвящен в мои планы, приехал он ко мне с докладом по собственной инициативе. Его служебное рвение объяснялось частым в это смутное время слепым доверием к своему начальнику. В Петрограде осталась еще часть моих офицеров, и их участь меня тревожила.

Я склонялся согласиться на просьбу Косинского разрешить ему вернуться в красный Петроград, чтобы оставшиеся молодые офицеры имели руководителя в тяжелой обстановке. Но официально, порвав с Петроградом, оказавшись наконец по другую сторону фронта, брать на себя такое решение я не мог.

Новый командующий флотилией, заменивший адмирала Викорста, контр-адмирал Л.Л. Иванов хорошо знал обстановку, т.к. прибыл из Петрограда незадолго до переворота, от военно-промышленного комитета, организации, в которой укрылось при большевиках много достойных офицеров. Я изложил адмиралу свои затруднения. Он, обладая широтой взглядов и понимая, что парадоксальность положения вызывается коренным различием Гражданской войны от международной, то есть что в гражданскую войну народ, за который мы боремся, находится по обе стороны



фронта, оказал мне полное доверие, разрешив действовать следующим образом.

Я написал рапорт на имя начальника Главного Гидрографического Управления генерала Бялокоза, в котором доносил, что в ночь на 2 августа советские власти эвакуировались из района Архангельска, что город занят французскими и английскими силами, что при совершившемся перевороте никто из членов экспедиции не пострадал, корабли и имущество остались в сохранности и что я, командный состав и команды экспедиции исполним свой долг. Последнюю фразу предоставлялось и генералу Бялокозу, и его советскому начальству понимать как кто хочет. Мой верный комиссар в последний раз скрепил мой рапорт своей подписью, после чего был мною назначен начальником радиостанции, подготовляемой к постройке в устье Енисея. Рапорт был передан барону Косинскому, после чего он был отведен на передовые линии и отпущен обратно к большевикам.

Этот случай имел счастливое значение для моих оставшихся в Петрограде офицеров. Кем-то из убежавших из Архангельска большевиков был пущен слух, что мною в момент переворота был повешен на рее корабля комиссар экспедиции Шунько. В результате этого слуха офицеры экспедиции в Петербурге были арестованы и только после того, как Косинский передал генералу Бялокозу мой рапорт, скрепленный к тому же подписью Шунько, все были освобождены.

Останавливаться подробно в этой заметке на моей технической деятельности при белых правительствах Чайковского, Зубова, генерала Миллера и адмирала Колчака нет основания. Следует, пожалуй, упомянуть лишь кое о чем для обрисовки обстановки.

Дня через два после переворота 2 августа я явился к адмиралу Иванову и просил его разрешения идти с кораблями в Ледовитый океан, Карское море и в устье Енисея для обслуживания Северного Морского пути, снабжения полярных радиостанций всем необходимым и для установления телеграфной связи с Сибирью.

Узнав, что мне не нужно ни кредитов, ни какой другой помощи, требовавшей постановлений правительства, находив-



шегося тогда еще в периоде формирования, и, приняв во внимание, что я не могу терять времени, так как навигационный период в Карском море продолжается всего от 8-ми до 10-ти недель, адмирал разрешил мне уходить и со своей стороны передал мне поручение правительства: выяснить возможно точнее, что происходит в Сибири, какое там правительство и где находится адмирал Колчак.

Когда я пришел в устье Енисея, то капитан первого встреченного мною в реке речного парохода, спустившегося из Красноярска, сообщил мне, что вслед за ним идет пароход «Север» с баржей на буксире, высланный с углем, провизией и живым скотом для моей экспедиции.

И.А. Молодых, как только добрался до Сибири, вошел в состав правительства и, как было указано выше, сразу получил 160 000 рублей на покупку снабжения, необходимого для зимовки моих кораблей, и снарядил эту речную экспедицию. Дня через два пришел и «Север», и я перегрузил все присланные продукты к себе на «Таймыр».

От капитанов этих пароходов я узнал, что за несколько дней до их ухода вниз по реке в Сибири было образовано усилиями той организации, с которой я связался в союзе сибиряков-областников, правительство Вологодского, в которое кроме И.А. Молодых вошел и В.Н. Пепеляев, что к западу от Сибири, в Уфе, находится правительство «членов Учредительного Собрания» Авксентьева, эсеровской (партии соц. революционеров) ориентации; что на юге правительство Вологодского соприкасается с правительством атамана уральских казаков Дутова и с автономным правительством Киргизской области; что в занятой Россией Монголии особое правительство и что на Дальнем Востоке действует атаман (казачий есаул) Семенов.

Кроме того, я узнал, что Вологодский сговорился об объединении действий со всеми этими правительствами, кроме атамана Семенова, и что, по самым последним сведениям, Вологодский лично отправился на восток, чтобы добиться соглашения с Семеновым.



Об адмирале А.В. Колчаке в Сибири тогда еще ничего не было известно, он появился позже, сначала занял пост военного министра в правительстве Вологодского, а затем это правительство облекло адмирала верховной властью.

На обратном пути в Архангельск я дополнил снабжение полярных береговых станций экспедиции полученным мною из Сибири продовольствием. Своего бывшего комиссара Шунько я оставил в селе Дудинка, на Енисее, куда доходила линия телеграфной сети Сибири, снабдив его личным составом, техническим имуществом, продовольствием и деньгами и дав поручение построить там радиостанцию. С помощью этой радиостанции, через сеть моих станций Карского моря, Сибирь к зиме была связана телеграфом с Северной областью (Архангельском). Шунько оказался на высоте положения.

За время моего похода в Сибирь командовавший русскими военными силами Северной области капитан 2-го ранга Г.Е. Чаплин, обнаружив сильную левизну правительства, образовавшегося в Архангельске, однажды ночью арестовал министров и отправил в Соловецкий монастырь. Но двоим министрам-эсерам, которые по привычке в прежней подпольной работе предпочитали дома не ночевать, удалось избежать ареста, и они утром прибежали жаловаться английскому генералу Пулю, командовавшему союзными силами.

Англичане вмешались, освободили министров от ареста, а также от министерских портфелей, и только Н.В. Чайковского, преклонного старца, народовольца, идейного и честного революционера, не способного на какие-либо компромиссы с советской властью, водворили на место министра-президента.

Чаплин, в угоду Чайковскому, оставался некоторое время не у дел, потом блестяще командовал одним из пехотных полков и закончил свою борьбу с большевиками на посту командующего речным флотом на Северной Двине.

После Чаплина командующим был назначен полковник, генерал штаба Б.А. Дуров, но его вскоре после восстания, вспыхнувшего в одном из полков, пришлось отрешить от должности.



Ввиду большого недостатка офицеров в Северной области правительство Чайковского, состоявшее кроме него из новых, умеренных министров, постановило командировать меня в Западную Европу для собирания и направления в Архангельск русского офицерства, пробывавшегося за границу.

Дела моей экспедиции препятствовали моему отъезду, а кроме того, надо было, чтобы правительство предварительно решило разные вопросы об условиях службы офицеров. Пока я совещался обо всем этом с Н.В. Чайковским, прибыл из Франции генерал-майор Марушевский, командовавший до того русской бригадой во Франции. Марушевский был назначен на пост командующего, и так как он имел сам необходимые связи с офицерскими кругами за границей, надобность в моей командировке отпала, и я мог приняться за организацию и своей, и другой товарной экспедиции в будущей навигации.

Было решено послать в Сибирь за продовольствием в навигацию 1919 года весь свободный тоннаж Северной области. Кроме этой деятельности, я состоял выборным председателем штаб-офицерского и обер-офицерского судов чести морских офицеров и выборным старшиной клуба георгиевских кавалеров.

Через некоторое время после генерала Марушевского прибыл генерал-лейтенант Е.К. Миллер. Этот умный, образованный, обладавший большим тактом генерал был поставлен во главе военного министерства и вооруженных сил, с подчинением ему генерал-майора Марушевского, на которого было возложено командование фронтом.

Генералу Миллеру я тогда подчинен не был. Его компетенция вначале не распространялась на морские организации. Познакомился я с ним на интимном обеде втроем у представителя союзной разведки графа де Люберсака.

У министров были постоянные трения с председателем правительства Н.В. Чайковским. Этот честный, идейный и добросовестный старец работал с раннего утра до ночи, лично входил во все мелочи административной деятельности правительств, старался сам разобраться во всех технических деталях, но не имел админи-



стративного опыта и, по-видимому, не особенно доверял своему «буржуазному» окружению. Меня он считал почему-то экспертом во многих вопросах, далеко не выходящих из моей компетенции, и часто вызывал меня на консультации. Союзное командование с ним не особенно считалось, и мне приходилось в течение нескольких месяцев принимать для него на судовой радиостанции «Таймыра» советское радио, чтобы председатель правительства мог судить о том, что происходит у противника. Стараясь сам разобраться во всех технических мелочах, он, по-видимому, не успевал делать главного, руководить политической жизнью Северной области.

Наконец министрам удалось уговорить Н.В. Чайковского поехать за границу для проведения у союзных правительств некоторых вопросов. На его место председателя был назначен П.Ю. Зубов, а затем высшая власть перешла к Е.К. Миллеру.

Генерал Миллер раньше других белых правительств признал верховную власть адмирала Колчака и подчинил правительство верховному руководству.

Полярная радиостанция моей экспедиции служила для поддержания телеграфной связи с правительством адмирала. Мой бывший комиссар Шунько оказался на высоте в этом деле, работая в невероятно трудных условиях в Дудинке.

В 1918 году практическое использование Северного Морского пути для товарообмена Сибири с Северной областью и заграницей не имело места вследствие недостатка времени после переворота и в Сибири, и в Архангельске. В 1918 году предстояло использовать этот путь возможно шире для доставки в Северную область продовольствия, вооружения и офицеров из-за границы к Колчаку и различных, необходимых Сибири товаров, тоже из-за границы. Кроме того, я подготовил отряд из пяти гидрографических судов, которые надо было перебросить из Архангельска в Обь и Енисей для исследования этих рек и дальнейшего расширения дела Северного Морского пути.

Единственной мощной экономической организацией в Сибири в то время являлся «Закупсбыт», союз 11 492 сибирских продовольственных кооперативов. В Закупсбыте сосредотачивалось все



сырье и продукты, производимые Сибирью, и он их распределял и на внутреннем рынке и экспортировал за границу, поскольку это являлось необходимым для закупки товаров и машин и возможным по транспортным условиям через Китай, порты Дальнего Востока и Северным Морским путем. Естественно, что такая организация являлась одной из основ экономической политики правительства и Вологодского, и Колчака. Главный директор Закупсбыта и некоторые другие его руководители находились в Лондоне, а конторы Закупсбыта имелись во всех мировых центрах. Размах деятельности энергичных сибиряков был велик, капиталы за границей — значительны, а связи и кредитоспособность на зарубежных рынках практически неистощимы.

Одновременно с Закупсбытом действовал сибирский отдел Центросоюза, Всероссийского союза потребительской кооперации. Некоторые из его руководителей, выборные директора, находились тоже за границей, в Лондоне.

Внутри страны эти две организации дополняли друг друга, а за границей действовали в дружном контакте. Сеть их агентов распространялась на всю азиатскую Россию, до самых отдаленных окраин.

В 1919 году они снарядили по Оби и Енисею речные экспедиции с товарами для вывоза, а из Швеции и Англии — пароходы с грузами для ввоза и обмена на речные товары. Вместе с отрядом гидрографических судов, перебрасываемых мною в Сибирь с другими судами с военными грузами для армии адмирала Колчака, и судами, вышедшими за продовольствием для Архангельска, мне пришлось руководить плаванием через льды Карского моря 19-ю различными кораблями.

Больше всего забот причинил английский пароход «Байминг», зафрахтованный Закупсбытом. Капитан-англичанин взял в Норвегии лоцмана норвежского промышленника, ходившего раньше в Карское море для охоты на тюленей. С этим лоцманом он посадил свой пароход на мель в безопасном проливе и стал выбрасывать ценные грузы за борт. Организовав снятие парохода с мели силами моей экспедиции, спасши какие еще



было возможно плававшие в море грузы, я отправился на разведку льдов. «Байминго», снятый с мели, позже также вошел в Карское море, но испугался первых льдин и повернул обратно в Англию. Мне едва-едва удалось рядом телеграмм, посланных мною и по моей просьбе, приставленным ко мне английским офицером и другими капитанами, уже миновавшими льды, усовестить английского капитана и побудить повернуть его снова к устью Оби. В конце концов все суда благополучно прибыли в устья рек.

Перехватывая советское радио, я узнал, что Красная армия теснит армию Колчака и подходит к Среднему течению Оби. Пришлось перебрасывать суда из Оби в Енисей, чтобы дать им возможность прийти в более безопасную зону Сибири.

Наконец, закончив перегрузку, корабли пошли в обратный путь в Архангельск и за границу. Выйдя из Карского моря в октябре 1919 года на самом последнем корабле, я узнал по радио от шедших впереди, что ими встречено много иностранных судов, идущих на север.

Оказалось, что союзники эвакуировали Северную область, бросив армию генерала Миллера на произвол судьбы, и, уходя, топили в реке танки и артиллерию, которую не могли взять с собой обратно, отказав в передаче этого имущества белой армии.

Придя в Архангельск, я там не застал ни одного иностранного военного, кроме английского капитана Новицкого, из русских евреев, который тоже скоро смылся, и доблестного бельгийца, коменданта Никола, остававшегося с нами до самого падения белого фронта.

По распоряжению адмирала Колчака, генерал Миллер продолжал защищать слабыми силами огромный фронт от Финляндии до Урала еще около шести месяцев.

В начале 1920 года правительство поручило мне организовать нужные для получения иностранной валюты тюленьи промыслы во льдах Белого моря. Надо было разработать совместную деятельность нескольких ледоколов, предоставленных правительством, с артелями промышленников из прибрежного населения.



Для скорейшего проведения проекта в жизнь я был назначен председателем особой комиссии, членами которой были министр-председатель, четыре других министра, управляющий государственным банком и представитель государственного контроля. Промыслы были успешно организованы и сулили большие выгоды и промышленникам, и правительству.

В феврале 1920 года фронт Северной области был прорван в нескольких местах, и дальнейшая оборона оказалась невозможной. Пришлось наспех организовывать эвакуацию людей, жизни которых грозила опасность.

Я отдал последний приказ по экспедиции Северного Ледовитого океана, сдав должность одному из моих научных сотрудников, надворному советнику Н.В. Розе, и поручив охрану имущества командам, предпочитавшим остаться в России, выплатил им жалование за несколько месяцев вперед и вступил в новую должность.

Генерал Миллер не хотел эвакуироваться, считая своим долгом разделить участь тех, кто, находясь на фронте далеко от Архангельска, не сможет быть вывезен. Лишь в последнюю минуту, получив сведения, что отрезанная от Архангельска часть армии пробивается сухим путем в Финляндию, его удалось уговорить не губить свою жизнь, которая еще может быть полезна России, и идти на «Минине».

«Минин» взял на буксир «Ярославну» и стал пробиваться через очень мощные льды в море. Уже в реке, проходя Соломбалу, пришлось отстреливаться от большевиков, вышедших из подполья и стрелявших по кораблям.

По выходе в открытое море выяснилось, что ни вести на буксире «Ярославну» в февральских льдах, ни собрать ее машины в короткий срок, нет никакой возможности. Ночью переставили с «Ярославны» на «Минин» единственное крупное орудие, перенесли прочее вооружение, перевели людей и двинулись дальше на одном «Минине». По пути в горле Белого моря сняли офицеров с «Таймыра» и других ледоколов, промышлявших тюленей. (В числе снятых с ледоколов был также мой помощник генерал-майор П.С. Шорин.)



Вслед «Минину» большевики выслали другой ледокол — «Канаду», поставив на последний полевую артиллерию. Завязался бой во льдах. Благодаря пушке, перенесенной с «Ярославны», удалось обратить «Канаду» в бегство.

Мы с Чаплиным сменяли друг друга на командном посту и благополучно прибыли в Норвегию. Оказалось, что находившийся в то время на Мурмане комендант-бельгиец, о котором я упоминал выше, набрал группу морских прапорщиков, захватил пароход «Ломоносов» и также пришел в Норвегию. В Норвегии все мы были интернированы в одном лагере около Тронтгейма и пробыли там кто месяц, кто два, а кто и больше, пока не представилась возможность каждому куда-либо выехать.

Таким образом, в феврале 1920 года закончилась вооруженная борьба с большевиками на Северном фронте.

В предыдущих строках я хотел напомнить главные этапы белой борьбы на севере и вкратце указать мое участие в ней. Как видно, непосредственного участия в вооруженной борьбе против большевиков мне не пришлось принимать, т.к. мне была отведена работа, стоявшая ближе к моей специальности. Доверие, которым я пользовался у белых вождей, и оценка моей деятельности были отмечены правительствами Миллера и Колчака в октябре 1919 года производством меня в контр-адмиралы, вместе с повышением в чине Чаплина, произведенного в капитаны 1-го ранга. Однажды Чаплин, командуя речной обороной на Северной Двине, просил меня согласиться быть его начальником штаба. Дав ему принципиальное согласие, я сказал, что не могу сам решить, на какой из должностей я буду более полезен, и что надо предоставить правительству и главному командованию решение этого вопроса. Высшие власти не нашли возможным удовлетворить эту просьбу Чаплина.

Все изложенное, не имеющее непосредственного отношения к моей деятельности под большевиками, полагаю, было необходимо привести для пояснения моих дальнейших попыток служить своей родине и помочь русскому народу изжить власть захватчиков-большевиков, а также для объяснения тех возможностей, которые мне для этого представлялись.



Началась жизнь в лагере Тронтейма и хлопоты о визах. Уже через несколько дней по прибытии в Норвегию я получил через Лондон телеграмму от советских властей в Архангельске, приглашавшую меня вернуться с моими помощниками в Архангельск для продолжения работ и гласившую, что «Советская власть очень ценит научных работников». Эту телеграмму я оставил без ответа.

После этого я получил другую телеграмму, от главного директора Закупсбыта К.И. Морозова, находившегося в течение нескольких лет в Лондоне, приглашавшую меня прибыть к ним в Лондон для переговоров. Я просил адмирала Иванова, ехавшего в Англию, выяснить, в чем дело, и вызвать меня в случае надобности. Через некоторое время, получив необходимые разрешения, я тоже отправился в Лондон для переговоров с Закупсбытом.

Напомним политическую обстановку того времени. Фронты, ведущие войну против большевиков в России, распадались один за другим, освобождая силы красных для ликвидации следующей группы белых. Адмирал Колчак с В.Н. Пепеляевым были преданы французским генералом в руки восставших в Сибири революционеров-пробольшевиков. Генерал Деникин вызвал из Константинополя находившегося не у дел генерала барона Врангеля, передал ему командование над тем, что осталось от Вооруженных сил юга России, и выехал за границу. Генерал Врангель, занимая небольшой плацдарм, укреплялся на Крымском полуострове. Союзные правительства уже несколько месяцев как прекратили реальную помощь белому движению после заключения мира с Германией и либо не сознавали своей заинтересованности в исходе борьбы с красными, либо же были не в состоянии в этой борьбе участвовать после четырехлетней «победоносной» войны.

Все крупные организации, ведущие вооруженную борьбу с большевизмом, перестали существовать. На окраинах, кроме барона Врангеля в Крыму, оставался в Маньчжурии и части восточной Сибири атаман Семенов, ведущий все время свою собственную, сомнительную политику; в Монголии — генерал барон Унгерн-Штернберг и на Камчатке — последний губернатор белого правительства, мой приятель, промышленник из бывших уголовных



каторжан — Х.К. Бирич. Все эти очаги белого движения не были объединены друг с другом; продолжали сопротивление на свой риск и страх и ждали своей общей участи. Мало что было известно об их средствах, целях и возможностях.

Каковы же были причины неудач белой борьбы с большевизмом? По-видимому, толща населения России, рабочие и крестьяне, не сознавали грядущих ужасов правления коммунистов и легко поддавали под влияние демагогических обещаний и пропаганды большевиков. Союзники, дававшие много обещаний белым вождям, вели все время свою собственную политику, затягивали свою помощь и выполняли только незначительную часть обещанного. Экономическая, финансовая и промышленная базы белых правительств были весьма неудовлетворительны, не хватало, по старому изречению, трех вещей, необходимых для ведения войны: денег, денег и денег. Белая пропаганда стояла невысоко и не нашла лозунгов, могущих воодушевить широкие массы, истощенные войной, и двинуть их на сопротивление большевикам. Главнейшие законы социального устройства не были ни разрешены, ни предрешены, давая этой неопределенностью пищу красной пропаганде. На боевой линии шла героическая, самоотверженная борьба, а на устройство тыла не хватало ни материальных средств, ни единения, ни умения.

Провалились все расчеты по сокрушению большевиков вооруженной силой. Но мысль, что большевики найдут возможность укрепить свою власть внутри страны и продержаться дольше двадцати лет, тогда никому в голову не приходила. Иные считали, что под давлением жизненной необходимости режим постепенно эволюционирует, другие же полагали, что здоровые силы страны смогут снова объединиться, когда отрицательные стороны правления большевиков станут более ясны всему населению, и что объединившись, они найдут способ опрокинуть советскую власть.

О том, до каких ужасов может дойти эта советская власть, принося в жертву своей оппортунистической политике и стремлению удержаться один за другим все слои населения, о том, как евреи пропитывают собой весь правящий слой, о той густой паутине шпионажа



и предательства, которая покроем собой всю страну, — тогда никто не мог допустить мысли.

Вывод напрашивался один. Великая страна не может быть уничтожена волей преступников-недоучек, захвативших власть, и если их не удалось опрокинуть силой оружия, надо изживать изнутри, поддерживая здоровые силы народа и придавая им на помощь в нужный день. Закончив войну с белыми армиями, советская власть как будто искала опоры в населении, искала примирения с научными, техническими и интеллигентными силами, и много представителей этих сил верило в возможность эволюции. Думалось, что вредные, утопичные учения Маркса и его начетчиков будут постепенно опрокинуты жизнью, что надо не дать замереть этой эволюции окончательно и, объясняя, постепенно организовать внутри страны эти здоровые силы.

Уже тогда обнаруживался разлад между коммунистами-хозяйственниками, получившими некоторый опыт на административных постах, и быстро правевшими, и теоретиками или начетчиками коммунизма, продолжавшими искать разрешения всех трудностей в текстах коммунистического талмуда. Был еще жив Ленин, коему принадлежало неоспоримое и монопольное право истолковывать эти тексты по-своему при применении их к жизни.

Весной этого, 1920 года английский премьер Ллойд-Джордж, после ликвидации белых фронтов, бросил лозунг: «Установить сношения и торговлю с Россией через головы большевиков».

В Лондоне могли быть использованы для широких торговых операций союзы производственных и потребительских кооперативов Закупсбыт и Центросоюз, с их огромной сетью предприятий и агентов, раскинутых по всей России, с их выборными директорами — дельными, энергичными людьми, успевшими себя зарекомендовать в деловых кругах Сити. Эти союзы сохранили за границей значительные капиталы, имели крупные связи и неограниченные кредиты у таких мощных организаций, как Союз английских кооперативов и 300-летняя богатейшая «Худзон Бай Компани», в свое время эксплуатировавшая почти всю Канаду.



Во главе лондонской конторы Закупсбыта стоял главный директор союза К.И. Морозов. Другими директорами были А.В. Байкалов, Г.М. Ярков, он же директор Маслосоюза, и некий Б.К. Адамсон, из русских эстонцев. У кооперативов был и собственный банк в Лондоне, называвшийся Московский Народный банк.

Дирекция Закупсбыта следила за тем, как протекает борьба за сохранение самостоятельности кооперативов в Сибири, выясняла политическую обстановку в Лондоне и возможности полезной организации товарообмена с Сибирью вообще и Северным морским путем в частности. Представителей Внешторга тогда еще за границей не было, и, вероятно, в Советской России он только организовывался.

Но большевики учли те выгоды, которые можно извлечь из лозунга Ллойд-Джорджа, и начали обрабатывать старых кооператоров и внутри России, и за границей. Не трогая до поры самой сети кооперативов, они устранили неудобных им директоров внутри страны, вводя на их места своих людей — евреев. Затем в Лондоне они открыли акционерное общество «Аркос», которое должно было представлять собой орган Союза кооперативов. Но так как этот «Аркос» не имел за границей связей, то они начали соблазнять директоров, находившихся в Лондоне, передать им свои конторы, капиталы и перейти к ним на службу. Для этого из Москвы приезжали новые директора, евреи, и, наконец, приехал умный и образованный большевик, комиссар внешней торговли, бывший до войны представителем заводов Сименса в России, Красин.

Он был назначен одновременно первым полпредом (послом) Советского Союза в Лондоне. Прибыв в Лондон, он прислал ко мне своего представителя, уговорить меня перейти к ним на службу и стать во главе экспедиции Карского моря. Я отказался.

Директора Закупсбыта и сами не сдавались, и вверенных им общественных капиталов не сдавали. Возможность снаряжения экспедиции отпадала, и польза ее становилась сомнительной. Закупсбытцы просили меня для сохранения приобретенного опыта по эксплуатации Северного морского пути и для использования этого



опыта, в случае если обстановка станет благоприятной, разработать все технические детали такой экспедиции.

Но когда я принялся за разработку записок по разным, связанным с делом, вопросам, выяснилось, что генерал Врангель не только закрепился в Крыму, но и перешел в наступление. Генерал Миллер был тогда представителем Врангеля в Париже. Усомнившись в своевременности работы для неопределенного будущего, я написал Е.К. Миллеру, что предоставляю себя в распоряжение генерала Врангеля, если только могу ему быть полезным, и, в ожидании ответа, поехал в Лозанну навестить жену и детей. Моя жена, служившая в штабе генерала Деникина, эвакуировалась вместе с его частями из Новороссийска приблизительно в то же время, когда и я, с правительством Миллера, из Архангельска.

Прошло несколько недель, и я получил от Миллера письмо, извещавшее меня, что ответа от Врангеля относительно меня он не получил и больше не ждет, так как, что я уже знал из газет, части Врангеля вынуждены покинуть Крым.

Пал последний серьезный оплот вооруженной борьбы с большевиками. Я вернулся в Лондон, закончил свои технические записки Закупсбьту и, в ожидании лучших времен, принялся за изучение промышленного птицеводства, отойдя от политики и перейдя в частную жизнь.

Когда зимой 1920—1921 года я работал, изучая птицеводство на одном из крупнейших предприятий этого рода в Англии (W.H. Cook, Otrington), Красин, прибывший снова в Лондон, опять присылал ко мне эмиссара с просьбой повидаться и переговорить.

Я от свидания уклонился и, закончив обучение, уехал на юг Франции рабочим.

За время своего пребывания в Англии я поддерживал тесную связь с директорами Закупсбьта и подружился с ними. Они осведомляли меня о политической жизни в Сибири, о том, как протекает борьба кооператоров за сохранение самостоятельности, как организуются здоровые силы страны и как эти силы и большевики ищут опоры в стране. Приходилось также встречаться и разгова-



ривать с наезжавшими в Лондон из советской России лицами из научных и технических кругов.

В общем, мнения сводились к следующему. Наиболее разумные коммунисты, попавшие на административные посты, отходят от крайних теорий, становятся все более умеренными, ищут сближения с учеными и техниками и прислушиваются к их мнению; но оздоровление страны задерживается недостатком компетентных лиц во всех отраслях, хотя комиссары не вмешиваются в дела, предоставляя возможность техникам работать. Одним из главных представителей коммунистов-хозяйственников являлся Красин.

С другой стороны, эволюция задерживается теоретиками большевизма, склада Бухарина, которые в административном аппарате большого значения не имеют, а занимают должности в редакциях, в Коминтерне, в чисто партийных органах и, конечно, в ГПУ. Разлад между двумя группами все больше усиливался.

В ту пору русские люди еще не изверились друг в друге, не подозревали шпионов ГПУ на каждом шагу, и со многими можно было говорить вполне откровенно, хотя и нужно было учитывать некоторую однобокость оценки и информации.

Переселившись на юг Франции, я поддерживал переписку со своими лондонскими друзьями, и они продолжали меня осведомлять о всех главных, доходивших до них известиях.

Весной 1922 года, продолжая служить рабочим в Ницце, я получил от Красина из Женевы, куда он прибыл делегатом в Лигу Наций, телеграмму, предлагавшую мне в третий раз принять участие в организации их Карской экспедиции, с предложением оклада в 200 фунтов стерлингов в месяц, но я не отозвался на этот зов, зная от своих лондонских друзей, что обстановка в России мало в чем переменилась.

Все эти годы большевики снаряжали Карские экспедиции без моего участия, но я был подробно осведомлен о том, как они протекают, как дорого обходятся и как бестолково организуются.

Ранним летом 1923 года англичанами была послана советскому правительству так называемая нота Керзона, наделавшая много



пшума. Отношения Советов с Англией очень натянулись и грозили перерывом дипломатических отношений.

Советское правительство принуждено было отказаться от снаряжения Карской экспедиции, но предоставило в последнюю минуту кооператорам расклебывать дело и заботиться самим о снаряжении экспедиции, о доставке своих грузов и организации всего дела.

По сведениям, приходившим из Советской России, это было время расцвета НЭП — новой экономической политики — объявленной Лениным, которая имела гораздо большее значение в жизни страны, чем обычно думают в рядах эмиграции, полагая, что сущность НЭП была в разрешении ремесленникам самостоятельно работать и торговцам вести мелкие операции за свой счет. Уже тогда я знал и впоследствии видел подтверждение, что Ленин, не видя другого выхода, бил отбой по всему фронту, прикрывая своим авторитетом перед прочими коммунистами начатое их отступление. В эту эпоху так называемые коммунисты-хозяйственники, под водительством Ленина, по-видимому, осознали окончательно, что применение в жизни их коммунистических писаний приводит все к большей разрухе, что великой ошибкой их было преследование интеллигенции и ученых и что надо спасать положение и отступать. Действия их вызвали противодействие со стороны оголтелых коммунистов, на которых до того опиралась власть, но и их постепенно прибрали к рукам.

В общем, интеллигентные, научные и технические работники, остававшиеся в Советской России, получили возможность свободнее дышать и должны были, выправляя положение, налаживать разрушенную жизнь страны. По всем этим данным можно было думать, что в Советской России наступил период политической эволюции и что надо этой эволюции помочь, чтобы окончательно изжить большевистский режим.

Тогда в Лондон прибыл из Сибири, для организации Карской экспедиции, старый закупсбытовский деятель П.М. Линицкий. В Сибири закупсбытовские организации были объединены с центросоюзовскими и продолжали существовать под названием



Сибирского Центросоюза. Линицкий, по прибытии, разыскал своих и моих друзей, не шедших до того ни на какие компромиссы с советской властью, обрисовал им положение, просил их помочь, убедил, что нельзя упускать благоприятный период, и попросил их вызвать меня в Лондон.

Прибыв в Лондон в июле 1923 года, после личного обсуждения всей обстановки со своими друзьями-эмигрантами и с рекомендованным мне ими с лучшей стороны Линицким, я решил, что моим патриотическим долгом является принятие их предложения стать во главе экспедиции, идти в Сибирь и произвести личную разведку. А в случае подтверждения благоприятных данных переключиться на дальнейшую работу в России для изживания большевизма.

Технические трудности были велики. Предстояло доставить в Енисей небольшой речной пароход «Кооператор», заканчивавшийся постройкой в Англии с опозданием, имевший вместимость в 110 тонн и осадку около 2-х метров. Кроме того, надо было найти, купить и отбуксировать в Енисей большой лихтер (баржу) и доставить разные грузы, в том числе оборудование двух заводов. «Кооператор», за недостатком времени, должен был выйти в море, не произведя обычных приемных испытаний от завода и являясь собственностью строившей его верфи. Только по прибытии в Сибирь я должен был оформить окончательную его приемку мною лично и затем сдать особой комиссии от Сибирского Центросоюза, прибывшей сверху по реке. Команда «Кооператора» состояла из 11 человек девяти разных национальностей. Предстояло найти, купить и подготовить к походу лихтер.

Не останавливаясь на технических подробностях этой экспедиции, выходящих из рамок настоящей заметки, упомяну лишь кое о чем, рисующем политические настроения того времени.

Мне надо было срочно выехать в Голландию для осмотра больших речных лихтеров. Не имея советского паспорта, я не мог получить визу через полпредство. Мои сибирские друзья позвонили по телефону русскому консулу царского времени, который знал меня лично, но к которому я не считал удобным обращаться, т.к. ехать я должен по делам советской экспедиции, объяснили ему, в



чем дело, и по его рекомендации, на следующий день, виза мне была поставлена на белом паспорте.

Голландские лихтеры не подошли по сложности конструкции, они не выдержали бы в открытом море буксировки на волне, но я нашел и купил у английского Адмиралтейства большой морской лихтер в 2000 тонн.

Для буксировки лихтера я зафрахтовал вызванный из Архангельска ледокол, послал грузовой пароход под английским флагом принимать грузы в портах Англии и в Гамбурге, заказал кое-какое оборудование для «Кооператора», чтобы возможно лучше обеспечить его океанский переход, и, наконец, вышел в море.

Лондонские кооператоры сообщили, кого мне предстоит встретить на Енисее, на речной экспедиции, и с кем я могу говорить откровенно о всех политических вопросах.

Войдя в Карское море, я получил от одной из полярных радиостанций телеграмму: «Счастливы слышать, что Вилькицкий опять на родном севере», — с рядом подписей моей бывшей команды. Это было хорошим признаком, т.к. показывало известную эмансипацию и отсутствие слепой боязни репрессий. По радио я сносился с работавшими на Новой Земле старыми друзьями, офицерами, и получал от них с оказией интересные письма. Придя в бухту Диксон к северу от Енисея, застал на своей бывшей радиостанции новых людей, но и они горячо меня приветствовали и, между прочим, сообщили, что скрашивают свое унылое довольствие доставленными мною в 1918 и 1919 годах консервами.

Во главе речной экспедиции, встретившей меня, состояли полковник царского времени, георгиевский кавалер Ю.А. Конисский и сибиряк, присяжный поверенный И.П. Оглобин. Очень требовательные и придирчивые, мои противники по вопросам приемки судов и грузов, о политике они со мной говорили свободно и высказывали полные оптимизма чаяния и прогнозы.

Узнал я, что ученый физик Н.В. Розе, которому я сдал мою экспедицию в день эвакуации из Архангельска, оставался моим преемником на этом посту в течение двух лет, пока экспедицию не расформировали.



Рассказали мне, что в первые дни, когда советские власти послали мне вдогонку телеграмму с предложением вернуться, большевики бахвалились: «Вот Вилькицкий вернется, мы его в тюрьму, настанет время идти в море, мы его на корабль, как снова вернется — опять в тюрьму». Но в этом, 1923 году, никаких признаков такого отношения не было. Сообщили также, что с расформированием экспедиции мои бумаги и личная, ценнейшая библиотека по Ледовитому океану и Северному морскому пути, которую начал собирать еще мой отец, была сдана в печатанных ящиках на хранение в Главное Гидрографическое Управление как личный архив и библиотека Б.А. Вилькицкого.

Начальники речной экспедиции подтвердили мне сведения о НЭП и о постепенной эмансипации интеллигенции. Говорили: «Живем вопреки большевикам и налаживаем жизнь во всех отраслях; при каждом из нас состоит по одному, а часто и по два архангела-комиссара из несведущих рабочих; в дело они не путаются, только загромождают административный аппарат, получают жалованье и беспробудно пьют». Один из таких «архангелов» был и на речной экспедиции — тоже из рабочих, тоже пьяница и тоже довольно безвредный. Говорили они также, что приходится очень много работать, что всюду чувствуется недостаток сведущих лиц и что если бы их было больше, то изживание коммунизма шло бы более быстрым темпом.

Пожалуй, интересно отметить следующий характерный случай. Как-то вечером, после длинного рабочего дня и нудных обсуждений разных придилок к приведенному мною «Кооператору» малосведущих речных капитанов и механиков, остались мы одни в кают-компании и мирно беседовали на волнующие нас темы о грядущих судьбах России. И вот входит неизвестный мне молодой человек, опрятно одетый в суконную солдатскую гимнастерку, и, вежливо обращаясь ко мне, просит разрешения посидеть с нами. Я был готов предложить ему стакан чая, как И.П. Оглобин вскочил в сильном раздражении, стал на него кричать и выгнал вон. Я с удивлением спросил Оглобина, почему он так взелся? На что тот мне объяснил, что это агент ГПУ или ЧК (не помню, как тогда называлось



это малопочтенное учреждение), что в Красноярске ему хотели навязать официального представителя от этого учреждения, что он категорически протестовал. Тогда ГПУ провело этого субъекта в артель грузчиков, нанятых на время плавания на бирже труда, что он, Отлоблин, и против этого восстал, но должен был в конце концов согласиться, получив заверение, что этот заведомый агент будет жить и работать наравне с другими грузчиками и ни во что вмешиваться не посмеет.

Тогда это происшествие произвело на меня сильное впечатление, являясь одним из доказательств того, как это учреждение, охватившее впоследствии своими щупальцами всю советскую страну, теряло почву под ногами в эпоху расцвета НЭП. Евреев тогда не было ни на речной, ни на моей Карской экспедиции ни одного человека.

Ни разу никто не посмел меня назвать ни товарищем, ни господином начальником, по-видимому, чувствуя, что и то и другое обращение было неуместно. Звали все патриархально, по имени и отчеству.

Закончив все дела сдачи судов и грузов, приемки небольшого количества экспортных товаров, которые кооператоры успели собрать с того дня, как им было дано разрешение снаряжать свою собственную экспедицию, я вышел в обратный путь, в Европу, на английском пароходе, который пришел со мной. Чтобы лучше окупить расходы по фрагованию парохода, я по дороге зашел в Архангельск, чтобы загрузить пароход лесом.

Население Архангельска меня хорошо знало и помнило. Незнакомые и знакомые останавливали меня на улице, кто просто, чтобы пожать руку, кто же, чтобы посоветовать быть осторожным и опасаться западни.

Как-то вечером сидел я в единственном ресторане с музыкой с двумя английскими капитанами, своей экспедиции. За соседним столиком сидело человек восемь, по-советски, довольно невзрачно одетых. Вдруг один из них подошел ко мне, шаркнул по-военному ногой и сказал: «Ваше превосходительство, разрешите вам сказать несколько слов». Я встал и ответил ему: «Меня



зовут Борис Андреевич, кто вы такой и чем я могу быть вам полезен?» Тогда он сказал: «Я капитан Чаплинского полка, Орлов. Мы все очень хотим вас приветствовать как первую ласточку новой эпохи, заказали отдельный кабинет, послали искать хорошего вина и, когда все будет готово, просим пожаловать». Я расспросил его, кто остальные в его компании, и узнал, что бывшие молодые офицеры и чиновники, сказал, что в отдельный кабинет не пойду, а за стол к ним с удовольствием подсяду.

В непринужденной беседе они расспрашивали меня, как живет и устроился за границей Г.Е. Чаплин, не бедствует ли он, не нужно ли ему послать денег, рассказывали, что сами пережили в первые годы, как их никуда на службу не принимали и как теперь, с НЭП, все пристроились и живут прилично.

Со мной в этот поход из Лондона в Сибирь ходил пассажиром старший лейтенант Гвардейского экипажа А.А. Абаза. Последние годы войны он провел в Лондоне офицером связи при английском Адмиралтействе от русского Морского Генерального штаба. Он предпринял это путешествие по поручению группы английских промышленников для разведки экономических возможностей, Советским морским агентом в Лондоне состоял в то время адмирал Е.А. Беренс, которого мы оба хорошо знали (брат адмирала М.А. Беренса, командовавшего русской эскадрой при эвакуации из Крыма армии генерала Врангеля). Через Беренса (морского агента) Абаза получил разрешение идти с моей экспедицией, подняться с речной экспедицией до центров Сибири, свободно проехать дальше по Советской России, и обещание, что его выпустят обратно за границу. Он проделал весь намеченный путь, побывал в Москве, вел кое-какие переговоры и благополучно вернулся в Лондон. Он всюду разъезжал свободно, и только в Москве, в ГПУ или в Комиссариате Иностранных дел (не помню точно), его предупредили, что знают, что в России живет его мать, и не советуют с ней видеться, иначе за ней после свидания придется установить слежку.

В результате моего похода в Сибирь и обратно у меня тогда окрепла вера в скорое возрождение России, в то, что лихолетие будет изжито, исчезли последние сомнения в пристрастии сведений, полу-



ченных раньше через кооператоров. Я видел своими глазами всю ту разруху, которую советская власть устроила за первые три года, и те героические усилия, которые честные русские люди делали, чтобы снова поднять жизнь в стране вопреки большевикам, видел также возрастающий престиж этих людей, уважение и поддержку, коими они пользовались и среди населения, и среди подчиненных. Вместе с тем у меня сложилось впечатление, что эмансипация населения от большевиков зашла дальше в Сибири, чем, например, в Архангельске, и это подтвердило мои надежды в ожидании спасения России из Сибири. Абаза после своего путешествия вынес подобные же впечатления.

Так закончился в 1923 году мой второй этап службы под большевиками.

В Лондоне я поделился своими наблюдениями с друзьями кооператорами. Они были очень рады благополучному завершению очень трудной, с морской точки зрения, экспедиции и были уверены, что дальнейшее дело эксплуатации Северного Морского пути останется за ними.

В Лондоне я приступил к составлению подробного отчета об экспедиции.

К.И. Морозова, главного директора прежнего Закупсбыта, в Англии в этом году не было. Он ездил в Америку, Китай и другие страны совещаться с прочими представителями Закупсбыта о дальнейшей линии поведения относительно советской власти. По возвращении его в Лондон выяснилось, что и для них этот год оказался поворотным. Они решили, что наступило время вернуть заграничный актив в распоряжение кооперативов, продолжающих работу внутри страны, и также поверили в эволюцию.

Лондонский Центросоюз, во главе которого остался П.М. Линицкий, вел оживленную переписку с Сибирью и начал подготавливать к навигации 1924 года новую экспедицию в большом масштабе экспорта и импорта, рассчитывая, что дело останется в руках кооперативных организаций.

Через некоторое время по возвращении моем из Сибири, адмирал Беренс, советский морской агент, показал мне секретную



бумагу, полученную от Троцкого, которой тот поручал Беренсу, с согласия комиссара иностранных дел Чичерина, предложить мне вернуться в Советский Союз для продолжения моих работ в Ледовитом океане. На мой вопрос, что он сам по этому поводу думает, он мне сказал, что не имеет права в таком вопросе давать мне советы, идущие вразрез с полученным поручением, но по старой дружбе все-таки скажет, что на моем месте не поехал бы, что в советской политике возможны перемены, что живя за границей и участвуя в Карских экспедициях, я сохраняю большую самостоятельность и приношу большую пользу России, имея возможность свободно выбирать момент, когда нужно будет возвращаться на Родину.

Наступила весна 1924 года, время подготовки новой Карской экспедиции. У кооператоров, вопреки ожиданиям, начались по этому поводу трения с Внешторгом, который снова захотел передать организацию и речной, и морской экспедиций своим органам и лишь только брать товары Центросоюза для перевозки. В конце концов организация Карской экспедиции была передана «Аркосу», но в его состав, специально для руководства этим делом, был причислен К.И. Морозов, бывший главный директор Закупсбыта. Центросоюз согласился передать свои грузы при условии, чтобы руководство морской частью было снова поручено мне.

Надо сказать, что мой авторитет в этом деле был признан и за границей, что видно хотя бы из того, что английские страховые общества понижали ставки за страховку кораблей и грузов в случае моего руководства плаванием через Карское море. Это, вероятно, было следствием снятия с мели парохода «Байминго» в 1918 году и спасение его грузов, которые капитан начал было выбрасывать за борт.

Продолжая находиться под впечатлением виденного в Сибири и Архангельске в 1923 году, я тогда считал, что настало время для каждого из нас, кто только может работать для России, для ее возрождения изнутри, и я взялся за руководство морской частью Карской экспедиции 1924 года.

Таким образом, наступил третий и последний этап моей деятельности под большевиками.



Эта экспедиция состояла из нескольких грузовых пароходов, плававших под английским флагом, с английскими командами, но принадлежащих «Аркосу» или другим заграничным полусоветским обществам.

Предвидя всякие осложнения со старыми английскими капитанами, привыкшими к погрузке у хорошо оборудованных набережных и не искушенными в грузоприемных маневрах в условиях открытого моря, я, между прочим, выписал из Москвы водолазов, причем мне было обещано, что таковые будут тщательно подобраны из студентов высших учебных заведений.

На деле же прибыли три распушенных и наглых матросо-коммуниста. Английские капитаны не хотели их держать на своих кораблях, жалуясь, что они роняют дисциплину и разрушают команду. Когда нужно было работать, они отказывались спускаться в воду за оговоренное в контракте вознаграждение и, пользуясь опасным положением корабля, намотавшего на винт стальной перлинь, или опасностью окончательно потерять катер, затонувший у борта, торговались и вымогали крупное вознаграждение. Когда я постарался их образумить, они послали через партийцев на меня донос в Москву.

В Обской губе я снова встретился с пришедшим на речной экспедиции полковником Ю.А. Конисским, но он уже не был на должности начальника, а лишь «суперкарго» (заведовал грузами) Центросоюза. На речной экспедиции, кроме комиссара, были официальные представители ГПУ, молодые евреи, совавшие свой нос всюду. Заметив, что Конисский часто в свободное время заходит ко мне в каюту поговорить, они потребовали от него, чтобы он не встречался со мной с глазу на глаз. Конисский бравировал этим запрещением, но я не уверен, что это прошло для него безнаказанно.

Бестолочь и беспорядок на советских судах, радиостанциях и других организациях сильно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Дисциплина на советских судах сильно пала, и капитаны с большим трудом и кое-как справились с делом, постоянно прерываясь с судовыми комитетами. Не помню, умер ли тогда или был



только парализован Ленин, но видно было, что внутренняя политика резко переменялась: коммунисты очень обнаглели, почувствовав свою безнаказанность и привилегированное положение, все интеллигенты и техники были взяты под подозрение, и комиссары уже перестали быть безвредными «архангелами», как в прошлом году, не интересовавшимися ничем и не входившими ни во что.

В результате доносов, посланных, как выше было рассказано, водолазами в Москву, оттуда пришло распоряжение разобрать дело. Комиссия комиссаров и агентов ГПУ взялась за разбор, допросила водолазного старшину, самого зловредного из троих, и двух других. В конце концов меня выручил председатель комиссии, комиссар речной экспедиции, заявивший: «Я не знаю политических убеждений Бориса Андреевича, но, во всяком случае, считаю, что он настолько умен, что не стал бы “коммунисту (водолазу) даже с глаза на глаз ругать советы и большевиков”, так что считаю выдвинутые против него обвинения неправдоподобными».

Пожалуй, было достаточно еще одного такого инцидента, чтобы безвозвратно попасть в лапы ГПУ. Думать о какой-либо плодотворной работе в таких условиях больше не приходилось!

Закончив и эту экспедицию с успехом, я с тяжестью на душе вернулся в Лондон, убедившись в том, что политический маятник в Советской России снова и сильно качнулся влево, что техники, интеллигенты и научные работники снова сильно зажаты, что вопросы коммунистической политики доминируют над экономикой и бытом, что работать с пользой нельзя, а зря сложить свою голову легче легкого.

Расчеты на эволюцию и изжитие большевиков были биты!

Составив и на этот раз подробные отчеты, которые могли бы помочь моим преемникам возможно лучше организовать дело, столь важное для экономической жизни Сибири, я уехал зимой 1924—1925 года во Францию, занялся там птицеводством и отошел от всякой политической деятельности.

Брюссель, Бельгия. Сентябрь 1942 г.

СОДЕРЖАНИЕ

КОРТИК КОМАНДОРА.....	3
ДВА КАПИТАНА И «СВЯТАЯ АННА»	
По следам героев из книг и жизни.....	202
БЕЛОЕ ПЯТНО НА КАРТЕ РОССИИ.....	217
ОДИССЕЯ КАПИТАНА КОНДОРА.....	322
ЛЕДОКОЛ «КРАСИН»: «SOS!».....	377
ВОЗВРАЩЕНИЕ КАПИТАНА	
Вместо послесловия.....	385
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	390

Научно-популярное издание

Морская летопись

Черкашин Николай Андреевич

КОМАНДОРЫ ПОЛЯРНЫХ МОРЕЙ

Выпускающий редактор *Н.М. Смирнов*

Корректор *Е.Ю. Таскон*

Верстка *И.В. Левченко*

Художественное оформление *М.Г. Хабибуллов*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 25.02.2014. Формат 84×108 ¹/₃₂.

Гарнитура «LazurskiC». Печать офсетная. Бумага газетная.

Печ. л. 15. Тираж 1500 экз. Заказ № 2114.

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»

152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

e-mail: printing@r-d-p.ru www.r-d-p.ru



Морская летопись

Документально-художественные исследования известного писателя-мариниста Николая Черкашина переносят нас в мир полярных первопроходцев России. В первой части книги в остросюжетной форме излагается история последнего великого географического открытия XX века — обнаружение экспедицией Бориса Вилькицкого Северной Земли. Вторая часть посвящена экспедиции барона Толля к загадочной Земле Санникова. Главный герой — офицер-гидрограф лейтенант Александр Колчак, ставший позже Верховным правителем России.

Действие раздела «Одиссея капитана Кондора» разворачивается также на Русском Севере — только в годы Великой Отечественной войны.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями. Некоторые из них публикуются впервые.

ISBN 978-5-4444-1841-3



9 785444 418413

